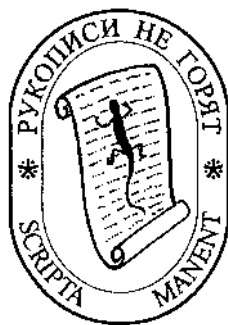

Научно-образовательный форум
по международным отношениям

Московский государственный
институт международных отношений (Университет)
МИД России

А. Д. БОГАТУРОВ

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
РОССИИ**



Academic Educational Forum
on International Relations

Moscow State Institute of International Relations (University)
Ministry of Foreign Affairs
Russian Federation

Alexey D. Bogaturov

**CONTEMPORARY INTERNATIONAL
RELATIONS AND RUSSIA'S
FOREIGN POLICY**

**Moscow
2017**

Научно-образовательный форум
по международным отношениям

Московский государственный
институт международных отношений (Университет)
МИД России
Кафедра прикладного анализа международных проблем

А. Д. БОГАТУРОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

*Рекомендовано Федеральным учебно-методическим объединением
в системе высшего образования по укрупненной группе
специальностей и направлений подготовки 41.00.00 —
«Политические науки и регионоведение»
для магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям
«Политология», «Зарубежное регионоведение»,
«Международные отношения»*



Москва
2017

УДК 327
ББК 66.4
Б73

Рецензенты

член-корреспондент РАН, зам. директора НИ ИМЭМО
им. Е. М. Примакова РАН

Ф. Г. Войтоловский,

д-р полит. наук, профессор, зав. Кафедрой международных отношений
и внешней политики России МГИМО МИД России

Б. Ф. Мартынов

Научный редактор

канд. полит. наук *А. А. Байков*

Богатуров А. Д.

Б73 Международные отношения и внешняя политика России: Научное издание / А. Д. Богатуров. — М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. — 480 с. ISBN 978–5–7567–0930–8

В книгу вошли избранные работы известного политолога, историка, Заслуженного деятеля науки России, лауреата премии им. Е. В. Тарле РАН Алексея Демосфеновича Богатурова, подготовленные им в 1990–2010-х годах. Они охватывают проблемы теории и методологии международных отношений, осмысление ключевых проблем современной мировой политики и мегатрендов глобального развития, а также вопросы эволюции российской внешнеполитической стратегии. В работах А. Д. Богатурова сочетаются глубина анализа, оригинальность оценок и живость изложения сложных тем. Несмотря на то что ряд текстов был написан два десятилетия назад и более, они сохраняют свою объяснительную и прогностическую ценность.

Издание адресовано специалистам-международникам, практикам, студентам, изучающим вопросы международной политики, а также широкому кругу читателей.

УДК 327
ББК 66.4

ISBN 978–5–7567–0930–8

© НОФМО, 2017
© Богатуров А. Д., 2017
© ООО Издательство «Аспект Пресс», 2017
© Дудин С. И., эмблема

Все учебники издательства «Аспект Пресс» на сайте
www.aspectpress.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
-----------------------	---

Раздел 1

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

Глава 1. Системный подход к пониманию международных отношений	11
Глава 2. Порядок в международной системе на рубеже XXI века	30
Глава 3. Мировая политика в теоретическом дискурсе	38
Глава 4. Децентрализация и критерии лидерства в международной системе	65
Глава 5. Понятие современных глобальных проблем	81
Глава 6. Геоэкономика как альтернатива геополитике	99
Глава 7. Экономическая политология и проблемное поле в России	107
Глава 8. «Реалистский корень» российской ветви теории мировой политики	123
Глава 9. «Парадигма освоения» в международно-политических исследованиях	143
Глава 10. Мир сегодня: система или конгломерат?	151

Раздел 2

МИРОВАЯ СИСТЕМА И МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Глава 11. Динамическая стабильность во внешней политике.	171
Глава 12. «Синдром поглощения» в мировой политике.	201
Глава 13. Самоопределение наций и международная устойчивость.	225
Глава 14. Этническое и надэтническое в мировой конфликтности	239

Глава 15. Истоки американского поведения	254
Глава 16. Политика влияния США в Восточной Европе.	268
Глава 17. Иракский кризис и навязанное молчание.	282
Глава 18. «Стратегия перемалывания» в политике великих держав	292
Глава 19. Контрреволюция ценностей и международная безопасность	308

Раздел 3

РОССИЯ В ОБЩЕЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Глава 20. Ретроспектива личностной дипломатии в России	326
Глава 21. «Плюралистическая однополярность» в мировой политике	343
Глава 22. Равновесие недоверия между Россией и Америкой.	359
Глава 23. Принуждение к партнерству в действиях США.	374
Глава 24. Политика ведущих держав в Центральной Евразии	388
Глава 25. «Отложенный нейтралитет» Центральной Азии	399
Глава 26. «Пространственная структура» международных отношений	417
Глава 27. Россия в глобальной политике	435
Глава 28. «Украинский вызов» и альтернативы внешнеполитической стратегии России	466

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Своевременность и фундаментальность в работах А. Богатурова

Перед Читателем — библиографический раритет. В одном томе собраны и выстроены в единой проблемно-методологической логике избранные научные статьи, публицистические очерки и научно-популярные работы крупного российского историка дипломатии, теоретика международных отношений, яркого представителя системно-структурной школы политического анализа МГИМО, наконец, моего товарища и соратника по *alma mater* — профессора Алексея Богатурова.

Для меня как ученого, большую часть своей профессиональной жизни отдавшего высшему образованию и науке о международных отношениях, исследовательская программа и метод А. Богатурова близки редким в академической науке соединением двух «стихий». С одной стороны, понимание потребностей обычного студента и отсюда — образность и вместе с тем изумительная точность языка и ясность структуры. С другой — исключительное внимание к взыскательным вкусам и ожиданиям коллег-ученых «Жизненность», пронизательность его анализа и одновременно строгий академизм формы и манеры изложения. Не случайно статьи А. Богатурова, написанные в начале — середине девяностых, до сих пор так популярны у студентов. В научной же среде его работы и сегодня не дают застояться профессиональным дискуссиям по актуальным проблемам теоретического осмысления и методологии анализа прошлого и будущего глобальной миросистемы и места в ней России.

Значение исследований А. Д. Богатурова можно оценить только в контексте истории легендарной Проблемной лаборатории системного анализа международных отношений, первого в СССР, как бы сказали сейчас, «мозгового центра», работавшего при МГИМО в 1976–1990 годах и выполнявшего прикладные внешнеполитические разработки в интересах Министерства иностранных дел. Незаурядность подхода собравшейся в «проблемке» междисциплинарной команды талантливых аналитиков диктовалась их отношением к международным отношениям как к объекту подлинно научного познания, который может и должен быть понят с опорой на адекватный научно-теоретический инструментарий. Отсюда их принципиальная установка на системное моделирование как главный исследовательский метод.

Богатуров не работал в «проблемке», но через учебу в МГИМО 1970-х годов познакомился с ее открытиями, впитал в себя ее аналитические установки. В 2008 г. он писал в предисловии к первому изданию книги М. А. Хрусталева, стоявшего у истоков «проблемки»: «Если у меня есть хоть какая-то аналитическая школа, то это — “школа Хрусталева”, структурно-системная школа МГИМО, которую он вместе с А. А. Злобиным и В. Б. Тихомировым создал в 1970-х годах».

А. Богатуров до сих пор остается верен принципам и подходам этой школы. Будучи одним из авторов первого федерального государственного образовательного стандарта по международным отношениям и зарубежному регио-

новедению, деканом Факультета политологии, а затем проректором МГИМО по программному развитию, он не только способствовал самому широкому ее применению в учебном процессе, сформировав «скелет» действующей системы подготовки бакалавров и магистров-международников в России. Собственно в МГИМО его безусловной заслугой стало создание — рядом с классической школой изучения истории дипломатии и внешней политики России — Кафедры прикладного анализа международных проблем, центра подготовки аналитиков-прикладников, готовых «с колес» включиться в практическую деятельность по анализу и прогнозированию международных ситуаций в интересах государственных и частных структур.

В научном плане «школа Богатурова», воплощенная в его индивидуальных трудах и десятках коллективных монографий, вышедших под его редакцией, демонстрирует, насколько плодотворным может быть структурно-системный подход к изучению истории и современного состояния международных отношений и мировой политики.

Вслед за вдохновившими его работами мгимовцев 1970–1980-х годов, отличительной особенностью богатуровского подхода был и остается напряженный поиск во внешне разрозненных элементах и процессах международной политики общих для нее закономерностей, регулярных, повторяющихся явлений, установление которых составляет предмет научного поиска в любой области знания, в том числе в общественно-гуманитарных отраслях. Международные отношения «по Богатурову» мало чем отличаются от экономики или социологии. В этом смысле основной вызов нашей науке — найти и обосновать объективно присущие международной жизни закономерности, а найти их, попытаться вскрыть и объяснить их механизм. При этом главная цель всего этого — воздействовать на ход этих закономерностей для повышения эффективности внешней политики своего государства.

Внимание к устойчивому и повторяющемуся, выявление реально действующих в мировом пространстве закономерностей, желание объяснить их в форме пусть спорных и не всегда привычных, но элегантных теорий типа «плюралистической однополярности», «динамической стабильности» или «анклавно-конгломеративного развития» — отличает работы Богатурова от многих других, делает международные отношения понятнее и доступнее, придает смысл нагромождению исторических фактов.

Знаю, что и после выхода антологии своих лучших работ А. Богатуров вряд ли остановится на сделанном. Собранные вместе труды и для него самого станут стимулом для новых свершений.

Уверен, что и российской науке о международных отношениях это уникальное издание послужит прочной основой для дальнейшего движения в сторону создания оригинальной отечественной школы международно-политических исследований, не только учитывающей передовые мировые идеи, но и отражающей своеобразие места нашей страны в формирующемся миропорядке.

Анатолий Торкунов
академик РАН
23 сентября 2016 г.

Раздел 1

**ОБЩАЯ ТЕОРИЯ
И ПОДХОДЫ**



Алексей Демосфенович Богатуров

Глава 1

.....

Системный подход к пониманию международных отношений*

Цель этого раздела — дать системное освещение процесса развития международных отношений. Системным подход называется потому, что в его основе не просто хронологически выверенное и достоверное изложение фактов дипломатической истории, а показ логики, движущих сил важнейших событий мировой политики в их не всегда очевидной и часто не прямой взаимосвязи между собой. Иными словами, международные отношения — это не просто сумма, совокупность каких-то отдельных компонентов (мировых политических процессов, внешних политик отдельных государств и т.п.), а сложный, но единый организм, свойства которого в целом не исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из его составляющих в отдельности. Имея в виду именно такое понимание для обозначения всего многообразия процессов взаимодействия и взаимовлияния внешних политик отдельных государств между собой и с важнейшими общемировыми процессами, будем пользоваться понятием «система международных отношений». Это ключевое понятие.

Понимание несводимости свойств целого лишь к сумме свойств частей — важнейшая черта системного мировидения. Такая логика объясняет, почему, скажем, взятые в отдельности, шаги дипломатии СССР, двух атлантических держав (Франции и Британии) и Германии в период подготовки и во время Генуэзской конференции 1922 г., казалось бы нацеленные на восстановление Европы, в целом привели к закреплению ее раскола, резко сократившего шансы общеевропейского сотрудничества в интересах поддержания стабильности.

Следующим является акцент на связях и отношениях между отдельными компонентами международной системы. Иными словами, нас будет интересовать не только то, как в конце 1930-х годов нацистская Германия двигалась по пути агрессии, но и то, каким образом на формирование движущих сил ее внешней политики в предшествовавшее десятилетие повлияли Великобритания, Франция, Советская Россия

* Написано в октябре 1999 г. — Системная история международных отношений в четырех томах. 1918–1945. М.: Московский рабочий, 2000. Т. 1. С. 9–25.

и США, которые и сами служили объектом активной германской политики. Аналогично Вторая мировая война будет рассмотрена нами не просто как рубежное событие мировой истории, но прежде всего как экстремальный результат по-своему неизбежной ломки той конкретной модели международных отношений, которая сложилась после окончания Первой мировой войны (1914–1918).

В принципе сложно взаимосвязанный, взаимно обуславливающий характер межгосударственные отношения приобрели достаточно рано, однако не сразу. Чтобы приобрести черты системности, системной взаимосвязи, те или иные отношения и группы отношений должны были созреть — т.е. приобрести устойчивость (1) и достигнуть достаточно высокого уровня развития (2). Скажем, о формировании глобальной, общемировой системы международных экономических отношений мы можем говорить не сразу после открытия Америки, а только после того, как была налажена регулярная и более или менее надежная связь между Старым и Новым Светом и экономическая жизнь Евразии оказалась прочно увязанной с американскими источниками сырья и рынками.

Глобальная мирополитическая система, система международных политических отношений складывалась гораздо медленнее. Вплоть до завершающего этапа Первой мировой войны, когда впервые в истории американские солдаты приняли участие в боевых действиях на территории Европы, Новый Свет в политическом отношении оставался если не изолированным, то явно обособленным. Понимания мирополитического единства еще не было, хотя оно уже, несомненно, было в стадии формирования — процесс, начавшийся в последней четверти XIX в., когда в мире уже не осталось «ничейных» территорий и политические устремления отдельных держав уже не только в центре, но и на географической периферии мира оказались тесно «притертыми» друг к другу. Испано-американская, англо-бурская, японо-китайская, русско-японская и, наконец, Первая мировая войны стали кровавыми вехами на пути формирования глобальной мирополитической системы. Однако процесс ее складывания к началу описываемого ниже периода так и не закончился.

Единая глобальная, общемировая система политических отношений между государствами еще только складывалась. Мир в основном продолжал состоять из нескольких подсистем. Эти подсистемы ранее всего сложились в Европе, где отношения между государствами в силу природно-географических и экономических факторов (относительно компактная территория, достаточно многочисленное население, развитые и относительно безопасные дороги) оказались наиболее развитыми.

С начала XIX в. важнейшей подсистемой международных отношений была европейская, Венская. Наряду с ней постепенно стала формироваться особая подсистема в Северной Америке. На востоке Евразийского материка вокруг Китая в хронически застойном состоянии существовала одна из самых архаичных подсистем, Восточноазиатская. О других подсистемах, скажем, в Африке, в тот период говорить можно только с очень большой долей условности. В дальнейшем, однако, они стали постепенно развиваться и эволюционировать. К моменту окончания Первой мировой войны наметились первые признаки тенденции к перерастанию Североамериканской подсистемы в Евроатлантическую, с одной стороны, и Азиатско-Тихоокеанскую — с другой. Стали угадываться очертания Ближневосточной и Латиноамериканской подсистем.

Все эти подсистемы развивались в тенденции как будущие части целого — глобальной системы, хотя само это целое, как уже отмечалось выше, в политико-дипломатическом смысле еще только начинало складываться; лишь в экономическом отношении его контуры уже просматривались более или менее отчетливо.

Между подсистемами существовала своя градация — иерархия. Одна из подсистем была центральной, остальные — периферийными. Исторически вплоть до окончания Второй мировой войны место центральной неизменно занимала Европейская подсистема международных отношений. Она оставалась центральной и по значимости образовавших ее государств, и по географическому положению в переплетении главных осей экономических, политических и военно-конфликтных натяжений в мире.

Кроме того, Европейская подсистема далеко опережала другие по уровню организации, т.е. степени зрелости, сложности, развитости воплощенных в ней связей, так сказать, по присущему им удельному весу системности. По сравнению с центральной уровень организации периферийных подсистем был гораздо ниже. Хотя и периферийные подсистемы по этому признаку могли между собой весьма сильно различаться.

Так, например, после Первой мировой войны центральное положение Европейской подсистемы (Версальский порядок) осталось бесспорным. По сравнению с ней Азиатско-Тихоокеанская (Вашингтонская) была периферийной. Однако она была несоизмеримо более организованной и зрелой, чем, например, Латиноамериканская или Ближневосточная. Занимая главенствующее положение среди периферийных, Азиатско-Тихоокеанская подсистема была как бы «самой центральной среди окраинных» и второй по своему мирополитическому значению после Европейской.

Европейская подсистема в разные периоды в исторической литературе, а отчасти в дипломатическом обиходе, называлась по-разному — как правило, в зависимости от названия международных договоров, которые в силу тех или иных обстоятельств признавались большинством европейских стран основополагающими для межгосударственных отношений в Европе. Так, скажем, принято называть Европейскую подсистему с 1815 г. по середину XIX в. Венской (по Венскому конгрессу 1814–1815 гг.); затем Парижской (Парижский конгресс 1856 г.) и т.д.

Следует иметь в виду, что в литературе традиционно распространены названия «Венская система», «Парижская система» и т.п. Слово «система» во всех подобных случаях применено для подчеркивания взаимосвязанного, сложно переплетенного характера обязательств и обусловленных ими отношений между государствами. Кроме того, такое употребление отражает и укоренившееся на протяжении веков в умах ученых, дипломатов и политиков мнение: «Европа — это и есть мир». Тогда как с позиций современного мироведения и нынешнего этапа развития науки о международных отношениях, строго говоря, точнее было бы сказать «Венская подсистема» и «Парижская подсистема».

Во избежание терминологических накладок и исходя из необходимости акцентировать видение конкретных событий международной жизни на фоне эволюции глобальной структуры мира и ее отдельных частей, в этом издании термины «подсистема» и «система» будут, как правило, использоваться при необходимости оттенить взаимосвязи событий в отдельных странах и регионах с состоянием общемировых политических процессов и отношений. В остальных случаях, когда речь будет идти о комплексах конкретных договоренностей и возникавших на их основе отношений, мы будем стремиться употреблять слово «порядок» — Версальский порядок и Вашингтонский порядок. Вместе с тем в ряде случаев, учитывая традицию употребления, выражения типа «Версальская (Вашингтонская) подсистема» сохранены.

Для понимания логики международно-политического процесса в 1918–1945 гг. ключевым является понятие многополярности. Строго говоря, вся история международных отношений протекала под знаком борьбы за гегемонию, т.е. за бесспорно преобладающие позиции в мире, вернее в той его части, которая в конкретный момент исторического времени считалась миром-вселенной или ойкуменой, как ее называли древние греки.

Скажем, с позиций Плутарха, историка времен после Александра Македонского, Македонская держава с покорения Персидского царства несомненно была мировым государством, империей-гегемоном,

так сказать, единственным полюсом мира. Однако лишь того мира, который был известен Плутарху и ограничивался, по сути дела, Средиземноморьем, Ближним и Средним Востоком и Центральной Азией. Уже образ Индии казался эллинистическому сознанию настолько смутным, что эта земля не воспринималась в плоскости ее возможного вмешательства в дела эллинистического мира, который для последнего только-то и был миром. О Китае в этом смысле говорить вообще не приходится.

Подобным же образом государством-миром, единственным мировым полюсом-источником силы и влияния воспринимался и Рим эпохи расцвета; его монопольное положение в международных отношениях было таковым лишь в той мере, как древнее римское сознание стремилось отождествлять реально существующую вселенную со своими представлениями о ней.

С позиций соответственно эллинистического и римского сознания современный им мир или, как бы мы сказали, международная система были однополярными, т.е. в их мире существовало одно-единственное государство, практически безраздельно господствовавшее на всей территории, представлявшей реальный или даже потенциальный интерес для тогдашнего «политического сознания», или, как бы мы сказали современным языком, на доступном для соответствующего общества «цивилизационном пространстве».

С позиций сегодняшнего дня относительность «античной однополярности» очевидна. Но не это важно. Важно, что ощущение реальности однополярного мира — пусть и ложное — перешло к политическим и культурным наследникам античности, еще более исказившись при передаче. В итоге тоска о вселенском господстве, настоянная на исторических сведениях и преданиях о великих древних империях, если и не полностью возобладали в политическом сознании последующих эпох, все же сильно повлияла на государственные умы в очень многих странах, начиная с раннего Средневековья.

Повторить уникальный и во всех отношениях ограниченный опыт империй Александра Македонского и Римской не удалось ни разу. Но большинство сколько-нибудь могущественных государств так или иначе пыталось это сделать — Византия, империя Карла Великого, монархия Габсбургов, наполеоновская Франция, объединившаяся Германия — только самые очевидные и яркие примеры попыток и неудач такого рода. Можно сказать, что большая часть истории международных отношений с позиций системности может быть объяснена как история попыток то одной, то другой державы сконструировать однополярный

мир — попыток, заметим, во многом вдохновленных ложно понятым или сознательно искаженно интерпретируемым опытом античности.

Но с тем же успехом можно констатировать и другое: фактически со времен распада «античной однополярности» в межгосударственных отношениях сложилась реальная многополярность, понимаемая как существование в мире, как минимум, нескольких ведущих государств, сопоставимых по совокупности своих военных, политических, экономических возможностей и культурно-идеологическому влиянию.

Возможно, изначально она возникла более или менее случайно — в силу стечения неблагоприятных обстоятельств претендующая на гегемонию держава, скажем Швеция времен Тридцатилетней войны (1618–1648), не смогла мобилизовать необходимые ресурсы для реализации своих целей. Но очень скоро другие страны стали рассматривать сохранение многополярности как своего рода гарантию собственной безопасности. Логика поведения целого ряда государств стала определяться стремлением не допустить слишком явного усиления геополитических возможностей своих потенциальных соперников.

Под геополитическими понимается совокупность возможностей государства, определяющихся природно-географическими факторами в широком смысле слова (географическое положение, территория, население, конфигурация границ, климатические условия, уровень экономического развития отдельных территорий и связанная с этим инфраструктура), изначально задающими положение той или иной страны в системе международных отношений. Традиционным путем усиления геополитических возможностей было присоединение новых территорий — либо путем прямого захвата военной силой, либо — в династической традиции Средних веков — путем приобретения через брак или наследование. Соответственно, и дипломатия все больше внимания уделяла предупреждению ситуаций, способных результироваться в «чрезмерное» приращение потенциала какого-то уже достаточно крупного государства.

В связи с этими соображениями в политическом лексиконе надолго утвердилось понятие баланса сил, которым почти безгранично широко стали пользоваться как западные авторы, так и исследователи разных школ в России и СССР. Злоупотребление этим броским термином привело к размыванию его границ и даже частичному обесмысливанию.

Часть авторов использовала термин «баланс сил» как синоним понятия «равновесие возможностей». Другая, не усматривая жесткой смысловой привязки между «балансом» и «равновесием», рассматривала «баланс сил» просто как соотношение возможностей отдельных

мировых держав в тот или иной конкретный исторический период. Первое течение ориентировалось на то лингвистическое значение, которое слово «*balance*» имеет в западных языках; второе отталкивалось от понимания слова «баланс», присущего русскому языку. В этой книге авторы будут использовать словосочетание «баланс сил» именно во втором смысле, т.е. в значении «соотношение возможностей». Таким образом, будет понятно, что «баланс сил» есть некое объективное состояние, всегда присущее международной системе, тогда как равновесие сил, даже и приблизительное, складывалось в ней далеко не всегда и, как правило, бывало неустойчивым. Равновесие сил, следовательно, представляет собой частный случай баланса сил как объективно существующего соотношения между отдельными государствами в зависимости от совокупности военных, политических, экономических и иных возможностей, которыми каждое из них обладает.

По этой логике выстраивались в Европе международные отношения на основе Вестфальского (1648) и Утрехтского (1715) договоров, венчавших соответственно Тридцатилетнюю войну и Войну за испанское наследство. Попытка революционной, а затем наполеоновской Франции круто изменить соотношение сил в Европе вызвала ответную реакцию западноевропейской дипломатии, которая, начиная с Венских основоположений 1815 г., сделала заботу о сохранении «европейского равновесия» едва ли не главной задачей внешней политики империи Габсбургов, а затем Великобритании.

Сохранение многополярной модели равновесия было поставлено под серьезнейшую угрозу возникновением в 1871 г. Германской империи на базе объединения германских земель в мощнейший сплошной геополитический массив, включивший преимущественно французские Эльзас и Лотарингию. Контроль Германии над ресурсами двух этих провинций (уголь и железная руда) в момент, когда определяющую роль для военно-технических возможностей государств стали играть металлоемкие производства, способствовал возникновению ситуации, когда сдерживание единой Германии рамками традиционного «европейского равновесия» методами дипломатии и политики оказалось невозможным. Таковы были структурные предпосылки Первой мировой войны — войны, которая может быть описана как попытка укрепления структуры многополярности через насильственное встраивание «выбившейся из ряда» Германии в ее новом, объединенном, качестве в архаичную структуру многополярности в том виде, идеалом которого с позиций многих европейских политиков начала XX в. по-прежнему виделся Венский порядок начала XIX в.

Забегая вперед и апеллируя к геополитическим урокам Первой и Второй мировых войн, мы можем сказать, что и к началу XX в. в принципе теоретически существовало как минимум два способа стабилизации международной системы — политическими и экономическими методами, т.е. не прибегая в крупномасштабному использованию военной силы.

Первый предполагал значительно более активное и широкое вовлечение в европейскую политику России, которая в этом случае могла бы эффективно сдерживать Германию с востока методом проецирования своей мощи, а не прямого ее использования. Но для осуществления этого сценария требовались такие важные дополнительные условия, как существенное ускорение хозяйственного и политического развития России, которое сделало бы ее невоенное присутствие в Европе более убедительным и ощутимым. Однако все западноевропейские государства, включая и саму Германию, и соперничавшие с ней Францию и Британию, хотя и по разным причинам, боялись укрепления русского влияния в Европе, подозревая в России нового европейского гегемона. Они предпочитали видеть Россию способной сковать, ограничить амбиции Германии, но недостаточно сильной и влиятельной, чтобы пробрести в «европейском концерте» голос, в более полной мере соответствующий ее гигантским по европейским меркам потенциальным, но не реализуемым возможностям.

Трагедия состояла в том, что в силу как внутренних обстоятельств (косность российской монархии), так и внешних причин (колебания и непоследовательность Антанты в оказании поддержки модернизации России) к началу Первой мировой войны страна оказалась не в состоянии эффективно выполнить принятые (мы не касаемся вопроса об оправданности ее решения) ею на себя функции. Итогом были беспрецедентно затяжной по критериям XIX в. характер войны, страшное истощение и сопутствующие ему неизбежный политический крах России, равно как и крутая, почти одномоментная ломка сложившейся мировой структуры — ломка, вызвавшая шок и глубокий кризис европейского политического мышления, который оно так и не смогло полностью преодолеть до начала Второй мировой войны.

Вторым способом стабилизации международных отношений мог стать выход за рамки евроцентристского мышления. Скажем, если Россия при всей своей важности потенциального противовеса Германии все же внушала — не без оснований — Британии и Франции страхи своим потенциалом, то и самой России можно было поискать противовес — например, в лице неевропейской державы — США. Однако

для этого надо было мыслить «межконтинентальными» категориями. К этому европейцы не были готовы. Не были готовы к этому и сами США, четко ориентировавшиеся почти до конца 1910-х годов на неучастие в европейских конфликтах. Более того, не будем забывать, что в начале XX в. Великобритания рассматривалась в Соединенных Штатах как единственная держава мира, способная благодаря своей военно-морской мощи представлять угрозу для безопасности самих США. Ориентация Лондона на союз с Японией, в которой Вашингтон уже разглядел важного тихоокеанского соперника, отнюдь не способствовала росту готовности США выступить в назревавшем европейском конфликте на стороне Британской империи. Лишь на заключительном этапе Первой мировой войны США преодолели свой традиционный изоляционизм и, бросив часть своей военной мощи на помощь державам Антанты, обеспечили ей необходимый перевес над Германией и в конечном счете победу над австро-германским блоком. Таким образом, «прорыв» европейцев за рамки «евроцентристского» видения все же произошел. Однако это случилось слишком поздно, когда речь шла не о политическом сдерживании Германии, а об ее военном разгроме. Кроме того, «прорыв» этот оказался все же только кратковременным интуитивным прозрением, а не радикальной переоценкой приоритетов, которые европейская дипломатия периода между двумя мировыми войнами унаследовала от классиков, как бы мы сказали сегодня, политологии XIX в., воспитанных на традициях К. Меттерниха, Г. Пальмерстона, О. Бисмарка и А. М. Горчакова.

Это доминирование школы политического мышления XIX в., запоздававшего с осознанием новых геополитических реальностей и нового состояния общемировых политических отношений, и определило то обстоятельство, что главная задача упорядочения международных отношений после Первой мировой войны, по сути дела, была понята не столько как радикальная перестройка мировой структуры, в частности преодоление относительной самодостаточности, политической обособленности Европейской подсистемы от США, с одной стороны, и ареала Восточной Евразии — с другой, а более узко: как реставрация классического «европейского равновесия» или, как бы предпочли сказать мы, многополярной модели международной системы на традиционной, преимущественно европейской основе. Этот узкий подход уже не соответствовал логике глобализации мирополитических процессов и постоянно растущей политической взаимозависимости подсистем мировой политики. Это противоречие между европейским, а часто даже только евроатлантическим видением международной ситуации

и появлением новых центров силы и влияния за пределами Западной и Центральной Европы — в России и США наложило решающий отпечаток на всю мировую политику периода 1918–1945 гг.

Вторая мировая война нанесла по многополярности сокрушительный удар. Еще в ее недрах стали зреть предпосылки для превращения многополярной структуры мира в двуполярную. К концу войны обозначился колоссальный отрыв двух держав — СССР и США от всех остальных государств по совокупности своих военных, политических, экономических возможностей и идейному влиянию. Этот отрыв определял суть биполярности почти так же, как смысл многополярности исторически состоял в примерном равенстве или сопоставимости возможностей относительно многочисленной группы стран при отсутствии резко выраженного и признаваемого превосходства какого-то одного лидера.

Сразу после окончания Второй мировой войны двуполярности как устойчивой модели международных отношений еще не было. Для ее структурного оформления понадобилось около 10 лет. Период становления завершился в 1955 г. созданием Организации Варшавского договора (ОВД) — восточного противовеса сформированного на 6 лет раньше, в 1949 г., на Западе блока НАТО. Причем биполярность до того, как она стала структурно оформляться, сама по себе не предполагала конфронтационности. Изначально символизировавший ее Ялтинско-Потсдамский порядок ассоциировался, скорее, со «сговором сильных», чем с их противостоянием.

Но, естественно, идея двудержавного управления миром вызывала стремление «менее равных» государств (роль, особенно тяжело давшаяся Британии) разобщить своих сильных партнеров, чтобы придать недостающий вес себе. «Ревность» к советско-американскому диалогу стала чертой политики не только Британии, но и Франции, и полуформально признаваемых Москвой правительств центральноевропейских стран. Действия всех их вместе подогревали взаимное недоверие СССР и США. На этом фоне начавшаяся вскоре «встречная эскалация» советских и американских геополитических претензий привела к вытеснению кооперационного начала в советско-американских отношениях конфронтационным.

Буквально за два-три года — со второй половины 1945 г. по приблизительно 1947 г. — сформировался вектор взаимоотталкивания обеих держав. Вехами к нему были американские попытки политики обогреть свою ядерную монополию, советские амбиции в Южном Причерноморье и Иране и неприятие восточноевропейскими странами плана Маршалла, зримо обозначившее очертание будущего «желез-

ного занавеса». Конфронтация стала превращаться в реальность, хотя холодная война еще не началась. Ее первый факт, берлинский кризис, так или иначе спровоцированный финансовой реформой в западных секторах Германии, относится к лету 1948 г. Этому предшествовали и «нажимные» акции СССР в «советской зоне влияния» — сомнительные в части свободы волеизъявления выборы в законодательный сейм Польши в январе 1947 г. и спровоцированный коммунистами политический кризис в Чехословакии в феврале 1948 г.

Говорить о согласованном управлении миром в интересах СССР и США прежде всего, а в интересах других стран — в той мере, как они были представлены этими двумя, уже не приходилось. Идея порядка, основанного на сговоре, сменилась презумпцией возможности сохранить достигнутое соотношение позиций и одновременно обеспечить себе свободу действий. Причем на самом деле свободы действий не было и быть не могло: СССР и США боялись друг друга. Самоиндукция страха определила их естественный интерес к совершенствованию наступательных вооружений, с одной стороны, и «позиционной обороне», поиску союзников — с другой.

Поворот к опоре на союзников предрешил раскол мира. США стали во главе Организации Североатлантического договора. СССР не сразу увидел в своих восточноевропейских сателлитах полноценных союзников и потратил много времени для политической подготовки к созданию Варшавского блока. Но вплоть до провала Парижской конференции «Большой четверки» в мае 1960 г. СССР не оставлял надежд на возвращение к идее советско-американского соуправления. Как бы то ни было, с 1955 г. созданием двух блоков биполярность в конфронтационном варианте была структурно закреплена.

Раздвоение мира оттенялось не только появлением «разделенных государств» — Германии, Вьетнама, Китая и Кореи, — но и тем, что большая часть государств мира была вынуждена сориентироваться относительно оси центрального противостояния НАТО — ОВД. Слабые должны были либо обеспечить удовлетворительный для них уровень представительства своих интересов в сцепке великодержавного регулирования, либо пытаться действовать на свой страх и риск, отстаивая национальные интересы самостоятельно или в союзе с такими же, как они, политическими аутсайдерами. Таково структурно-политическое основание идеи неприсоединения, которая стала реализовываться в середине 1950-х годов — почти одновременно с зарождением у теоретиков китайского коммунизма схем, вылившихся позднее в основанную на дистанцировании от «сверхдержав» теорию трех миров.

«Дух конфронтации» казался выражением сути мировой политики еще и потому, что с 1956 по 1962 г. в международной системе особенно явно преобладали военно-политические методы разрешения кризисов. Это был особый этап эволюции послевоенного мира. Его самой яркой чертой были ультиматумы, грозные заявления, силовые и парасиловые демонстрации, советские подземные ядерные испытания в 1961 г. после американских угроз, в свою очередь, последовавших за возведением Берлинской стены. Наконец, едва не разразившийся мировой ядерный конфликт из-за предпринятой СССР попытки тайно разместить на Кубе свои ракеты, сама идея которой, впрочем, тоже была почерпнута Москвой из американской практики установки нацеленных на СССР ракет в Турции и Италии.

Преобладание в отношениях противостоящих держав военно-силовых методов не исключало элементов их взаимопонимания и партнерства. Бросается в глаза параллелизм шагов СССР и США во время франко-британо-израильской агрессии в Египте — особенно любопытный на фоне происходившего вмешательства СССР в Венгрии. Повторная заявка на глобальное партнерство имела в виду и во время состоявшегося в 1959 г. в Вашингтоне диалога между Н. Хрущевым и А. Эйзенхауэром. В силу неблагоприятных обстоятельств 1960 г. (скандал, вызванный полетом американского самолета-разведчика над советской территорией) эти переговоры не смогли сделать разрядку фактом международной жизни. Но они послужили прототипом разрядки, реализованной на 10 лет позднее.

В целом в 1950-х и начале 1960-х годов политико-силовое регулирование явно доминировало в международных отношениях. Элементы конструктивности существовали как бы полулегально, готовы переменны, но до поры мало проступая на высшем уровне. И только Карибский кризис решительно вытолкнул СССР и США за рамки мышления категориями грубого силового давления. После него на место прямой вооруженной конфронтации стало приходиться опосредованное проецирование мощи на региональных уровнях.

Новый тип двудержавного взаимодействия постепенно выкристаллизовался в годы войны во Вьетнаме (1963–1973) и на ее фоне. Несомненно, СССР косвенно противостоял в этой войне США, хотя даже тени вероятности их прямого столкновения не просматривалось. И не только потому, что, оказывая помощь Северному Вьетнаму, СССР не участвовал в боевых действиях, но и оттого, что на фоне вьетнамской войны в середине 1960-х годов развернулся невиданной интенсивности советско-американский диалог по глобальным проблемам. Пиком

его было подписание в 1968 г. Договора о нераспространении ядерного оружия. Дипломатия потеснила силу и оказалась главенствующим инструментом международной политики. Такое положение сохранялось приблизительно с 1963 до конца 1973 г. — рубежа периода преимущественно политического регулирования мировой системы.

Одно из ключевых понятий этого этапа — «стратегический паритет», понимаемый не как суммарное математическое равенство численности боевых единиц советских и американских стратегических сил, а, скорее, как взаимно признаваемое превышение обеими сторонами качественного рубежа, за которым их ядерный конфликт при всех обстоятельствах гарантировал бы каждой стороне ущерб, заведомо превышающий все мыслимые и планируемые выигрыши от применения ядерного оружия. Значимо то, что он стал определять суть советско-американского дипломатического диалога с того времени, как пришедший к власти в 1968 г. президент Р. Никсон официально заявил о наличии паритета в послании американскому Конгрессу в феврале 1972 г.

Вряд ли было бы правомерным утверждать, что с этого времени сверхдержавы принципиально переориентировались на конструктивное взаимодействие. Но если в 1950-х годах высшим позитивом советско-американских отношений были ограниченные параллельные акции и единичные попытки ведения диалога, то в 1960-х годах имело место настоящее сотрудничество. Произошел сущностный сдвиг: не прекращая взаимной критики, СССР и США на практике стали руководствоваться геополитическими соображениями, а не идейными постулатами. Это обстоятельство не осталось неизменным. Администрации Р. Никсона, а затем Дж. Форда доставалось и от демократов, и от крайне правых республиканцев за «пренебрежение американскими идеалами». Критику социал-империализма в лице Советского Союза на своем знамени начертало и руководство Китая. Ослабление позиций стоявшего за новым советским прагматизмом А. Н. Косыгина указывало на присутствие сильной пуристской оппозиции его гибкому курсу и в самом СССР.

Однако все это не помешало Москве и Вашингтону отладить политический диалог, усовершенствовать механизм интерпретации политических сигналов и уточнения намерений сторон. Была усовершенствована линия прямой связи, создана сеть амортизирующих устройств, аналогичных тому, что в критический момент Карибского кризиса позволило организовать в Вашингтоне встречу советского посла А. Ф. Добрынина с братом президента Робертом Кеннеди. В мае 1972 г., обобщая накопленный опыт, стороны подписали принципи-

ально важный в этом смысле документ «Основы взаимоотношений между СССР и США».

Рост взаимной терпимости и доверия позволил в том же году заключить в Москве Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). Оба договора открыли путь серии последовавших за ними соглашений.

Результирующей этих разрозненных усилий было общее советско-американское взаимопонимание в том, что касалось отсутствия у обеих сторон агрессивных намерений, по крайней мере, в отношении друг друга. К прочим это прямо не относилось. Но желание Москвы и Вашингтона уклониться от любого столкновения само по себе оказывало сдерживающее влияние на их политику в третьих странах, ужимая рамки международной конфликтности, хотя, конечно, не блокируя ее рост полностью.

Во всяком случае, не без учета реакции Вашингтона складывалась позиция Москвы в советско-китайском противостоянии летом-осенью 1969 г. Пиком его стали упорные на Западе и не опровергавшиеся в СССР сообщения о возможности превентивных ударов советской авиации с аэродромов на территории МНР по ядерным объектам в КНР. Очередной кризис был предотвращен не только благодаря гибкости советской дипломатии, но и под влиянием США, которые без экзальтации, но твердо заявили о неприемлемости непредсказуемого разрастания советско-китайского конфликта.

Такова, между прочим, одна из до сих пор опускаемых в российских исследованиях глобально-стратегических предпосылок «внезапной» китайско-американской нормализации 1972 г., а в более широком смысле и разрядки на всем ее азиатском фланге. При том, что в США ослабление напряженности в 1970-х годах вообще воспринимается прежде всего через призму прекращения вьетнамской войны и установления новых отношений с Китаем, тогда как в России — в основном фокусируясь на признании нерушимости послевоенных границ в Европе.

К середине 1970-х годов из десятилетия «эры переговоров» обе сверхдержавы сделали весьма существенный вывод: нет угрозы попыток резкого, силового слома базисных соотношений их позиций. По сути дела, было достигнуто взаимное согласие на «консервацию застоя», сама идея которого так хорошо укладывалась во внутривнутриполитическую ситуацию терявшего динамику Советского Союза под руководством его дряхлевшего вождя.

Это, конечно, не исключало обоюдного стремления добиться преобладания постепенно. Компромисс в «консервации застоя» не мог быть

особенно прочным уже потому, что лежавшая в его основе идея разведения интересов СССР и США, предполагавшая большую или меньшую устойчивость «зон преимущественных интересов», противоречила логике развития. После зафиксированного в 1975 г. в Хельсинки общеевропейского урегулирования на первый план в международных отношениях выступили вызовы, связанные с непредсказуемым пробуждением развивающегося мира. Чем импульсивнее были возникавшие там сдвиги, тем теснее казались рамки советско-американского взаимопонимания.

Тем более что и главный, и подразумевавшийся смысл этого взаимопонимания интерпретировался и на Востоке, и на Западе по-разному. В СССР — ограничительно. Сохранение «базисных» соотношений считалось совместимым с расширением позиции на региональной периферии, особенно нейтральной, не входящей в зону традиционного американского преобладания. Не случайно в середине 1970-х годов наблюдалось усиление интереса советских идеологов к вопросам пролетарского, социалистического интернационализма и мирного сосуществования, которое по-прежнему сочеталось с тезисом об обострении идеологической борьбы. От солидарности с единомышленниками в «третьем мире» (реальными или предполагаемыми) отказываться никто не собирался.

Со своей стороны, США дорожили согласием с СССР во многом из-за полученных от него, как казалось администрации, обязательств его сдержанности и в отношении «неразделенных территорий», т.е. стран, не успевших себя связать проамериканской или просоветской ориентацией.

Дело осложнялось идеологической ситуацией в США, где после окончания вьетнамской войны и на волне доставшегося от нее синдрома происходил мощный всплеск политического морализма с характерным для него болезненным вниманием к этической базе американской внешней политики и защите прав человека во всем мире.

На фоне жестких мер Москвы против диссидентов и ее неуступчивости в вопросе увеличения еврейской эмиграции эти тенденции неизбежно приобрели антисоветскую направленность. Попытки администрации сначала Дж. Форда (1974–1977), а затем Дж. Картера (1977–1981) умерить натиск правозащитников успеха не имели. В последнем случае против компромисса с Москвой активно выступал и помощник президента по национальной безопасности Зб. Бжезинский, в котором даже в пору пребывания на официальном посту уязвленное национальное чувство потомка польских эмигрантов бросало тень на профессиональную безупречность «эксперта по коммунизму».

События, словно нарочно, благоприятствовали обостренному восприятию Америкой советской политики. После Парижских соглашений по Вьетнаму (1973 г.) США резко сократили численность армии и отменили введенную было на время войны всеобщую воинскую обязанность. Общий настрой в Вашингтоне был против любых вмешательств в «третьем мире». В фокусе общественного мнения США оказались рецепты лечения внутренних недугов американского общества.

В Москве сосредоточенность США на себе заметили и сделали выводы. Было решено, что разрядка создала благоприятные условия для развертывания идеологического наступления и оказания помощи единомышленникам. В 1974 г. военные свергли монархию в Эфиопии. Победившая в том же году «революция гвоздик» в Лиссабоне вызвала распад португальской колониальной империи и образование в 1975 г. в Анголе и Мозамбике очередных авторитарно-националистических режимов, не мудрствуя провозгласивших прокоммунистическую ориентацию. СССР не преодолел соблазн и устремился в открывшиеся бреши, «на полкорпуса» опережаемый Кубой.

Но и это было не все. В 1975 г. слабый и непопулярный южновьетнамский режим в Сайгоне рухнул под натиском коммунистов, и Вьетнам объединился под руководством Севера на базе верности социалистическому выбору. В том же году при самом деятельном участии «народно-революционного» фактора произошла смена режимов в Лаосе и Камбодже. Правда, в последнем случае преобладающим оказалось влияние не Вьетнама или СССР, а Китая. Но как бы то ни было, и Камбоджа, и Лаос провозгласили верность социалистической перспективе. Та недвусмысленная роль, на которую стал претендовать Вьетнам в Индокитае, могла давать основания обвинять СССР в распространении коммунистической экспансии и экспорте революции.

События не позволяли огню подозрительности затухнуть хотя бы ненадолго. В 1978 г. проiscaми неких «прогрессивных» сил была свергнута вполне дружественная по отношению к СССР монархия в Афганистане, что оказалось прологом к будущей десятилетней трагедии. А летом 1979 г. коммунисты вооруженным путем взяли власть в Никарагуа.

К этому времени в СССР военные уже добились принятия новой военно-морской программы. Отдаленная мировая периферия заняла умы советских политиков — плотнее, чем это могло быть оправдано реальными геополитическими интересами страны. На преобладание их расширительных интерпретаций существенно повлияли устремления военно-промышленного комплекса, возможности которого в на-

чале 1970-х годов сделали экспорт вооружений в государства-партнеры мощным политико-формирующим фактором.

США не оставались, конечно, безучастными. Правда, они по-прежнему не помышляли о столкновении с СССР. Американская политология предложила вариант «асимметричного» сдерживания советского продвижения. Были приняты меры к усилению косвенного давления на Советский Союз со стороны его протяженных и уязвимых восточноазиатских границ.

Развивая успех американско-китайской нормализации, администрация Дж. Картера стала работать над закреплением Китая на позиции противостояния СССР, поддерживая стабильно высокий уровень их взаимной враждебности. Одновременно американская дипломатия помогала «укреплять тылы» КНР, содействуя улучшению китайско-японских отношений, которые развивались круто по восходящей с быстрым охлаждением связей Японии с Советским Союзом.

Дело дошло до того, что к концу 1970-х в части советских политикоформирующих сфер сложилось мнение о превращении китайской, точнее объединенной китайско-американской, угрозы в главный вызов безопасности Советского Союза. Теоретически эта опасность намного перевешивала все мыслимые и немыслимые угрозы для безопасности США со стороны советской активности в «третьем мире».

Закрытые архивы не позволяют судить о том, насколько серьезно американские руководители могли рассматривать возможность конфликта такой конфигурации. Отчетливая попытка Дж. Картера дистанцироваться от Китая в момент его военного конфликта с Вьетнамом в 1979 г. не склоняет к завышенным оценкам перспектив тогдашнего американско-китайского стратегического партнерства. Бесспорно другое: напряженность на восточной границе не позволила Советскому Союзу приостановить наращивание вооружений, несмотря на улучшение обстановки в Европе и наличие стратегического паритета с США. В то же время высокие расходы Москвы на оборону принимались в расчет американской стороной, формулировавшей концепцию экономического истощения СССР.

К этой идее подталкивали и потрясения, охватившие международные отношения в середине 1970-х годов — «нефтяной шок» 1973–1974 гг., повторившийся в 1979–1980 гг. Именно он оказался прессингом, побудившим часть международного сообщества, полагавшуюся на импорт дешевой нефти, за 6–7 лет путем колоссального напряжения перейти на энерго- и ресурсосберегающие модели экономического роста, отказавшись от многолетней практики расточительства природных запасов.

На фоне относительно высокой глобальной стабильности в центр мировой политики сместились вопросы снижения экономической уязвимости государств, обеспечения их индустриального роста и производственной эффективности. Эти параметры стали более явно определять роль и статус государств. В разряд первых фигур мировой политики стали продвигаться Япония и Западная Германия. Качественные сдвиги показывали, что с 1974 г. мировая система вступила в период преимущественно экономического регулирования.

Драматизм ситуации состоял в том, что СССР, полагаясь на самообеспеченность энергоносителями, упустил возможность провести перезакладку научно-исследовательских программ, нацеливающих его на новый этап производственно-технической революции. Тем самым было предопределено снижение роли Москвы в управлении миром — снижение, пропорциональное ослаблению ее экономических и технико-экономических возможностей.

Совещание 1975 г. в Хельсинки, формально увенчавшее первую разрядку, состоялось в момент, когда тенденция к улучшению советско-американского взаимопонимания уже выдыхалась. Инерции хватило еще на несколько лет. Антишахская революция в Иране и начало афганской войны обозначили лишь формальную событийную канву уже ставшего фактом провала разрядки. С начала 1980-х годов резко возросла международная напряженность, в условиях которой Запад сумел реализовать свои технологические преимущества, накопленные на волне разработок второй половины 1970-х годов.

Борьба за экономическое истощение СССР через его научно-технологическую изоляцию вступила в решающую стадию. Тяжелейший кризис управления внутри Советского Союза, который с 1982 по 1985 г. приобрел карикатурные формы «чехарды генсеков», в сочетании с окончанием эры дорогой нефти, обернувшимся для СССР разорением бюджета из-за резкого сокращения поступлений, довершили дело. Придя к власти весной 1985 г., М. С. Горбачев во внешнеполитическом плане не имел другой рациональной альтернативы, кроме перехода к глобальным переговорам о согласованной ревизии Ялтинско-Потсдамского порядка.

Речь шла о преобразовании конфронтационного варианта биполярности в кооперационный, поскольку продолжать противостояние с США и другими державами Советский Союз был не в состоянии. Но было ясно, что так просто Соединенные Штаты на предлагаемый Москвой сценарий «перестройки в мировом масштабе» не пойдут. Необходимо было договориться об условиях, на которых Запад, США прежде всего, согласится

гарантировать СССР пусть несколько меньшее, чем раньше, но первостепенно важное и почетное место в международной иерархии.

Поискам взаимоприемлемой цены, по сути дела, и были посвящены пять-шесть лет до лишения М. С. Горбачева президентской власти в конце 1991 г. Цена эта, насколько можно судить по небывало возросшему политическому авторитету Советского Союза — на фоне всем очевидного ослабления его возможностей — в принципе была найдена. Он фактически добился права на недискриминационное сотрудничество с Западом при сохранении своего привилегированного глобального статуса, несмотря на то что основания для этого были не бесспорными, например, на фоне искусственного отстранения от решающей мирополитической роли новых экономических гигантов, прежде всего Японии. Свой раунд борьбы за место в мире дипломатия перестройки выиграла, пусть платой за выигрыш были объединение Германии и отказ в 1989 г. от поддержки коммунистических режимов в странах бывшей Восточной Европы.

Позиция СССР, занятая в начале 1991 г. в отношении подавления вооруженными силами США и ряда других западных государств, действовавшими по санкции ООН, иракской агрессии против Кувейта, была своего рода апробацией нового советско-американского взаимопонимания о соучастии в международном управлении при асимметрии функций каждой из держав. Эта новая роль СССР очевидно сильно отличалась от его положения доперестроечных времен, когда стандартом считалось церемонное, не раз и подводившее, почти ритуализованное и длительное согласование мнений.

Но и в новых условиях Советский Союз сохранял достаточно influential роль ключевого партнера США, без которого мировое управление было невозможно. Однако заработать в полную силу этой модели было не дано. В результате радикализации внутренних процессов в 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Ялтинско-Потсдамский порядок распался, а международная система стала сползать к дерегулированию. Возник своеобразный *кризис миросистемного регулирования*, который, однако, не достиг критической остроты и не привел к общему обострению международной ситуации, способной угрожать новой мировой войной. Из кризиса миросистемного регулирования ко второй половине 1990-х годов стала вырастать новая структура международных отношений и новая машина мироуправления, получившая название плюралистической однополярности. Эта модель международных отношений, кажется, продолжает существовать.

Глава 2

.....

Порядок в международной системе на рубеже XXI века*

Окончание Второй мировой войны ознаменовало важный рубеж развития международной системы в ее движении от множественности главных игроков международной политики к уменьшению их числа и ужесточению иерархии — т.е. отношений соподчиненности — между ними. Многополярная система, сформировавшаяся во времена Вестфальского урегулирования (1648 г.) и сохранявшаяся (с модификациями) на протяжении нескольких веков до Второй мировой войны, преобразовалась по ее итогам в биполярный мир, в котором доминировали США и СССР. Эта структура, просуществовав более полувека, в 1990-х годах уступила место миру, в котором уцелел один «комплексный лидер» — Соединенные Штаты Америки.

Как описывать эту новую организацию международных отношений с точки зрения полярности? Без выяснения различий между много-, би- и однополярностью корректно ответить на этот вопрос нельзя. Под *многополярной структурой международных отношений* понимается организация мира, для которой характерно наличие нескольких (четыре или более) наиболее влиятельных государств, сопоставимых между собой по совокупному потенциалу своего комплексного (экономического, политического, военно-силового и культурно-идеологического) влияния на международные отношения.

Соответственно, для биполярной структуры типичен отрыв всего двух членов международного сообщества (в послевоенные годы — Советского Союза и США) от всех остальных стран мира по этому совокупному показателю для каждой из держав. Следовательно, если налицо был отрыв не двух, а всего одной державы мира по потенциалу своего комплексного влияния на мировые дела, т.е. влияние любых других стран несопоставимо меньше влияния единственного лидера, то такую международную структуру приходится считать однополярной.

Современная система не стала «американским миром» — *Rex Americana*. США реализуют в ней лидерские амбиции, не чувствуя себя

* Написано в июне 2003 г. — Системная история международных отношений в четырех томах. 1945–2003. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. Т. 3. С. 9–16.

в абсолютно разряженной международной среде. На политику Вашингтона влияют семь других важных субъектов международной политики, в окружении которых действует американская дипломатия. В круг семи партнеров США входила и Российская Федерация — хотя де-факто даже тогда с ограниченными правами. Все вместе США со своими союзниками и Российской Федерацией образуют «Группу восьми» — престижное и влиятельное неформальное межгосударственное образование. Страны НАТО и Япония образуют в нем группы «старых» членов, а Россия являлась единственным новым, так тогда казалось.

Для понимания соотношения позиций на высших уровнях международной иерархии важно иметь в виду, что из семи членов «восьмерки» помимо США — пять (Великобритания, Германия, Италия, Канада и Франция) — союзники Вашингтона по военно-политическому союзу НАТО, а одна (Япония) связана с США двусторонними военно-политическими обязательствами. Система этих взаимных обязательств при военно-политическом и экономическом преобладании США над партнерами делает последних чувствительными к американскому влиянию. Россия, не связанная официальными союзническими отношениями ни с одной из стран этой группы, располагала вследствие этого большей автономией. Но в силу экономической слабости она, как было сказано, фактически не обладает всем объемом привилегий членства в «восьмерке».

На международную систему оказывает значительное влияние не входящий в «Группу восьми» Китай, который с середины 1990-х годов стал серьезно заявлять о себе как о ведущей мировой державе и добился в начале XXI в. впечатляющих экономических результатов. По совокупности своих возможностей КНР в обозримой перспективе не может выйти на уровень сопоставимости с США и поэтому пока не является для Соединенных Штатов реальным соперником в глобальной политике.

На фоне такого соотношения возможностей между ведущими мировыми державами, очевидно, говорить о серьезных ограничителях американского доминирования можно с долей условности. Конечно, современной международной системе присущ *плюрализм* — ключевые международные решения вырабатываются в ней не только Соединенными Штатами. К процессу их формирования, как в рамках ООН, так и вне их, имеет доступ относительно широкий круг государств. Но с учетом рычагов влияния США плюрализм международно-политического процесса не меняет смысла ситуации: *Соединенные Штаты ушли в отрыв от остальных членов международного сообщества по совокупности своих возможностей*, следствием чего и является тенденция к росту американского влияния на мировые дела.

Уместно предполагать углубление тенденций к наращиванию потенциала других мировых центров — Китая, Индии, России, объединенной Европы, если последней суждено стать политически единым целым. В случае разрастания этой тенденции в будущем возможна новая трансформация международной структуры, которая, не исключено, приобретет многополярную конфигурацию. В этом смысле следует понимать официальные высказывания руководящих деятелей Российской Федерации о движении современного мира в направлении к подлинной многополярности, в которой не будет места гегемонии какой-либо одной державы. Но сегодня пока приходится констатировать иное: международная структура в том виде, в каком она сформировалась к середине первого десятилетия XXI в. — *структура плюралистичного, но однополярного мира.*

Эволюция международных отношений после 1945 г. происходила в рамках двух сменивших друг друга международных порядков — сначала биполярного (1945–1991), затем плюралистически-однополярного, который стал формироваться после распада СССР. *Первый* известен в литературе под названием Ялтинско-Потсдамского — по названиям двух ключевых международных конференций (в Ялте 4–11 февраля и в Потсдаме 17 июля — 2 августа 1945 г.), на которых руководители трех главных держав антинацистской коалиции (СССР, США и Великобритании) согласовали базовые подходы к послевоенному мироустройству.

Второй — не имеет общепризнанного названия. Его параметры не согласовывались ни на какой универсальной международной конференции. Этот порядок сформировался де-факто на основании цепи прецедентов, представлявших собой шаги Запада, главнейшими из которых были решение администрации США в 1993 г. содействовать распространению демократии в мире (доктрина «расширения демократии»); расширение Североатлантического альянса на восток за счет включения в него новых членов, начавшееся с Брюссельской сессии совета НАТО в декабре 1996 г., которая утвердила график принятия в альянс новых членов; решение Парижской сессии совета НАТО в 1999 г. о принятии новой стратегической концепции Альянса и расширении зоны его ответственности за пределы Северной Атлантики и, наконец, американо-британская война 2003 г. против Ирака, приведшая к свержению режима Саддама Хусейна.

В отечественной литературе была попытка назвать постбиполярный международный порядок Мальто-Мадридским — по советско-американскому саммиту на острове Мальта в декабре 1989 г. Было принято считать, что советское руководство подтвердило отсутствие у него намерений мешать странам Варшавского договора самостоятельно

решать вопрос о следовании или неследовании по «пути социализма», и Мадридской сессии НАТО в июле 1997 г., когда первые три страны, добивавшиеся принятия в Альянс (Польша, Чехия и Венгрия), получили от стран НАТО официальное приглашение к ним присоединиться.

Название в самом деле неудачно. Считать итоговым рубежом Ялтинско-Потсдамского порядка 1989 г. — не точно, потому что в то время СССР еще оставался мощным международным субъектом и вел переговоры с США лишь о частичной ревизии послевоенного биполярного устройства. Сам порядок продолжал существовать, речь о его сломе не шла, а биполярность устраивала Москву и Вашингтон. Ялтинско-Потсдамский порядок перестал существовать лишь после распада Советского Союза в 1991 г., когда исчезла держава, бывшая наряду с США одним из двух главных гарантов этого порядка.

Дело не в названиях. При любом наименовании суть нынешнего мироустройства состоит в реализации проекта миропорядка на базе формирования единой экономической, политико-военной и этико-правовой общности наиболее развитых стран Запада, а затем — распространения влияния этой общности на остальной мир.

Этот порядок фактически существовал более десяти лет. Его распространение происходит отчасти мирным путем: через рассеивание в различных странах и регионах современных западных стандартов экономической и политической жизни, образцов и моделей поведения, представлений о путях и средствах обеспечения национальной и международной безопасности, а в более широком смысле — о категориях блага, вреда и опасности — для последующего их там культивирования и закрепления. Но западные страны не ограничиваются мирными средствами реализации своих целей. В начале 2000-х годов США и некоторые союзные им страны активно использовали силу для утверждения элементов выгодного им международного порядка — на территории бывшей Югославии в 1996 и 1999 гг., в Афганистане — в 2001–2002 гг., в Ираке — в 1991, 1998 и 2003 гг.

Несмотря на присущие мировым процессам противоборства, современный международный порядок складывается как *порядок глобальной общности, в буквальном смысле глобальный порядок*. Далекий от завершенности, несовершенный и травматичный для России, он занял место биполярной структуры, впервые прорисовавшейся в мире по окончании Второй мировой войны весной 1945 г.

Послевоенное мироустройство предполагалось основать на идее сотрудничества держав-победительниц и поддержания их согласия в интересах такого сотрудничества. Роль механизма выработки этого согласия отводилась Организации Объединенных Наций, Устав ко-

торой был подписан 26 июня 1945 г. и в октябре того же года вступил в силу. Он провозгласил целями ООН не только поддержание международного мира, но и содействие реализации прав стран и народов на самоопределение и свободное развитие, поощрение равноправного экономического и культурного сотрудничества, воспитание уважения к правам человека и основным свободам личности. ООН была предназначена роль всемирного центра координации усилий в интересах исключения из международных отношений войн и конфликтов путем гармонизации отношений между государствами.

Но ООН столкнулась с невозможностью обеспечить совместимость интересов своих ведущих членов — СССР и США из-за остроты возникавших между ними противоречий. Вот почему на *деле главной функцией ООН*, с которой она успешно справилась в рамках Ялтинско-Потсдамского порядка, было не совершенствование международной действительности и содействие распространению морали и справедливости, а *предупреждение вооруженного столкновения между СССР и США, устойчивость отношений между которыми была главным условием международного мира.*

Ялтинско-Потсдамский порядок обладал рядом особенностей. *Во-первых*, он не имел прочной договорно-правовой базы. Лежавшие в его основе договоренности были либо устными, официально не зафиксированными и долгое время остававшимися секретными, либо закрепленными в декларативной форме. В отличие от Версальской конференции, сформировавшей мощную договорно-правовую систему, ни Ялтинская конференция, ни Потсдамская к подписанию международных договоров не привели.

Это делало Ялтинско-Потсдамские основоположения уязвимыми для критики и ставило их действенность в зависимость от способности заинтересованных сторон обеспечить фактическое исполнение этих договоренностей не правовыми, а политическими методами и средствами экономического и военно-политического давления. Вот почему элемент регулирования международных отношений с помощью угрозы силой или путем ее применения был в послевоенные десятилетия контрастнее выражен и имел большее практическое значение, чем то было характерно, скажем, для 1920-х годов с типичными для них акцентом на дипломатических согласованиях и апелляцией к правовым нормам. Несмотря на юридическую хрупкость, «не вполне легитимный» Ялтинско-Потсдамский порядок просуществовал (в отличие от Версальского и Вашингтонского) более полувека и разрушился лишь с распадом СССР.

Во-вторых, Ялтинско-Потсдамский порядок был биполярным. После Второй мировой войны возник резкий отрыв СССР и США от всех

остальных государств по совокупности своих военно-силовых, политических и экономических возможностей и потенциалу культурно-идеологического влияния. Если для многополярной структуры международных отношений была типична примерная сопоставимость совокупных потенциалов нескольких главных субъектов международных отношений, то после Второй мировой войны сопоставимыми можно было считать лишь потенциалы Советского Союза и Соединенных Штатов.

В-третьих, послевоенный порядок был конфронтационным. Под конфронтацией понимается тип отношений между странами, при котором действия одной стороны систематически противопоставляются действиям другой. Теоретически биполярная структура мира могла быть как конфронтационной, так и кооперационной — основанной не на противостоянии, а на сотрудничестве сверхдержав. Но фактически с середины 1940-х годов до середины 1980-х Ялтинско-Потсдамский порядок был конфронтационным. Только в 1985–1991 гг., в годы «нового политического мышления» М. С. Горбачева, он стал трансформироваться в кооперационную биполярность, которой не было суждено стать устойчивой в силу кратковременности ее существования.

В условиях конфронтации международные отношения приобрели характер напряженного, временами остроконфликтного, взаимодействия, пронизанного подготовкой главных мировых соперников — Советского Союза и США — к отражению гипотетического взаимного нападения и обеспечению своей выживаемости в ожидаемом ядерном конфликте. Это породило во второй половине XX в. гонку вооружений невиданных масштабов и интенсивности.

В-четвертых, Ялтинско-Потсдамский порядок складывался в эпоху ядерного оружия, которое, внося дополнительную конфликтность в мировые процессы, одновременно способствовало появлению во второй половине 1960-х годов особого механизма предупреждения мировой ядерной войны — модели «конфронтационной стабильности». Ее негласные правила, сложившиеся между 1962 и 1991 гг., оказывали сдерживающее влияние на международную конфликтность глобального уровня. СССР и США стали избегать ситуаций, способных спровоцировать вооруженный конфликт между ними. В эти годы сложились новая и по-своему оригинальная концепция взаимного ядерно-силового сдерживания и основанные на ней доктрины глобальной стратегической стабильности на базе «равновесия страха». Ядерная война стала рассматриваться лишь как самое крайнее средство решения международных споров.

В-пятых, послевоенная биполярность приобрела форму политико-идеологического противостояния между «свободным миром» во главе

с США (политическим Западом) и «социалистическим лагерем», руководимым Советским Союзом (политическим Востоком). Хотя в основе международных противоречий чаще всего лежали геополитические устремления, внешне советско-американское соперничество выглядело как противостояние политических и этических идеалов, социальных и моральных ценностей. Идеалов равенства и уравнительной справедливости — в «мире социализма» и идеалов свободы, конкурентности и демократии — в «свободном мире». Острая идеологическая полемика привносила в международные отношения дополнительную непримиримость в спорах.

Она вела к взаимной демонизации образов соперников — советская пропаганда приписывала Соединенным Штатам замыслы по части уничтожения СССР точно так же, как американская убеждала западную общественность в намерении Москвы распространить коммунизм на весь мир, разрушив США как основу безопасности «свободного мира». Наиболее сильно идеологизация сказывалась в международных отношениях в 1940–1950-х годах.

Позднее идеология и политическая практика сверхдержав стали расходиться таким образом, что на уровне официальных установок глобальные цели соперников по-прежнему интерпретировались как непримиримые, а на уровне дипломатического диалога стороны научились вести переговоры, пользуясь неидеологическими понятиями и оперируя геополитическими аргументами. Тем не менее до середины 1980-х годов идеологическая поляризация оставалась важной чертой международного порядка.

В-шестых, Ялтинско-Потсдамский порядок отличался высокой степенью управляемости международных процессов. Как порядок биполярный он строился на согласовании мнений всего двух держав, что упрощало переговоры. США и СССР действовали не только в качестве отдельных государств, но и в роли групповых лидеров — НАТО и Варшавского договора. Блоковая дисциплина позволяла Советскому Союзу и Соединенным Штатам гарантировать исполнение «своей» части принимаемых обязательств государствами соответствующего блока, что повышало действенность решений, принимаемых в ходе американско-советских согласований.

Перечисленные характеристики Ялтинско-Потсдамского порядка обусловили высокую конкурентность международных отношений, которые развивались в его рамках. Благодаря взаимному идеологическому отчуждению эта по-своему естественная конкуренция между двумя сильнейшими странами носила характер нарочитой враждебности. С апреля 1947 г. в американском политическом лексиконе с подачи

видного американского предпринимателя и политика Бернарда Баруха появилось выражение «холодная война», вскоре ставшее популярным благодаря многочисленным статьям полюбившего его американского публициста Уолтера Липпмана. Поскольку это выражение часто используется для характеристики международных отношений 1945–1991 гг., требуется пояснить его смысл.

Формулировка «холодная война» употребляется в двух значениях. В широком — как синоним слова «конфронтация» и применяется для характеристики всего периода международных отношений с окончания Второй мировой войны до распада СССР. В узком и точном смысле понятие «холодная война» подразумевает частный вид конфронтации, наиболее острую ее форму в виде *противостояния на грани войны*. Такая конфронтация была характерна для международных отношений в период приблизительно с первого берлинского кризиса 1948 г. до карибского кризиса 1962 г. Смысл выражения «холодная война» заключается в том, что противостоящие друг другу державы систематически предпринимали шаги, враждебные друг другу, и угрожали друг другу силой, но одновременно следили за тем, чтобы на самом деле не оказаться друг с другом в состоянии реальной, «горячей», войны.

Термин «конфронтация» по значению шире и «универсальнее». Конфронтация высокого уровня была, например, присуща ситуациям берлинского или карибского кризисов. Но как конфронтация малой интенсивности она имела место в годы разрядки международной напряженности в середине 1950-х, а затем в конце 1960-х и в начале 1970-х годов. Термин «холодная война» к периодам разрядки неприменим и, как правило, в литературе не используется. Напротив, выражение «холодная война» широко используется как антоним термина «разрядка». Вот почему весь период 1945–1991 гг. с помощью понятия «конфронтация» можно описать аналитически корректно, а при помощи термина «холодная война» — нет.

Определенные разночтения существуют в вопросе о времени окончания эпохи конфронтации («холодной войны»). Большая часть ученых полагает, что конфронтация фактически завершилась в ходе «перестройки» в СССР во второй половине 80-х годов прошлого века. Некоторые — пытаются указать более точные даты: декабрь 1989 г., когда во время советско-американской встречи на Мальте президент США Дж. Буш и председатель Верховного совета СССР М. С. Горбачев торжественно провозгласили окончание холодной войны; или октябрь 1990 г., когда произошло объединение Германии. Наиболее обоснованной датировкой окончания эпохи конфронтации является декабрь 1991 г.: с распадом Советского Союза исчезли условия для конфронтации того типа, который возник после 1945 г.

Глава 3

.....

Мировая политика в теоретическом дискурсе*

Феномен мировой политики — один из главных для понимания современного контекста отношений в планетарной системе. Но, несмотря на приток зарубежных идей и появление публикаций российских авторов по проблематике мировой политики, ее «самоопределение» как научной дисциплины не завершилось. Устоялся набор сюжетов, которые принято считать относящимися скорее к мирополитическому, чем к традиционному международно-политическому полю, материал сгруппирован по темам, а сами они собраны в целостность, которая уже позволяет выстраивать связные учебные курсы. «Задан» язык дискурса, который, воздействуя на сознание (а более — на подсознание) читателя/слушателя, подвигает к «интуитивно-либеральному» пониманию мирополитической проблематики. В 2002 г. появилась книга М. М. Лебедевой — первый отечественный учебник мировой политики¹. Все это — несомненные достижения, давшие немалым трудом.

Важно заметить, что становление мировой политики как самостоятельного исследовательского поля характерно для политических исследований преимущественно (если не исключительно) в России. В западных странах мирополитические штудии распылены по разным областям знания, «растеряны» между исследованиями традиционного международно-политического профиля и не претендуют на автономное академическое пространство. В научном сообществе США вообще отсутствует проблема размежевания мировой политики и международных отношений. Там исследования того и другого направлений сосуществуют нерасчлененно и организационно могут относиться как к международно-политическому, так и общеполитологическому блоку.

Равнодушие американских политологов к «самоопределению» мировой политики отчасти объяснимо их обычной, скажем, иронией к философствованию (в европейском смысле) на темы международных отношений. Но более значимо то, что исследования мировой политики на Западе в содержательно-аналитическом отношении сегодня главным образом нейтральны, тогда как в России мировая политика оста-

* Опубликовано в: Международные процессы. Т. 2. 2004. № 1. С. 16–33.

ется политизированной либеральной сферой знания, в которой многие все еще склонны подозревать «чужеродный знак», пересаженный на российскую почву. Отсюда и «встречный» защитный пафос самой мировой политики, ее стремление обособиться от исследований международных отношений и выйти на доминирующие организационно-административные позиции.

Как бы то ни было, стихийное самоструктурирование мировой политики как автономной субдисциплины неожиданно оказалось отличительной чертой российской политологии, не характерной для научного процесса в странах Запада. Причудливым образом политология в России через полтора десятилетия после ее легализации стала приобретать собственное лицо.

Уже только этого было бы достаточно, чтобы отнестись к мирополитическому подходу серьезно. Но сверх того, он еще и способен существенно обогатить исследовательский потенциал политологии в России, если разовьется из эмоционально-ценностной в обычную аналитическую концепцию и не станет отгораживаться от традиционных, но и более методологически фундированных отраслей знания — в их числе и историко-политических исследований. Задача статьи — достроить понятие мировой политики на базе анализа методологического соотношения между исследованиями мировой политики, с одной стороны, и международных отношений — с другой.

1

В напряженной политической ситуации в России начала 1990-х годов в отечественном политологическом сообществе наметилась «ценностная» оппозиция (в других условиях не возникшая бы) между исследователями мирополитического и международно-политического направлений. В силу обстоятельств *первые* оказались представленными выходцами из социологической, психологической и в меньшей степени философской школы МГУ им. М. В. Ломоносова. Для них освоение проблематики международных отношений было во многом новаторством. Эту ветвь можно назвать мирополитической, хотя на Западе ее предпочли бы назвать «школой политической социологии», а то и просто «социологическим подходом».

Вторые происходили из разных ответвлений давно сложившегося к 1991 г. сообщества международников — воспитанников историко-политической школы МГИМО МИД РФ, исторического факультета МГУ и (в какой-то степени) исторических факультетов региональных университетов — Томского, Нижегородского, Иркутского и некоторых других.

Первые, во многом начиная «с нуля», не были отягощены традиционными взглядами на анализ международных ситуаций. Их сильной стороной и главным методологическим инструментом было внедрение социологических — в широком смысле — подходов в сферу анализа международных отношений. Логично, что внедрялись в основном зарубежные методики, поскольку отечественной школы социологического анализа в точном смысле слова до 1991 г. в России не было.

Вторым новации в известном смысле давались труднее. Историко-политическая школа исследования международных отношений в МГИМО, ИМЭМО РАН, ИСК РАН и других академических институтах (при всех ее слабостях) существовала около полувека, и ее выходцы дорожили аналитико-методологическим наследием, считая часть его пригодным для работы (особенно при известной модернизации) и в новых интеллектуальных и международно-политических условиях².

Первые подозревали вторых в ретроградстве. Вторые первых — в дилетантизме знания о международных отношениях. Смелые попытки П. А. Цыганкова осмыслить эту стихийно возникшую оппозицию в духе характерного для западных политологических сообществ деления исследователей на «либералов» и «реалистов» были не особенно плодотворными³. Оказалось, что часть выходцев из историко-политической школы примкнула к мирополитической (политико-социологической) платформе, а ряд ученых философско-социологического «корня» предпочли анализировать международные отношения с сознательной оглядкой на историко-политические исследования.

Точнее будет сказать, что в среде отечественных международников сформировались «горизонтальный» и «вертикальный» подходы к анализу. «Мирополитики» пытались «схватить» текущий («горизонтальный») срез реальности и осмыслить его в предельно тесной увязке с особенностями текущего внешнеполитического процесса, а «историко-политики» — понять современность «более размашисто», опрокидывая ее сиюминутный анализ «вниз по вертикали истории», на опыт прошлого.

При этом ни те, ни другие всерьез методологией не занимались, поскольку ситуация 1990-х годов в России к тому не располагала. Происходило массивное заимствование и первичное осмысление-освоение теоретических наработок западных коллег⁴. Шло десятилетие «парадигмы освоения» — невыносимо тяжелое материально и развращающее легкое профессионально. Наука перешла в режим массовой переподготовки и просветительства. Для успеха было достаточно читать зарубежные работы и связно пересказывать их читателю или слушателю.

Надо признать, что этот период принес много пользы. В среду международных были внедрены нужные ей современные теоретические и методологические подходы общей политологии, несопоставимо возросла осведомленность российских ученых о достижениях теории международных отношений на Западе. Стала организационно оформляться политико-социологическая школа международных отношений. Ее основой становились новый факультет политологии МГИМО МИД РФ (И. Г. Тюлин, А. Ю. Мельвиль и единомышленники) и кафедра социологии международных отношений на философском факультете МГУ им. М. В. Ломоносова (П. А. Цыганков), на которые в регионах успешнее других стала ориентироваться кафедра международных отношений Нижегородского лингвистического университета (А. А. Сергунин). На фоне этих сдвигов и стал обособляться мирополитический подход — скорее организационно, чем методологически.

В такой ситуации не странно, что для разрешения вопросов теоретического самоопределения в исследованиях мировой политики времени не осталось. При наличии описаний «симптомов-признаков» мировой политики не удалось найти ее рабочего определения как дисциплины. Осталось не вполне ясным, чем должна заниматься эта подотрасль знания, поскольку не были решены вопросы об объекте и предмете ее исследования. Не получилось и методологически корректного размежевания предметных полей «мировой политики» и «международных отношений» — сегодня оно проводится почти исключительно интуитивно.

Отметим, что все эти проблемы не разрешены и в западных научных сообществах, поскольку там они не имеют того значения, которое в силу разных условий приобрели в России. Тем важнее и интереснее является поиск ответов на канонические вопросы теоретического самоопределения мировой политики. Однако оно невозможно в отсутствие базового определения, выйти на которое, в свою очередь, нельзя без уяснения общего теоретического контекста поиска.

2

Термин «мировая политика» в западной литературе, как и в русской, встречается давно и до сего дня беспорядочно употреблялся как синоним или почти синоним понятия «международные отношения». Правда, постепенно стали вызревать теоретические предпосылки для изменения такого словоупотребления. «Всемирная демократическая волна» начала 1990-х годов поднималась параллельно с разработкой в Вашингтоне доктрины «расширения демократии» (1993), которая

предусматривала активное участие США в политических процессах внутри бывших социалистических стран. В отсутствие «железного занавеса» те лишь приветствовали стремление западных стран включиться в управление преобразованиями, не протестуя и не считая происходившее вмешательством в свои внутренние дела. Возник феномен «размягчения суверенитета» на востоке Европы.

В ее западной части развивался внешне похожий, хотя иной по своей природе процесс. Западноевропейские страны тоже тяготели к «преодолению» суверенитета каждой из них, но в рамках ускорившегося процесса интеграции. Параллелизм тенденций в западной и восточной частях Европы производил глубокое впечатление и звал к крупным обобщениям.

Тогда спектр сравнений решили расширить. Внимание было обращено на ситуацию в развивающихся государствах. Тезис о «беспольности» суверенитета подтвердился и на материале стран «третьего мира»: многие бывшие колонии в силу экономической и политической слабости продолжали обладать суверенитетом лишь формально («фиктивно»), на деле не имея возможности его отстаивать не только перед более сильными зарубежными государствами, но даже перед крупными многонациональными корпорациями.

Сведенный вместе материал, относящийся к развитию стран Западной Европы, бывшего «социалистического лагеря» и «третьего мира», дал основания для радикального теоретического вывода: «размягчение» суверенитета — общемировой тренд. Работы, развивающие этот тезис, заполнили книжный рынок, продолжая выходить в США, странах Западной Европы и даже Австралии вплоть до второй афганской войны. Среди них были и книги серьезных международников — С. Краснера, Дж. Хобсона, С. Лоусон⁵.

Конечно, концепция размягчения суверенитета имела под собой основания. Но она не была универсальной в той степени, на которую претендовала. Ее авторы закрывали глаза на очевидное: суверенитет США, Китая, Индии, Японии и других «старых» стран оставался прочным, а многие из новых государств (на Балканах, Кавказе и в Центральной Азии) предпочитали воевать за утверждение суверенитета, а не мириться с его «отмиранием».

Тем не менее в 1990-х годах гипотеза размягчения суверенитета в политологии возобладала, найдя до комичного пылких сторонников в России⁶. Свою роль сыграл и фактор конъюнктуры. Скептическое отношение к суверенитету формировалось на фоне правления в США демократической партии (1993—2000): интеллектуальный либерализм имел возможность опереться на либерализм политический.

Преобладание либеральной традиции вылилось в развитие двух направлений — исследований «глобального гражданского общества» (*world civil society*)⁷ и проблематики мироуправления (*world governance*)⁸. Обрамляющей идеей этого аналитического комплекса стала глобализация, которая к концу правления Б. Клинтона получила статус полуофициальной внешнеполитической доктрины США. Идея глобализации была достаточно привлекательной и аморфной⁹, чтобы в комплексе возникших на ее основе концепций нашлось место для построений и либералов, и «мягких» реалистов¹⁰.

Симпатии к концепции размягчения суверенитета выказывали представители обоих направлений¹¹. Однако существовала «фигура умолчания» — западные ученые (деликатно или осмотрительно) избегали высказываться о том, применим или неприменим тезис о размягчении суверенитета к Соединенным Штатам Америки. Эта недосказанность определила нежелание исследователей сколько-нибудь ясно высказываться по поводу самого понятия «мировая политика»¹².

Употребление этого термина фактически подразумевало слияние «миров» внешних и внутренних политик разных стран в некой нерасчленяемой сфере «единого мирового политического». Но высказываться в таком духе определенно ученые не стремились. Американцы — потому что улавливали: рассуждения в этом русле неизбежно приведут к выводу о наступлении эпохи мира-империи, «отцентрованного» под США. Откровенничать на эту тему либеральным интеллектуалам было в ту пору неловко.

Западноевропейцы не рвались развивать идею «единого мирового политического» по другим причинам. Они тоже понимали, к какому выводу она их приведет, и не желали казаться апологетами концепции «благожелательной гегемонии США», которая уже в 1990-х годах большинству образованных европейцев была неприятна.

В результате западные коллеги не стали делать выбор в пользу понятийной ясности, а понятие мировой политики стало функционировать в профессиональном дискурсе де-факто в роли эвфемизма для обозначения того, что в начале первого десятилетия 2000-х годов в США уже без ложной стыдливости стали называть «американской империей».

Не оказалось на Западе и организационных предпосылок для обогащения мировой политики в форме субдисциплины. Более высокая подвижность системы исследований, регулярные смены тематики научных программ и частые перемещения ученых между университетами и исследовательскими центрами этому не способствовали. В итоге в США, Великобритании, Австралии исследования, которые можно

определить как мирополитические, развивались преимущественно в рамках анализа проблем глобализации. Именно они и составили на Западе тот круг книг и статей, аналогичные которым в России относятся к числу работ по мировой политике.

Избегая завершенных теоретических построений, зарубежные авторы предпочитали «симптоматический анализ» реальности. Они вычленяли отдельные ее существенные стороны, проводили сравнения с эпохой биполярности, подчеркивали значение одних и отмечали угасание других тенденций. При этом демократизацией и социальными аспектами ситуации больше занимались ученые-либералы, а тематикой мироуправления — умеренные реалисты (Дж. Най, Р. Кохейн, Г. Аллисон, Дж. Доннахью).

Специально теорию на Западе никто не строил. Но из совокупности аналитических работ по глобализации «вычитывались» симптомы-признаки мировой политики: политический — демократизация тоталитарных обществ и их «транзит к демократии»¹³, социальный — создание «глобального гражданского общества» через демократизацию международной политики и расширение включенности в нее негосударственных акторов, институционально-инструментальный — возрастание роли глобального управления за счет усиления роли как универсальных международных организаций (ООН, МВФ, ВТО), так и закрытых международных организаций типа НАТО¹⁴; идейный — распространение либеральных ценностей как этико-культурного фундамента будущего мирового гражданского общества. При этом все школы исследований глобализации¹⁵ строили анализ, исходя из признания победы США (для реалистов) или «демократии» (для либералов) в конфронтации с СССР, расширения возможностей Запада влиять на положение в бывших закрытых странах (за исключением Китая и некоторых других), необходимости использовать «исторический шанс», чтобы на неограниченный срок закрепить в мире преобладание США (для реалистов) и «сообщества развитых демократий» (для либералов). Язык исследований был разным, неодинаковыми были и тонкости оценок. Но западные школы в 1990-х годах интуитивно, а в 2000-х годах более сознательно тяготели к пониманию международных отношений как производных от внутренней политики США, а внутренних дел любых стран мира — как «превращенной сферы» компетенции Вашингтона¹⁶.

Исследователи глобализации перекодировали идею классического труда Х. Булла о мировом обществе как единении избранных — демократических стран — в окружении всех остальных. Ей было придано наступательное, прозелитическое звучание. Демократию предлагалось

активно распространять, осваивая новые пространства, рисуя перспективу победы демократии во всемирном масштабе. Мировое общество теоретически расширялось до масштабов планеты, обещая поглотить то, что, по Буллу, было международным сообществом и состояло не только из демократических, но и всех остальных стран мира.

«Перевоорачивалось» и разработанное Х. Буллом понимание мирового и международного порядков. В его трактовке мировой порядок понимался более узко, чем международный: он означал порядок только между членами мирового общества. Международный порядок, по Х. Буллу, включал в себя отношения между всеми странами мира — как входящими в избранничество демократических государств, так и оставшихся вне его.

В исследованиях глобализации 1990-х годов мировой порядок уже трактовался как всеобщий — в том смысле, как Х. Булл понимал порядок международный. Предполагалось, что де-факто в него включены все страны мира — «хотят они того или нет». Процессы глобализации и доминирование государств «демократического ядра», рассуждали эксперты, вынуждают всех остальных субъектов международных отношений определять свое местоположение относительно разрастающегося «мирового порядка». Значит, все международные акторы так или иначе в него объективно погружены.

Парадоксально, но на почве изначально умеренной и либеральной школы исследований глобализации на Западе стала вырастать гораздо менее либеральная и даже совсем нелиберальная школа сторонников концепции «демократической империи». К середине первого десятилетия XXI в. она фактически заместила собой прежние исследования глобализации.

До конца 1990-х годов слово «империя» в США носило негативный оттенок: им, например, называли Советский Союз, подчеркивая его репрессивную сущность. Сегодня американская политология склонна употреблять этот термин нейтрально — так, как он употреблялся в России 10 лет назад авторами либерально-патриотического направления, для обозначения определенного типа политической организации многоэтнического общества. В новой тематической структуре политической науки главное место заняла проблематика применения силы и транснациональных войн. В отличие от предшествовавшего десятилетия глобализация утратила прежде отводимую ей функцию «позитивного знака»: события 11 сентября 2001 г. показали, что глобализация может быть опасна — даже для страны, более других сделавшей для ее распространения. На этом фоне в США сложилось направление

анализа современных международных отношений под углом зрения общемировой «демократической империи», которую, как полагают американские политологи, всерьез замыслила построить республиканская администрация.

Исследования «демо-империалистического» направления распадаются на две группы: апологетическую и критическую. *Первая*, менее многочисленная, строит анализ в воинственном конформистском духе. Относящиеся к ней авторы отбросили романтические иллюзии, характерные для исследователей глобального демократического общества¹⁷, но переняли у них идею саморасширения демократии до вселенских масштабов. В старых схемах они изменили всего два, но главных постулата. *Во-первых*, инструментом «расширения демократии», по мысли «апологетов», должно быть не «общество демократий», а Соединенные Штаты. *Во-вторых*, не международные институты, а США должны стать в центр глобального мироуправления¹⁸. Пространство мира стало отождествляться с пространством «естественного» американского лидерства, а идея глобального демократического общества трансформировалась в доктрину тотальной (тоталитарной — по выражению Т. А. Алексеевой, переосмысливающей словоупотребление Якоба Талмона¹⁹) демократии.

Вторая группа — «демо-империалисты-критики» — весьма многочисленна. Она признает тенденцию к формированию «всемирной демократической империи», но не принимает ее. В эту группу входят серьезные международники (С. Браун, Р. Фалк, С. Тэлбот и др.)²⁰. Они считают современную ситуацию благоприятной как для США, так и для дела демократизации мира. Ученые этой группы принимают логику «нахождения внутри единой сферы мирового политического», но считают, что американская администрация неправильно строит политику в современных условиях, слишком много ответственности принимая на себя и слишком мало учитывая интересы других стран, прежде всего союзных Соединенным Штатам²¹. Представители этого направления критически оценивают роль силы в современной международной политике, считая, что наращивание военной и военно-технологической мощи в отрыве от комплексного использования политических мер и сотрудничества с другими странами мира не обеспечивает США искомого места в международных отношениях и дезориентирует страну в вопросах обеспечения национальной безопасности²².

Не вдаваясь в тонкости оценок, характерных для аналитических течений 2000-х годов, стоит заметить, что в методологическом отношении исследователи «демо-империализма» сделали немного для разра-

ботки проблематики мировой политики. В этом смысле определенный потенциал концептуальной фундаментальности продемонстрировали лишь авторы структурно-реалистической ветви «чистой» теории международных отношений. Их работы содержали методологическое зерно, использование которого как минимум помогало определить место мировой политики в хитросплетении ее отношений с сопряженными дисциплинарными полями.

С начала 1990-х годов американские и британские реалисты-структуралисты, «наследники-опровергатели» К. Уольтца, сгруппировавшиеся вокруг Б. Бузана, похоже, сознательно отстранялись от теоретических баталий вокруг анализа глобализации, уступая поле либералам и «мягким» реалистам школы мироуправления. Не вступили они в диалог и с обеими разновидностями течения исследований «демо-империализма».

Отстраненность от основного течения позволила реалистам-структуралистам сохранить здоровый скептицизм к постулатам как школы глобализации, так и «демо-империалистического» направления. Реалисты-структуралисты не пытались сомневаться в глобализации и не стремились оспорить идею американского превосходства. Они лишь холодно отрицали «революционную», «сакрально-преобразующую» природу первой и подчеркивали преходящий характер второго²³.

Упоенные принадлежностью к «мейнстриму», исследователи глобального демократического общества стремились подчеркнуть взрывной характер возникновения мирополитического излома начала 1990-х годов, тем самым порывая с логикой и фактологической базой предшествующих этапов развития теории и подрывая обоснованность своих схем.

Реалисты-структуралисты проявляли аналитически бережное, внимательное отношение к предшествующим состояниям международной системы, которое позволяло воспринимать реальность через призму соотношения новаций и преемственности в фундаментальных мировых явлениях. Благодаря этому сложнейшие явления 1990-х и 2000-х годов можно было вписать в контекст долгосрочных тенденций развития.

Правда, подобно исследователям глобализации и «демо-империализма», реалисты-структуралисты не стали заниматься концептуализацией мировой политики. Но их аналитическая позиция объективно подталкивала к необходимости сомкнуть вертикальную (историко-политическую) и горизонтальную (политико-социологическую) призмы анализа в интересах нахождения синтетического понимания мирополитического феномена.

3

Теоретический контекст развития интеллектуальной ситуации в России испытывал сильнейшее влияние процессов, развивающихся на Западе. Он был по-своему не менее сложным, но совершенно иным. Исследования глобализации проявили себя в России поздно (не ранее 1997–1998 гг.), пережили взлет и стали терять популярность, как и в западных странах, в первые годы нового века. Случайно или закономерно — впервые за полтора десятилетия произошла синхронизация развития научной жизни в России и на Западе.

Однако в России разработки в русле глобализации не замещали мирополитические исследования. Во второй половине 1990-х годов в ряде российских университетов были созданы новые структуры, которым было вменено в обязанность заниматься мирополитической проблематикой. «Благодаря» этому мировая политика была буквально «вытолкнута» на положение протодисциплины. Если на Западе проблематика глобализации растворила мировую политику, то в России она стала частью ее предметного поля. Соответственно, в западных странах падение интереса к глобализации повлекло понижение статуса мирополитической тематики, а в России такой обусловленности не было. Скорее спад популярности глобализационной тематики лишь обострил потребность в методологическом обосновании мирополитического подхода.

При этом отсутствие соответствующих готовых концептов западной науки лишало основания надеяться на их привычное заимствование. Возделывать исследовательское поле предстояло самостоятельно — на базе того, что было по крупицам внесено в российскую науку за предшествующие десять лет, и с учетом отечественных разработок.

За десять лет российский контекст поиска теории мировой политики стал определяться наличием трех групп авторов. Первыми по продуктивности среди них оказались «прагматики». В их круг вошли представители как политико-социологической, так и историко-политической школы, которых интересовала мирополитическая проблематика. Круг авторов никак не коррелировал с их принадлежностью к тем или иным исследовательским центрам, и сами авторы составляли неоднородную группу. Одни осмысливали реальность критически (Н. А. Косолапов, А. Г. Володин, Г. К. Широков, В. Б. Кувалдин, Б. Г. Капустин, покойный А. С. Панарин), другие стремились подойти к ней формалистически-нейтрально (М. А. Чешков, Н. А. Симония, В. Г. Хорос, А. Д. Богатуров), третьи склонялись к полезности при-

мирения с ней (А. Ю. Мельвил, М. М. Лебедева, В. В. Иноземцев, В. В. Михеев, В. М. Кулагин).

По-разному осмысливая новую ситуацию, ученые были едины в интуитивном стремлении найти вариант концептуализации, который, с одной стороны, был бы адекватен действительности, а с другой — не порождал бы стимула «восстать против нее» или от нее отгородиться. Мысль использовать в этих целях идею мировой политики посредством ее доработки в ключе синтеза основных аналитических подходов родилась на стыке конкурентного сопоставления всех этих взглядов.

Де-факто «прагматикам» противостояло течение «фундаменталистов-охранителей». Они главным образом, но не исключительно представлены в публикациях группы отечественной вульгарной геополитики А. Дугина. Подчеркивая свое национал-патриотическое «я», это течение на самом деле испытывает сильнейшее влияние западной («новой» американской и «старой» германской) политологии, но прежде всего — школы вульгарной геополитики Зб. Бжезинского²⁴. Катастрофическая распространенность книг русской и американской вульгарной геополитики в виде печатных продуктов А. Дугина и Бжезинского формирует в России (особенно в регионах) интеллектуальную среду, в которой понимание мирополитического подхода, конечно, затруднено.

К работам «фундаменталистов-охранителей» примыкают труды профессиональных, но консервативных историков, полагающих возможным анализировать современные международные отношения путем «литературно-редакционного исправления» тех концепций, которыми отечественная наука пользовалась в 40–80-х годах прошлого века. Эти работы представляют собой версии изложений на базе исправлений и сокращений текстов «Истории дипломатии», трех изданий учебника «История международных отношений и внешней политики СССР» и двухтомника «Внешняя политика Советского Союза». Конечно, выход подобных книг был во многом связан с нехваткой серьезных новых трудов по международным отношениям. Но приходится констатировать, что попытки осмыслить международные отношения последних десятилетий таким образом оказались неудачными и в методологическом, и в содержательном отношении²⁵.

Третью группу авторов составили ученые собственно «историко-политического корня», которые не отвергали политологию, но чувствовали себя увереннее не на ее методологическом поле, а на платформе либерального «политического историзма». Эта школа обогатила 1990-е годы рядом ценных работ. Они выходили в Институте всеобщей истории и Институте российской истории РАН под руководством

и при непосредственном участии А. О. Чубарьяна, М. М. Наринского, Л. Н. Нежинского, А. М. Филитова, Н. П. Егоровой, А. А. Улуныана²⁶. Книги авторов этого ряда представляли собой важный шаг к нахождению оптимального сочетания классической истории с политической наукой, правда, с акцентом на методологии первой.

Наконец, важно отметить, что на стыке между «прагматиками» и исследователями историко-политического направления работает целая группа ученых, принадлежность которых трудно определить однозначно. Они тяготеют к мирополитическому подходу, но в то же время выпускают работы исторического профиля. В Москве эту группу составляет довольно многочисленный коллектив авторов вышедшей в свет «Системной истории международных отношений в четырех томах» (М. А. Хрусталева, Т. А. Шаклеина, А. Д. Воскресенский, В. И. Батюк, Б. Ф. Мартынов, С. И. Лунев, П. Е. Смирнов, Д. В. Поликанов и др.)²⁷.

В Санкт-Петербурге на сочетание политологического угла зрения с политико-историческим ориентированы преподавание и исследовательский процесс на факультете международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета под руководством К. К. Худолея. Вне факультета в этом же ключе стремятся работать и другие «питерцы» — А. С. Кутейников, С. Л. Ткаченко, Н. А. Ломагин, В. Е. Кузнецов.

Историко-политический и политологический методы успешно совмещают такие серьезные историки, как А. С. Ходнев и В. А. Бабуркин (в Ярославле), Г. Н. Новиков (в Иркутске). В Волгограде в этом же ключе трудно, но в верном направлении создают школу А. С. Кубышкин, И. И. Курилла и С. В. Голунов.

Более сложное впечатление в методологическом смысле производят довольно многочисленные книги (при этом отмеченные запалом новаторства) факультета международных отношений Нижегородского государственного университета, где на стыке политологии и истории работают Д. Г. Балухев и М. И. Рыхтик — представители «нижегородской плеяды» учеников О. А. Колобова.

За неизвестностью (или отсутствием) обобщающих профильных трудов трудно представить действительное содержание научно-образовательных процессов на факультетах международных отношений в Дальневосточном (Владивосток), Уральском (Екатеринбург) и Томском государственных университетах.

Хотя контекст поиска теории мировой политики определялся наличием трех упомянутых платформ и промежуточной группы ученых, сам

этот поиск вела немногочисленная группа авторов, при этом интеллектуально между собой почти не связанных. Для всех них вместе построение инструментальной концепции мировой политики не составило бы особого труда. Но они работали порознь, и панорамного видения не получалось. Его не дало и течение политической социологии, лучше других оформленное организационно и первым представившее вариант обобщенного видения предмета²⁸.

Структурно получившаяся схема оказалась вполне жизнеспособной. В содержательном отношении она несла черты чрезмерной увлеченности аргументацией и принципом отбора материала, характерными для зарубежных работ школы глобального гражданского общества. Этот «недостаток», конечно, можно одновременно считать и «достоинством». Благодаря ему российский читатель приобщается к западным аналитическим нормам и получает лучшее представление о роли, которую играют в международных отношениях вопросы формирования личности, политической психологии, внешнеполитического процесса, организации институтов. Еще важнее — присущий мирополитическим работам акцент на свободе, правах личности, морали, культурных особенностях.

В то же время в политико-социологической версии понимания мировой политики было мало интереса к тому, что называется реальной мироцелостностью во всех ее действительных противоречиях, к системным аспектам международных отношений, хитросплетениям практического взаимодействия между государствами. Было заметно «формальное» отношение к понятиям «реалистического» ряда — национальный (государственный) интерес, власть, сила и т.д. Сквозила недооценка необходимости конкретно-событийных привязок заключений к фактуре международной действительности²⁹.

Эмоционально настойчивое желание трактовать мировую политику как феномен, отличный от международных отношений в отсутствие убедительных различий их предметных полей, создавало впечатление посягательства на изменение «генетического кода» специальности «международные отношения». Между тем было очевидно, что чрезмерный уклон науки о международных отношениях в сторону «глубокой социологии» и общеполитического знания мог увести ее от реальности, а это было бы сопряжено с потерей специфических технологий прикладного анализа международных отношений, который остается наиболее востребованным внешнеполитической практикой.

Приводимая аргументация не вполне убеждала. Главным доводом политико-социологического подхода в пользу самостоятельности миро-

вой политики по отношению к международным отношениям был тезис о «смене субъекта». Он опирался на правильное наблюдение, что если прежде субъектами международных отношений выступали исключительно государства, то теперь ими стали и негосударственные акторы, прежде всего транснациональные — ТНК, международные организации, движения, дисперсные сетевые субъекты³⁰ и даже индивиды.

Конечно, тезис об изменении природы субъектности был неопровержимым. Но его и не надо было опровергать, достаточно было усомниться в его новизне, ведь ТНК стали крупнейшими игроками международной политики еще в конце 60-х годов прошлого века, и по крайней мере с середины 1980-х годов мысль эта для отечественных публикаций была почти банальной³¹.

Другим ключевым аргументом школы политической социологии была ссылка на «сжатие мира» во времени и пространстве, которое объективно делает события и процессы в одной точке мира все более зависимыми от процессов и событий, происходящих в другой, а государственный суверенитет — все более символическим.

Но скептики принимали значение и этого довода, верно замечая, что первые варианты концепций взаимозависимости в международных отношениях относятся ко времени не позднее конца 50-х годов прошлого века и тоже новаторскими быть названы не могут.

Продуктивной дискуссии не получалось, да ее в академическом смысле просто и не было. Авторы продолжали писать и публиковать работы, предпочитая между собой не встречаться — воспроизводилась характерная для Запада ситуация мозаики. Однако при неокрепшей традиции политической теории в России такой вариант развития интеллектуальной ситуации означал бы лишь дальнейшее ослабление ее потенциала вследствие распыления интеллектуальной энергии.

Альтернативой могло бы стать нахождение синтетической платформы, которая позволила бы органично соединить в единой инструментальной концепции положения, разработанные в рамках разных школ, в том числе между собой и не во всем согласных. Такой подход теоретически мог показаться недостаточно принципиальным. Но для интересов прояснения ситуации и в интересах прикладного анализа только так и следовало поступать. Тем более что в ключе подобного «синтетического ревизионизма» работают многие западные коллеги. Примером тому — выстроенная на стыке историко-политического, институционального и глобализационного подходов аналитическая матрица Дж. Айкенбери³², вполне продуктивная в анализе международных отношений.

4

Не отказываясь от описаний «симптомов» мировой политики, прекрасно проработанных в западных работах и адекватно отраженных в версиях российской политико-социологической школы, стоит отказаться от попыток с них и начинать обоснование концепции. *Во-первых*, потому что расплывчатые симптоматические описания «в духе постмодерна» по определению остаются частными, фрагментарными, вспомогательными и потому нехороши в роли основополагающих тезисов.

Во-вторых, они особенно плохо воспринимаются в качестве таковых в профессиональном сообществе в России. Особенности русской гуманитарной культуры с ее причудливым замесом на немецкой классической философии, органичной тоталитарности сознания «по Бердяеву» и восьмидесятилетней «ленинизации» делают ее восприимчивой скорее к крупным идеям, способным объяснить частности, чем к синтезированию общего из множества неорганизованных деталей.

Следуя логике таким образом понимаемого восприятия в отечественной профессиональной среде, вариант рассуждения о концепции мировой политики уместно представить в виде *семи тезисов*.

Тезис **первый**. *Эпистемология*. Наиболее убедительной и ясной является мысль о том, что мировая политика характеризует новое качественное состояние международной среды, в которой действуют субъекты международного взаимодействия — как традиционные (государства), так и новые (все остальные). Этот тезис можно принять за основополагающий. С одной стороны, ввиду его богатой философской и семантической «нагруженности», с другой — с учетом его понятности для основных составляющих интеллектуального спектра в России: от либеральных социологов до радикальных марксистов.

Это не значит, что все согласится с предлагаемым пониманием. Однако это предполагает, что будет сделан шаг к преодолению «методологического кустарничества» и по поводу предлагаемого можно будет по крайней мере повести корректную научную дискуссию в единообразно понимаемых терминологических и методологических рамках. За двадцать лет ни на Западе, ни в России постмодернизм в теории международных отношений ничем не доказал своей аналитической плодотворности, поэтому какой смысл далее держаться приписываемой ему логики и методологических («антиметодологических») установок («антиустановок»)?

Тезис о том, что понятие «мировая политика» воплощает новое качественное состояние международной среды методологически и эпистемологически, имеет для концепции решающее значение, поскольку

только он позволяет теоретически корректно уйти от отождествления мировой политики с традиционными международными отношениями эпохи до начала 1990-х годов.

Однако при такой постановке вопроса атак со стороны потенциальных оппонентов из рядов историко-политического направления может вообще не последовать. Критикам будет, к примеру, понятно, что тезис о новом качестве международной среды реально «работает»: именно из-за этого нового ее состояния при внешней схожести международных условий (низкая вероятность ядерного конфликта) в 1970-х годах, с одной стороны, и затем в 1990-х — с другой, сильнейшие страны мира вели себя по отношению друг к другу совершенно по-разному.

При этом в выстраиваемой схеме находится достойное место для двух тенденций-симптомов («смена субъекта» и «сжатие планеты»), о которых с некоторым жаром пишут авторы школы политической социологии и с несколько холодным вниманием — исследователи историко-политического корня. Оба эти важных направления в самом деле способствовали возникновению качественно нового состояния среды. Просто не они сами по себе передают его специфику.

Тезис **второй**. *Параметр нового качества*. Специфика новизны определяется тем, что для оценки положения на планете в целом характеристики состояния международной среды стали и продолжают становиться важнее, чем характеристики поведения отдельных, даже самых сильных акторов (старых или новых, демократических или авторитарных, национальных или транснациональных). Среда, образно говоря, подобна траве — она начинает «прорастать» сквозь «бетон» сообщества государств, оплетать его, в известной мере сковывая и в этом смысле подчиняя себе.

Конечно, очень важно, какая администрация находится у власти в Вашингтоне — напористая и националистическая или умеренная и либеральная. Но для международных отношений в целом важнее, какой окажется среда, сквозь которую будут преломляться импульсы, исходящие от любой американской власти.

С мирополитической точки зрения ключевые параметры анализа — это характер эволюции систем вооружений и скорость распространения технологий их производства по миру, показатели транснационализации международной экономики, характеристики всемирного виртуального пространства, включая сферу действия глобальных систем наведения ракет, контуры сферы единообразного понимания морали и права, индикаторы транспортной (и военно-транспортной) проницаемости планеты, характеристики ее экологического состояния, наконец, соотношение всей совокупности земных дел с реальным

положением дел в космосе (скрываемом, по счастью, от внимания политических аналитиков).

Приведенный тезис — целиком из арсенала мирополитического анализа. Но его нетрудно и полезно дополнить историко-политическим обоснованием.

Становление мировой политики связано с тенденцией к уплотнению международной среды и повышению ее проницаемости для импульсов влияния, которые участники международного общения посылают друг другу. Среда, присущая международной системе пятьдесят лет назад, была более разряженной, чем сегодня, а государства в ней имели больше свободы действий. На материале международных отношений в Восточной Азии этот феномен был описан в одной из наших работ еще в 1996 г. Но тогда автор считал «открытый им» феномен региональной особенностью, не соотнося его с общемировыми трендами, как стоило бы сделать с современных позиций.

Тенденцию к уплотнению международной среды можно проследить на протяжении веков. С одной стороны, она характеризуется нарастанием взаимной обусловленности поведения государств, уменьшением свободы их действий под влиянием самоограничений или ограничений, налагаемых извне, а с другой — ростом подверженности внутренних процессов в отдельных государствах внешним влияниям.

Самоограничения и ограничения могли быть любой природы. В 50–80-х годах прошлого века в Европе это была «блоковая дисциплина». В тот же период в Восточной Азии — страх больших держав спровоцировать «большую войну» и высокая активность малых и средних стран, научившихся, пользуясь этим, иногда навязывать сильным государствам свои варианты решения местных проблем. В 1990-х годах универсальным инструментом уплотнения среды стало нарастание ее финансово-экономико-информационной однородности.

Тезис третий. Гносеология. Можно сказать, что глобализация и обозначила процесс уплотнения международной среды. Но можно этого не делать, продолжая считать ее «особым» явлением. Важно иное. Глобализация не только прекрасно вписывается в понимание, присущее историко-политической школе, она вписывается в нее даже органичнее, чем в логику мирополитического направления. По определению глобализация — не что иное, как процесс становления нового качества международной среды, а мировая политика — его результат. Вот почему глобализацию убедительнее всего представить как инструмент преобразования традиционных международных отношений в мировую политику. Так снова обеспечивается совместимость научных интере-

сов и аналитических подходов обеих школ — историко-политической и политико-социальной.

Следовательно, с гносеологической точки зрения мировая политика в известном смысле — не что иное, как современный этап развития того, что мы привыкли называть системой международных отношений, подразумевая под ними преимущественно отношения между государствами. Выявляется, таким образом, гносеологическое родство мировой политики и международных отношений, хотя, конечно, первая со временем приобрела для себя существенно иное поле изучения. Об этом будет сказано дальше.

Тезис четвертый. *Различение объектов.* В цельном виде определения мировой политики ни в западных, ни в отечественных публикациях встретить не довелось. Между тем найти определение — как раз и значит освободить мировую политику от зависимости, которая ее окружает в семье международников-традиционалистов. Поскольку поиск определения неизбежно идет в контексте сопоставления мировой политики и международных отношений, уместно прежде провести «инвентаризацию» отличий объекта изучения мировой политики, с одной стороны, и традиционной науки о международных отношениях — с другой.

В традиционных международных отношениях, согласно принципу суверенитета государства и невмешательства во внутренние дела, существовало жесткое разделение между внешней и внутренней политикой государств. С правовой точки зрения объектом взаимодействия стран являлись исключительно (почти) вопросы их поведения в отношении друг друга, но не в отношении собственных граждан (подданных). Взаимодействие между субъектами международных отношений, таким образом, происходило по внешнему контуру, «по касательной». Поэтому объектом изучения традиционной науки о международных отношениях была сфера взаимодействия внешних политик отдельных государств.

В 60-х годах прошлого века в этом смысле кое-что изменилось. Благодаря экспансии системного подхода в исследованиях утвердился постулат о несводимости свойств международных отношений в целом к сумме внешних политик отдельных стран. Соответственно, объектом изучения науки стали не только совокупность непосредственных взаимодействий внешних политик государств, но и закономерности развития всей миросистемной целостности, которая, как следовало из системной логики, обладает определенной автономией свойств по отношению к совокупности внешних политик стран мира. Кроме того, составной частью объекта исследования стали так называемые общие (или глобальные) проблемы международных отношений — контроль над воору-

жениями, энергоснабжение, преодоление отсталости бывших колоний, вопросы культурного обмена, оказание гуманитарной помощи и т.п.

Таким образом, объектом изучения науки о международных отношениях к началу 1990-х годов считались, *во-первых*, политические отношения между традиционными и новыми субъектами международного общения по поводу их действий в отношении друг друга, *во-вторых*, межсубъектные взаимодействия по поводу решения общемировых проблем, *в-третьих*, автономные свойства системы международных отношений в целом (качества общесистемного уровня).

Возникновение новой международно-политической реальности в 1990-х годах привело к резкому изменению содержания общения между субъектами в международной системе. Не только новые субъекты общения, но и государства стали регулярно вступать в разноплановое взаимодействие между собой по поводу действий не только в отношении друг друга, но и своих внутривнутриполитических проблем. Более того, эта практика постепенно приобретала моральную, а затем частично и политическую легитимность.

Конечно, можно возразить, резонно заметив, что попытки одних стран давать оценки внутренним процессам, имевшим место в других, оказывать на них влияние и даже прямо вмешиваться во внутренние дела зарубежных государств, происходили «чуть ли не века». В самом деле это так, но со времен вестфальских установлений вмешательство во внутренние дела все равно «в норме» считалось «незаконным» и допускалось как некое исключение, временное отступление от правил. Именно в этом смысле международная среда 1990-х годов принесла радикальные перемены: вмешательство в дела других стран стало представляться как новая норма поведения — правило, которое с полной серьезностью стало претендовать на роль универсального, к тому же подкрепленного мощной военной силой такой организации, как НАТО. Почти все 1990-е годы прошли под знаком легитимизации того, что с точки зрения вестфальских норм было не чем иным, как нелегитимным вторжением в сферу исключительной внутренней компетенции суверенного государства. Суверенитет как принцип стал открыто, систематически в широких масштабах подвергаться сомнению на практике только в 1990-х годах. И именно тогда он стал получать хотя и не полное, но все же довольно широкое международное политико-правовое обоснование³³.

В 1992 г. руководители Российской Федерации и США подписали знаменитые Кемп-Дэвидскую декларацию и Вашингтонскую хартию российско-американского партнерства и дружбы — дотолемемы-

лимые документы, значительные части которых представляли собой развернутые обязательства российской стороны проводить внутреннюю политику в соответствии с новыми политическими принципами (демократии и гарантии прав человека), сотрудничая в этих вопросах с США и другими зарубежными партнерами. Значимо было не то, что предметом обсуждения сторон стали вопросы внутренней жизни России (в неофициальном порядке подобные обсуждения происходили на советско-американских встречах не один раз), а то, что Москва де-факто признала подобную практику нормой международного общения.

Таким образом, наряду со сферой чисто внешнеполитического взаимодействия объектом дипломатических переговоров стала внутренняя политика государств. Если прежде международные отношения представляли собой взаимодействие по «внешнему контуру» отношений, то в 1990-х годах оно становилось взаимодействием «на всю глубину» политики государств. Методологически это и было «водоразделом».

Разом и радикально изменился предмет международного взаимодействия. Фактически родился новый объект изучения, значит, могла родиться и новая отрасль знания. Она и стала формироваться. Применительно к российской ситуации рождение науки о мировой политике можно датировать 1993 г.

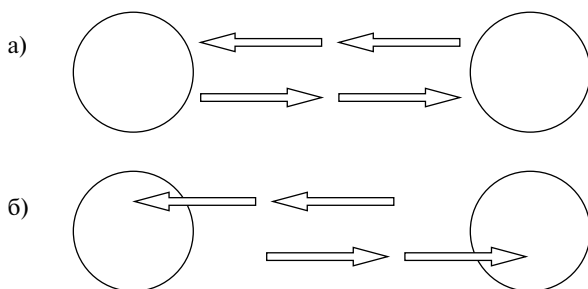


Рис. 1. Графическое представление взаимодействия субъектов в традиционных международных отношениях (а) и в мировой политике (б): а) взаимодействие акторов в традиционных международных отношениях.

Импульсы взаимного влияния тормозятся на «внешнем контуре» отношений (взаимодействие внешних политик);

б) взаимодействие акторов в мировой политике. Импульсы влияния беспрепятственно распространяются «по всей толще» внешней и внутренней политик субъектов

Тезис пятый. Определение. Таким образом, если традиционные международные отношения — это преимущественно отношения между

государствами по поводу их политики в отношении друг друга и общемировых проблем, то мировая политика — это сфера нерасчлененного взаимодействия между субъектами международных отношений по поводу как их действий в отношении друг друга и решения общемировых проблем, так и политики каждого из них в отношении собственных внутренних проблем и ситуаций.

При таком прочтении перестает казаться аномалией и «зависать» вне рациональных теоретических обоснований феномен гуманитарных интервенций. Они предстают как специфический метод регулирования, характерный и стремящийся стать универсальной нормой именно на этапе перерастания традиционных международных отношений в мирополитические.

Очевидно, что предмет исследования мировой политики гораздо обширнее, разнороднее и сложнее, чем тот, которым занимаются традиционные международные отношения. Но не означает ли это, что мировая политика, развившись в полномасштабную дисциплину, «поглотит» международные отношения? Вряд ли стоит полностью исключать такую перспективу. Вместе с тем ее убедительность вовсе не бесспорна. Она может зависеть от важных и трудно просчитываемых обстоятельств.

Главным из них пока представляется возникновение наряду с тенденцией к «преодолению суверенитета» своего рода контртенденции к его консолидации. Идея отмирания суверенитета, пассивно принятая было российской властью в 1990-х годах, в начале 2000-х стала ею активно отвергаться. После американо-британской оккупации Ирака в 2003 г. президент В. Путин сделал по этому поводу ряд совершенно определенных заявлений в отрицательном смысле. Надо отметить, что такая позиция разделяется довольно большим кругом государств. Значит, слияние сфер внешней и внутренней политики государств вряд ли приобретет характер необоримой всеобщей тенденции, хотя оно будет характерным для отношений в довольно большом и, вероятно, возрастающем секторе политических отношений на планете.

Похоже, что в обозримой перспективе «отпочковавшаяся» от науки о международных отношениях мировая политика продолжит развиваться как близкородственная им субдисциплина, связанная и отчасти зависящая от традиционной науки о международных отношениях как в предмете исследования, так и (что существеннее) в методологии проверки достоверности постулатов.

Тезис **шестой**. *Верификация*. Скажем прямо, и традиционная наука о международных отношениях, и мировая политика в этом смысле уязвимы для критики. И все же в этом смысле «старая школа» международ-

ных отношений при всех ее слабостях (консерватизм, предубеждение в отношении социологических школ анализа) обладает преимуществом.

Политическая социология, в значительной мере воспитавшая мирополитические исследования, инструмента проверки своих выводов не имеет. Ими служат опросы — своего рода замеры состояния политической среды. Если таковые проведены корректно, они способны более или менее достоверно подтвердить или опровергнуть аналитические заключения.

Старая историко-политическая наука о международных отношениях школы МГИМО-ИМЭМО использует в качестве инструмента верификации метод ретроспективного сопоставления. Он менее надежен, чем тот, которым может пользоваться социология. Но этот метод все же позволяет судить о правильности или неправильности выводов исследователей, хотя и по прошествии длительного времени. Ввиду этого систематически (минимум раз в 15 лет) возникает потребность в переосмыслении сущностного значения и направленности международных тенденций.

Мировая политика в ее нынешнем виде и состоянии, тем более работая в рамках своего предметного поля изолированно от науки о международных отношениях, не имеет механизма верификации вовсе. Она практически не может пользоваться инструментарием социологов, чтобы проводить замеры состояния мирополитической среды в планетарном масштабе, но одновременно пропитана скепсисом по отношению к историко-политической школе.

Тезис седьмой. *Предметный уровень.* Если на уровне объектов исследования обеих дисциплин провести границу между ними относительно легко, то жестко «развести» их на уровне предметов исследования — сложнее.

Не повторяя устаревшие за минувшие годы предметные перечни ГОСТа Минобразования, представим в виде таблицы картину новых предметов «исключительного ведения» международных отношений и мировой политики, а также сферу их совместного предметного ведения (см. табл.).

Таблицу легко развернуть в более пространную. Но даже приведенные сопоставления несомненно убеждают, с одной стороны, в наличии разных, уже кое в чем высокоспециализированных предметных полей у международных отношений и мировой политики, с другой — в очевидной взаимосвязанности и взаимозависимости предметов их ведения.

Вот почему оптимальным вариантом взаимоотношений науки о международных отношениях и мировой политики видится их равноположенное развитие как сопредельных субдисциплин в будущем

Таблица

Предметы исследования международных отношений и мировой политики

Международные отношения	Мировая политика	Предметы «общей компетенции»
Историко-политические аспекты МО	Социологические и политико-психологические аспекты МО	Философия и теория международных отношений
Контроль над вооружениями, вопросы распространения	Контроль над деятельностью международных криминальных сетей	Международные переговоры о борьбе с деятельностью криминальных сетей
Жесткая безопасность (<i>Hard Security</i>)	Мягкая безопасность (<i>Soft Security</i>)	Внутренняя безопасность (<i>Homeland Security</i>) от транснациональных угроз
Межправительственные организации формального типа (ООН, НАТО, ОДКБ)	Международные организации неформального, в том числе сетевого, типа («сетевой» антиглобализм, «Международная амнистия», «Гринпис»)	Международные организации переходного и смешанного типа («Группа восьми»)
Межстрановая интеграция	Интегрისტские движения и НПО	Трансграничное сотрудничество всех форм
Межстрановое экологическое сотрудничество	Экологические движения	Экохолистика во всех проявлениях
Роль государств и межгосударственных организаций в разрешении конфликтов	Роль ТНК в вопросах развития	Глобальные аспекты проблемы разрыва в развитии
Унификация международных стандартов прав человека	Сравнительное правозащитное право (<i>Comparative Human Rights Law</i>)	Кодификация деятельности международных правозащитных институтов

и школ анализа сегодня. Каждое из ответвлений знания обладает своими несомненными преимуществами и очевидными слабостями.

Состоится или не состоится демо-империалистический мир, государства в лице всех его ведущих членов от США и Франции до Китая и России не собираются сдавать в нем свои позиции. Напротив, всемирная угроза сетевого терроризма и коррупция транснациональных финансовых сетей, отравленных наркоденьгами, могут самым

неожиданным образом создать в мире стимул к союзу всех государств против всех криминализованных трансгосударственных сетевых субъектов, что вряд ли поведет к ослаблению «государствоцентризма» в международной системе. Это побуждает одновременно внимательнее и спокойнее относиться к трактовке перспектив развития, помимо прочего, и теории международных отношений.

* * *

Борения по проблематике мировой политики в России — отечественный феномен, связанный как с относительной малочисленностью сообщества международников, так и с его излишней политизированностью. Мировая политика как субдисциплина пока что больше утверждается через ГОСты Министерства образования, чем через диалог мнений и серьезные научные труды, попытки применения которых для целей прикладного анализа сами по себе убедили бы массу читателей в беспорности одних и несостоятельности других теоретических аргументов. Сложившаяся ситуация есть знак незавершенности становления школы исследований по теории международных отношений в России. Ускорить этот процесс — одна из задач этого рассуждения, которое его автор видит как не последнее, а второе слово в обсуждении, которое с выходом первой русской книги о мировой политике неформально началось наконец в нашей науке.

Примечания

¹ *Лебедева М. М.* Мировая политика. М., 2003. Ряд важных положений мирополитического подхода развиты в исключительно удачной коллективной работе «Категории политической науки», выполненной под руководством А. Ю. Мельвиля (М., 2002).

² *Тюлин И. Г.* Исследования международных отношений в России: вчера, сегодня, завтра // Космополис. Альманах. М., 1997. С. 18–28.

³ *Цыганков А., Цыганков П.* Теория международных отношений в России: отчего не спешат появляться школы? // Международные процессы. 2003. № 3.

⁴ Этой теме была посвящена статья А. Д. Богатурова «Десять лет парадигмы освоения» в журнале «*Pro et Contra*» (2000. № 1), которая вылилась в дискуссию на страницах журнала, продолжавшуюся около двух лет.

⁵ *Krasner S.* Sovereignty.Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999; *Hobson J.* The State and International Relations. Cambridge — N.Y.: Cambridge University Press, 2001; *The New Agenda for International Relations / S. Lawson.* (ed). Malden, MA: Polity, 2002.

⁶ Одна из работ этого направления настолько поразила российское сообщество международников, что стала основой для программ нескольких

международных конференций, статей и даже глав в учебниках. Речь идет о книге: *Beyond Westphalia. A State Sovereignty and International Intervention* / G. Lyons and M. Mastanduno (eds). Baltimore — L.: Johns Hopkins University Press, 1995.

⁷ *The Rise of Neoliberalism and Institutional Analysis* / J. Campbell and O. Pedersen (eds). Princeton: Princeton University Press, 2001.

⁸ *Shaw M. Theory of Global State. Globalization as an Unfinished Revolution.* Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

⁹ *Governance in a Globalizing World* / J. Nye and J. Donahue (eds). Washington: Brookings Institution Press, 2000; Irie A. *Global Community. The Role of International Organizations in the Making of the Contemporary World.* Berkeley: University of California Press, 2002.

¹⁰ *Globalization and Human Rights* / A. Brysk (ed). Berkeley: [б.и.], 2002.

¹¹ *Faulks K. Political Sociology. Critical Introduction.* N.Y.: New York University Press, 1999.

¹² *International Order and the Future of World Politics* / T.V. Paul and J. Hall (eds). Cambridge — N.Y.: Cambridge University Press, 1999.

¹³ В России проблематику транзитологии разрабатывал прежде всего А. Ю. Мельвиль. См.: *Мельвиль А. Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные аспекты).* М., 1999, а также: *Ильин М. В., Мельвиль А. Ю., Федоров Ю. Е. Демократия и демократизация* // Полис. 1996. № 5. Со взглядами транзитологов дискутировал Б. Г. Капустин. См.: *Капустин Б. Г. Конец транзитологии?* // Полис. 2001. № 4. С. 6–9; *Капустин Б. Г. Посткоммунизм как постсовременность* // Полис. 2001. № 5. С. 23–24.

¹⁴ *Governance in a Globalizing World.*

¹⁵ В 2000-х годах очевиден спад волны политологических штудий по глобализации. Тематика глобализации уходит (или возвращается) в сферу экономических исследований, где ей, строго говоря, и полагалось находиться. Заметнее стал критический настрой в отношении глобализации как явления. См., например: *James H. The End of Globalization. Lessons from the Great Depression.* Cambridge: The Harvard University Press, 2001.

¹⁶ *Camerton F. US Foreign Policy after the Cold War. Global Hegemon or Reluctant Sheriff.* L. . N.Y.: Routhledge, 2002.

¹⁷ *Lawson S. International Relations.* Cambridge: Polity, 2003.

¹⁸ *Art R. A Grand Strategy for America.* Ithaca — L.: Cornell University Press, 2003. Ср.: *Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А. Очерки теории и политического анализа международных отношений.* М., 2002. С. 253–265.

¹⁹ *Talmon J. L. The Origins of Totalitarian Democracy.* L.: Secker and Warburton, 1955.

²⁰ *Brown S. The Illusion of Control. Force and Foreign Policy in the Twenty-First Century.* Washington: The Brookings Institution Press, 2003; *Falk R. The Great Terror War.* N.Y.: The Olive Branch Press, 2003.

²¹ Ср. также: *Daalder I. and Lindsay J. America Unbound. The Bush Revolution in Foreign Policy.* Washington: Brookings Institution Press, 2003.

²² *Byman D. and Waxman M. The Dynamics of Coercion. American Foreign Policy and the Limits of Military Might.* Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

²³ *Donnelly J.* Realism and International Relations. Cambridge — N.Y.: Cambridge University Press, 2003; *Buzan B., Jhnes C. and Little R.* The Logic of Anarchy. Neorealism to Structural Realism. N.Y.: Columbia University Press, 1993.

²⁴ *Дугин А.* Основы геополитики. М., 2000; *Бжезинский З.* Великая шахматная доска. М., 1999.

Вульгарных геополитиков-публицистов необходимо отличать от респектабельного течения геополитиков академического направления (Николай Мироненко, Владимир Колосов, Николай Замятин, отчасти даже Михаил Ильин), к которым примыкает талантливый писатель геополитической темы Вадим Цымбурский.

²⁵ *Протопопов А. С.* и др. История международных отношений и внешней политики России (1648–2000). М., 2001; *Иванова И. И.* История международных отношений от античности до конца Первой мировой войны: Учеб. пособие. Ч. 1. Владивосток, 2001.

²⁶ *Наринский М. М.* История международных отношений (1945–1975). М., 2004; Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985). Новое прочтение / Отв. ред. Л. А. Нежинский. М., 1995; «Холодная война»: новые подходы, новые документы / Отв. ред. М. М. Наринский. М., 1995; *Чубарьян А. О.* Новая история «холодной войны» // Новая и новейшая история. 1997. № 6; Сталинское десятилетие «холодной войны» / Отв. ред. Н. И. Егорова, А. О. Чубарьян, И. В. Гайдук. М., 1999; *Злобин А. А., Клейменова Н. Е., Сидоров А. Ю.* Программа учебного курса «История международных отношений и внешней политики России (1648–1945)». М., 2000.

²⁷ Из печати вышли наконец заключительные книги подготовленного Научно-образовательным форумом по международным отношениям четырехтомника «Системная история международных отношений», который правомерно рассматривать как первый отечественный опыт политологического осмысления предмета исследования традиционной историко-политической дисциплины. См.: Системная история международных отношений в четырех томах. 1918–2003. События и документы. Т. 1, 2. М.: Московский рабочий, 2000; Т. 3. М.: НОФМО, 2003; Т. 4. М.: НОФМО, 2004.

²⁸ *Лебедева М. М.* Указ. соч.

²⁹ *Цыганков П. А.* Политология и наука о международных отношениях: проблема разграничения предметных полей // Социально политический журнал. 1995. № 5. С. 57–65.

³⁰ Networks and Netwars / Н. Arquilla and D. Ronfeld (eds). Santa Monica: Rand, 2001.

³¹ Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В. И. Гантман. М.: Наука, 1984.

³² *Ikenberry J.* After Victory. Institutions, Strategic Restraints and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton, 2001.

³³ Подробнее см.: *Богатуров А.* Современный международный порядок // Международные процессы. 2003. № 1.

Глава 4

.....

Децентрализация и критерии лидерства в международной системе*

Пятнадцатилетняя тенденция к централизации международной системы после распада Советского Союза, возможно, ослабевает. Хотя превосходство Соединенных Штатов не оспаривается, сами они, завязнув в иракской войне, теряют уверенность. Военственные речи по-прежнему раздаются, но на деле политики пытаются вести себя осмотрительнее. Желание рисковать тем меньше, чем ближе выборы американского президента. В обстановке сомнений в способности республиканцев победить в третий раз подряд начинает исподволь меняться внешнеполитическое поведение США. Амбиции вряд ли стали меньше, но жизнь вынуждает проявлять не свойственные «команде Буша» осторожность и склонность снова хотя бы выслушивать мнения союзников, прежде всего натовских.

Начавшись в 2003 г. как второстепенная по военному значению, авантюра в Ираке спровоцировала неожиданно обширный политико-дипломатический раскол мира. В 2004–2006 гг. он приобрел черты последовательной оппозиции большинства ведущих стран американской политике односторонних действий, а это, в свою очередь, превратилось в тенденцию к децентрализации мировой системы. Международные условия американского лидерства изменились.

1

России новая ситуация не сулит ничего вдохновляющего. Вероятнее всего, потому, что понимание американским республиканским руководством объективной необходимости в консолидации круга привычных союзников (стран ЕС и Японии) толкает к самому простому: поиску «мальчика для битья», раздражение против которого, если его разогреть и направить, может заместить повсеместные антиамериканские настроения. Терроризм в качестве общего врага уже надоел.

Заменой ему пробуют сделать «путинскую Россию». Во всяком случае, передачи *CNN* и *BBC* по российской тематике, которые никогда

* Опубликовано в: Международные процессы. 2006. № 3. Т. 4.

не занимали в вещании даже 10% эфирного времени, в декабре 2006 г. стали появляться заметно чаще, становясь длиннее и тенденциознее. Примерно так в брежневском Советском Союзе подавали информацию о США и западноевропейских странах.

Для всплеска раздражения Запада против России есть одна фундаментальная причина и как минимум три субъективные. *Первая* в том, что в основе централизованной системы мироуправления, сформированной за десятилетие между распадом СССР и началом нового века, оказались две идеи — «сильное американское лидерство» и «слабая, ведомая и дружественная для США Россия». К началу 2000-х годов эта система вполне сложилась. После балканских войн 1991—2001 гг. стало ясно, что под руководством Соединенных Штатов западные страны фактически ничем не ограничены в международном поведении, кроме собственных принципов и доброй воли толковать таковые в зависимости от специфики текущих интересов.

Именно тогда в мире закончился «переходный период». Словосочетание «эпоха после холодной войны» (*postcold-warperiod*) будет еще долго оставаться в обиходе грантополучателей и грантодателей в области исторической науки. Но этот термин уже не относится к современности. «Постбиполярный» мир с его надеждами, тревогами и неопределенностью остался в 1990-х годах. Новый век мировая система встретила структурированной по-новому. США почти стали если не формально, то фактически центром принятия ключевых международных решений. Новый порядок был «отцентрован» под интересы Вашингтона, которые, правда, американские союзники в НАТО, по всей видимости, ошибочно считали и своими тоже.

Сегодня ситуация изменилась. Российская Федерация перестает быть такой слабой, какой она была в конце прошлого века. Во всяком случае, у ее руководителей возникло такое ощущение. Формулы международного регулирования и российско-американских отношений, выработанные в расчете на «автоматическую стоворчивость» Москвы, теряют адекватность. Избегая говорить о том вслух, их фактически начали пересматривать. Ревизия ведется без продуманной переговорной стратегии, методом проб и ошибок. На это указывает нынешняя полоса политико-пропагандистского искрения в отношении России с США и ЕС. Уход России от роли «слабой страны» — новая характеристика международной системы начала XXI в. Не странно, что такой сдвиг может быть сопряжен с «кризисом понимания» между Россией и всеми ее зарубежными партнерами — от США и Европейского союза до исламских стран и Китая.

Строго говоря, это изменение, при всей его важности для нашей страны, само по себе вряд ли может радикально изменить сложившуюся схему глобальных отношений. Например, в силу хрупкости того, что принято считать экономическим подъемом в России. Запад болезненно реагирует на ситуацию в силу действия дополнительных факторов — менее фундаментальных, но важных.

Во-первых, в США за полтора-два года до президентских выборов всегда нагнетают политические страсти по поводу любых событий, в том числе международных. *Во-вторых*, в странах ЕС сформировалась «критическая масса истерических ожиданий» в отношении «непредсказуемости» российской энергетической стратегии. В основе тревог — сохраняемые со времен российско-украинского «газового скандала» начала 2006 г. страхи по поводу зависимости европейских потребителей от энергоносителей из России. *В-третьих*, президентские выборы приближаются и в Российской Федерации, а значит, как всегда, обостряется борьба открыто и тайно действующих конкурирующих групп (в том числе криминальных), каждая из которых стремится повлиять на действующего президента, а через него — на выдвижение своего кандидата в президенты на следующий срок. Сплетение всех факторов оказалось достаточным, чтобы мировую политику залихорадило.

Картина станет полнее, если заметить, что позиции американских республиканцев и демократов в отношении России похожи, хотя цели у обеих партий разные. Республиканцам, как уже говорилось, выгодно нагнетание антироссийских чувств в ЕС, чтобы они могли потеснить критические настроения в отношении самих американцев. Демократам эта задача не противна, но они в еще большей степени, чем республиканцы, готовы найти врага в лице «путинской России», поскольку критика Москвы для представителей демократической партии — форма критики республиканской администрации за то, что из-за собственного авторитаризма Дж. Буш не сумел «пресечь» авторитаризм В. Путина. В итоге рождается эффект негативного резонанса.

Хуже то, что в антироссийский настрой вписались настроения жителей стран ЕС. Дело не только в русофобии «новообращенных» членов Евросоюза вроде стран Прибалтики. Лидеры ЕС стараются «втаскать» Москву в систему обязательств по части энергопоставок из самой России и транзита азиатских энергоносителей через российские трубопроводы. Москве эти обязательства невыгодны. Отсюда — спор из-за отказа России ратифицировать Договор к Энергетической хартии 1994 г.¹ и топтание на месте в связи с заключением нового договора об отношениях между Европейским союзом и Россией. Имея ограничен-

ные возможности надавить на Россию, политики ЕС стремятся выйти на позицию политико-психологического превосходства, поставив Москву в «позицию виноватого».

Нагнетание страстей в СМИ Евросоюза и на американских новостных каналах происходит синхронно и по единой схеме. Собранные вместе разнородные сообщения о предположительно заказных убийствах в России чередуются с сообщениями об ужесточении требований российского правительства к иностранным энергетическим компаниям, действующим на российской территории (скандал вокруг проектов «Шелл» на Сахалине). То и другое связывается рассуждениями о пороках политической системы России. Пристрастные комментарии репортеров даются в «одном пакете» с тем, что понятно простому человеку: Россия «почему-то» не хочет поставлять газ.

Подобные кампании бывали и прежде. В этом смысле очередная из них может оказаться второстепенным эпизодом в развитии отношений России и Запада. Но именно текущий момент очень важен: сейчас, после выборов в Конгресс в ноябре 2006 г., Соединенные Штаты начинают менять свою внешнюю политику.

Республиканцам есть на что досадовать. В 2001 г., всего пять лет назад, Дж. Буш явил невиданный талант сплачивать вокруг себя не только старых партнеров, но и новообретаемых союзников — Россию и (с оговорками) даже Китай. Глобальная антитеррористическая коалиция 2001–2002 гг. могла бы стать для республиканцев таким же дипломатическим триумфом, каким для демократов при У. Клинтоне был перевод Москвы с позиции «неконфронтационного взаимодействия на равных» (как было в 1986–1991 гг. при М. Горбачеве) на положение «почетного младшего партнера» (так стало в 1991–1999 гг. при Б. Ельцине).

«Триумф Буша» не удался потому, что он был слишком кратковременным. Уже в 2003 г. война в Ираке расколола глобальную коалицию. Более того, по иракскому вопросу (как позднее и по вопросу о войне против Северной Кореи) США сталкивались с угрозой дипломатической изоляции. Серьезность ситуации, похоже, ранее других осознала К. Райс, с приходом которой на пост государственного секретаря в 2005 г. готовность Вашингтона к военным авантюрам стала меньше, хотя жесткость риторики сохранилась.

Сегодня в круг задач американской дипломатии возвращается мысль о привлекательности «настоящих», широких коалиций. Серьезность этой задачи и настрой Вашингтона на ее разрешение — повод задуматься о том, какое место хочет и сможет занять Россия в новом общемировом коалиционном раскладе.

2

Временами атмосфера современной международной политики напоминает канун великих потрясений. С одной стороны, процветание самой мощной группы стран, с которыми старается соизмерять шаг Россия. С другой — масштабы неустройства в многонаселенных государствах Азии, Латинской Америки, Африки; самоуверенность силы в стане старых ядерных держав и распространение атомного оружия в кругу уже немалочисленных «ядерных нелегалов»; устоявшиеся ожидания всемирного торжества демократии и размывание основ международной стабильности. В мире растет потенциал разногласий — итог политики всех сильных стран, результат их эгоизма и нежелания компромиссов.

В начале 2000-х годов в зарубежной литературе был отмечен «парадокс мощи» государства. Каждое крупное государство в отдельности за последние 100 лет становилось сильнее, а его возможности подчинять себе других делались меньше². В этой концепции были и правда, и мистификация. Правда — потому что в XX в. могущество ведущих стран нарастало (после распада СССР это касалось прежде всего стран «Группы семи»). Они обеспечивали прорывы в создании систем вооружений, демонстрировали рост национального богатства, повышение образованности населения, привлекательность жизни. В эти страны устремлялись потоки мигрантов, идей и капиталов. В основе успехов США, государств ЕС и Японии были национально своеобразные системы демократии, позволявшие каждой стране оптимально сочетать свободу регулирующих функций конкуренции с культурными традициями, особенностями национальной психологии и специфики геополитических условий.

Франция или США 2000-х годов многократно сильнее, чем каждая из этих стран в начале XX в. То же можно сказать о Китае, Индии, многих арабских странах, государствах АСЕАН и Латинской Америки. Россия в этом ряду стоит особо. Она слабее Советского Союза, но и она по многим показателям — военной мощи, научно-техническому потенциалу, качеству рабочей силы — выглядит сильнее Российской империи.

Менее очевидной предстает вторая часть «парадокса мощи» — та, согласно которой окрепшие страны, ощущая себя стесненными зависимостью от окружающего мира, должны действовать менее произвольно. Мощным государствам теоретически следовало бы вести себя «не по силе осмотрительно», избегая давления на соседей, учитывая мнения друг друга, избегая войн там, где их возможно избежать, прибегая к убеждению и уговорам, а не к угрозам и шантажу. В какой мере актуален «парадокс мощи»? Реальности побуждают думать, что обобщение о возрастании

«сдержанности» в поведении сильных государств справедливо в основном применительно к специфике второй половины прошлого века.

«Зрелой биполярности» (1962–1991) действительно были присущи особенности, делавшие ее иммуноустойчивой к мировым войнам. *Во-первых*, существовали материально-силовые, политические, идейно-теоретические и психологические ограничители вмешательства одних государств в дела других. Мир был расколот на две враждебные группировки, которые сковывали друг друга. *Во-вторых*, действовала логика взаимного гарантированного уничтожения, основанная на ней стратегическая стабильность и культура «ядерного табу». В такой ситуации в политике и дипломатии развилась мощная традиция нахождения компромисса. Она определяла мышление политиков и военных в США, СССР, Великобритании, Франции и даже в Китае.

В-третьих, взаимное ядерное сдерживание породило механизмы предупреждения войны. Ключевым среди них была ООН, главным назначением которой было исключение угрозы военного столкновения между СССР и США (и между ядерными державами вообще). Рядом с ООН возникла система постоянных военно-политических переговоров, которые не всегда вели к сокращениям вооружений, но постоянно служили каналами информационного обмена и целям взаимной проверки наличия или отсутствия у противостоящей стороны симптомов готовности начать войну.

Под сенью взаимного устрашения развилось международное право и возникли институты правового регулирования международных отношений. К началу 1990-х годов идея управления миром на основе международного права стала настолько популярной, что появились предположения о вступлении глобальной системы в период преобладания международно-правовых способов ее регулирования³. Теоретическая уместность такого вывода подтверждалась поразительным опытом абсолютно мирного (сугубо правового) распада Советского Союза.

Взгляды о преобладании тенденции к ограничению и самоограничению произвола сильных стран международным правом широко представлены в литературе 1990-х годов. Из написанного вычитывался романтический образ восхождения человечества к правовому универсуму — «глобальному гражданскому обществу» на принципах свободы, демократии и права⁴.

Правда, в 1990-х годах распространение демократии происходило не только в результате вызревания внутренних процессов (в европейских республиках бывшего СССР и странах Центрально-Восточной Европы), но и под прямым военным давлением извне (в бывшей Югос-

лавии). Самоограничение сильных держав, классическими образцами которого остались действия СССР и США в годы «перестройки» (1986–1991), перестало себя проявлять после распада Советского Союза.

Войны НАТО на Балканах в конце 1990-х годов, несмотря на их несовместимость с представлениями о «сдержанности» и «самоограничении», не смутили пишущих. Западные, да и отечественные авторы «выстрелили» в ответ на балканские кровопролития фонтаном текстов по поводу достоинств гуманитарных интервенций. Можно допустить, конечно, что их авторы, отыскивая теоретические обоснования легитимности нападения НАТО на Сербию, продолжали верить в «сознательность сильного» и способность США и других стран Североатлантического альянса преодолеть «соблазны превосходства» в отсутствие малейшего риска возмездия со стороны кого бы то ни было. Но фактических подтверждений способности лидеров добровольно себя ограничивать найти не удавалось.

Напротив, война в Ираке показала, что сильные страны «вошли во вкус безнаказанности» произвола. Строго говоря, произвольное применение силы Соединенными Штатами произошло еще осенью 2001 г. в Афганистане. Но «афганский случай» мог казаться «шоковой реакцией» на события 11 сентября, своего рода исключением. Вторая афганская война выглядела возмездием «террористам» (почему-то именно афганским) за нападения на Нью-Йорк и Вашингтон.

Вторжение в Ирак, напротив, представало в глазах большинства европейских и азиатских политиков превентивным ударом, неспровоцированным и лишенным международной санкции. Среди американских ученых нашлись те, кто расценил вторжение в Ирак как пример использования войны в качестве не исключительного, а «рядового» средства решения международных споров⁵. Это был полный разрыв с практикой, философией и культурой межгосударственного общения второй половины XX в. Американская администрация отвергла логику терпимости к «иному», к тому, что не соответствовало американским представлениям, тогда как именно подобная терпимость позволяла Советскому Союзу и Соединенным Штатам сохранять себя и мир от ядерной войны.

Вот почему с позиции общесистемного подхода рубежом нового периода истории международных отношений после распада СССР следует считать не 2001 г. (как постулируют американские коллеги), а начало войны против Ирака — 2003 г. Именно в этот момент США и Британия отказались признавать неписанные кодексы международного поведения в том виде, в котором они сложились после Карибского кризиса 1962 г. Полагать после этого, что международная система регулируется пре-

имущественно посредством права, не было никаких оснований. Как и в 1950-х годах, мир стал тяготеть к регулированию на основе силы.

Сдвиг в политике был тем контрастнее, что американская администрация официально подвела под действия в Ираке доктринальное обоснование. Были оглашены концепции «смены режимов» (*regime change*), «демократизации» (*democratization*) и «превентивных действий» (*preventive action*). Первые две давали политическое, а третья — военное обоснование политики односторонних действий во имя интересов национальной безопасности США, трактуемых республиканцами без учета мнения как внутренней оппозиции, так и зарубежных союзников.

Новые концепции строились на трех идеях. Согласно *первой* правительства государств-изгоев (*rogue states*), которые с точки зрения США «противопоставляют себя мировому сообществу», являются «неблагонадежными» в том смысле, что они могут преследовать цели, несовместимые с американскими интересами. Поэтому эти правительства должны подлежать замене. Направляющую роль в осуществлении таковой должен играть внешний мир и сами Соединенные Штаты.

Вторая мысль состояла в том, что результатом смены режимов с помощью интервенции должно стать создание государственного устройства, соответствующего американским представлениям о форме демократического правления, которая подходит для данного государства. Наконец, *третья* идея касалась обоснования применимости первых двух: стратегию смены режима и демократизации «можно было» проводить по профилактическим соображениям. Достаточно было подозревать, что та или иная страна вынашивает недобрые планы. В совокупности все три доктрины определили теоретические представления американской администрации о линии поведения в мировой политике.

Возродившийся культ силового превосходства повлиял не только на внешнюю политику США, но и на приоритеты других стран — России, стран Евросоюза, Японии, Китая, Индии, Израиля, Пакистана. После начала войны в Ираке в американской библиографии пролился водопад книг о величии Соединенных Штатов. Ключевое положение в этом потоке занял образ «Американской демократической империи», вытеснивший по иронии образ «глобального демократического общества».

3

Между тем лидерство в мировой системе не обязательно подразумевает наличие только одного лидера. Наличие лидерских качеств характеризуется прежде всего наивысшей (по критериям своего времени)

способностью страны или нескольких стран влиять на формирование международного порядка в целом или его отдельных фрагментов. В кругу лидеров может быть своя иерархия.

С позиций либерализма функцию лидера можно описать как способность нести ответственность за формирование мирового порядка, содействовать или препятствовать общей гармонии международных отношений. С позиций политического реализма лидерство определяется жестче — способность навязать свой интерес в качестве интереса группового (общемирового, регионального). Великие державы в историческом значении — это государства-лидеры, класс международных игроков, который негласно или гласно присваивается в зависимости от характера роли той или иной страны в международном порядке.

Исторически отношения лидеров складывались непросто: критерии лидерства подвижны, а позиции стран могут быстро слабеть или разрушаться. Лидерские амбиции характерны для огромного круга государств, а ревность к чужому лидерству столь же конфликтогенна, сколь агрессивны реакции всех лидеров вместе на попытки любых других стран оспорить лидерство. До наступления ядерной эпохи за лидерство было принято воевать, причем регулярно.

Во второй половине XX в. правила борьбы за лидерство стали меняться, а пути к нему сделались многообразнее. Классический вариант предполагал, что страна-лидер будет обладать набором лучших показателей (экономических, военных, политических, иных) по максимальному числу параметров международного влияния. В такой позиции окончание Второй мировой войны встретили Соединенные Штаты. К этому же стремился Советский Союз. Сознывая свою слабость по сравнению с США, СССР достраивал свои возможности до американских — отсюда борьба за ядерное оружие, гонка вооружений и попытки «экономического соревнования».

Лидерство США и СССР было однотипным. Оно отравляло сознание руководителей европейских держав — Франции и Великобритании. Быстро поняв невозможность конкуренции со сверхдержавами, обе они стремились тем не менее удержаться на позициях классического лидерства, сохраняя полагающуюся атрибутику в виде, например, собственных ядерных сил.

Другое дело — ФРГ и Япония. Обе страны не имели возможности стать крупными военными державами. В этом смысле они — неклассические лидеры, страны, устремления которых реализовывались за счет приобретения компенсирующих возможностей, которые восполняли военную слабость в сравнении с двумя сверхдержавами, а также Францией

и Великобританией. Отсутствие военной силы замешалось наращиванием экономической мощи. Этот путь не гарантировал полного успеха.

В Европе получила развитие еще одна нестандартная траектория движения к лидерству — через «объединение параметров». Это был путь превращения в псевдополюс. Этим путем пошел Евросоюз, который пробует «притворяться лидером». В политическом и военно-политическом отношении он и не стал полюсом: мобилизационные возможности ЕС в целом остались слабыми по сравнению с аналогичными возможностями даже входящих в него крупных государств. Но «сгусток влияния» Евросоюз образовал⁶.

С оглядкой на опыт европейской интеграции интерес к идее объединения параметров стали проявлять в Вашингтоне. США изобрели самобытный вариант объединения параметров, «встроив» в потенциал собственного хозяйства экономические возможности Японии. Возник американо-японский «экономико-политический тандем». Это не значит, что можно говорить об «американо-японском объединенном лидерстве». Речь идет только о стратегии укрепления позиций Соединенных Штатов, которые уже прорвались на лидерские позиции. Для контраста: Российская Федерация, имевшая возможность подкрепить свои лидерские устремления в СНГ за счет применения схемы американо-японского тандема в отношениях с Казахстаном и Беларусью, не стала этого делать — возможно, в силу многих ошибок и трудностей 1990-х годов, упустив, может статься, свой исторический шанс.

Наряду с тенденцией к поиску ресурсов подпитки лидерства за счет присоединения ресурсов партнеров в некоторых частях мира развивается любопытная «модель контрлидерства», т.е. система нейтрализации лидерских устремлений методом «пассивного сопротивления». Исторически она возникла в Юго-Восточной Азии (ЮВА) в 1960–1970-х годах, в дальнейшем окрепнув и воплотившись в региональной дипломатии стран АСЕАН.

Государства этой группы отработали схему поведения, которая позволяет им успешно противостоять амбициям США, Китая, Японии, не вступая в конфронтацию с ними⁷. Тесно кооперируясь между собой в политико-дипломатической области, не давая лидерам возможности вести серьезные переговоры с каждой из малых стран в отдельности, государства АСЕАН научились действовать как сплоченный коллективный игрок. Всякий раз сталкиваясь с лидерским устремлением, они немедленно приступают к взаимным консультациям и не реагируют на инициативы сильных стран до тех пор, пока не согласуют собственную коллективную позицию. Часто таковая сводится к игнорированию аме-

риканских или японских предложений, бесконечному затягиванию реакции на них и в конечном счете — к растворению того, что могло быть ответом, в потоке неопределенных заявлений, ни одно из которых не позволяет лидерам расценить его как согласие с тем, что предлагается.

Лидерские амбиции «теряются и вязнут» в такой среде, а сама она действует в роли «сгустка неприятия» инициатив лидеров. Сломить это неприятие, не прибегая к применению военной силы, вот уже около полувека сильным странам не удается. Замешанное на местной версии азиатского национализма, сотрудничество малых и средних стран АСЕАН в XX в. не позволило ни Соединенным Штатам, ни Советскому Союзу вовлечь страны ЮВА ни в один из военных блоков.

Конечно, соединение усилий малых и средних стран недостаточно, чтобы навязать свою волю более сильным игрокам. Контрлидерская тактика АСЕАН эффективна в пассивном качестве — как инструмент гашения напора «великих держав». Но малые страны утвердили в своем регионе «отпугивающий» политико-психологический барьер, который в какой-то мере защищает их от лидерского произвола. Возможно, что именно поэтому в ЮВА не складывается четко организованной иерархической системы. Сбившись в «сгусток», страны АСЕАН не могут противостоять лидерам, но могут мешать им проявлять амбиции, гася одни и стимулируя другие импульсы, исходящие от более сильных держав.

Этот пример пока остается, по-видимому, уникальным — таким же уникальным, впрочем, как интеграция европейского типа. Но систематическая оппозиция, черты которой в последние годы приобретают отношения США с исламским миром, побуждают думать о возможности появления в мире других «сгустков неприятия» лидеров. Если Соединенные Штаты уйдут из Афганистана и Ирака, не окажется ли чем-то подобным регион от индо-пакистанской до израильско-палестинской границы? И не окажется ли сама многополярность, о которой не устали говорить в Китае и России, «многополярностью сгустков», а не «многополярностью стран», какой она была в давно минувшие эпохи?

Определяющей для страны-лидера остается способность к мироформирующей роли. Исходно лидерская иерархия выстраивалась на основе учета таких показателей, как:

- вооруженная сила, пригодная для использования в целях установления контроля над поведением других государств;
- экономическая мощь как способность питать свою силу;
- идеологическое влияние, связанное с возникновением у других государств желания добровольно подчиниться лидеру, прислушаться к его мнению или просто имитировать его поведение.

В 1980-х годах к этим параметрам добавилась такая характеристика, как научно-технический потенциал, способность выходить на благоприятные позиции в международном разделении труда и их удерживать. В начале 1990-х японским ученым А. Танакой была сформулирована идея об организационном ресурсе, в зависимости от которого страна могла возвыситься в международной иерархии или сойти на ее нижние этажи⁸.

В начале нового века американский политик и ученый Дж. Най, развивая идею об идеологическом влиянии, «перелил» ее в более элегантный тезис о «мягкой мощи» (*soft power*)⁹. Последняя означает «комплекс привлекательности», которым обладает страна независимо от имеющегося у нее материального потенциала. В сущности, это набор характеристик, которые могут побуждать зарубежные государства имитировать черты поведения страны, обладающей «мягкой мощью», формы и методы ее развития, элементы общественного устройства, изучать ее язык, открывающий путь к самовозвышению и благу.

К числу черт лидерского поведения, кроме того, относят напор, умение с опережением выдвигать инициативы и обеспечивать их благожелательное восприятие международной аудиторией, способность самому удержаться на выдвигаемой платформе и оказать поддержку нерешительным партнерам, у которых не всегда имеется ресурс следовать линией, к которой приглашает лидер.

Свое слово в дискуссию привнесла и синергетика. Через ее посредничество в политологию пришло словосочетание «управляющий параметр», который должен представлять собой интегрированный показатель ключевых характеристик потенциала страны и в идеале рассчитываться математически. Стоит оговориться: в политической науке эта операция вряд ли может быть проделана математически корректно. Во всяком случае, ее не будет в этой статье, поскольку автор не может выразить математически характеристики поведения стран, которые пытается описывать логически и оценивать интуитивно. Но синергетика дала важную подсказку: поведением системы управляют не все ее характеристики, а только набор ключевых из них. Для целей анализа таковых должно быть выделено не более пяти (число «лямбда»). Если следовать этой логике, то набор лидерских черт будет выглядеть приблизительно так: (1) военная сила, (2) научно-технический потенциал, (3) производственно-экономический потенциал, (4) организационный ресурс, (5) совокупный креативный ресурс (потенциал производства востребованных жизнью инноваций).

Военная сила в целях возможности ее прямого или косвенного применения для установления контроля над поведением других стран была ключевым параметром лидерства в 1945—1962 гг. В 1963—1973 гг. ее роль

понижалась. В 1974—1985 гг. она стабилизировалась, затем снова упала (1986—1990), чтобы в 1990-х обнаружить тенденцию к росту и резкий взлет в первом десятилетии XXI в.

В последние полтора десятилетия в мире зафиксирована «революция в военном деле». Она должна была показать способность человечества ограничить войну и сделать ее управляемым процессом. На деле революция повела к понижению порога вооруженных конфликтов и способствовала превращению войны из исключительного в рядовое средство решения споров. Началось разрушение культуры «ядерного табу»¹⁰.

Очевидно, что *научно-технический потенциал* во многом остается не только средством развития мировой экономики, но и инструментом приобретения большей военной мощи. Но и в общегражданском назначении он выполняет функции подпитки лидерских амбиций:

- а) способствуя формированию виртуальных составляющих производства с характерной для них повышенной нормой прибыли;
- б) формируя принципиально новый запрос на продукцию этого производства, который переориентирует экономику с обеспечения биожизненных потребностей на удовлетворение потребностей нематериальных (электронные игры для взрослых, непрерывное общение через Интернет, переключение на визуальные средства восприятия информации вообще);
- в) обеспечивая производство дорогой наукоемкой продукции, реализация которой способствует наполнению бюджетов и росту материальных ресурсов экономического влияния.

Традиционная *экономическая мощь* остается важнейшим показателем лидерского потенциала, причем склонность исчислять ее только в стоимостных показателях — в отрыве от товарной номенклатуры производств — искажает картину соотношения лидерских возможностей. Цифры, характеризовавшие место России в мировом ВВП в 1990-х годах, не показывали ее реального положения в международных отношениях. Они иллюстрировали не столько абсолютную слабость ее международного влияния, сколько высокую степень уязвимости российской экономики, зависимость от экспорта энергоносителей, цены на которые даже в пиковые их периоды были низкими по сравнению с готовой продукцией.

Организационный ресурс характеризует способность страны оказывать прямое влияние на принятие международных решений посредством участия в их выработке, а также через выдвижение идей, способных служить основой будущих решений. Организационный ресурс Российской Федерации определяется ее участием в Совете Безопасности ООН

с правом вето, членством в «Группе восьми», ведущих международных экономических, культурных организациях, специализированных институтах ООН, региональных организациях.

Этот ресурс определяется наличием разветвленной системы дипломатических связей и неформальных контактов, позволяющих получать и передавать инсайдерскую информацию, осуществлять лоббирование, вести переговоры по широкому кругу вопросов с разнообразными партнерами. К этой же сфере относятся такие показатели, как кадровый корпус профессионалов-международников, наличие сложившейся школы их подготовки, опыт международного общения, материализованный в архивах, документах, книгах и «устной истории» дипломатической практики.

Сложнее с показателем *потенциала креативности*, способностью страны изобретать и внедрять жизненно востребованные инновации, идеи не только научно-технологической, но и философско-политической, общекультурной природы. В этом смысле российские позиции подорваны реформами 1990-х годов, обернувшимися исходом на Запад носителей знаний, навыков, квалификаций из России, с одной стороны, и разорением сферы образования, науки и культуры — с другой. Потенциал скорого перехода России на путь превращения в «общество знаний» (*knowledge-based society*) вызывает сомнения.

Сдвиг в формах реализации лидерства произошел, по-видимому, во второй половине прошлого века и заключался в переходе от стремления разрушать потенциал соперника к приобретению способности искусственно ограничивать, замедлять его рост и далее — к умению «направленно развивать» потенциального соперника, манипулировать его развитием в интересах лидера. Обладание этим умением — решающий признак способности выступать в роли великой державы. Именно таким образом США взаимодействовали с Россией времен Б. Ельцина. По сходной логике, но с меньшей результативностью строится политика США в отношении Китая.

Политика «вовлечения» (*engagement*), которая пропагандировалась администрацией У. Клинтона в 1990-х годах, была воплощением такого управления. «Интеграция» как включение бывших социалистических стран, в том числе России, в систему общемировых экономических и политических отношений предусматривала, что «переходные» страны включаются в деятельность соответствующих организаций, но фактически не играют в их управлении заметной роли.

За 15 лет после распада СССР Россия расширила участие в мировых делах в качестве элемента международной хозяйственной жизни — в роли крупнейшего поставщика энергоносителей. Но только в послед-

ние два года она интегрируется в управляющие механизмы мировой энергетики — первым признаком этого стал саммит «Группы восьми» под ее председательством в Петербурге летом 2006 г.

Лидерские амбиции и сегодня проявляются в формах войн, захватов и противостояний, что наиболее заметно в политике США. Но в целом такие действия характеризуют меньшую часть международной практики. Тревожно другое — действия Вашингтона индуцируют желание других стран следовать американскому примеру. Произвольное применение силы лидерами провоцирует тотализацию восприятия безопасности всеми странами мира, включая те, которых называют «изгоями». Рывок пороговых стран к ядерному оружию есть проявление этого типа мышления и в известной мере — оборотная сторона силового произвола сильных держав.

* * *

Под влиянием начавшейся децентрализации мировой системы современная межгосударственная иерархия становится менее жесткой. Но ее размягчение идет не только и не столько по линии изменения соотношений возможностей между ведущими государствами. Прогнозируемое уменьшение влияния США может происходить не в результате захвата, скажем, Китаем принадлежащего сегодня Соединенным Штатам почетного места, а за счет ограничения эффективности политики США «зонами отторжения» — секторами пассивного сопротивления лидерским импульсам со стороны малых и средних стран.

Это вероятнее всего в Азии, страны которой не только наращивают способность «мягко бойкотировать» политику больших держав, но и учатся влиять на эту политику «изнутри» самих больших стран за счет миграции азиатского населения в державы-лидеры и использования мигрантами разнообразных форм давления на принимающие страны. Само по себе возникновение «зон неприятия» в лице части исламского мира есть симптом появления в глобальной системе своего рода «всемирного подполья» — какое и должно было рано или поздно возникнуть в «мировом обществе» как реакция на репрессии «мирового верха».

Примечания

¹ В полемике об Энергетической хартии нередко путают два документа — Европейскую энергетическую хартию (ЕЭХ) 1991 г. и Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 г. Сама Хартия является политическим документом и была подписана в Гааге (Нидерланды) 17 декабря 1991 г. большинством запад-

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

ноевропейских государств, Австралией, Канадой, Турцией, США и Японией. Для преобразования намерений и деклараций ЕЭХ в юридические обязательства в 1992 г. было признано необходимым выработать ДЭХ. 17 декабря 1994 г. в Лиссабоне были открыты к подписанию ДЭХ и связанные с ним документы: Заключительный акт Конференции по Европейской энергетической хартии (КЕЭХ) и Протокол по вопросам энергетической эффективности и смежным экологическим аспектам. Российская сторона выразила озабоченность вопросами переводов платежей, торговли расщепляющимися материалами и некоторыми другими аспектами Договора, что было зафиксировано в заявлении Председателя КЕЭХ, вошедшем в итоговые материалы встречи в Лиссабоне. В настоящее время Договор не ратифицирован и США.

² См., например: *Thomas J. Volgy and Alison Bailin. International Politics and State Strength*. Boulder: Lynne Rienner, 2003; *Thomas J. Volgy. Politics in the Trenches. Citizens, Politicians, and the Fate of Democracy*. The University of Arizona Press, 2001.

³ Системная история международных отношений. События и документы. 1918–2003. М.: НОФМО, 2003. Т. 3. Гл. 13. С. 583–638.

⁴ См.: *Кременюк В. А.* Россия вне мирового общества // *Международные процессы*. 2006. № 3 (12).

⁵ *Brown S.* The Illusion of Control. Force and Foreign Policy in the 21st Century. Washington: The Brookings Institution Press, 2003; *Falk R.* The Great Terror War. N.Y.: Olive Branch Press, 2003

⁶ *Троицкий М.* Европейский Союз в мировой политике // *Международные процессы*. 2004. № 2. С. 43–58.

⁷ *Богатуров А. Д.* Великие державы на Тихом океане. М., 1997. С. 196–212.

⁸ *Tanaka A.* Is There a Realistic Foundation for a Liberal World Order? // *Prospects for Global Order*. Vol. 2 / S. Sato and T. Taylor (eds.). L.: The Royal Institute of International Relations, 1993. P. 25–37.

⁹ *Ньюе J. S.* The Paradox of American Power. Oxford: Oxford University Press, 2002. Предложенное в русском переводе словосочетание «гибкая сила» образно, но не очень удачно, так как уводит от подразумеваемого противопоставления «жесткой мощи» (*hard power*).

¹⁰ *Кокوشин А. А.* О политическом смысле победы в современной войне. М.: УРСС, 2004; *Фененко А. В.* Понятие ядерной стабильности в современной политической теории. М.: КомКнига — УРСС, 2006; *Балуев Д.* Политика в войне постиндустриальной эпохи // *Международные процессы*. 2005. № 3. С. 18–32.

Глава 5

.....

Понятие современных глобальных проблем*

Важнейшая черта современности — рост осознания народами и индивидами своей принадлежности к человечеству в целом, а самого человечества — к природной системе Земли. В политико-психологическом и материальном смыслах это осознание пронизано противоречием между землянином-собственником и землянином-альтруистом, сосредоточенным на мыслях о всеобщем и деятельности на благо человека. Конкретным воплощением этого постулата является, к примеру, борение в среде образованных россиян: девственные ресурсы сибирских регионов России — глобальный ресурс выживания человечества, но любые попытки повести речь даже о теоретической возможности расширения международного влияния на право России распоряжаться этими ресурсами вызывают у российских граждан бурное отторжение.

Глобальное сегодня в самом деле лучше осознается. Но с этим осознанием приходит понимание об известной обособленности глобальных проблем, глобальных интересов от интересов отдельных стран, народов, корпораций. Соответственно, насущной политико-дипломатической проблемой мирового развития становится примирение интересов глобального, регионального и странового уровней, а иногда уровней групповых и даже индивидуальных интересов (малых народов, личности человека).

По завершении первого десятилетия XXI в. в мире отчетливо различимы, помимо прочих, две важнейшие тенденции. *Первая* — нарастание его однородности, вторая — усиление сложности, многослойности и даже пестроты окружающей действительности. *Вторая* тенденция во многом вызвана резко усиливающимся эффектом перемешивания разнородных составляющих общего мирового пространства.

1

С одной стороны, неуклонно уменьшается количество районов, не затронутых или мало затронутых такими общемировыми явлениями,

* Опубликовано в: Международные процессы. 2011. № 1 (25). Т. 9.

как пространство Интернета, разрыв в экономическом благосостоянии жителей разных стран и континентов, глобальный финансовый кризис 2008–2009 гг., изменение климата или распространение ядерного оружия. В связи с этим возник и сегодня становится более обширным блок проблем, общих для всего человечества. Отношения, в которые люди непосредственно или опосредованно (через государственные механизмы) вступают ради решения этих общих проблем, образуют внешний пласт-оболочку, который прочно «спрессовывает» жителей Земли в единое целое. Казалось бы, целостность может или должна быть стимулом и инструментом формирования однородности (гомогенности) планетарного сообщества стран и народов.

Но, с другой стороны, внутри этого сообщества происходит сокращение относительно однородных пластов, которые собой представляли, например, отдельные крупные по европейским масштабам страны. Франция, Германия, Британия, Италия сегодня не являются государствами главным образом французов, немцев, белых потомков англичан, шотландцев, уэльсцев и итальянцев. В этих странах, как и в Европейском союзе в целом, проживает огромное число не так давно (во второй половине XX в.) приехавших и укоренившихся выходцев из Африки и Азии. Это новое, исходно «пришрое» население ЕС — неотъемлемая часть политической и экономической жизни соответствующей части зарубежной Европы.

Но эта часть в культурном отношении очень сильно отличается от «коренных европейцев». Пришельцы приносят новые модели поведения в быту, экономике и политике, которые определяются соответствующими культурными традициями, которые группы пришельцев собой олицетворяют. В итоге размывается этническая, социально-политическая и социально-экономическая однородность государств ЕС и Евросоюза в целом. Нарастает разнородность (гетерогенность) их экономической, политической и социальной жизни.

Взлет тенденции к ускоренному нарастанию этнической и культурной разнородности очевиден во многих других странах — России, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии и даже Японии, исторически весьма болезненно относившейся к присутствию иноэтнических групп на своей территории. Направление потока пришлых этнических групп определяется движением из более бедных стран в более благополучные. Присутствие России в обозначенном ряду до некоторой степени условно, поскольку она беднее других фигурирующих в нем стран. Но приток в нашу страну иммигрантов из соседних стран бывшего Советского Союза — показательный факт.

Как бы то ни было, нарастание разнородности в разных районах мира — результат затронувших весь мир мощных миграционных потоков. Важнейшим стимулятором этой волны стали процессы глобализации. В результате оказывается, что глобализация выступает питательной средой нарастания в мире «перемешивания», многообразия и разнородности наряду с тем, что она же служит источником тенденции к однородности экономических укладов отдельных стран и народов, распространению единых стандартов потребления, ведения бизнеса, доступа к информации и, в конечном счете, прав человека и политической активности.

Глобализация как процесс выглядит своего рода сетью отношений, окутывающих страны и народы «по поверхности», наружно. Внутри отдельных государств и этнических групп при этом продолжают развиваться отношения, нередко существенно иные и даже иногда противоположные тем, которым содействует глобализация. Между условно поверхностными и «глубинными» отношениями при этом не обязательно возникают конфликты. То есть и другие способны сосуществовать, образуя анклав¹ разнородных укладов и моделей поведения в рамках единого международного сообщества, объединяемого по внешнему контуру, помимо прочего, наличием глобальных проблем, для решения которых требуются усилия всех участников международных отношений. Благодаря такому механизму взаимной адаптации анклавов в мире не происходит «глобальной этнической революции», хотя нарастание разнородности мира сопровождается периодически возникающими в разных точках Земли социальными конфликтами.

В мире XXI в., таким образом, одновременно происходят два взаимосвязанных процесса. *Во-первых*, нарастание важности общих мировых проблем и рост понимания необходимости сотрудничества в интересах их решения ведет к появлению по внешнему контуру взаимодействия стран и народов единых правил, стандартов и практик, подчиненных логике сотрудничества в интересах стабильного развития всей планетарной системы. Возник и развивается «обрамляющий» и синтезирующий пласт общемировых отношений, выдерживаемых в таком ключе.

Во-вторых, внутри этой «рамки» развивается процесс усложнения, роста многообразия социальных, экономических и политических отношений в рамках отдельных государств и между ними. Этот второй процесс, как правило, по-прежнему подчинен главным образом «национальным интересам» на уровне стран и, соответственно, групповым и индивидуальным интересам на уровне взаимодействий внутри

государств. Логика и мотивы общемировой целесообразности и солидарности на этих уровнях часто не срабатывают или срабатывают недостаточно эффективно.

Тем не менее ни одна страна мира, ни одна группа (корпорация, политическая партия) не в состоянии игнорировать факт наличия общемировых проблем, необходимость так или иначе соотносить свою деятельность с потребностями в их решении и вступать в связи с этим в отношения с другими субъектами мировой политики.

Проблемы, относящиеся к потребностям всего человечества, мира, земного шара, именуется в настоящей статье общемировыми, или глобальными. В бытовом языке слово «глобальный» в последние 10–15 лет оторвалось от своего исходного значения «относящийся к земному шару в целом» (*globe* — земной шар). Оно стало использоваться в смысле «грандиозный», «очень важный». С точки зрения профессионального языка международного юриста такое употребление не является точным. В науке о международных отношениях слово «глобальный» всегда указывает на нечто, имеющее прямое отношение к состоянию мира в целом.

Современные глобальные проблемы — это наиболее общие проблемы (1) текущего состояния системы международных отношений в целом, (2) процессов изменения /динамики/ этих состояний, а также (3) регулирования и саморегулирования этих процессов. Дисциплина «современные глобальные проблемы» — отрасль науки о международных отношениях, исследующая эту трехчленную целостность. В ней, как правило, не изучаются двусторонние и многосторонние отношения, внешние политики отдельных государств и международная деятельность отдельных негосударственных субъектов.

В фокус рассмотрения этой дисциплины могут попадать действия ведущих государств мира или процессы регионального уровня, только если по каким-либо причинам эти действия или процессы начинают оказывать заметное влияние на состояние мировой системы в целом.

При этом, разумеется, важно понимать, что именно государства и конкуренция между ними определяют политику общемировых органов регулирования отношений в сфере решения глобальных проблем. Государства задают тон деятельности ООН. Они же направляют работу Мирового банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации. Новые групповые регуляторы глобальной экономики и политики — «Группа восьми» (так она тогда называлась) и «Группа двадцати» тоже состоят из представителей государств. Наконец, союз НАТО, постепенно движущийся в направлении превраще-

ния в важнейший орган регулирования глобальной военно-политической сферы, тоже представляет собой объединение государств.

Это не значит, что в решении глобальных вопросов существует монополия государственного начала. В современной мировой системе, помимо государств, большое влияние имеют разнообразные негосударственные субъекты — ТНК, международные политические, экологические и иные движения и группы, различные сетевые сообщества (в том числе криминальные), группы интересов и тому подобные образования. По сравнению с государствами этот класс субъектов менее ограничен в своей деятельности правилами и официальными механизмами международного общения на глобальном, региональном и страновом уровнях.

В мировой системе в целом негосударственные субъекты выполняют важнейшую роль «агентов общения», своего рода посредников между уровнями взаимодействия, характерными для государств. Для них не существует необходимости строго следовать правилам, установленным межгосударственными договорами, если только государства специально не принуждают их к этому в силу тех или иных обстоятельств.

Например, транснациональные банки, пользуясь неподконтрольностью государствам, в погоне за прибылями долгое время целенаправленно поощряли рискованные финансовые операции в 2000-х годах. Только столкнувшись с мировым финансовым кризисом, государства в лице «Группы двадцати» в 2008–2009 г. договорились о некоторых мерах по усилению внимания правительств к деятельности банковской сферы.

Известна и роль некоторых частных банков в 1990-х годах, через сети которых отмывались (и отчасти продолжают отмываться) деньги транснациональных сетей производства и сбыта наркотиков. После событий 11 сентября 2001 г. в США достоянием гласности стала неблагоприятная деятельность некоторых коммерческих кредитных учреждений, на счетах которых накапливались средства, используемые международными террористическими сетями, в частности «Аль-Каидой».

Международные энергетические, в частности нефтяные, корпорации (в круг которых в 2000-х годах вошли наряду со старыми, западными по происхождению компаниями корпорации ряда азиатских стран) уже полвека в огромной степени влияют на изменения ценовых пропорций на глобальном рынке энергоносителей. Соответственно, от действий транснационального энергетического бизнеса во многом зависит стабильность мирового экономического развития.

Очевидно, негосударственные субъекты оказывают большое влияние на состояние глобальной среды военно-политической и экономической безопасности и, следовательно, на решение глобальных проблем.

2

Глобальная политика — это сгусток материи отношений между всеми субъектами международного взаимодействия по поводу решений вопросов общемирового значения, совокупность соответствующих общих или специализированных практик воздействия на планетарные процессы — военно-политические, экономические, идеологические, информационно-психологические, гуманитарные, экологические и иные.

В содержательном отношении к глобальному уровню развития международного сообщества относится несколько основных групп проблем. *Во-первых*, это вопросы изучения объективных характеристик бытия человечества. Имеются в виду общемировые тенденции (тренды) экономического и демографического развития, состояние глобальных техногенной, антропогенной и естественно-природной сфер, становление глобального информационного пространства, тенденции научно-технического развития и военно-технологических инноваций, идеологические сдвиги, правовое развитие человечества.

Во-вторых — динамика изменений в общем соотношении потенциалов ведущих государств, универсальные вопросы международной политической, экономической и военной конкуренции, международная безопасность, состояние природной среды, ресурсный потенциал мирового развития, глобальная социальная сфера (проблемы бедности, гендерного равенства /равенства социальных полов/, этнокультурных различий, этнополитической психологии).

В-третьих, это исследование инструментальных начал регулирования мировой системы: управление рефлексией человека по поводу мирового бытия, философия и антропология международных отношений, проблематика глобальных управляющих институтов и развития инструментария неформального и неформализуемого регулирования международных отношений.

В современной специальной литературе существует как минимум два варианта понимания глобальных проблем — условно говоря, узкий и широкий. Сторонники первого ограничивают проблематику глобальных проблем преимущественно социологическим срезом. В центре их внимания — глобальная политическая экология, все аспекты трансграничной деятельности человека-индивида, гуманитарные, социальные, научно-образовательные, теоретико-философские и технологические аспекты развития мира. Проблематика конфликтов затрагивается, но главным образом в контексте переговорных усилий по их урегулированию. По содержанию работы исследователей этого направления тя-

готовят к проблематике того, что в американской научной литературе относится к тематике «мягкой безопасности» — *«soft security»*² с характерным акцентом на невоенных аспектах мирового бытия.

Вместе с тем правомерно и широкое понимание современных глобальных проблем, которое объединяет все вопросы, относящиеся к общемировому срезу общения между государствами (традиционными) и негосударственными («новыми») субъектами международного общения. Военно-политические, энергетические, финансово-экономические и политико-идеологические аспекты развития человечества занимают наше внимание не меньше, чем природоохранные и социально-гуманитарные. Познавательная «повестка дня» как «мягкой», так и «жесткой» безопасности соединяется в пределах одного предметного поля. Социологический, историко-политический и экономический срезы анализа работают в таком случае как единый методологический комплекс. Подобное отношение к глобальным проблемам в специальной литературе распространено шире, чем «узкое», и для международника оно представляется более практичным.

С позиций традиционных парадигм знания о международных отношениях вопрос об упорядочении мирового развития, его регулировании связывается либо с добровольным конструктивным сотрудничеством между ведущими странами мира (в идеале — между всеми), либо с гегемонией одной сверхсильной державы, способной навязывать свою волю более слабым игрокам или убеждать их принять ее условия международного развития без применения силы, но не исключая таковое.

Примеры первого типа регулирования — «европейский концерт» XIX в., ООН и «Группа семи/восьми» в XX в., а также «Группа двадцати» — в последнее десятилетие. Примеры второго — положение нацистской Германии в Европе в 1930-х годах или глобальные позиции США в конце 1940-х годов и с момента распада СССР в 1991 г. до приблизительно середины первого десятилетия XXI в.

В либеральной традиции именно международные институты (формальные и неформальные) традиционно связываются с «позитивной» идеей регулирования международной системы. При этом регулирование такого рода понимается как рациональное (в значении «сознательное» и «продуманное», но не обязательно «моральное» и «справедливое») воздействие на мировое развитие в целях предупреждения кризисов и войн, даже если стабильность мира в целом достигается за счет интересов безопасности конкретной страны или группы стран.

Мир и безопасность — понятия иногда взаимодополняющие. Но нередко они прямо противоречат друг другу. Мюнхенский сговор

1938 г. между Францией, Британией и гитлеровской Германией позволил на время избежать большой войны в Центральной Европе. Но этот компромисс был достигнут за счет Чехословакии, которая перестала существовать как государство.

В 1991 г. глобальная стабильность и военно-политическая безопасность мировой системы, в сущности, не пострадали от распада Советского Союза. Более того, с территории бывшего СССР на запад и восток устремились обильные потоки необычайно дешевых природных, интеллектуальных и людских ресурсов. Не только поэтому, но и поэтому тоже мировая экономика с того времени вступила в пору непривычно продолжительного устойчивого развития, продолжавшегося почти до конца 2000-х годов. Угроза мировой ядерной войны отступила, и последовала третья всемирная демократическая волна. Но все это — на фоне, и отчасти за счет, уничтожения единого государства СССР, бескровный, мирный демонтаж которого стал результатом «рациональных» регулирующих усилий влиятельных групп советской элиты, опиравшихся на международную поддержку.

Случай рационального регулирования мировой экономической системы — усилия по координации экономических курсов ведущих государств в интересах выхода из кризиса 2008–2009 гг., предпринимавшиеся по линии «Группы двадцати». Такие примеры легко умножить.

Вместе с тем наряду с целенаправленными и продуманными усилиями, предпринимаемыми под воздействием человеческого разума, на международную систему огромное влияние оказывает природно-стихийное начало, присущая мировой системе хаотичность развития, способная в любой момент «скорректировать» влияние человеческого разума, уничтожить плоды его упорядочивающих усилий. Если с человеческим разумом в науке сопрягается идея организации мира, то с понятием хаоса и стихийности в мировой системе связывается представление о его самоорганизации, которая трактуется как результат нерациональных (возникших независимо от человеческого разума, но природных) воздействий.

Процессы, развивающиеся в системе под влиянием хаотического начала, составляют содержание науки синергетики. Основная часть ее понятий связана с понятиями системности, привнесенными в науку о международных отношениях в 1960–1970-х годах и основанными на кибернетической общенаучной теории (возникшей в русле информационной парадигмы), предполагающей рассмотрение объекта исследования в качестве системы, обменивающейся информацией и энергией со средой через определенные каналы входа и выхода.

Природа хаоса в теории самоорганизации трактуется двояко. Хаос — не только деструктивное начало. Он может быть конструктивным, выступающим в качестве условия порядка. Порядок возникает благодаря хаосу и из него. Хаос с точки зрения синергетики характеризует лишь момент выхода системы на новую траекторию самоорганизации. В этом смысле он предпосылка, преддверие порядка³.

Хаос разрушающий выступает как сила, создающая неоднородности в системе и дифференциацию ее элементов. Хаос конструктивный часто выступает как механизм переключения, смены различных режимов⁴ развития системы. В теории самоорганизации понятие хаоса свободно от негативного оттенка. Отклонение от «ожидаемой» траектории развития перестает казаться патологией, требующей рационального вмешательства⁵.

Момент внезапной смены системой ожидаемой траектории своего развития именуется в синергетике точкой бифуркации. Таковой можно считать, например, непрогнозируемые события 11 сентября 2001 г. в США и последовавшее за ними быстрое и неожиданное российско-американское сближение. Другими примерами бифуркаций могут служить природные катастрофы — мощные наводнения, цунами, землетрясения, извержения вулканов, — способные угрожать безопасности целых государств и регионов⁶.

Объяснительная полезность синергетики в науке о международных отношениях пока ограничена. Но теория самоорганизации помогает избежать абсолютизации рациональной «предопределенности» мирового развития, уделять должное внимание факторам «случайности». Последние в контексте синергетики предстают не «стечением обстоятельств», плодом недальновидности или ошибки, а результатом влияния, исходящего из органики самой мировой системы, присущих ей естественных колебаний (флуктуаций). Во многих случаях эти колебания в принципе не подлежат прогнозированию при нынешнем уровне наших знаний о природе хаоса и самоорганизации систем.

В сжатом виде и применительно к международной политике синергетика может считаться наукой о случае, теорией о возможности резкого и внезапного «перескакивания» мирового развития с одной траектории на другую и, наконец, дисциплиной о роли малых величин в международных отношениях. В том смысле, что подобный «перескок» в ситуации неустойчивого равновесия системы может быть результатом малого и сверхмалого воздействия (принцип *«small-big»* — малое воздействие влечет за собой большое изменение).

С учетом сказанного несколько меняется представление о формировании международного порядка. В свете теории самоорганизации он

отчасти выглядит как итог продуманных усилий отдельных государств и конкуренции между ними, но отчасти — и как результат внутренних колебаний, присущих глобальной системе.

При этом момент неизбежно предстоящей рано или поздно смены порядка (точку бифуркации) крайне сложно определить, даже если аналитик работает в режиме тревожного ожидания такой смены. Так же трудно угадать и вероятную траекторию будущего системного развития. На практике международник-исследователь работает с тем материалом, изучение которого возможно с помощью имеющихся у него логико-интуитивных и формальных методов. Пользуясь ими, он вряд ли в состоянии постичь все перспективы развития системы, но может существенно уменьшить погрешность представлений о них, стихийно возникающих в информационном поле или вбрасываемых в него сознательно теми, кто этим полем старается управлять.

Согласно классическим представлениям источником динамики мировой политической системы с позиций рационального знания являются исходные устремления стран, народов, групп и индивидов к максимально полной реализации своих интересов или того, что каждый субъект под таковыми понимает. Эти устремления сталкиваются и вызывают конфликты. Во избежание войн или в целях их ограничения субъекты мировой политики вступают между собой в переговоры и дипломатические отношения, задача которых — взаимное приспособление, выработка условий сосуществования или даже интенсивного сближения на базе найденных общих интересов.

Но такого рода взаимодействие характеризует прежде всего его доглобальный уровень. Правительства стран мира и ТНК во второй половине XX в. безмолвно согласились между собой в том, что экстенсивное расходование ресурсов Земли (в том числе энергетических) служит условием экономического роста и в этом смысле — политикой, приемлемой и для государств, и для бизнеса. При этом последствия такого курса для природной системы Земли игнорировались. Компромисс государств и корпораций был достигнут за счет интересов глобального уровня, интересов человечества в целом. Только в последние 15–20 лет государства и негосударственные субъекты начали всерьез заниматься защитой подлинно глобальных интересов землян.

Аналогичным образом правительства и деловые круги ведущих стран с конца 1990-х годов горячо приветствовали возникновение обширного сектора виртуальной экономики, справедливо указывая, что ее развитие помогает решать проблемы трудоустройства. При этом умалчивалось о том, что бурное развитие этого сектора порождает дис-

пропорции в мировой экономике, которые несут риски для ее стабильности. Глобальный экономический интерес, который в данном случае состоял в обеспечении устойчивого развития, приносился в жертву секторальным интересам производителей виртуальных потребностей и услуг, а также главным игрокам сферы виртуальных финансов. В итоге такая политика во многом подготовила условия возникновения глобального финансового кризиса 2008—2009 гг.

Очевидно, что сегодня можно констатировать противоречия между интересами глобального уровня человеческого развития, с одной стороны, и интересами сообщества государств и негосударственных субъектов — с другой. Существует необходимость постоянно примирять эти интересы, но ресурсы для выполнения этой важнейшей функции примирения находятся в руках самих государств, корпораций и так или иначе сотрудничающих с ними неправительственных организаций (которые в ином случае не могут вести самостоятельную международную деятельность ввиду отсутствия средств).

Соответственно возрастает роль особого направления политико-дипломатической активности человека — борьбы за навязывание государствам и корпорациям целей, определяемых объективными потребностями безопасного (во всех смыслах) развития человечества в целом. Речь по сути дела идет о том, чтобы США, страны ЕС, Россия, Китай, Индия, Бразилия, Япония и другие ведущие страны приняли интересы человечества в целом за свои собственные национальные интересы — хотя бы в той мере, в какой они к этому готовы. Содержание современной глобальной политики в огромной степени определяется попытками добиться такого сдвига и преодолеть связанные с этим противоречия.

Участниками конфликта интересов в этом случае выступают различные группы элит внутри государств, конкурирующие между собой различные группы транснациональных корпораций (например, энергетические, с одной стороны, и рыболовецкие — с другой), международные общественные движения, межгосударственные формальные и неформальные институты, международные судебные органы и СМИ.

3

Динамика трансформации глобального политического порядка определяется прежде всего взаимодействием всех субъектов международного общения по поводу решения глобальных проблем. Вместе с тем это взаимодействие налагается на традиционную международную

конкуренцию между государствами за лидерство, выход на наиболее благоприятные позиции в глобальном разделении труда и преимущественные геополитические позиции.

Ключевое условие порядка в идеале — способность наиболее мощных держав к самоограничению (сдержанности) и способность мирового сообщества в целом ограничивать действия тех международных субъектов (государств или негосударственных игроков), поведение которых наносит явный ущерб интересам международной безопасности в целом. Самоограничение и ограничение — ключевые функции поддержания порядка, миссию которого от лица всего международного сообщества пытаются выполнять международные организации — прежде всего ООН, а от своего собственного лица отдельные наиболее сильные державы (в условиях 2000-х годов — прежде всего США).

Существование порядка на планете зависит в первую очередь от наличия:

- ясной иерархии возможностей между ведущими державами, признаваемой всеми или явным большинством субъектов международных отношений;
- совокупности принципов и правил внешнеполитического поведения всех мировых игроков;
- системы принятия решений по ключевым международным вопросам, которая может гарантировать представительство интересов низших участников иерархии при принятии решений на ее высших уровнях;
- набора морально допустимых санкций за их нарушения, а также механизмов применения этих санкций;
- форм, методов и приемов реализации принимаемых решений, т.е. режима реализации порядка.

Вопрос о глобальной иерархии традиционно связывается в литературе и общественном сознании в целом с понятием полярности в мировой системе. На уровне широкого общественного мнения периодически обсуждается вопрос о соотношении «монополярности» («однополярности») и «многополярности». Существуют концепции «бесполюсного мира», «комбинированной структуры», «плюралистической однополярности» и др.⁷

В Российской Федерации на политическом уровне уделяется внимание тенденции к многополярности в силу того, что она ставит под сомнение единоличное лидерство США, функциями которого в 2000-х годах злоупотребляли администрации республиканцев. В ме-

тодологическом отношении и в контексте общественных дискуссий важно иметь в виду, что многополярность предполагает наличие в мире нескольких держав, примерно сопоставимых по совокупности своих возможностей — экономических, военных, политических, идеологических и организационных. При отсутствии такой сопоставимости о многополярности уместно говорить скорее как о развивающейся тенденции, результаты которой еще предстоит увидеть. Вместе с тем, пользуясь критерием наличия или отсутствия сопоставимости и самостоятельно изучая статистический и фактический материал, читатель может выносить независимые суждения о конфигурации мировой структуры в тот или иной период исторического времени.

4

Изучение современных глобальных проблем — прежде всего наука о состояниях мировой системы. Для международного доступны как минимум два разных «метаподхода» к анализу — «из себя» и «из окружающего мира». Первый лучше подходит для анализа внешней политики Российской Федерации и, по аналогии, внешних политик любых других стран. Второй — оптимален при исследовании состояний мира, динамики изменения этих состояний, соответствующих процессов и инструментов влияния на них.

Первый в российской научной традиции близок к парадигме рассуждения сторонников «акторного подхода»⁸. Главное — вскрыть природу действующего лица — «актера» (государства или негосударственного игрока) и выявить его интересы. Далее можно и нужно попытаться повлиять на психологию и поведение соответствующего «актера» убеждением, обещаниями или психологическим давлением с помощью информационного воздействия, образования и воспитания, культурных обменов. В основе этой логики — социологический подход (социальный конструктивизм) с присущим ему оттенком влияния умеренного неомарксизма, что само по себе ни хорошо и ни плохо⁹.

Второй «метаподход» тяготеет к формально-структуралистскому методу. Для него типичен акцент не на участниках событиях («кто действует?»), а на результатах взаимодействий («что произошло?»). Отсюда — стремление выявить устойчивость или изменчивость глобальной тенденции, возможности и меры ей содействовать или, в случае необходимости, противостоять.

Сопоставление подходов можно развернуть в довольно обширное рассуждение. Важно не это. С практической точки зрения для между-

народника бывает чаще всего полезно совместить оба угла зрения, чтобы выстроить наиболее объективную, полную модель международной действительности, в отношении которой предстоит проводить внешнюю политику России.

Нельзя абсолютизировать важность глобальных тенденций. Но недостаточно и воспринимать их лишь через призму потребностей своей страны. Российская Федерация — часть мироцелостности. Необходимо знать, в чем состоят российские национальные интересы, но не менее важно сознавать, что внешняя политика России формируется и проводится в реально существующем глобальном контексте, общемировой политической и экономической среде. Эта среда может создавать новые шансы и возможности для реализации российских интересов, но она накладывает и определенные ограничения на действия нашей страны точно так же, как и на действия любой другой.

Искусство дипломата и политика состоит в том, чтобы найти способ наилучшим образом вписать действия России в реальные процессы глобального развития — содействуя им в одних случаях и сопротивляясь в других. При этом важно избежать фронтального противостояния с объективно развивающимися глобальными трендами, т.е. теми тенденциями, возникновение и развитие которых обусловлено не интригами оппонентов и конкурирующих коалиций, а новыми объективными состояниями мировой системы, возникновением у нее новых качеств и потребностей. В противном случае существует угроза «общего перенапряжения» страны, постановки заведомо нереализуемых, не обеспеченных имеющимися ресурсами внешнеполитических задач¹⁰ и, как следствие, подрыва международных позиций нашей страны.

Аналогичным образом неполное понимание смысла и направления глобальных трендов (например, в сфере образования, науки и инноваций) может привести к неоправданному занижению планки внешнеполитических задач, пассивному реагированию на глобальные вызовы и хроническому отставанию от мировых тенденций, бессрочному пребыванию на положении «мировой кладовой природных ресурсов».

Для целей прикладного анализа уместно и нужно использовать в зависимости от задачи объяснительные возможности всех школ и подходов, выбирая из каждой наиболее ценное и подходящее для целей конкретной задачи. Аналитику полезно иметь некую схему целостного анализа глобальных проблем, которая ориентирует на постановку наиболее важных общих вопросов, ответы на которые позволят и оценить состояние мировой системы, и сопоставить глобальные тенденции с национальными интересами своей страны.

1. Прежде всего, бывает необходимо уточнить природу глобального тренда, сферу, к которой он относится. С учетом сложного характера большинства мировых трендов бывает непросто понять, является ли, например, проблема ужесточения глобальных экологических стандартов природоохранной или торгово-экономической. Ведь, с одной стороны, переход на «чистое топливо» — вопрос качества жизни человека (менее «загазованная» среда). Но, с другой — попытки ограничить сбыт товаров, произведенных при использовании «грязных» источников энергии, может вылиться во внешнеторговые ограничения, торговые войны и огромные финансовые потери тех стран, которые не готовы или не стремятся следовать повышенным экологическим стандартам.

2. Логично выяснить, какую роль (инициатора или наблюдателя) может и хочет играть твоя страна в связи с развитием выявленного глобального тренда. Предположим, в регулировании вопросов использования приполярных зон или переговорах о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) Россия — активный субъект, а в вопросах ограничения выбросов углекислого газа, борьбе с голодом в Африке она склонна занимать пассивно-выжидательную позицию. Чрезвычайной деликатностью отличается формирование российской позиции в связи с таким вопросом, как реформа глобальной системы ООН.

3. Особая задача — выявить шансы и риски, связанные для твоей страны с развитием глобальной тенденции. Допустим, либерализация мировой торговли сельскохозяйственной продукцией представляется важным и неизбежным шагом развития международной конкуренции как стимула более эффективного распределения трудовых ресурсов и разделения труда. Но прямые социально-политические и экономические издержки от возможного включения России в этот процесс (разорение российской деревни) могут перевешивать для нее будущие выгоды от вхождения в него. Соответственно, приобретает важное практическое значение вопрос об оптимальных скорости и условиях участия России в глобальных торговых переговорах.

4. Ключевой вопрос — «цена и стоимость» участия в глобальных процессах. Цена может многократно превышать стоимость, и наоборот. Под ценой в этом случае понимается конъюнктурно обусловленное количество благ, которое страна приобретает или теряет в результате участия в мировом процессе в ближайшей и среднесрочной перспективе. Стоимость — это выигрыши или потери, которые она обретет или понесет в результате того же самого, но с точки зрения ее фундаментальных долгосрочных интересов.

Как уже говорилось, российские ресурсы в Сибири — ресурс глобального значения. В этом смысле цена за ускоренное освоение Россией ее сибирских ресурсов может означать бурный приток в нашу страну иностранных инвестиций и капиталовложений международных организаций и фондов. От этого выиграли бы российские бизнесмены, граждане Российской Федерации, проживающие в сибирских краях и областях, и широкий круг потребителей соответствующих ресурсов за пределами страны. Но эти выигрыши могли бы обернуться для россиян притоком большого числа иностранных (предположительно азиатских) рабочих и изменением демографического состава сибирских регионов, укоренением практики участия иностранных компаний и институтов в регулировании экономической активности в сибирских регионах и, так сказать, частичной интернационализации управления их ресурсами. Такой могла бы оказаться стоимость «интернационализированного освоения» Сибири.

Такие издержки при определенных обстоятельствах могут быть сочтены российской властью и народом России приемлемыми. Но заблаговременное выявление возможности соответствующих осложнений, степени их вероятности является необходимым элементом анализа на этапе, предворяющем политические решения о согласии или несогласии на участие в глобальном проекте подобного рода.

5. Отдельный вопрос — определение источника финансирования усилий для решения глобальных проблем. Если государства и бывают склонны тратить свои ресурсы на подобные цели, то лишь в случаях, когда уверены в совпадении интересов глобального развития со своими собственными национальными интересами. Международные организации, как правило, обладают ограниченными ресурсами и зависят в их получении от государств. Частный бизнес чаще всего мотивирован к участию в глобальных проектах на коммерческой основе при условии их рентабельности. В итоге вопрос о начале практических действий в решении глобальных вопросов оказывается предметом сложных согласований, цель которых, как правило, взаимоувязывание интересов ТНК и государств.

6. Наиболее привычный для традиционной дипломатии аспект ситуации — выбор союзников и определение конкурентов или оппонентов в связи с разрешением той или иной проблемы. В этом случае интерес своей страны тоже бывает крайне важен, так как страны, вступающие в коалицию для решения глобальной проблемы, нередко используют механизмы сотрудничества для урегулирования других аспектов отношений между собой — как непосредственно сопряженных, так и иных.

Разумеется, предложенная схема не претендует на нормативность. Ее назначение — очертить минимум сложностей, на которые в учебных и исследовательских целях стоит обращать внимание при исследовании глобальных проблем.

Примечания

¹ Подробнее см.: Современная мировая политика. Прикладной анализ / Под ред. А. Д. Богатурова. М., 2009. Гл. 2.

² В отличие от проблематики «жесткой безопасности» — «*hard security*», — исследователи которой сосредоточены на анализе военных, политических и технико-экономических аспектов глобальной международной ситуации.

³ Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. СПб.: Изд-во «Лань», 1999. С. 184.

⁴ См.: Князева Е. Н. Мыслить синергетически значит мыслить диалектически. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://spkurdyumov.narod.ru/MISLSIN.htm>; Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Синергетика как новое мировидение: диалог с С. И. Пригожиным // Вопросы философии. 1992. №12.

⁵ Подробнее см.: Темников Д. В. Лидерство и самоорганизация в мировой системе. М.: НОФМО, 2011. С. 118–130.

⁶ Особый случай бифуркаций видят сторонники экзотической области знаний — экзополитики (*exopolitics*), претендующей на изучение явлений внеземного происхождения. Исследователи этого направления склонны ожидать бифуркацию в гипотетический момент будущего «плотного» контакта с инопланетными цивилизациями. В силу недоказанности таких постулатов их трудно принимать в расчет при анализе сегодняшних проблем иначе, как в контексте управления рефлексией по поводу глобальных проблем. Однако экзополитика может представлять интерес как минимум в том смысле, что факт ее появления оттеняет относительность человеческого знания о мировой системе.

⁷ Концепция «бесполюсного мира» принадлежит российскому ученому Э. Я. Баталову (*Баталов Э. Я. Мировой порядок и мировое развитие. М., 2005*), к сходному выводу с которым пришел позднее американский исследователь Р. Хаас. Термин «плюралистическая однополярность» подразумевает, что явное преобладание США смягчается и несколько ограничивается стремлением США действовать (в 1990-х годах и после прихода к власти в 2009 г. Б. Обамы) в контакте с ближайшими союзниками (Системная история международных отношений в четырех томах / Отв. ред. А. Д. Богатуров. М., 2003. Т. 3). Из публикаций на тему мирового порядка см.: Шаклеина Т. А. Россия и США в новом мировом порядке. Дискуссии в политико-академических сообществах России и США (1991–2002). М.: Институт США и Канады РАН, 2002; Войтоловский Ф. Г. Нестабильность в мировой системе // Международные процессы. 2009. № 1. С. 4–16; Косолапов Н. А. Глобализация: от миропорядка к международно-политической организации мира // Очерки теории и прикладного анализа международных отношений. М., 2002.

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

⁸ Его последователи помещают во главу угла изучение «новых акторов», под которыми понимаются прежде всего негосударственные участники международного общения.

⁹ Популярный на Западе, а в последние 10 лет и в России «гендерный подход» по сути дела является частным случаем «акторного». Гендерный анализ — не теория, а подход к любой теории. Для гендерного подхода характерен акцент на учете психологии слабой стороны, цене риска войны, защите прав меньшинства. Ученые этой школы придают первостепенное значение выявлению возможностей применения «мягкой мощи» (*soft power*), причинам поведения конфликтующих сторон, «первопричинам зла», возможностей переговорных решений, профилактики угроз. В самом общем виде основа гендерного подхода — взаимная сдержанность, терпимость (*mutual restraint and tolerance*) и отказ от беспощадности к противнику.

¹⁰ См.: Хрусталева М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. Очерки теории и методологии. М., 2008. Гл. 2.

Глава 6

.....

Геоэкономика как альтернатива геополитике*

В 1990-х годах всевластие «классового анализа» в отечественной политологии уступило место повально-поверхностному увлечению геополитикой и упрощенческими версиями геополитических интерпретаций международных отношений. К началу нового века эта новая тенденция кажется уже не чем иным, как карой, посланной нашей науке за неумение развить в себе традицию здорового скепсиса как универсального средства против отмеченной еще Н. Бердяевым «тоталитарности русского мышления»¹, на всяком витке спирали российской истории подчиняющей себе «совокупный разум общества».

Культурно-интеллектуальная ситуация в России

В самом деле, как ни горько-изумленно это может звучать, отвержение ленинской догматики истмата на исходе 1980-х не обернулось в российской политической науке всплеском новых аналитических школ и направлений, которые бы выросли на базе конкретных исследований богатейшего и изумительно своеобразного материала эпохи «перестройки» и «постперестройки». Отнюдь. Основное течение обществоведения стало определяться иным: все силы и, во всяком случае, все молодые силы российской науки были брошены на изучение западных теорий. Нередко только лишь с тем, чтобы путем прямого их приложения к российской и околороссийской действительности получить выводы, *во-первых*, совместимые с западными критериями научности знания, а *во-вторых*, пригодные для перевода на язык западных понятий и способные, благодаря этому, быть воспринятыми западным сознанием в качестве «понятных» и достоверных.

Иными словами, большая часть 1990-х годов была употреблена нашей наукой на овладение понятийно-языковым кодом Запада и обучение самопереводу на язык западного восприятия, тогда как первоочередная, в принципе, задача подлинной саморефлексии, изучение

* Опубликовано в: *Богатуров А. Д.* Геоэкономическая альтернатива геополитике // Навитут: Научный альманах высоких гуманитарных технологий. 1999. № 1.

самих себя, понимание направлений, смысла и закономерностей фактического развития России и ее развития в окружающем мире были оттеснены на второй план. В результате престиж и статус ученого сегодня в большей, чем когда-либо ранее, мере определяется его способностью ориентироваться в зарубежной литературе и дискутировать с зарубежными коллегами. Как видим, не его умением представить точную и, главное, полную картину происходящих в стране процессов, избегая их редуцирования, «подгонки» под рамки стереотипов видения-восприятия, которые продолжают господствовать в кругах международников. Они постулируют предположительную, но априорную истинность или ложность тех или иных гипотез и теоретических положений (в процессе, например, решения вопросов о выделении грантов на целевое финансирование конкретных проектов научно-исследовательских разработок).

За девяностые в стране возникла своего рода школа «российского редуционизма». Сторонники ее в большинстве случаев искренне стремились вложить свой эмпирический материал и гипотезы в более или менее известные западные матрицы анализа или хотя бы обеспечить их совместимость с наиболее общими архетипическими для западной науки «метаидеями ожидаемых результатов». При этом они невольно отвлекаются от «неудобных» и труднообъяснимых частных материиала, «обжимая» (используя технический термин) объекты исследований «по форме» наиболее подходящих к данному случаю известных аналитических методик и теорий.

Не наша задача — порицать коллег, хоть и трудно ощутить в себе энтузиазм их восславить. Задачи выживания отечественной учености во многом предопределили взлет редуционизма. В той мере, в какой источником для российских ученых по-прежнему остаются иностранные благотворительные организации, все вопросы формирования школ сегодня напрямую грубо и безжалостно связаны с губительно дезориентирующей, а в научном смысле и морально уже изжившей себя за десять лет необходимостью «быть понятным» (западному рецензенту-критику-грантодателю), вместо того, чтобы быть прежде всего «адекватным» действительности, которая в случае России категорически не укладывается в соблазняющие простотой, но не на нее рассчитанные матрицы анализа и интерпретации.

Это не значит, что ничего другого в нашей науке не развивалось. В России параллельно складывалась и своя традиция «интегративного анализа». У нас развивались школы исследований, которые стремились охватить объект анализа — в данном случае российские процессы — во всей их целостности. Включить в рассмотрение не только понятные,

но и малопонятные или вовсе непонятные аспекты действительности, даже если объяснить их природу было крайне трудно или невозможно на основе только известных теорий, представлений и, так сказать, предожиданий, вырастающих из ранее накопленных заключений.

Подобно «редукционистам-выборочникам», «интегратисты-целостники» тоже исходно черпали оплодотворяющие их идеи из общемировой интеллектуальной сокровищницы. Но они не могли опереться на западные наработки в такой же мере, как их коллеги-редукционисты. Их выводы хуже сопрягались с базовым понятийно-интеллектуальным фоном российской общественной науки, сильно окрашенным в последние десять лет западным влиянием, и поэтому казались неясными, туманными и трудными для восприятия. «Интегративная школа», в меньшей мере (вынужденно) ориентированная на книжное знание предшественников, толкала к непосредственному наблюдению и в этом смысле, конечно, была, по сути, более прикладной, чем редукционистская. Но на деле все было наоборот: сложные умозаключения «интегратистов», стремящихся охватить сложность реального бытия, казались отвлекающими абстракциями вне практического смысла. Рафинированные же постулаты редукционистов, предельно облегчая задачу «понимания-проглатывания» за счет удаления из сферы постигаемого неясного и необъяснимого с точки зрения ранее известного, кажутся простыми, легкими в применении и оттого полезными.

Это по-своему причудливое, но по-своему и естественное противоречие весьма наглядно проступает в соотношении числа новых отечественных публикаций той и другой школ. В русле редукционизма строят свою политику по меньшей мере три из четырех выживших лучших отечественных политологических журналов («Полис», «МЭ и МО», «ОН и С»), а названия редукционистских книг и брошюр исчисляются сотнями. Для контраста: из «главных» журналов интегратистов печатает только «МЭ и МО», а их книги — редкое и кажущееся экзотическим яство на книжном пиршестве.

Применительно к международной проблематике можно проиллюстрировать эту тенденцию конкретнее. Средними и плохими работами по геополитике, которые сплошь и рядом представляют собой в лучшем случае грамотные слепки с отдельных фрагментов колоссального пласта геополитических публикаций на Западе, завалены книжные магазины. Наоборот, работ по геоэкономике, которые пытаются анализировать тенденции, скрытые традиционным покровом видимых на карте государственных границ, — единицы, и их невозможно купить². Редкий автор работы по мировой политике рискнет сегодня не

упомануть теорию глобализации, а задачу изучения «реальной мироцелостности» в единстве ее системных и несистемных составляющих в отечественной традиции ясно формулирует из методологов-международников, кажется, только М. А. Чешков³.

Между тем геополитика и теория глобализации — типичные примеры редуccionистского построения мысли, а геоэкономика и реальная мироцелостность — представляют попытки видения интегративного. Мировоззренческая разница между первым и вторым восходит к разной мере объемности взгляда на вселенную, а практико-политическая состоит в том, что первая обрекает видение России или как части, или как антипода Запада. Вторая — может теоретически обосновать равноположенность России (и Не-Запада) по отношению к Западу, не прибегая для этого к замалчиваниям и грубым упрощениям.

Геополитика и геоэкономика: оппозиция или взаимодополнение?

Акцентируя объективные — прежде всего физико-экономгеографические — данности государств, геополитика исходно была, как представляется, важнейшим шагом к осознанию реальных движущих сил и характера международно-политических процессов. Она не дала, конечно, исчерпывающих ответов на все поставленные вопросы, но обозначила логику поиска определенного угла зрения, пользование которым позволяло аналитику реалистичнее увидеть угрозы миру и стабильности. Продумать контрмеры против предполагаемой агрессии, подготовить политические решения, которые могли бы в будущем уменьшить вероятность «классических» конфликтов в связи со спорными территориями, разделенными народами, доступом к традиционным источникам ресурсов жизнеобеспечения.

Учет геополитических факторов нередко играл полезную роль в международных отношениях. Вспомним «линию Керзона» в Польше или «линию Дюранда» в Индии, попытку российской императорской дипломатии отстроить русско-китайскую границу по мощной водной артерии Амура.

Чаше, впрочем, приходилось говорить не о пользе геополитики, а об опасности ее недооценки: произвольно и вопреки геополитике проведенные границы в Восточной Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке дали массу неразрешимых конфликтов в соответствующих регионах. Классический пример «геополитического предостережения» — объединение Германии в XIX в., необратимо изменившее

соотношение сил в Европе и обрешее ее в сочетании с другими немаловажными факторами на три кровопролитные войны. От германского опыта сознательно и интуитивно отталкивается последний из (еще) живых патриархов западной геополитики Зб. Бжезинский, вот уже седьмой десяток лет все свои геополитические построения выводящий из сопоставления политики Германии и России в отношении сопредельных государств и на проецировании внешнеполитического опыта Германии на международную практику Советского Союза и современной России.

Пожалуй, не удивительно, что в общем уже весьма пожилой человек и воспитанник в полном смысле старой школы кремленологии Зб. Бжезинский до конца жизни не вышел за пределы геополитической логики, постаравшись изложить ее основы в завещанной им его студентам и зачем-то переведенной на русский язык итоговой книге⁴. Менее понятно, что в русле геополитики пытаются работать столь многие российские ученые, несмотря на то несомненное обстоятельство, что именно опыт постсоветского пространства и всего, что сегодня вокруг него происходит, отрицает геополитику как универсальный аналитический метод и уж как минимум показывает его категорическую недостаточность, несовременность и несоответствие новым условиям движения-развития мира.

В самом деле, геополитические контуры мира к началу нового века уже перестают отражать реальную конфигурацию мирового расклада. Границы государств, в тенденции тяготеющие к наложению на рубежи расселения этнических групп, характер которого, в свою очередь, традиционно отражает исходные и естественно-природные и «благоприобретенные» экономико-географические и иные данности (специфику рельефа, сочетание климатических зон, численность и этногрупповой состав населения, развитость инфраструктур транспорта и средств связи и обусловленную этим проницаемость территорий для властных импульсов столиц или, напротив, сторонних политико-идеологических и иных влияний), сегодня больше скрывают, чем подсказывают аналитику.

Поверхностному наблюдателю реалистической школы геополитики может показаться, что по-прежнему о контурах межгосударственных противоречий можно судить на основании сопоставлений границ реального политического контроля того или иного правительства с гипотетически моделируемой зоной его «желательного контроля». Пользуясь такой методикой, нетрудно и сегодня счесть потенциально опасными для мира сферами отношения России с Эстонией, Украиной или даже с Казахстаном или Германии с Польшей и Францией. На том же

основании можно, как и пять лет назад, по-прежнему в сугубо прогностическом ключе рассуждать о «геополитической предрасположенности» к конфликту России и Китая.

Между тем новое состояние мира, достигаемое вследствие бурного развития мирохозяйственных связей, по воле и против воли включающих в себя все большее число стран и народов, изменило соотношения между разнородными детерминантами международных отношений. Сложившиеся в основном за вторую половину XX в. новые зоны экономических тяготений формировались на фоне низкой — в условиях жесткой биполярности — изменчивости государственных границ и почти полной неизменности естественно-географических характеристик континентов. Экономические же составляющие мировых отношений и мирового регулирования, напротив, «тихо бумировали», оказывая все возрастающее влияние на состояние планетарного сообщества, хотя и оставались нередко скрытыми покровом политических, военных, информационно-идеологических и иных противостояний.

Интеграционные тенденции, резко ускорившиеся (в 1970-х годах) и одновременно расширившиеся по своему географическому охвату (в 1980-х), были только частным и самым заметным внешнему наблюдателю признаком нарастающей экономизации международных отношений. Менее видимой, но тоже весьма осязаемой экономизирующей мир силой была *деятельность ТНК—МНК*, впервые, в отличие от классической межстрановой интеграции, наглядно, весомо и с элементами мистификации введшая в мыслительный и практико-операционный оборот политанализа представление о «невидимости» экономических границ. Это ключевое положение современной геоэкономической теории в ее исследовательско-академическом аспекте и парадигмальной оппозиции геополитическому методу.

Третьим и наиболее значимым элементом экономизации отношений между государствами стало *формирование* в 1990-е годы *трансграничных контактно-экономических зон*, «естественных экономических зон», по терминологии Р. Скалапино⁵. Они виделись ему самого разного масштаба и конфигурации, которые, с одной стороны, не обязательно воплощали интеграционный тип хозяйственных отношений, а с другой — в не меньшей, чем классическая интеграция, мере растворяли геополитически мотивированные границы между странами как минимум на уровне политической психологии межгосударственного общения, бытового поведения и восприятия граждан. Примеры таковых — современное Закарпатье, российско-эстонская граница в районе Чудского озера, потенциально остроконфликтный узбекско-тур-

кменский сектор орошаемого земледелия в зоне Амударьи и, конечно, обширный пояс по обе стороны восточных участков российско-китайской границы.

Последний пример для российского читателя самый показательный — в той мере, как сознанию нормального русского человека может показаться почти шокирующим указание на то, что, оставаясь формально четко и вроде бы, надежно отграниченным от Китая старыми и новыми международными договорами, *русский Дальний Восток сегодня фактически функционирует* с международно-политической и международно-экономической точек зрения *в качестве периферийной составляющей китайского интеграционного поля*, обращенного к тихоокеанской хозяйственной кооперации.

«Геополитика преодолевается геоэкономикой». *Геополитические очертания мира перестали совпадать с геоэкономическими*, причем роль последней в тенденции может становиться все более важной, а значение первых — и далее размываться. Это обстоятельство все еще не признано государственной властью в России. В силу «невидимости» свершающегося передела реальные последствия, например, того же китайского присутствия на российской территории могут оказаться глубже и серьезнее, чем об этом говорят и пишут дипломаты и некоторые представители официальной науки.

Значит ли, что геополитический метод устарел настолько, что сделался совершенно неприменимым для целей политического анализа? Столь категоричное заключение преждевременно. Однако очевидно, что современная реальность исключает уместность использования геополитического подхода в отрыве от геоэкономического — в той мере, как геоэкономические тяготения приобрели за последний век способность реально влиять на внешнюю политику государств и международные отношения, не проступая явно на уровне формальных государственно признанных и легко обозримых изменений-последствий. Магистральной линией методологии анализа скорее всего станет определенный синтез обоих геоподходов — политического и экономического. Есть также основания полагать, что этим дело не ограничится и на повестку дня будут поставлены вопросы о разработке геодемографических методик и, возможно, «геодемографии» как новой отрасли геоаналитики.

Исходная идея «невидимости» перемен в современном мире, краеугольная для геоэкономики, выводит ее из русла обычных редукционистских методик, нацеливая аналитика на объемное и многомерное видение изучаемых процессов. Вместе с тем, чтобы приобрести черты интегративного метода, геоэкономика, в свою очередь, должна вобрать

в себя все полезное, что накоплено или еще только может быть открыто в сопредельных геоаналитических областях. В этом смысле оппозиция двух подходов, поименованных в названии статьи, как раз и представляет собой частный случай сопоставления редуccionистского и интегративного подходов.

Примечания

¹ *Бердяев Н. А.* Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990.

² *Кочетов Э.* Геоэкономика и стратегия России. Научные доклады. № 44. М.: Московский общественный научный фонд, 1997.

³ *Чешков М. А.* Глобальное видение и новая наука. М.: ИМЭМО, 1998.

⁴ *Бжезинский З.* Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998.

⁵ *Scalapino R.* Northeast Asia: Prospects for Cooperating // *The Pacific Review*. 1992. No 2.

Глава 7

.....

Экономическая политология и проблемное поле в России*

Выделение дисциплины экономической политологии из общего содержательного потока знаний о политике вызвано потребностью в более пристальном изучении отношений бизнеса с государством и обществом. Это важно прежде всего для таких стран, как Россия, с характерной для них спецификой этих отношений, резко отличающихся от тех, которые существуют в странах «зрелого рынка и демократии» — государствах западной части Европейского союза, США и Канаде.

С методологической точки зрения важно, что в западных странах с их развитой либерально-демократической традицией «ключом» к пониманию политических процессов принято считать выявление и учет рационалистических экономических мотиваций избирателей. Этот подход воплощен в теории рационального выбора и связанных с ней концепциях.

В странах незападных, многие из которых, включая Россию, по современной классификации относятся к типу нелиберальных демократий, теория рационального выбора работает лишь отчасти и не является «аналитическим ключом» к пониманию происходящих процессов — ввиду приниженности роли электорального поведения граждан в принятии определяющих экономических решений.

В группе незападных стран для выявления смыслов происходящего между государством и бизнесом бывает необходимо обращать внимание прежде всего на культурно-идеологические доминанты элиты, часто оторванные от рационалистических экономических мотиваций граждан, но при этом нередко пользующихся их поддержкой благодаря «понятности» и «оправданности» этих доминант с точки зрения традиционного массового сознания¹.

Вот почему объяснительная способность экономической политологии зависит от двух одинаково важных блоков знаний. Первый должен обеспечивать понимание общих теоретических закономерностей поведения государства и экономически активных граждан в политических процессах. Второй — способность разбираться и применять на практике

* Опубликовано в: Полис. 2011. № 6.

знание конкретной специфики отношений власти, бизнеса и общества в различных странах — прежде всего в самой Российской Федерации.

Понятие экономической политологии

Таким образом, экономическая политология формируется как дисциплина об общих закономерностях отношений бизнеса с государством и обществом и специфике этих отношений в любых странах², которые могут интересовать бизнес с точки зрения политических условий для его активности.

Если политология вообще — это прежде всего наука о социальных отношениях по поводу власти, то в экономической политологии в равной степени внимательно изучаются эти отношения по поводу и власти, и извлечения прибыли. Извлечение прибыли оказывается объектом политического анализа наряду с борьбой за власть. Власть перестает восприниматься просто как инструмент обогащения, а богатство — как средство получения власти. Извлечение прибыли, обогащение начинает рассматриваться как отдельный глубоко политизированный общественно значимый процесс.

Разумеется, экономическая политология неотделима от политологии общей. В этом смысле ее можно определить как область политологии, которая напрямую связана с изучением вопросов обеспечения политической безопасности бизнеса, профилактики политических рисков, с которыми он сталкивается, а также с выработкой оптимальной стратегии поведения бизнеса в отношении общества и государства в политических ситуациях в любых странах, включая его собственную. Очевидно, в экономической политологии изучаются специфические вопросы, которые, как правило, в первую очередь волнуют стратегических инвесторов и ту часть политического консалтинга, которая их обслуживает.

Экономическая политология в некоторых ее аспектах близка к таким дисциплинам, как «общественные связи» («пиар», *PR, public relations*) и «связи с политико-административными органами» («джиар», *GR, government relations*). Однако важно определить грани между этими дисциплинами.

PR в самом широком смысле — это манипуляционная наука об управлении образами субъекта. Более конкретно, это — *наука о политической и экономической привлекательности и инструментах ее формирования*. Очевидно, это понятие очень близко к тому, что именуется политической и экономической рекламой. Такая наука, естественно,

сосредоточена на отношениях власти и бизнеса с обществом. В центре ее внимания — общество и инструменты влияния на него.

GR — еще более частная дисциплина о способах приобретения полезных связей с правительственно-административными органами. С методологической точки зрения она способна когда-нибудь претендовать на роль теоретического основания того, что можно будет назвать «научным лоббизмом». Фокус ее внимания, очевидно, еще сужен даже по сравнению с *PR*, «подотраслью» которой *GR* пока еще в значительной степени является.

Экономическая политология, конечно, «соседствует» с *PR* и *GR* и кое в чем с ними пересекается. Но к экономической политологии могут быть отнесены только те части обеих дисциплин, которые касаются предпринимательских субъектов и экономического лоббирования. В этом смысле она вбирает в себя только некоторые сегменты их предметных полей.

В то же время ни *PR*, ни *GR* не претендуют на изучение политической роли бизнеса в обществе и государстве, стратегии власти в части предпринимательства и поведения бизнеса в отношениях с властью, а экономическая политология призвана заниматься прежде всего этим. Более того, в отличие от *PR* и *GR* экономическая политология вбирает в себя рассмотрение посягательств бизнеса на власть и рассматривает бизнес как субъект власти. *Экономическая политология «не стыдится» рассматривать с политической точки зрения извлечение прибыли и бизнесом, и властью.*

Эта дисциплина менее «технологична», чем *PR* и *GR*. Не все ее знания легко «переложить в технологии». Но она стремится «снять» новые технологии из анализа политической реальности, зафиксировать их, осмыслить и систематизировать с перспективой выйти на разработку матриц оптимального поведения бизнеса в типичных ситуациях его конфликта или сотрудничества с политической властью.

Для экономической политологии характерен акцент на анализе двуединства современных публичных политических процессов, в которых борьба за власть и обогащение в ходе этой борьбы становятся равнозначными по важности чертами политического процесса, а их слитность способствует трансформации самого политического процесса в политический бизнес. Добавленная стоимость возникает в этом бизнесе непосредственно внутри политического процесса, когда (и если) элементы развлекательности, театральности, рекламы, теле- и видеошоу встают вровень с собственно политическим содержанием, а затем незаметно начинают над ним доминировать.

Политики, аналитики и консультанты, политтехнологи, избиратели и спонсоры (осознанно и неосознанно) начинают вести себя сообразно логике участников бизнес-процесса: они ориентируются уже не только на результат, но и на продление процесса движения к тому результату, поскольку длительность этого процесса, а иногда прежде всего она, имеет свою цену и стоимость. В отдельных случаях результат становится по ценности соизмеримым с самим процессом, если последний был достаточно долгим и захватывающим, чтобы существенно обогатить всех к нему причастных. Спонсорство перестает быть спонсорством, фактически превращаясь в коммерческую инвестицию. Самые яркие примеры публичного политического бизнеса в 2000-х годах — нарочито растянутые во времени избирательные кампании в США (особенно президентские), в которых до последнего дня бывает трудно определить фаворита. Аналогичные процессы происходят в большинстве стран мира с развитой зрелищно-электоральной культурой. В России, где такой культуры пока нет, зачатки политического бизнеса представляют собой многочисленные политические ток-шоу — как правило, аналитически бессодержательные, но высокодоходные для их организаторов.

Предметное поле дисциплины

Профилирующее содержание экономической политологии определяется необходимостью охвата четырех основных блоков знаний. В *первый* входят специфические преломления предметов теоретико-методологического цикла политологии. В курсе «теория политики», например, укрупняется тематика философских трактовок взаимоотношений человека, богатства и власти, а также личного и общественного блага. В эту группу входят предмет экономического анализа политических явлений и его методология (варианты применения теории рационального выбора).

Во *втором блоке* рассматриваются вопросы обеспечения в широком смысле политической безопасности бизнеса. К ним относится проблематика правовой основы ведения бизнеса в той или иной стране, а также все легальные аспекты отношений бизнеса и власти. В этой группе — анализ политических рисков, типология конфликтов бизнеса с обществом и властью, механизмы воздействия власти на бизнес и способы разрешения их противоречий. Обрамляющая тематика блока — исследование структуры экономического интереса государства, внутренних и международных аспектов экономической безопасности страны, а также практики государственного регулирования экономического развития.

В *третьем блоке* обсуждаются вопросы восприятия бизнеса обществом, отношений между ними, общественные ожидания в отношении предпринимателей, наконец, понимание бизнесом своей социально-политической и социально-экономической роли, ответственности и миссии. В этом блоке — вопросы этики («кодекса») политического поведения бизнеса, а также роль СМИ в отношениях бизнеса с обществом и государством.

В *четвертом блоке* рассматриваются проблемы воздействия бизнеса на государство, механизмы лоббирования интересов предпринимателей во властных структурах и его правовые основания, сопоставление практик лоббизма в России и иностранных государствах. В этой же группе — анализ современных стратегий представления интересов бизнеса во власти и соответствующий зарубежный опыт (Северная Америка, Япония, страны ЕС). Отдельный подраздел — анализ роли личности политика в деловом мире и бизнесмена в политике, особенностей бизнес-психологии и бизнес-культуры в разных странах.

Теоретико-методологическая часть предметного поля экономической политологии, в существенной степени связанная с концепцией рационального выбора, выростала из анализа опыта зрелых рыночных демократий. Эта часть знаний начала накапливаться достаточно давно. Она лучше систематизирована и шире представлена в литературе.

Прикладная часть экономической политологии продолжает формироваться, причем огромная ее часть складывается на базе исследования материалов незападных стран, в которых либо нет ни зрелого рынка, ни демократии, либо рынок и демократические институты присутствуют, но они функционируют в значительной степени иначе, чем на Западе. С прикладной точки зрения именно эта часть экономической политологии представляется одновременно и сложной для преподавания, и практически важной как минимум для тех, кто предполагает связать свою карьеру с деловой активностью в России. Поэтому в последующих подразделах этой главы будет уделено внимание особенностям проблематики экономической политологии в незападных странах.

Предпосылки страновой специфики отношений бизнеса с государством и обществом

Как уже отмечалось, в странах нелиберальной демократии мотивы поведения элит могут быть автономны от настроений и экономических потребностей граждан. В таких государствах преобладает аппаратный тип принятия решений. Экономические решения вырабатываются,

принимаются и проводятся в жизнь главным образом высшим политическим руководством и правительственной бюрократией.

При этом на всех уровнях большую роль играет личность лидеров и их индивидуальные характеристики. Поэтому в этой группе стран в той или иной степени преобладают неформальные отношения и связанные с ними интересы — родственные, дружеские, земляческие, корпоративно-групповые, клановые. В этнотерриториальных образованиях внутри Российской Федерации доминируют факторы принадлежности к одной из этнических групп.

Масса неформальных обязательств и отношений групповой солидарности определяет наличие мощных устремлений, довольно далеко отстоящих от логики экономической рациональности в том виде, как она трактуется в научной литературе. Поведение участников «неформальных групп» на практике не определяется формулами исчисления соотношений между социально-экономическими издержками и выигрышами в рамках логики рационального выбора.

К этому следует добавить влияние культурно-политического традиционализма. В странах исламских ареалов, например, общественная и политическая мораль помещает интересы солидарности выше интересов личного обогащения. В государствах с весомой составляющей православной культуры экономический рационализм («меркантилизм») до сих пор нейтрализуется сохраняющимися в массовом сознании архетипами нестяжательства и православной аскезы.

Даже в Европе сербы с болью пытаются примирить себя с мыслью о том, что ради экономической помощи от Евросоюза можно отказаться от прав Сербии на Косово. В Закавказье, Южной Азии и на Корейском полуострове политические интересы ставятся намного выше экономических благ от улучшения отношений с соседями. Российское правительство, как только позволили финансовые условия, возобновило субсидирование дальневосточных регионов страны, хотя с точки зрения «рыночной логики» их сохранение в составе России многим зарубежным специалистам кажется «нерациональным».

Экономический рационализм не очень хорошо объясняет поведение российских граждан. Жесткий либеральный курс правительства в 2000-е годы вызывает их постоянное раздражение. Но это мало влияет на популярность российских президентов, которые по-прежнему уверенно чувствуют себя в отношениях и с бизнесом, и с обществом. Привычка полагаться на «сильного вождя», который оказывается и источником ожидаемых благоденствий, и виновником любых неудач, доминирует над желанием россиянина принять ответственность за себя,

страну и собственные ошибки. Это относится к отношениям бизнеса с государством и обществом не только в России, но и в других странах СНГ. В них сохраняют значение комплексы традиционных отношений — в основном неэкономических и, как правило, не воплощаемых в конституционных институтах.

Сказанное касается не только государств на территории бывшего Советского Союза, но и ряда других стран, в социальной структуре которых под влиянием вестернизации возникло сосуществование разнородных, но равновеликих анклавов. В одном — сохраняются отношения, связанные с традиционным для данной страны жизненным укладом. В другом — концентрируются вновь возникающие отношения западного типа. Причем эти анклавы уже веками сосуществуют, как показывает история, не замещая друг друга. По ходу времени каждый из них постепенно меняется, но они не сливаются и сохраняют свои базовые свойства. Общества такого типа сложились во всех странах, «импортировавших» модернизацию, т.е. не только в государствах СНГ, но и в таких странах, как Турция, Индия, Япония, Южная Корея, государства АСЕАН, Китай, и других.

Желание сохранить анклавы традиционной жизни и отношений является формой стремления защитить свою идентичность. При этом страны и народы достаточно умудрены и опытны, чтобы не отвергать технические, финансовые, информационные и иные материальные и виртуальные блага модернизации. Оставаться в стороне от благ технических инноваций никто не хочет. Формирование анклавов традиционного наряду с анклавами нового — иммунный ответ незападных обществ на модернизацию. Они стремятся освоить блага модернизации, но не ценой утраты традиционного жизненного уклада. Анклавная структура общества — инструмент, позволяющий совместить традиционное с современным, обеспечить их взаимное приспособление. В этом смысле она — политически актуальный феномен, ментально и экономически востребованный незападным обществом. Считать ее недолговечным и преходящим явлением, судя по опыту последних двух веков, нет оснований. Консервация традиционных отношений, даже в форме анклавов, влияет на политические отношения в обществе в целом. «Западный рационализм», наталкиваясь на конкуренцию со стороны традиционных нерационалистических мотиваций, теряет часть своего импульса и не может стать определяющим элементом политического поведения граждан. В связи со сказанным важно заметить, что отношения государственной власти и бизнеса в современной России образуют анклав традиционных отношений в том смысле, что государство стремится осуществить

задачи модернизации, в значительной мере полагаясь на традиционный тип отношений с экономически активным слоем.

Политические условия деловой активности в России

Целесообразно сравнить особенности политического климата отношений бизнеса с окружающей его социально-политической реальностью. *Во-первых*, в силу ряда причин для Российской Федерации характерна более весомая регулирующая роль политической власти, чем это характерно для стран Запада. Власть выступает в роли творца модели экономического развития, которая не столько складывается сама под воздействием рыночных сил, сколько оказывается плодом успешных или неудачных попыток власти сконструировать оптимальную, с точки зрения властной группы, систему обеспечения экономического роста.

Во-вторых, правовые условия и политическая практика не позволяют бизнесу законным образом встать вровень с властью в вопросах выработки ключевых решений по развитию хозяйства. Этому препятствует и незрелость политико-правового сознания делового сообщества, которое в 1990-е годы попыталось — неудачно — подчинить себе политическую власть, а, потерпев неудачу, полностью ей покорилося. Бизнес не стал партнером ни для власти, ни для общества. Не сумев подчинить себе политиков, он предпочел формально подчиниться им, по сути, пытаясь влиять на власть изнутри самой власти — через неформальные механизмы лоббирования своих интересов.

В-третьих, эти неформальные механизмы связей бизнеса с властью разрослись, тесня официальные отношения между предпринимателями и политиками. И бизнес, и бюрократический аппарат приспособились к такому типу отношений и препятствуют их модернизации. В сфере принятия решений по экономическим вопросам преобладающее значение сохраняют традиционные регуляторы — личные отношения, земляческие, родственные, этнические, кланово-групповые и иные неформальные связи. Преобладание неформального типа регулирования отношений бизнеса с властью является важнейшей чертой российской ситуации. Это затрудняет работу иностранного бизнеса в России, создавая питательную среду для nepoтизма: «чужаки» если и могут преодолеть неформальные барьеры на пути своего бизнеса, то главным образом прибегая к взяткам. Представители этнически русского бизнеса в национально-территориальных образованиях внутри России сталкиваются, по сути дела, с такими же проблемами.

В-четвертых, возможно, опасаясь возобновления попыток бизнеса подчинить себе государство, как это было в 1990-е годы, политическое руководство с середины 2000-х годов построило в отношениях с деловым сообществом жесткую «вертикаль власти». «Дело Ходорковского» в 2003–2004 гг. обозначило рубеж, после которого бизнес не рисковал открыто противоречить политикам и даже критиковать их действия. В результате политика безраздельно преобладает в стратегии экономического развития как минимум на макроэкономическом уровне. Отношения господства и подчиненности между властью и крупным бизнесом транслируются с макро- на микроуровень и задают параметры модели отношений властей с малым и средним предпринимательством.

В России не сложилось отношений «соразмерно равного» сотрудничества политической власти и частного бизнеса. Государство и бизнес в России до сих пор могли быть друг для друга «или рабом, или тираном». При Б. Ельцине тон стремились задавать олигархи, «после Ходорковского» — бюрократия. Попытки наладить систему партнерства власти и предпринимателей дали ограниченные результаты. Дело не в том, что отечественный бизнес страдает от недостатка связей с властью, и не в ее малой информированности о его нуждах. Суть — в гипертрофии отношений «господства—подчинения». Российская бюрократия со своей стороны не смогла выработать механизмов самоограничения в отношениях с бизнесом. Олигархический разгул десятилетия 1990-х годов сменился неограниченным вмешательством власти в экономику. Во властных органах не возникло традиции относиться к бизнесу не только строго, но и бережно. Традиция взаимопомощи и взаимоподдержки бюрократии и бизнеса в России развивалась преимущественно в русле теневых отношений. Задача научить чиновника видеть в предпринимателе не только источник дополнительных налоговых поступлений, но и носителя перспективных экономических начинаний, выгодных стране и обществу, реализуется с большим трудом.

В-пятых, в силу недостаточной прозрачности экономической жизни чрезмерно большое значение в экономике и политике сохраняет сфера «серого бизнеса», т.е. предпринимательства, действующего на грани законного бизнеса и криминального. Контуры этой сферы сложно определить. В «серый бизнес» нередко тайно вовлекаются представители отдельных звеньев бюрократического аппарата всех уровней. Невозможно знать наверняка, политики или чиновники какого уровня вовлечены в такой бизнес и блокируют работу правоохранительных органов по декриминализации российской экономики. Это обстоятель-

ство вносит в сферу деловых отношений дополнительные риски. Честному бизнесу труднее конкурировать с полукриминальным, а власть и подчиненные ей правоохранительные органы в такой конкуренции могут оказаться не на стороне первого.

В-шестых, бизнес работает в обстановке постоянной стрессовой неустойчивости. Крупные предприниматели вынуждены опасаться власти, причем она не имеет ничего против этого. Средним и мелким предпринимателям еще тяжелее: они боятся и криминала, и власти, которая может не захотеть их от него защитить. Общество в таком безмолвном, хотя очевидном, противостоянии в целом не симпатизирует бизнесу, вследствие чего тот не может апеллировать к общественной поддержке. Лишь государство по собственному произволу может выступить арбитром в спорных ситуациях — но только если оно сочтет это выгодным для себя. В итоге незащищенность бизнеса работает на усиление произвола власти. Для того чтобы не просто выжить, а процветать и развиваться, бизнес должен вести себя не как просто «экономическое существо». В отношениях с властью он вынужден льстить, хитрить, подлаживаться, изворачиваться.

В-седьмых, общество практически выключено из отношений между бизнесом и государством. Естественное раздражение бизнеса против политиков и криминала преобразуется в негативистское отношение предпринимательского сообщества к социальным нуждам страны и проблемам конкретного человека. Бизнесмены скорее отгораживаются от общества, чем стремятся к диалогу с ним.

Несовершенство законодательства о благотворительности тормозит и без того вялые попытки предпринимателей заявить о себе как о классе сознательных и ответственных граждан, проявить государственное видение и мышление. Список богатых людей, для которых благотворительность стала частью их стратегии роста, ограничен (Потанин, Усманов, Абрамович, Шойдиев и немногие другие). Предприниматели пока не создали ничего сравнимого с Фондом Рокфеллеров, Фондом Макартуров или Фондом Форда.

В-восьмых, феномен «патриотичного бизнеса» — в том виде, в котором он сложился в Японии или Южной Корее на этапах экономико-социального реформирования и модернизации во второй половине прошлого века, — в России отсутствует. Патриотичным в данном случае называется бизнес, способный самостоятельно прийти к пониманию необходимости подчинить интересы максимизации прибыли (не извлечения прибыли вообще, а именно ее максимизации) задачам вывода российской экономики на передовые мировые рубежи.

Мировоззрение руководства самых мощных российских корпораций проникнуто интернационализмом больше, чем патриотизмом. Мыслить широкими категориями глобальной экономики и общемировых хозяйственных процессов кажется привычнее и правильнее, чем оперировать более частными понятиями вывода России на благоприятные позиции в международном разделении труда.

Соответственно, патриотизм бизнесу пытается «преподавать» власть, причем чаще всего с помощью энергичного давления. Это выражается главным образом в том, что у энергосектора изымается часть дохода, которая через бюджет направляется на развитие наукоемких производств. Для контраста: в Японии, например, бизнес участвует в определении приоритетов экономического развития наряду с правительством и сам вырабатывает для себя рекомендации относительно добровольных ограничений одних и ускоренного развития других направлений производства. В России первое и последнее слово в этом смысле остается за кабинетом министров.

Бизнес, правда, и сам не на высоте. В деловой практике не закрепились традиции добровольного самоограничения бизнеса по соображениям патриотизма или социальной ответственности. Российских инвесторов за рубежом (на Украине или в Молдове) упрекают в отсутствии желания уважать традиции стран пребывания и особенности местной психологии. Отечественный бизнес отзывчивее к угрозам, чем к доводам о выгодах от встречных уступок и компромиссов. Власть ведет себя «зеркально» — отнимает деньги и собственность, но не стимулирует целевые инвестиции предоставлением налоговых льгот.

Трезво оценивая свою способность «научить бизнес патриотизму», политическая власть сохраняет за собой мощные инструменты прямого воздействия на экономическое развитие в лице госкорпораций. В экономическом отношении они призваны осуществить именно те приоритеты развития, которые установило государство. Политически их существование призвано уравновешивать частный бизнес, не позволяя сосредоточиться в его руках слишком большим финансовым активам, к которым власть не имела бы прямого и легкого доступа. Повышение участия государства в крупнейших корпорациях энергетического сектора после «дела Ходорковского» было началом поворота государства к возвращению себе активной экономической роли и одновременно стартом профилактических мероприятий, призванных предупредить концентрацию чрезмерной финансовой мощи в руках частного бизнеса вообще.

Экономическая безопасность как инструмент воздействия на бизнес

Под экономической безопасностью понимается состояние неуязвимости государства и общества перед угрозами для устойчивости их развития. В более конкретном смысле обеспечение экономической безопасности предполагает: стабильное снабжение сырьем и энергией; беспрепятственный сбыт товаров на зарубежных рынках; поддержание устойчивости финансовой системы; предупреждение монополизации недружественным субъектом важных сегментов производства и рынка; обеспечение доступа к технологическим достижениям, необходимым для стабильного хозяйственного развития.

Расширительная интерпретация экономической безопасности, кроме того, подразумевает включение в этот примерный перечень еще и возможности сохранять независимость в принятии решений по ключевым вопросам экономического и социального развития — т.е. вопросам обеспечения благосостояния граждан. Правительство обязано следить, чтобы экономические процессы и, следовательно, деятельность любых экономических субъектов соответствовали требованиям обеспечения экономической безопасности.

Но четких критериев для заключения о том, что именно в деятельности экономических субъектов способно, а что не способно угрожать экономической безопасности, не существует. Власть имеет возможность произвольно толковать те или иные действия и ситуации. Для того чтобы спорить с правительством, нужна система независимого арбитража и устоявшаяся практика принятия арбитражных решений — как в пользу государства, так и в пользу бизнеса. Такая система в России находится в стадии становления, а ее слабость увеличивает риски для деловой активности.

Во всех странах обеспечение экономической безопасности — важный аргумент для выделения в национальной экономике стратегических отраслей и стратегических предприятий, которым правительства уделяют приоритетное внимание, препятствуя, в частности, распространению на них контроля иностранного капитала.

Увеличение доли участия государства в крупнейших предприятиях российского энергетического сектора в середине 2000-х годов было представлено в ключе заботы об экономической безопасности России. Правительства западных стран в тот же период неоднократно блокировали попытки российских инвесторов приобрести крупные пакеты акций наукоемких предприятий в странах Евросоюза. В 2009 г. была

сорована уже в основном согласованная сделка о покупке у американской корпорации *General Motors* российским «Сбербанком» германского автомобильного концерна *Opel*. Аналогично Украина, Польша и другие транзитные страны отказываются продавать российским компаниям проходящие по их территории трубопроводные сети для транспортировки газа.

Сходный подход проявляется и в отношении наиболее важных новых технологий на стадиях их разработки и внедрения. Ресурс воздействия на бизнес связан с возможностью выдвигать жесткие требования по соблюдению экологических норм теми или иными корпорациями, деятельность которых по каким-то причинам начинает вызывать беспокойство правительства страны пребывания. Таким образом в 2006 г. были наложены существенные ограничения на деятельность американской компании *Sakhalin Energy (Royal Dutch Shell, Mitsui и Mitsubishi)*, которая за три года до этого получила заключения о соответствии ее проектов экологическим требованиям в Российской Федерации. Год спустя ограничения были сняты, но ценой компромисса было понижение доли иностранных инвесторов и увеличение доли российских («Газпром» получил 50% плюс 1 акцию).

Новая программа инновационного венчура, к участию в которой президент Медведев в декабре 2010 г., выступая в Сколково на инновационном форуме, пригласил бизнес, тоже вписывается в приоритеты экономической безопасности. Соответственно, такого рода сотрудничество может быть отнесено к разряду политически рискованного.

Коррупция в отношениях бизнеса с государством и перспектива гражданского общества

Коррупционный аспект отношений бизнеса с государственной бюрократией относится к числу самых политизированных. Отсутствие закона о лоббизме в значительной мере лишает легальных оснований естественное стремление деловых людей защитить свои интересы перед властью и добиться от нее поддержки в тех вопросах, где без этого нельзя обойтись — а таких вопросов большинство. Содействие государства обеспечивается практикой нелегальных связей с должностными лицами, которая фактически образовала мощный комплекс неписаных правил и механизмов личных связей, в основе которых лежит многоступенчатая и разветвленная система подкупа.

Энергичные попытки власти искоренить коррупцию, начавшиеся в самом конце 2000-х годов, пока не обеспечили перелома ситуации.

Коррупционные практики характерны для многих стран и регионов мира — государств Южной Европы, Латинской Америки, Арабского Востока, Африки. В России и других странах СНГ они грозят фактически стать неотъемлемой частью экономической жизни, в частности принятия административно-политических решений по хозяйственным вопросам.

Сложность искоренения коррупции имеет свою политическую сторону. *Во-первых*, в российских условиях она, по сути дела, выполняет функцию массового перераспределения общественного богатства в пользу обширного социального слоя профессиональных управленцев и сотрудников правоохранительных органов разных уровней, официальные доходы которых ниже, чем в других странах. В этом смысле в коррупции заинтересованы довольно широкие и, самое главное, влиятельные социальные силы. Для них коррупция — инструмент выживания в качестве привилегированного общественного слоя, принадлежность к которому является главным смыслом социального бытия соответствующих категорий служащих. Несмотря на существенное ужесточение официальных наказаний за коррупцию, именно они прилагают усилия для нейтрализации эффективности этих нововведений на практике. Это не вопрос отдельных руководителей, а системная проблема общества и одна из причин саботажа попыток ввести лоббирование деловых интересов в русло закона и установить контроль над ним. Отсутствие легального лоббизма фактически сводит весь деловой интерес до уровня интереса нелегального.

Во-вторых, коррупция фактически обеспечивает сращивание нелегальных интересов бюрократии и бизнеса, а в более широком смысле — бизнеса и государства. Коррупционный путь, образно говоря, является самым коротким, быстрым и незатратным способом защиты делового интереса в текущей ситуации, поэтому бизнес не заинтересован в налаживании иных — официальных, легальных, прозрачных, но одновременно и гораздо более громоздких механизмов, в частности судебных и арбитражных институтов и практики. Тайный сговор в известном смысле бизнесу ближе, чем легальная и состязательная защита своих интересов через конституционные институты и структуры гражданского общества.

На Западе страх и незащищенность первых буржуа перед королевской властью заставили зажиточный класс обратить внимание на нотариусов и стряпчих, которые могли помочь буржуа защититься от посягательств на их жизнь и имущество. Затем богатые люди осознали свою потребность в умных и смелых журналистах, которые могли бы обеспечивать им общественную поддержку. Пришло и понимание не-

обходимости студентов, из которых можно воспитать не только умелых нотариусов, но и разумных депутатов.

Как только тех и других стало достаточно много, идея защиты прав собственника «пошла в массы» — в «толщу» простых граждан, которые стали стремиться защитить свои права так же, как их умели защищать буржуа. Так формировалась активная гражданская позиция, которая, сделавшись нормой самовосприятия простого человека, и позволила победить гражданскому обществу. Сегодня на Западе не принято об этом говорить, но все-таки гражданское общество исходно было призвано к жизни очень конкретной и практической задачей — защитить еще не набравших силу буржуа от государственной власти.

Ничего похожего пока в России не происходит. Ориентированному на прямой подкуп чиновников бизнесу не нужны работающие институты гражданского общества, и он в них не инвестирует. Проект гражданского общества с этой точки зрения недоинвестирован — поэтому он и буксует. Посредством коррупции бизнес «вкладывает деньги» в государство, вернее, в чиновников. Интересы граждан он игнорирует, а те платят ему «революционной неприязнью».

В-третьих, позиция государства в отношении коррупции содержит в себе внутреннее противоречие. Коррупция, являясь элементом разложения, одновременно обеспечивает, как уже говорилось, слитность бизнеса с государством, консервирование его зависимости от власти, отказ от независимой от государства роли, в том числе политической. Но именно этого отказа добивалась власть от бизнеса долгое время. Искоренение коррупции в этом смысле будет означать переключение денежных потоков (инвестиций бизнеса) на институты и практики гражданского общества.

Но такое общество по определению оппозиционно власти, в том числе и прежде всего власти государства. Оно призвано оппонировать власти, перенимая у нее часть полномочий. Нет ясности, готово ли государство в лице его высшего руководства согласиться с переориентацией инвестиций бизнеса с чиновничьего слоя на тех, кто станет защищать интересы бизнеса легально — в том числе перед лицом политической власти. Не говоря о том, что бизнес с учетом практики вообще боится всякой оппозиционности, в том числе лояльной. Государство не доверяет бизнесу и поэтому «боится отпускать его от себя».

Гражданское общество — это общество, приучившее себя «противостоять власти по правилам», не быть безоговорочно лояльным власти, но и не быть априори против любой власти, как замешанная на нигилизме и обаянии террора русская политическая интеллигенция,

переродившаяся в современных либерал-фундаменталистов. Формула гражданского общества в России — это примиренность власти с активной позицией граждан, которая предполагает существенную меру оппозиционности, в которую вкладывает деньги бизнес. Однако эта оппозиционность должна быть принципиально лояльна конструктивной идее сильного и единого государства.

Проблема в том, что ни бизнес, ни власть, ни общество пока не созрели для сотрудничества на базе такой формулы. В обществе недостает терпимости к богатству, во власти — согласия уважать интересы оппозиции, в бизнесе — критики к себе.

* * *

Экономическая политология формируется как прикладная дисциплина, смысл которой состоит в поиске путей для упорядочения, гармонизации интересов бизнеса, общества и государства. Она формируется в значительной степени как эмпирическая наука, в рамках которой накапливается, систематизируется и осмысливается опыт развития отношений между тремя названными субъектами в разных странах под влиянием неодинаковых культурно-психологических традиций. В перспективе это должно позволить выйти к обобщениям, которые смогут обогатить теоретические представления соответствующих разделов общей политологии.

Примечания

¹ После 1991 г. государственничество в России популярно не потому, что россияне не ценят свободу, а оттого, что в их массовых представлениях ценность единого государства на самом деле котируется выше права на личный успех и обогащение. Соответственно, и в конфликте президента В. В. Путина с крупным бизнесом в середине 2000-х годов, субъективно сочувствуя М. А. Ходорковскому (как «мученику»), большинство граждан поддерживало Кремль, веря, что «свобода для богатых нефтяников» (которые думают только о себе) опаснее для страны, чем ограничение свободы вообще, если этого добивается президент, который «радеет за всех».

² На английском языке для практических целей уместно передавать смысл термина «экономическая политология» как *Politics of Business — Government Relations*.

Глава 8

«Реалистский корень» российской ветви теории мировой политики*

Особенность современной теории международных отношений в России — ее нерасчлененность на школы. В отечественной политологии нет сложившихся, ясно различимых «струй» международно-политического анализа, подлежащих выделению на основе сколько-нибудь многочисленных и оппонирующих друг другу групп книг и монографий. Вместо них — набор подходов (правда, уже довольно многообразный) или даже просто политических симпатий, вкусов и интуитивных предпочтений, согласно которым разные авторы неодинаково трактуют одни и те же явления международной жизни, скорее сообразуя «исследовательские» выводы со своими априорными ожиданиями, чем скрупулезно выверяя корректность заключений на базе строгих методик. Иначе говоря, «теоретические водоразделы» проходят не столько между парадигмами анализа того, что происходит, сколько между представлениями о том, каким этому происходящему «должно» — с позиции пишущего — быть. Вот отчего границы между «школами» отражают в большей степени оттенки личностных политических предпочтений авторов, нежели политологические разногласия между ними. Ситуация в общем-то понятна и объяснима, но от этого она вовсе не упрощает классификацию.

Причуды «нерасчлененной» теории

Черта неразделенности школ характерна не только для России. В США, Британии, Франции, Японии и, пожалуй, в некоторых других странах выходят и будут выходить десятки книг, написанных именно в подобной «методологии предвосхищения» результатов в соответствии с политическим запросом пишущего. Но в названных зарубежных странах не такая авторская позиция определяет интеллектуальную ситуацию.

Наряду с тысячами работ, написанных «по убеждению сердца», например, в США существуют десятки других, созданных «вдохнове-

* Опубликовано в: Российская наука международных отношений: новые направления / Под ред. А. П. Цыганкова, П. А. Цыганкова. М.: PerSe, 2005. С. 126–135.

нием разума» наиболее ярких мастеров политического анализа. Как раз последние и определяют контуры *методологических* ядер — «сгустков» наиболее типичных базовых характеристик, из которых *преимущественно* исходят в анализе представители того или иного направления и за рамки которых они интуитивно или сознательно предпочитают не выходить. На Западе, строго говоря, только группы таких «базовых» работ и авторов образуют теоретические школы, методологические ядра-полюсы. Основная же масса текстов и за рубежом (даже если опустить откровенно эпигонские) составляет зыбкую и переменчивую среду, почти всегда сочетающая в себе черты сразу многих школ-ядер, хотя в существенно разных пропорциях, которые определяются в большей степени идейно-политическими убеждениями пишущих, чем их способностью предложить рациональные аргументы или методы исследования.

В России критическая масса книг, способных дать основание для корректного разграничения школ, еще только накапливается. Группа российских теоретиков почти «по-декабристски» узка, хотя и разнообразна по устремлениям и взглядам. В таком кругу закономерно сильно взаимовлияние; даже несогласные между собой авторы волей-неволей сознают общность своих теоретических корней, часто стыдятся их, полемизируют с собственными «истоками», отрицают их и... все равно, как зачарованные, бродят по порочному кругу; «идеи—контридеи», «представления—контрпредставления».

Прорывы за привычное, особенно если они не согласуются или просто не имеют параллелей в подсмотренном-подслушанном на Западе, единичны и не встречают одобрения. Начитанность в области зарубежной литературы по-старому (как в 1990-х годах) ценится выше способности мыслить самостоятельно. Может быть, оттого через двенадцать лет после распада СССР главный *видимый* фронт среди российских политологов прочерчен между «консервативным», но основательным остаточным марксизмом и «прогрессивным», но замученным комплексом неполноценности контрмарксизмом. Причем если из первого обещают народиться и мало-помалу нарождаются «нормальные» аналитические школы, то второй остается большим плодом эпохи Б. Ельцина — ею порожденным и ею же обескровленным.

Как бы то ни было, девять из десяти активно пишущих сегодня в России на темы теории принадлежат либо просто к стихийным марксистам (в том числе в понимании И. Валлерстайна и Г. Моргентхау), либо к стихийным марксистам, которые изо всех сил стремятся доказать себе, что они вырвались из-под влияния Марксова подхода. Этим общим замечанием на тему марксизма-антимарксизма в российской науке стоит ог-

раничиться: она в целом остается типично постмарксистской — в зародыше в ней уже есть масса зерен новых немарксистских школ, но самих этих школ еще нет, и максимум, о чем возможно рассуждать сегодня, это о поразительно причудливом ходе трансформаций теории международных отношений (ТМО) в России от «либерально-марксистского» синтеза в 1970-х годах к немыслимой «либерально-реалистической» эклектике «семилетки М. С. Горбачева» и позднее, в 1990-х годах, — к возвратной тенденции формирования целой группы неореалистических (уже в западном смысле) направлений анализа, тем не менее связанных истоками мыслительной традиции с «либеральным марксизмом».

Сказанное относится главным образом к старшему и среднему поколениям российских авторов. Рядом с ними энергично работает и публикуется группа «тридцатилетних» — тех, кто начал творческий путь в годы свободомыслия «перестройки» или после распада СССР. Таких авторов больше всего вне Москвы — преимущественно в Санкт-Петербурге (плеяда молодых преподавателей, привлеченных на факультет международных отношений в момент его создания деканом К. К. Худолеем, а затем разошедшихся по другим факультетам СПбГУ) и в Нижнем Новгороде (ученики и сотрудники О. А. Колобова в Нижегородском государственном университете, часть из которых в 2001 г. образовала небольшую новую кафедру международных отношений в Нижегородском лингвистическом университете). Именно региональные центры в 1990-х годах начали с того, что сосредоточились на ударном освоении зарубежного теоретического наследия, чтобы таким образом найти кратчайший путь к наверстыванию упущенного за советские десятилетия «запрета на теорию».

«Молодежь из регионов» в 1990-х годах подхватила чрезвычайно важное для российской политической науки дело *систематической популяризации* западного знания в сфере ТМО, начатое изданной в 1996 г. книгой П. А. Цыганкова¹, развернув это начинание в теоретико-просветительскую волну, прокатившуюся по региональным университетам и вылившуюся в появление ряда учебных пособий и книг², так или иначе нацеленных на ознакомление читающей публики с зарубежными идеями и концепциями, прямой доступ к которым в России 1990-х годов был все еще осложнен стесненными материальными условиями, в которых оказались наука и высшее образование. Это был полезный и необходимый на том этапе поток прямой трансляции западных идей, теорий и концепций в российское сообщество теоретиков-международников через его интенсивную интеллектуальную переработку сделанного на Западе, освоение и публикацию результатов этой работы на русском языке, в России и для российского читателя.

Попутно заметим, что эта часть сообщества «теоретизирующих» смогла приподняться прежде всего при содействии Запада как в смысле готовности западных университетов и библиотек открыть доступ к своим интеллектуальным ресурсам в сфере ТМО, так и в смысле финансово-материальной поддержки российских авторов, в том числе молодых, желавших приобщиться к достижениям западной теории и способных приобщить к ним студенческую и преподавательскую массу вне Москвы как центра внешнеполитического процесса России. В данном контексте очень большую роль сыграли программы поддержки молодых и зрелых ученых, осуществлявшиеся с начала 1990-х годов по линиям АЙРЕКСа, Фонда Макартуров, Фонда Форда и Института «Открытое общество». Отметим разнообразную учебно-научную деятельность Московского общественного научного фонда до того времени, как осенью 2001 г. последний распался на четыре независимые организации³.

Поощряемая фондами деятельность «моложавых» регионалов при всей ее значимости не способствовала дифференциации российской теории «по школам». Напротив, она замедлила ее. Поскольку работы этой группы авторов носили почти обязательный для просветительской цели «всеобъемлющий» характер, самих авторов было невозможно причислить ни к одной из традиционных «струй» — реалистической, моралистической и т.п. Работы нижегородцев и петербуржцев образовали своего рода «школу комплексного регионального просвещения» — параллельную, хотя и не равнозначную той «школе комплексного федерального просвещения» в вопросах ТМО, которую в Москве вокруг издательства «Гардарики» за 1996–2002 гг. на общероссийском уровне «с нуля» успел создать и возвысить неутомимый П. А. Цыганков. Венцом его усилий стала публикация в 2002 г. учебного комплекса работ в трех частях «Теория международных отношений»⁴, по сути дела заложившего наконец современную по своему уровню базу комплексного преподавания ТМО в российских вузах. Частично дополняют эти работы еще три новые книги московских авторов: «Очерки теории и политического анализа международных отношений» (авторы — А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталеv); изданные под эгидой Научно-образовательного форума по международным отношениям, вышедшее в издательстве МГУ им. М. В. Ломоносова «Введение в теорию международных отношений» под редакцией А. С. Манькина; учебник «Мировая политика» М. М. Лебедевой⁵.

Говоря о комплексном теоретическом образовании, можно с облегчением упомянуть еще ряд публикаций, сильно изменивших куль-

турно-образовательный фон политического анализа в сфере международных отношений. В 1997 г. во втором томе серии «Антология мировой политической мысли» под редакцией Т. А. Алексеевой на русском языке впервые появились фрагменты классических трудов Ганса Моргентау, ни одна из крупных работ которого целиком, к сожалению, на русском не издана, как не изданы труды К. Вольтца и еще десятка достойных, прежде всего американских, теоретиков, Раймона Арона и Хэдли Булла. Вслед за этим в 1999 г. Е. Б. Шестопал смогла довести до публикации обширный свод статей по зарубежной политологии «Политическая наука. Новые направления», в ряду которых были помещены статьи ведущих западных международников-теоретиков. Наконец, в 2002 г. в свет вышел созданный А. Ю. Мельвилем учебник «Категории политической науки», превосходно продуманный и вобравший в себя ряд интереснейших материалов по теории международных отношений⁶.

В 2001 и 2002 гг. российский читатель смог увидеть оригиналы классиков ТМО — изданные переводы главных работ Р. Арона и И. Валлерстайна целиком⁷. Это было, безусловно, почти эпохальное интеллектуальное событие, если вспомнить, что по меньшей мере три поколения советских/российских специалистов имели возможность составить панорамное представление о зарубежной теории международных отношений в основном по теперь уже «безнадежно» старой, но совершенно уникальной для своего времени и позитивной по интеллектуальному воздействию на сообщество советских интеллектуалов коллективной работе ИМЭМО под руководством В. И. Гантмана «Современные буржуазные теории международных отношений», за которой спустя восемь лет последовала написанная частично тем же коллективом книга «Система, структура и процесс развития современных международных отношений»⁸. Именно в самосоотнесении с этими работами в 1970-х, 1980-х и отчасти даже в начале 1990-х годов (т.е. в «довывездную эпоху») во многом на уровне ученичества формировались и уточнялись методологические основы мышления лучшей части той группы авторов — условных «реалистов», «контр»- и «антиреалистов», «либералов» и «протолибералов», «пре-» и «псевдомодернистов» и вообще всей пишущей российской публики старше 35 лет, которая хоть в какой-то мере была «обогащена—отягощена» добротным образованием, которое было доступно в Советском Союзе. Она же, заметим, пока что остается, судя по публикациям, наиболее плодотворной в России.

Проблема классификации от этого не упрощается. Пытаясь приблизиться к ее решению, попробуем наметить критерии «распозна-

вания». Они будут, как должно быть ясно из предшествующего рассуждения, существенно грубее, чем те, что применяются на Западе. Если оставить в стороне группу «комплексных просветителей», окажется, что различить несколько групп среди пишущих по-русски все-таки можно.

Одна из них, самая многочисленная, состоит из авторов, склонных воспринимать и анализировать мир через понятие «ситуация». Ситуация при этом понимается как «горизонтальный» временной срез международных отношений в том виде, как он существует на момент анализа с учетом и ретропредпосылок его складывания, и вариантов изменения в будущем. Для этой группы главное — понять, что происходит, отчего происходит, почему происходит именно это, а не что-то другое, и куда может повернуть развитие при тех или иных обстоятельствах. Это и есть условные российские реалисты. Их точнее будет назвать «исследователями международных ситуаций». Они не столько посягают на вмешательство в реальность (в целях ее улучшения, например), сколько стараются эту реальность разгадать.

Это самая традиционная для России (СССР) версия анализа международных отношений, до 1991 г. развивавшаяся в рамках официальной советской доктрины (хотя не в соответствии с ней!). Возможно, оттого для многих сторонников подобного аналитического взгляда типичен — особенно при исследовании причин и движущих сил развития — повышенный интерес к социально-групповым составляющим и противоречиям между интересами больших групп влияния в процессе формирования внешней политики отдельных государств. Некоторые авторы полагают, что эта «струя» составляет самостоятельное направление ТМО в России — «инерционно-марксистское». Мне оно представляется лишь разновидностью, одним из внутренних течений «реалистического», вместе с рядом иных, о которых пойдет речь ниже.

Основных течений современной ТМО в России не более трех:

- 1) комплексно-просветительское;
- 2) «реалистическое» с прилежащей подотраслью «инерционного марксизма»;
- 3) «постмодернистское», среди ряда эмбриональных струй которого заметен претендующий на роль самостоятельной теоретической подотрасли российский «протолиберализм».

В отечественных работах по ТМО вообще неразличимы такие перспективные, казалось бы, направления мысли, как институционализм, социальный конструктивизм и синергетика.

Корни и ветви «реалистического» древа

Большая часть авторов, так или иначе затрагивающих в своих публикациях вопросы теории международных отношений, может быть (как это характерно и для Запада) отнесена одновременно к нескольким подгруппам. Поэтому их включение в те или иные разделы предлагаемой классификации условно и может не совпадать с самовосприятием самих авторов. Тем более что целенаправленными теоретическими упражнениями утруждают себя немногие, хотя в «случайно-стихийном порядке» вопросов теории касаются многие.

Если относить к условно «реалистической» парадигме авторов, в восприятии анализируемого объекта акцентирующих фактическое состояние объекта («объект, каков он есть») в «конкретном горизонтальном временном срезе», то «реалистических» направлений окажется не меньше шести:

- 1) историко-политическое;
- 2) политико-философское;
- 3) структуралистское с входящими в него «мироцелостниками-разноукладниками»;
- 4) социолого-психологическое с входящей в него «инерцио-марксистской» группой;
- 5) геотеоретическое;
- 6) «политэкономическое».

Эта довольно дробная схема может быть упрощена, если различать теоретиков по их исходным позициям внутри общего тренда. В этом случае групп окажется всего три:

- 1) историко-политики (в эту категорию попадут структуралисты и геотеоретики);
- 2) социологи (здесь окажутся собственно социологи, политические философы и политические психологи);
- 3) «политэкономисты».

При этом первые и третьи исходят преимущественно из анализа международных отношений как такой «среды» обитания человека, которая является относительно автономной, хотя и связанной с его деятельностью и развитием. Вторые, напротив, предпочитают видеть текущее состояние мира прежде всего продуктом деятельности человека, устремления которого реализуются через внешнеполитический процесс каждого государства и взаимодействие всех внешних политик вместе.

Первых больше интересует «объективная», не зависящая от человека сторона реальности. Вторых — роль человека и его потребностей в ее формировании. В тенденции второе направление может оказаться ближе классическому либерализму, в который оно пока не перерастает, по-видимому, из-за взаимной нейтрализации между еще не иссякшим инерционным марксистским трендом к пониманию личности *не в ее индивидуальном качестве, а в стратифицированно-групповом*, с одной стороны, и пока еще довольно слабо проявляющейся на уровне публикаций тенденцией поместить в центр анализа как внешнеполитического процесса, так и международных отношений в целом — *человека-индивида* — с другой. Избегая внутренней полемики, «социолого-психологи» фактически работают в реалистической парадигме, обогащая и разнообразя ее трактовками «изнутри человека», но не ставя эти трактовки во главу угла анализа.

Историко-политическая школа, в свою очередь, подразделяется на три группы: *системно-исторического* подхода, структурного анализа и геотеорий.

Самой старой и численно преобладающей группой являются сторонники системно-исторического подхода. Тому есть объяснение: вся советская теория международных отношений имеет *историко-политические* корни. История международных отношений утвердилась в качестве самостоятельного предмета исследования и преподавания в СССР только после Второй мировой войны, к началу 1970-х годов, обособившись наконец от истории всемирной.

ТМО в СССР «извлекалась», синтезировалась из анализа конкретных проблем истории международных отношений. Она образовывалась почти исключительно на историко-политическом материале, «отцеживалась» из него, «снималась» с вершущек исторических обобщений. Это позволяло ТМО в СССР в 1970–1980-х годах быть одной из самых «ревизионистских», «либеральных» дисциплин — в сравнении с общей «политической теорией», которая оставалась в наиболее жестких цензурных рамках (на соответствие официальным догмам марксизма-ленинизма). Именно на этом материале складывались первые школы ТМО в России — в ИМЭМО под прикрытием академика Н. Н. Иноземцева и вокруг В. И. Гантмана, а также в МГИМО МИД РФ вокруг М. А. Хрусталева и А. А. Злобина, написавших первый русский учебник по ТМО и, что не менее важно, добившихся его опубликования⁹.

Конечно, эти работы были выдержаны — по западной классификации — в сугубо реалистическом духе. По-иному и быть не могло, потому что только реалистическая парадигма позволяла первым советским те-

оретикам обходить подводные камни соответствия или несоответствия официальным догмам классового анализа международных отношений. Любая попытка отойти от такого «сугубого реализма» в тех условиях должна была неизбежно обернуться либо критикой советского строя и репрессиями для критикующих, либо апологетикой «советского человека» и его «классового сознания». Естественно, уважающие себя теоретики предпочитали средний путь: не противопоставлять себя официозу, а пытаться искать объективно работающую методологию анализа на путях рассуждений в духе государственного («национально-государственного») интереса, по Г. Моргентау, М. Каплану, а позднее — Р. Арону, с мощными добавками к аргументации лексики программы КПСС и материалов партийных съездов. Такая «логика самосохранения» во многом определила в советские годы подход большой группы авторов, публикующихся в России в последние двенадцать лет.

К системно-исторической школе уместно отнести книги отечественных теоретиков-классиков М. А. Хрусталева и Э. А. Позднякова¹⁰. В рамках данной школы выдержаны публикации ведущих современных российских теоретиков военно-политического профиля — С. М. Рогова, А. Г. Арбатова, А. А. Кокошина, крупнейшего отечественного специалиста в области теории конфликта В. А. Кременюка, книги и статьи Д. Г. Балуева, В. Г. Барановского, К. П. Боришполеца, К. Э. Сорокина, В. В. Удалова, А. В. Кортунова, С. В. Кортунова, В. И. Кривохижи, Г. Ф. Кунадзе, ранние работы И. Г. Тюлина¹¹. В этом ряду стоит и первая версия сквозного прочтения истории международных отношений в XX в., последовательно выдержанная в системно-историческом ключе в коллективном труде «Системная история международных отношений. 1918–2002»¹².

Другой версии историко-политической школы придерживаются отечественные *структуралисты*. Это менее консервативная школа реалистического анализа в том смысле, что она пытается предлагать варианты понимания современного мироустройства, нехарактерные для западной интеллектуальной традиции. Иногда структуралистов неверно относят к числу «цивилизационщиков». Для этого почти нет оснований, поскольку аналитиков этой группы мало интересуют «цивилизационные» различия или подобию сами по себе. Их главным образом занимает проблема мироцелостности — ее иллюзорно-виртуально-пропагандистские составляющие и реальные закономерности и тренды. Главный вопрос для этой группы — вписанность или невписанность происходящего в России в мировые тренды, теоретический и реальный механизмы взаимодействия «разнотелостей» в мировой

политике, сосуществование типологически разнородных составляющих мира. Исходно связанная с именами Л. И. Рейснера и Н. А. Симони, эта школа в последнее десятилетие проявляла себя трудами М. А. Чешкова, Г. К. Широкова, В. Г. Хороса, публикациями А. Д. Богатурова, А. Й. Неклессы, А. В. Виноградова, а также А. Г. Володина, С. И. Лунева, А. И. Салицкого¹³. Отечественный структурализм лишь в небольшой части похож на то, что называется структурализмом на Западе. На Западе отсутствуют структуралистские исследования того профиля, который оказался главным в России. Не удивительно: для Запада проблема слияния-неслияния с не-Западом не имеет такого значения, какое она имеет в культурной традиции России.

Наконец, к историко-политическому корню восходят отечественные авторы-*геотеоретики* — геополитики и геоэкономисты. Несмотря на обилие стилистически красочных работ со словом «геополитика» в заголовке, это направление взрастило мало обнадеживающих плодов в смысле представления убедительной и пригодной для использования аналитической модели. Среди наиболее популярных авторов «вульгарно-геополитического» ряда продолжает «центрировать» труд А. Г. Дугина, который представляет собой просто предельно упрощенную и контрастно яркую иллюстрацию на тему роли природно-географических факторов в международных отношениях, способную напугать, восхитить и... увести далеко прочь от понимания реальностей международного развития¹⁴. К счастью, правда, геополитические штудии отмечены и именами уважаемых исследователей: В. А. Колосова, Н. С. Мироненко, Д. Н. Замятина, А. С. Панарина, К. С. Гаджиева, В. Л. Цымбурского, К. В. Плешакова¹⁵.

В этом списке не все авторы являются историками по образованию. Но геополитическая составляющая их текстов сильно привязана как к истории геополитической школы Запада, так и к анализу с использованием пластов исторических материалов, что позволяет с известной долей условности включить геополитиков в состав историко-политической школы. К этой же школе относятся работы по геоэкономике, которая стала формироваться в России в последние пять—семь лет и успела заявить о себе звонче всего книгами Э. Г. Кочетова¹⁶.

Социолого-психологическая школа также состоит из нескольких направлений: политико-философского, собственно социологического и политико-психологического с побочным ответвлением от последнего «инерционного марксизма».

Политико-философский в этом ряду поставлен первым не оттого, что он важнее или влиятельнее остальных, а потому, что в России он

занял промежуточное место между историко-политическим и социально-психологическим, играя своего рода роль связующего звена между ними. В потоке этой «струи» может решиться по-своему чрезвычайно важная и интересная задача разработки первой российской версии *философии международных отношений*. В этой группе ключевая фигура — Т. А. Алексеева, две недавние книги которой, выдержанные пока еще в ключе «неспецифической», традиционной общей политической теории, фактически составляют пока еще только каркас того, что в перспективе имеет шанс обрести больше сторонников и стать полновесной тенденцией¹⁷. Парадоксальным образом к этому направлению тяготеет А. Д. Воскресенский, в работах которого конкретный страноведческий материал сочетается с мощным акцентом на общей политической теории. Он не пытается разрабатывать философию международных отношений, ставя, по всей видимости, более узкую, но не менее почетную задачу формирования новой парадигмы *теоретического регионоведения* как дисциплины переходной от историко-политической к теоретико-политической¹⁸.

Собственно социологический подход в отечественной традиции связан прежде всего с именем П. А. Цыганкова, возглавляющего на социологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова кафедру социологии международных отношений. Этот автор — тоже по-своему промежуточно-медиаторская фигура. Он уделяет повышенное внимание историческому аспекту ТМО (история теории), а его рассуждения в ряде моментов близки рассуждениям теоретиков историко-политического корня. В то же время ценя социальную составляющую теории, акцентируя роль общественных институтов и личности в международном процессе, его взгляды смыкаются со взглядами теоретиков-психологов и философов, автор легко находит с ними общий язык.

В 1998 г. П. А. Цыганков издал первую в России коллективную работу, специально сориентированную на оформление школы анализа международных отношений через призму методологии общей социологии. Структура книги и авторский состав, ее написавший, — показательная иллюстрация современного состояния данного подхода как находящегося в стадии становления: из одиннадцати глав книги только четыре написаны российскими авторами, остальные — американскими и западноевропейскими¹⁹. Тем важнее дальнейшая разработка рассматриваемого направления, из которого, скорее всего, тоже способен развиваться отечественный социальный конструктивизм, который, как представляется, может оказаться в российском интеллектуально-культурном и политическом контексте весьма плодотворным.

Политико-психологическое направление отечественной ТМО наиболее тесно связано с исследованиями конфликтов. Если упоминавшийся В. А. Кременюк — конфликтолог историко-политической школы, то работы М. М. Лебедевой представляют версию исследования конфликта через анализ особенностей поведения его участников, психологию личности и особенностей группового сознания. В сходном с М. М. Лебедевой ключе работает Д. М. Фельдман²⁰.

К политико-психологической школе, несмотря на универсальность своих научных интересов и концептуальное многообразие творческого наследия, обнаруживающего и его склонность к марксизму, примыкает, без сомнения, самый яркий современный отечественный теоретик международных отношений Н. А. Косолапов²¹.

Последнее ответвление отечественных «реалистов» — *политэкономическое*. В России политическая экономия международных отношений — дисциплина новая даже по сравнению с философией или социологией международных отношений. Наиболее заметные фигуры, работающие в этом ключе, — В. Л. Иноземцев, С. А. Афонцев, Ю. В. Шишков, А. Я. Эльянов, уже упоминавшийся Г. К. Широков, В. А. Мельянцев и другие²² специалисты по международным экономическим отношениям, уделяющие повышенное внимание международно-политическим составляющим их (отношений) развития. Важно отметить, впрочем, что это направление пока еще тоже не развилось в отечественную версию политической экономии международных отношений, сопоставимую с той, что имеется на Западе.

Основные варианты осмысления международно-политической действительности

Принадлежность к одной школе «реалистов» не означает единообразие взглядов в рядах ее представителей. Разделяя исходные аналитические позиции, разные адепты этой тенденции легко находят пути, приводящие иногда к совершенно противоположным выводам. Например, среди них нет согласия по поводу очертаний структуры современного мира. Не пытаясь отрицать безоговорочное превосходство над всеми другими государствами США как единственной уцелевшей сверхдержавы, «разные реалисты» по-разному интерпретируют ситуацию. Одни вслед за МИД России упорствуют, утверждая, что мир многополярен. Другие — что он на всех парах мчится к однополярности (С. А. Караганов и группа СВОП). Третьи предлагают промежуточную схему «плюралистической однополярности»: полюс в мире один, но он

имеет коллективную природу — его составляют США и другие страны «Группы восьми», объединенные не по идеологическому принципу (демократизма), а по признаку наибольшего влияния и ответственности за международные дела²³.

Общее здесь, очевидно, — понимание силового превосходства Соединенных Штатов. Различие — политико-сознательное и эмоциональное отношение к ситуации, которое побуждает одних с готовностью принимать победу сильного, других — отчаянно притворяться не замечающими ее, третьих — признавать объективные тренды, к ним присматриваться и искать шанс использовать их на благо своей страны.

Проблема *мироцелостности* дает не меньше простора для интерпретаций. Принципиального единства мира давно никто не отрицает (подспудно его не отрицали по крайней мере три последних десятилетия советской власти). Другое дело, как это единство понимается. Скажем, для группы СВОП вопрос методологически, как и при М. С. Горбачеве (1985 г.!), помещается в русло заурядных рассуждений об «интеграции» или «неинтеграции» России с Европой (Западом). Поддерживая интеграцию или выражая скепсис по поводу возможности таковой, авторы группы СВОП остаются в рамках старой парадигмы «сливаться — противостоять слиянию». Прикладная политика вытесняет анализ.

Реалисты-структуралисты в этом смысле гораздо более изобретательны, хотя и среди них нет единства. М. А. Чешков, самый крупный российский методолог-международник 1990-х годов, понимал мироцелостность сложно — «сферически и комплексно». Мироцелостность для него — движение, всеобрамляющая данность, развитие которой он пытается охватить. Для него вопрос вхождения— невхождения России в «мироцелостность» просто неуместен — методологически, принципиально. Наша страна уже «внутри мироцелостности» и соразвивается в качестве ее части — автономно от того, как именно и насколько адекватно это соразвитие отражается как в сознании самих россиян, так и тех, кто анализирует российский опыт извне²⁴. В. Б. Кувалдин, не относящийся, впрочем, к структуралистам, параллельно М. А. Чешкову развивал идею глобального «мегаобщества», трактуя ее в более привычных для западных исследований понятийных радах и в политологическом, а не в методологическом ключе²⁵.

Однако радикально тема соразвития интерпретируется в «транссистемной» концепции равноположенного развития. Данная концепция построена на тезисе о возможности неограниченно долгого сосуществования и соразвития разнотелностей — Запада, России и Востока — в рамках обрамляющей оболочки «мироцелостности» (по М. А. Чеш-

кову) без их слияния, взаимоуподобления — той самой вульгарно понимаемой интеграции, которая полтора десятилетия остается лейт-мотивом новостных комментариев. В сущности, эта интерпретация предлагает вариант «мирного сосуществования» вестернизированных и невестернизированных составляющих мира без подчинения одних другими и без нанесения ущерба интересам поступательного развития.

Структуралисты дают и наиболее изощренные ответы на вопрос о *глобализации* и ее векторе. Нисколько не отрицая, что сама по себе глобализация подразумевает как раз всеобщее уподобление Западу незападных составляющих мира — вестернизацию, они настойчиво, посредством ссылки на массу аргументов, в том числе уводящих к понятийным рядам сторонников «цивилизационного» подхода (в России он по большей части представлен группой ученых, примыкающих к структуралистам-востоковедам), доказывают «неслияемость» не-Запада с Западом из-за глубоких культурно-цивилизационных различий между ними.

Наряду с ними о глобализации пишут представители других течений. Скажем, Н. А. Косолапов, отстаивающий наряду с М. А. Мешковым (только с помощью совсем иной аргументации) «сферический характер» глобализации, по сути дела, признает неизбежность победы глобализации в ее вестернизированной форме, хотя и предостерегает о неизбежности многих сопряженных с этим процессом противоречий²⁶. Г. К. Широков и А. Г. Володин в своей преимущественно историко-экономической по материалу и превосходно отрезвляющей по мыслям новой книге²⁷ проанализировали феномен глобализации с позиций развития материальной цивилизации. Как и Н. А. Косолапов (и по контрасту с авторами концепции «равноположенного развития»), оба автора акцентируют конфликтно-противоречивый характер процесса глобализации-вестернизации, его подчиненность интересам ведущих западных стран.

Существенно иначе, в оптимистичном и, более того, в непререкаемо-обреченном духе пишет о глобализационных трендах самый мощный пропагандист теорий постиндустриализма В. Л. Иноземцев, серия авторских работ которого и книг, подготовленных под его редакцией, отстаивает мысль о предрешенности победы вестернизированного направления. Причем он ссылается на фундаментальный и в этом смысле необратимый характер мироэкономических сдвигов, которые служат материальной основой глобализации²⁸.

Наибольший разброс мнений среди «реалистов» существует, безусловно, по проблематике *национального интереса* и «*выбора внешнеполитических ориентаций*». Европейская ветвь ориентаций, популярная в начале 1990-х годов, в последние годы сильно подувала. Призывы

«войти в Европу» давно перестали казаться вдохновляющими именно по мере того, как конкретика отношений с географически близкой Европой убедила: Европа не ждет к себе в гости Россию и, кроме того, практические проблемы сближения с Европой чрезвычайно сложны и ресурсоемки. Вместо призывов единения с Европой приобрел популярность более абстрактный, а потому менее обязывающий призыв «присоединиться к Западу». Его в принципе разделяет большинство «реалистов», за исключением относительно небольшой части «вульгарных геополитиков».

Другое дело, насколько сильно «реалисты» расходятся в оценках условий и форм сближения с Западом. Здесь практически все они твердо стоят на позиции национального интереса и необходимости упорного переговорного торга с Западом относительно учета естественных исторических, экономических, геополитических и т.п. устремлений России, а также ее специфики — исторической, политико-психологической, культурной и институциональной. Почти так же единодушно и отстраненно-недоверчиво они относятся к международному поведению США, отмечая такие его черты, как самодостаточность, склонность к принятию односторонних решений, самоуверенность, высокомерие к партнерам, игнорирование международных организаций, акцент на применении силы или угрозы ее применения.

Зато реалисты не согласны между собой в векторах внешних ориентаций. Часть авторов тяготеет к выбору в пользу СНГ, полагая, что такой выбор естествен при ограниченности внешнеполитического ресурса России и необходимости сосредоточиться на решении внутренних проблем [СВОП, «умеренные» геополитики (К. В. Плешаков, В. Л. Цымбурский)]. Другие призывают искать национальные ответы на глобальные вызовы и строить этноэкономические системы по образцу тех, которые создали Китай и Япония (Э. Г. Кочетов)²⁹. Третьи вообще витийствуют о «российско-китайской оси» против США (А. Анисимов, Г. А. Трофименко, С. Н. Бабурин)³⁰. И наконец, четвертые все-таки высказываются в пользу формирования в перспективе полноценного союза с Западом, но на условиях, приемлемых для России, а не только для США и стран Западной Европы (С. М. Рогов, А. Д. Богатуров, В. А. Кременюк)³¹.

Представления российских реалистов о национальных интересах своей страны, конечно же, отражают их мнения о *движущих* силах международного развития.

Поскольку доминирует представление о том, что сам процесс глобализации во многом (по крайней мере до сентября 2001 г.) на-

правлялся Соединенными Штатами, т.е. подчинялся не только объективным потребностям мирового развития, но и специфическим устремлениям Вашингтона, то «реалисты» полагали естественным для России строить международные отношения тоже исходя из российских национальных интересов.

Впрочем, и в этом вопросе среди «реалистов» все же существует известный плюрализм. Так, геополитики-радикалы настаивают на стремлении США и Запада разрушить пространственное единство (территориальную целостность) России, убедительно ссылаясь на работу Зб. Бжезинского, где эта мысль обозначена довольно-таки четко. Для них глобализация, подрывающая роль национального государства, — просто инструмент Запада, с помощью которого он стремится устранить сильных геополитических конкурентов (Россию, Китай, возможно, Индию). Реалисты-политэкономы, напротив, иронично относятся к «инструментальному» пониманию глобализации. Они последовательно отстаивают экономическое объяснение главного мирового тренда, полагая, что сами Соединенные Штаты реагируют на объективное изменение экономической ситуации в мире³², пытаются, конечно, подчинить-оседлать эти течения, используя свои конкурентные преимущества.

Плюрализм мнений сохраняется и в вопросе определения главных источников угроз международной безопасности и путей обеспечения безопасности национальной.

Разногласия определяются принадлежностью авторов либо к группе отыскивающих эти источники в неумеренной политике США, либо, напротив, — в наличии препятствий для осуществления переустройства мирового порядка по американскому проекту. Принадлежащие к первой группе считают, что напористая внешняя политика США усугубляет и без того непропорциональные нагрузки на существующий хрупкий международный порядок, не позволяет естественным регуляторам международных отношений проявить себя и выполнить свою часть «задания» по разряжению возникающей в мире напряженности, например межэтнической [конфликты сепаратизма (Н. А. Косолапов)]. Представители второй группы полагают, что есть много сфер, где эффективные решения не могут быть достигнуты без тесного сотрудничества США с другими странами, прежде всего с Россией, а именно: распад режима контроля над вооружениями, ядерное нераспространение, терроризм, наркотрафик. Все это недостижимо из-за того, что США постоянно недоучитывают интересы Москвы (С. М. Рогов, А. Г. Арбатов, Н. А. Хрусталеv). Третья точка зрения акцентирует вни-

мание на том, что угроза международной безопасности таится в недолговечности однополярного порядка и неподготовленности мира к обеспечению стабильности в «постамериканскую эпоху», наступление которой может оказаться связанной с усилением азиатских игроков, прежде всего Китая (Н. А. Косолапов).

* * *

Подведем некоторые итоги. Реалистическая струя в разработке ТМО в России фактически представляет собой мини-срез всей теории в той мере, в какой она вообще представлена в нашей стране. Это, вероятно, временное состояние, характеризующее медленное, но все-таки движение отечественной науки в направлении формирования «нормальной» полицентричной и разностилевой политологии. Пока же разработка многих важнейших проблем миропонимания на теоретическом уровне осуществляется, строго говоря, неспециализированными кадрами и ведется лишь благодаря наличию нескольких ярких авторов-многостаночников, по сути дела являющихся уходящим поколением «энциклопедистов от ТМО» в России.

Примечания

¹ Цыганков П. А. Международные отношения. М., 1996.

² Ломагин Н. А., Лисовский А. В., Сутырин С. Ф. и др. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики. СПб., 2001; Конышев В. Н. Неореализм в современной политической мысли США. СПб., 2001; Макарычев А. С. Идеи для политики. Эволюция системы внешнеполитической экспертизы в США (середина 1940-х — начало 1990-х гг.). Нижний Новгород, 1993; Сафронова О. В. Теория международных отношений: Учеб. пособие. Нижний Новгород, 2001; Колобов О. А. Международные отношения. Избранные труды. Нижний Новгород, 1998; Хохлышева О. О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение. Опыт XX столетия. Нижний Новгород, 2002. [Отдельно в этом ряду стоит упомянуть книгу Г. Н. Новикова «Теории международных отношений» (Иркутск, 1996).]

³ К исследованию международных отношений стали иметь касательство две из них. *Во-первых*, «ИНО-Центр (Информация, наука, образование)», а *во-вторых* — «Научно-образовательный форум по международным отношениям». Первый стал заниматься институциональной поддержкой международных исследований и образования в сфере международных отношений в региональных университетах. Второй продолжил программу межрегиональных зимних и летних школ по методологии и теории международных отношений.

⁴ Цыганков П. А. Теория международных отношений. М., 2002; Теория международных отношений: Хрестоматия / Под ред. П. А. Цыганкова. М., 2002;

Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса, С. Смита (общ. ред. и предисл. П. А. Цыганкова). М., 2002.

⁵ *Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А.* Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002; Введение в теорию международных отношений / Под ред. А. С. Маныкина. М., 2001; *Лебедева М. М.* Мировая политика: Учебник. М., 2002.

⁶ Антология мировой политической мысли: В 5 т. Т. 2. Зарубежная политическая мысль XX в. / Отв. ред. Т. А. Алексеева. М., 1997; Политическая наука. Новые направления / Под ред. Р. Гудина, Х.-Д. Клингемана; Отв. ред. Е. Б. Шестоपाल. М., 1999; Категории политической науки: Учебник / Отв. ред. М. Ю. Мельвиль. М., 2002.

⁷ *Арон Р.* Мир и война между народами. М., 2000; *Валлерстайн И.* Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001.

⁸ Современные буржуазные теории международных отношений / Отв. ред. В. И. Гантман. М., 1976; Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В. И. Гантман. М., 1984.

⁹ *Антюхина-Московченко В. И., Злобин А. А., Хрусталева М. А.* Основы теории международных отношений. М., 1980.

¹⁰ *Хрусталева М. А.* Системное моделирование международных отношений. М., 1987; *Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А.* Указ. соч.; *Поздняков Э. А.* Системный подход к исследованию международных отношений. М., 1976; *Он же.* Философия политики: В 2 т. М., 1994.

¹¹ *Рогов С. М.* Советский Союз и США: поиск баланса интересов. М., 1989; *Арбатов А. Г.* Военно-стратегический паритет и политика США. М., 1984; *Кокошин А. А.* В поисках выхода: военно-политические аспекты международной безопасности. М., 1989; *Кременюк В. А.* США и окружающий мир: уравнение со многими неизвестными // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002: В 4 т. М., 2002. Т. 1.

¹² Системная история международных отношений. 1918–2002. События и документы: В 4 т. / Под ред. А. Д. Богатурова. М., 2001. Т. 1–2.

¹³ Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного / Под ред. Л. И. Рейснера, Н. А. Симонии. М., 1984.

¹⁴ *Дугин А. Г.* Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., 1997.

¹⁵ *Колосов В. А., Мироненко Н. С.* Геополитика и политическая география. М., 2002.

¹⁶ *Кочетов Э. Г.* Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия России // МЭиМО. 1994. № 11; *Он же.* Этноэкономические системы // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002: В 4 т. М., 2002. Т. 2.

¹⁷ *Алексеева Т. А.* Современные политические теории. М., 2001.

¹⁸ *Воскресенский А. Д.* Россия и Китай. Теория и история межгосударственных отношений. М., 1999.

¹⁹ Международные отношения: социологические подходы / Под ред. П. А. Цыганкова. М., 1998.

²⁰ *Кременюк В. А.* Россия — США: первые уроки балканского кризиса 1999 г. // США и Канада: экономика, политика, культура. 2000. № 1; *Лебедева М. М.* Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии. М., 1999; *Фельдман Д. М.* Конфликты в мировой политике. М., 1997. *Pavlov A.* International Conflict Resolution // The Globalization of Eastern Europe: Teaching International Relations Without Borders / Segbers K., Imbusch K. (Eds.). Hamburg, 2000.

²¹ *Косолапов Н. А.* Глобализация: от миропорядка к международно-политической организации мира // Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталева М. А. Указ. соч.

²² *Афонцев С. А.* Экономическая политика в современном мире: «глобальное управление» или глобальный политический рынок? // Внешняя политика и безопасность современной России: В 4 т. Т. II / Сост. Т. А. Шаплеина. М., 2002; *Богомолов О. Т.* О неолиберализме // Международная жизнь. 1999. № 2; *Он же.* Вызов мировому порядку. Экономическая глобализация не решает межгосударственных и социальных проблем человечества // Независимая газета. 2000. 27 янв.; *Иноземцев В. Л.* Расколота цивилизация. М., 1999; *Иноземцев В. Л., Кузнецов В. С.* К проблеме трансформации мирового порядка в XXI веке // Философские исследования. 2001. № 3; *Иноземцев В.* Открытое общество за закрытыми границами // НГ-сценарии. 2001. № 6. 10 апр.; *Мельянец В. А.* «Восточноазиатская» модель экономического роста: важнейшие составляющие, достоинства, изъяны. М., 1998; *Эльянов А. Я.* Перспективы и проблемы развивающихся стран. М., 1999.

²³ Россия и процессы глобализации: что делать? Доклад Совета по внешней и оборонной политике // Стратегия для России. 10 лет СВОП. М., 2002. С. 788–803; *Кулагин В. М.* Мир в XXI веке: многополюсный баланс или глобальный *Rex Democratia* // Внешняя политика и безопасность современной России. С. 172–181; *Богатуров А. Д.* «Плюралистическая однополярность» и интересы России // Там же. С. 281–292.

²⁴ *Чешков М. А.* Глобальный контекст постсоветской России. Очерки теории и методологии мироцелостности. М., 1999.

²⁵ *Кувалдин В. Б.* Глобализация и рождение мегаобщества // Проблемы глобализации. Труды Фонда Горбачева. М., 2001. Т. 7. С. 28–61.

²⁶ *Косолапов Н. А.* Глобализация: вперед, заре навстречу. М., 2002.

²⁷ *Володин А. Г., Широков Г. К.* Глобализация: начала, тенденции, перспективы. М., 2002.

²⁸ *Иноземцев В. Л.* За пределами экономического общества. М., 1998.

²⁹ *Кочетов Э. Г.* Этноэкономические системы — очаги глобальной устойчивости // МЭиМО. 1997. № 7.

³⁰ *Бабурин С. Л.* Мировой порядок после СССР и территориальный вопрос // Национальные интересы. 1998. № 1. С. 8–15. Есть основания полагать, что к формулированию основных положений этой работы имел отношение д-р ист. наук Б. Н. Занегин, теоретик марксистско-фундаменталистской, как он сам ее именовал, школы, выполнявший при С. Н. Бабурине роль аналитика

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

и советника по международным вопросам. См. также: *Анисимов А.* Мировой конфликтный потенциал и Россия // Россия XXI. 1994. № 1–2.

³¹ *Рогов С. М.* Доктрина Буша и перспективы российско-американских отношений // Независимая газета. 2002. 3 апр.; *Кременюк В. А.* США и окружающий мир: уравнение со многими неизвестными // США и Канада: экономика, политика, культура. 1991. № 1; *Богатуров А. Д.* Альянс несогласных // Независимая газета. 2002. 22 нояб.

³² *Афонцев С. А.* Реалисты и либералы-экономисты. В этот же ряд вписывается работа доцента СПГУ С. Л. Ткаченко: *Tkachenko S. L.* International Political Economy // *The Globalization of Eastern Europe: Teaching International Relations Without Borders* / Segbers K., Imbusch K. (eds.). Hamburg, 2000.

Глава 9

.....

«Парадигма освоения» в международно-политических исследованиях*

Полоса жизненных тягот изменила нас социально и профессионально. Из части прежней академической и вузовской интеллигенции вырос диковинный тип «комплексного» профессионала: на треть — научного сотрудника, еще на треть — преподавателя в университете или колледже и на остальное (в зависимости от склада и ситуации) — аналитика-практика, политического журналиста, мастера по пиар-кампаниям или эксперта-консультанта при депутате, вице-губернаторе или благотворительном фонде. Жить стало разнообразнее и тяжелее. Правда, без добра худа не бывает. Скитания по российским университетам в роли руководителя выездных летних и зимних школ-сессий Методологического университета конвертируемого образования при Московском научном фонде наградили меня массой впечатлений из глубины научно-образовательного сообщества. Они и навели на мысли о противоречиях научно- и учебно-познавательного процессов.

Текущая интеллектуальная ситуация озадачивает и удручает. Озадачивает — потому что на фоне свободного проникновения зарубежных идей, книг, концепций, материалов, исследовательских и преподавательских методик, стандартов и канонов западной науки уровень нашего собственного и наших зарубежных коллег понимания о содержании и направленности российских процессов остается недостаточным, а их теоретическое объяснение — неудовлетворительным.

Правда, «формальная осведомленность» (нас самих и зарубежья) выросла. Море новых публикаций (особенно малой формы — тезисы, статьи, доклады) разлилось в столицах и провинциях. Сколь ни странно, на фоне бедности печататься стали больше, в том числе в региональных центрах, если там хоть сколько-нибудь освоены техники работы с местными (администрации), столичными или зарубежными спонсорами. «Нижегородский журнал международных отношений», журнал «Миграции» во главе с блестящим иркутянином В. И. Дятло-

* Опубликовано в: Pro et Contra. 1999. № 4. С. 28—48.

вым, университетские и институтские журналы в Петербурге, Ярославле, Ульяновске и т.д. — малая доля наиболее известных провинциальных изданий по вопросам только одной наиболее близкой мне области безопасности и политологии. По опыту работы в МОНФ скажу, что проблемой является не столько финансирование публикаций, сколько нахождение в региональном сообществе рукописей должного научного уровня и проблематики, а публикационных возможностей больше, чем конкурентоспособных авторов. Зато очень много просто авторов.

Это совсем другие авторы, чем те, ради поддержки которых благотворительные организации — Фонд Форда и Фонд Макаруров в сотрудничестве с МОНФ — в 1995 г. начинали масштабные мероприятия по конкурсной поддержке молодых ученых и преподавателей (с 1997 г. в эту работу включился Институт «Открытое общество», превзошедший предшественников по масштабам выделенных средств).

Поколение слушателей 1995–1998 гг. представляло собой в нашей науке «переходную» традицию исследования и преподавания. Молодые и особенно среднего возраста (35–39 лет) слушатели летних и зимних университетов были теми, кто учился и долго работал по советским методологическим канонам, но сознательно отвергал их, стремясь обогатить свой инструментарий через приобщение к западной методологии в русском понимании этого слова, т.е. к новым аналитическим подходам, теориям, концепциям, стандартам научного поиска и публикации. Это было «поколение излома». Оно не принимало навязывавшуюся ему и оттого постылую советскую научно-методологическую догматику, но — волей-неволей уже овладев ею — обладало потенциалом критического восприятия, сберегавшего от слепого копирования зарубежной методологии. Типичное для переходных эпох сочетание старого и нового знания — как теперь можно судить — дало поразительно богатые результаты. Первые активисты школ уверенно заявили свои права на лидерские позиции в своих областях. Из числа слушателей первых двух школ МОНФ в 1995 и 1996 гг. вышли москвичи В. В. Радаев (в 1997 г. защитил докторскую диссертацию и возглавил отдел экономической социологии Института экономики РАН) и продвинувшийся в ряд ведущих геополитиков «либерально-патриотического сплава» ст. науч. сотр. Института философии РАН В. Л. Цымбурский; омич А. В. Ремнев (доктор наук с 1998 г. и проректор по научной работе Омского госуниверситета); самарец П. И. Савельев (доктор наук с 1996 г. и зав. кафедрой истории Самарского госуниверситета); В. П. Мохов (д-р ист. наук с 1999 г. и зав. кафедрой политологии Пермского государственного педагогического университета).

На рубеже 1998—1999 гг. в составе грантополучателей и грантозаявителей произошли перемены. Бросилось в глаза омоложение аудитории. Ее средний возраст опустился с 34—36 в 1995—1996 гг. до 29—30 лет. Из круга заявителей вымылись «еще молодые, но уже маститые», каковых прежде было много, и выросла доля аспирантов и сотрудников без ученой степени в возрасте до 30 лет. Старшее по возрасту «пограничное» поколение естественным путем выбывало за рамки возрастных ограничений образовательных программ, а участниками последних становилось новое поколение — те, кто в обозримой перспективе составит кадровое ядро образовательного процесса в ВУЗах. Это их познавательная манера так поразила меня и моих коллег.

Первое, что бросалось в глаза и сначала нравилось, — несоизмеримо возросшая эрудиция молодых людей в классической, новой и новейшей зарубежной библиографии. Западное знание, нет сомнений, достигло российской глубинки, и политологические презентации молодых преподавателей из Саратова в этом смысле мало отличались от выступлений аспиранта из Улан-Удэ. Имена и названия западных авторов и книг произносились в количестве, которое сначала радовало, затем немного веселило, но в конце концов стало настораживать: не блеф ли? Но техника перекрестных вопросов подозрения развеяла. Слушатели в самом деле читали или во всяком случае более или менее подробно знакомились с основной частью работ, на которые они ссылались, что ободряло и успокаивало.

Шок наступал позднее, когда слушатели, завершив «каноническое» введение с обзором литературы, начинали излагать собственно материалы исследований. Выяснилась пугающая истина: сведения о содержании западных работ, присутствовавшие в памяти и мыслительном аппарате выступавших, существовали «автономно» от их работы с конкретным материалом и мало влияли на технику анализа и выводы. Книжное знание жило в головах молодых коллег своей жизнью, а их уникальный богатый и интересный материал — своей.

Работы в целом выглядели почти курьезно. Они являли собой две механически сочлененные емкости — одну с описанием западной литературы и методик, другую — с минимально группированным, просто первично «разобраным», но богатым и разнообразным фактическим материалом, «анализ» которого был в самом лучшем случае построен на констатации его соответствия или несоответствия тому, что должно было — по мысли авторов — вытекать из тех книг, которые они прочитали. Дальше этого ни один из выступавших не шел и идти не пытался. Создавалось впечатление, что незавершенность и, я бы сказал, безрезультатность их поиска в смысле

отсутствия хотя бы гипотезы для объяснения природы процессов, о которых вроде бы были написаны их исследования, авторов не заботила, да, похоже, даже незавершенностью-то не казалась.

Налицо был сдвиг в понимании цели научно-познавательного процесса. Авторы полагали его смыслом не раскрытие закономерностей и причин, в силу которых процессы шли так, как они шли (т.е. не собственно познание-объяснение реальности), а их формальное описание. Если молодые люди и «осмысливали» реальность, то они делали это лишь в том смысле и в такой мере, как непривычное и новое описывается (и в этом смысле «осмысливается») в понятиях западной науки. Авторы попросту «переводили» местные реалии на язык, понятный западным спонсорам и зарубежной читательской аудитории! Миллионы долларов благотворительных программ десять лет шли на воспитание поколения переводчиков?

Конечно, роль переводчика лучше роли углекопа-добывателя материалов из архивов и с мест. Но как мал шаг от второго к первому — и как он показательно двусмыслен: от нетто-добычи научного сырья новое поколение ученых переходит к его первичной обработке в полуфабрикаты на местах. Промышленное производство готовых изделий по-прежнему остается за пределами страны, а зарубежным коллегам будет легче самим строить собственные теории развития России и возвращать их потом тем, на чьих материалах эти теории строились, и их ученикам. После сказанного не покажется странным, что за последние годы, к примеру, издательство «Международные отношения» выпустило три переводных учебника по истории международных отношений и ни одного русского! И дело не в том, что зарубежные работы чем-то не хороши — их доступность на русском языке нужно только приветствовать — худо, что русских нет.

Меньше всего хотелось бы звучать противником теории вообще, а значит — в той мере, как Запад остается де-факто лидером в ее разработке — противником теории западной. Отход от мракобесия советской догматики — эпохальный сдвиг в развитии общественной мысли России. Диффузия зарубежных идей обогатила интеллектуальную палитру, раскрепостила мышление и создала предпосылки для роста оригинального отечественного ответвления мировой политологии как области, специализирующейся на теоретическом обобщении российского материала в общемировом концептуальном контексте, который она посредством «встречного потока» теоретических обобщений должна была закономерным образом дополнять, уточнять и, конечно, подвергать ревизии.

В основе подобного ответвления могло оказаться соединение четырех равноположенных начал:

- 1) исходного пласта западной теории и методологии (Запад был пионером в теоретическом осмыслении своей реальности как совокупности западного исторического и иного опыта; аналогичная работа для не-Запада просто еще не проделана!);
- 2) отечественной понятийной школы, способной «достроить» традиционный (т.е. опять западный) терминологический аппарат с учетом содержательно «не вмещающихся» в него страновых, культурных и иных реалий, которые просто отсутствуют в западной действительности (несмотря на черты сходства, латиноамериканские и иберийские диктатуры в содержательном смысле, например, не тождественны советскому тоталитаризму, и разработанный для их анализа понятийно-аналитический аппарат «не сработал» в попытках приложить его к постсоветским «транзитам»);
- 3) систематической фактологии, построенной на изучении фактов российской жизни и их осмыслении в контексте уточнений отечественной понятийно-методологической школы;
- 4) «сфокусированной» теории, способной моделировать целостную картину мира не путем механистического проецирования западной картины мира «сверху» на незападные ареалы и реалии, а посредством выстраивания ее «снизу», из опыта и действительности той части мира, к которой, независимо от культурных тяготений элит, принадлежит пространственно и, как стали писать коллеги, геокультурно, наша страна.

Метаидея такого рассуждения в том, что нынешняя «мировая наука» — в том числе «мирополитическая» — на самом деле таковой не является. И она может стать подлинно таковой не ранее, чем будет достроена ее незападная часть и в мире появятся труды и теории, вбирающие в себя опыт развития незападных фрагментов мира в такой же мере, как труды Броделя, Тойнби, отчасти Ясперса и Вебера вобрали в себя опыт западный.

Россия в этом смысле по логике находится в позиции, которая предполагает выполнение ею по крайней мере части этой задачи достраивания здания мировой науки. Кому-то такая логика может казаться почвеннической. Другим — прозападной в силу присущей ей уверенности в единстве мировой науки и наличии общих закономерностей развития. Во всяком случае, российской интеллектуальной традиции такой взгляд дает (возвращает?) перспективу развития.

Соответствует ли подобным задачам тенденция, заметная в среде молодых ученых и преподавателей? Очевидно, нет. Прodelав полный цикл бегства от мертвой догматики «научного коммунизма», отечественная политология движется к начетничеству в духе «книжного либерализма» — к тому же тоже «вымирающего», т.е. такого, который перестает отражать содержание мощных живых процессов, развивающихся в самих странах либеральной демократии.

Скажем, как соотносится то, чему по книгам учат в наших вузах, с формированием современной посттрадиционной политологии США, вынужденной реагировать на разрушение граней между разными формами «классических» партийных и политических философий и свободным «перетеканием» условного американского «либерализма» в не менее условный «консерватизм», и наоборот? Частная иллюстрация: разве не заметно, что в 1990-х годах «либерализм» (демократов) и «консерватизм» (республиканцев) в США функционально и политически «поменялись местами»? А как быть с взаимопроникновением «либерализма» («капитализма») и «социализма», на которое не устает наткаться наука?

Современный Запад «переживает» собственную старую научно-либеральную традицию, переходя на другие уровни анализа и осмысления сообразно появлению новых объектов анализа, тенденций, обладающих комплексной природой. «Зады» же классической науки, уже не срабатывающие на Западе, «сбрасываются» в «переходные общества», где, как 10 лет почему-то ожидалось, они будто бы могут «работать» и приносить пользу. Грустный и бесполезный вариант «вертикального разделения труда» в сфере политических теорий. В нем и вязнем.

Десять лет заимствования зарубежных разработок и их освоения сопровождалось ростом понимания малой пригодности западных теорий для объяснений российских процессов. Нельзя их винить. Эти теории строились на ином материале и объясняли — успешно — реалии, характерные для иных политических и географических ареалов. В отечественном контексте они могли служить подсказками и стимулами для собственных разработок. Последние как минимум должны были разворачивать идеи западных коллег в плоскости их критического восприятия, выявления пределов применимости, ревизии в интересах создания нового теоретического знания. Долг наших интеллектуалов был не в «отработке урока» по заучиванию-пропаганде западного знания, а в возврате Западу интеллектуального долга, т.е. во «встречном» внедрении в западный оборот оригинальных разработок, которые, будучи исходно гносеологически западными, фактически предлагали бы

варианты объяснения фактического развития России и ее соразвития с внешним миром, а не формальное регистрирование соответствия или несоответствия российского опыта развития интуитивным ожиданиям политической мысли. С этой задачей наша наука не справилась. Но она с ней и не справится до тех пор, пока не перестанет считать для себя достаточным лишь освоение чужого опыта, изучение которого превратилось в самоцель политологических штудий. В столичных и провинциальных центрах науки и образования престижнее, легче и материально благополучнее заниматься пересказом западных книг и заставлять заучивать их студентов, чем биться над осмыслением живого материала.

Основными болевыми точками ситуации представляются:

- уход в поверхностную популяризацию западных работ и отнесение на второй план задачи изучения реальности, сколь бы «невместимой» в известные теоретические постулаты и схемы она ни была;
- пренебрежение работой с первичным фактическим материалом, особенно если он не позволяет «рентабельно» выйти на выводы, сочетающиеся с новообретенными теоретическими канонами западного знания;
- отказ от разработки конкретных тем и переориентация на конструирование «теорий о теориях» (необиблиографический подход) на базе поверхностной работы с безграничными пластами зарубежной литературы;
- возникновение синдрома «полной осведомленности при полном непонимании» («все знает и ничего не понимает»), для которого характерно владение литературным знанием и полное неумение применить его в практическом анализе.

Если так будет продолжаться, мы рискуем через пять—семь лет свести отечественные школы гуманитарных наук до уровня передаточно-посреднических пунктов, через которые будет механически транслироваться формальное зарубежное знание в форме схем и стандартов само- и мировосприятия, не соотносящихся с местными реалиями и не имеющими поэтому интеллектуального и морального авторитета, которым призвано обладать знание подлинное. В конечном счете это приведет к тому же, к чему пришла советская догматика — отторжению новой официальной науки как таковой в силу ее непригодности для объяснения действительности.

Десять лет — достаточный срок. Парадигма освоения сыграла свою роль, но и изжила себя. Без изменения ситуации в российском интел-

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

лектуальным сообществе нельзя предупредить подрыва авторитета знания в глазах третьего поколения молодых интеллектуалов, которое пока сидит на студенческих скамьях и придет на смену нынешнему второму поколению «переводчиков» так же стремительно, как оно само заменило поколение мыслителей-рубежников. Нынешние студенты воспитываются с кампаний 1999 г. в обстановке небывалого с коммунистических времен бесстыдства «олигархических СМИ» и прессинга довольно грубой пропаганды. Напрасно думать, будто образованная часть молодых людей — с его по-новому завышенным чувством личного достоинства — реагирует на беззастенчивость СМИ чем-то, кроме роста скептицизма ко всему, что говорится извне их внутреннего «малого космоса». В неприятии официальной информации это поколение удивительным образом напоминает поколение 1970-х, которое верило слухам и западным голосам больше, чем партии и правительству.

Назрел поворот к изучению реальности во всех ее противоречиях и параллельному продвижению к созданию собственной теории, которая перестала бы рассматривать местные особенности, неместимые в западные схемы, в качестве девиаций и патологии. Отечественная политология может и должна порывать с исходным фундаментом западной теории, откуда она произрастает. Но в равной мере вредно до бесконечности редуцировать молодой побег отечественного до уровня этого корня.

Глава 10

.....

Мир сегодня: система или конгломерат?*

Этот текст задуман и написан как попытка усомниться во всемогуществе анализа на базе системного подхода. Автор работал в русле этого подхода всю предшествующую творческую жизнь, что не помешало ему прийти к необходимости «размягчения», существенной ревизии традиционного системного понимания мира в том виде, как оно представлено в зарубежных и отечественных трудах по политологии, социологии и международным отношениям. Предлагаемая гипотеза не опровергает и не пытается опровергать системного видения уже просто потому, что она в известном смысле как раз из него произрастает. Задача главы, скорее, в том, чтобы отрешиться от абсолютизации системности и отказаться от упрощенного понимания целостности и единства социальных организмов, международного сообщества, мира в целом.

Болезненные трансформации, которые пережила Россия с момента начала реформ 1990-х годов, обусловили потребность произвести в интеллектуальных исканиях поворот от освоения *западной теории* к формулированию гипотез, которые объясняли бы *фактическое развитие России* в ее соразвитии с окружающим миром. И до него часть ученого сообщества, чудом сохранявшая способность к самостоятельному размышлению, выражала скептицизм по поводу возможности объяснить российский «феномен» только через призму западного опыта. Отечественная мысль в лучшем случае осмеливалась указать на несоответствия российских реалий «общемировым закономерностям» строительства демократии и смущенно «оправдывала» нашу действительность молодостью (?) российских реформ.

Этот по-своему важный этап критического освоения западного знания был полезен и необходим. И все же кризис показал, что этот этап во многом позади. Отправной точкой предлагаемого рассуждения служит констатация: привычные представления о глобализации как о нарастающей однородности мира неполно отражают многообразие живой реальности и не позволяют приемлемо объяснить, каким образом

* Опубликовано в: Политическая наука в России. Интеллектуальный поиск и реальность / Отв. ред. А. Д. Воскресенский. М.: МОНФ, 2000. С. 338–369.

с ней соотносится российский опыт. От констатаций «несоответствия» нашей жизни той *идеальной* картине ожиданий, которая выростала из изучения западной теории, началось движение к построению гипотез, которые объясняли бы *фактическое* развитие России в ее соразвитии с окружающим миром.

Одной из актуальных задач сегодня остается уточнение вопроса о траекториях мирового развития. Требуется прояснить вопрос о том, запрограммирован ли мир на уподобление Западу посредством модернизации не-Запада, или на самом деле взаимодействие разнородных пластов бытования на планете происходит по более сложным законам, чем «линейно-прогрессивное» преобразование «отсталого» и «традиционного» в «передовое» и «современное».

Если окажется, что растворение «традиционного» в «современном» — всеобщая закономерность, преодоление внутренней разнородности общества — вопрос времени, то придется признать убедительной версию о движении планеты к однородному «мировому обществу», в основу которого будут положены западные стандарты. Наоборот, если увидится, что «традиционное» и «современное» в сложно организованных обществах не обязательно «пожирают» одно другое, а, например, долго и успешно сосуществуют, дополняя друг друга, то уместно будет оспорить и сценарий «линейно-прогрессивной» трансформации в единый массив «современного», т.е. либерального и демократического, мира-государства.

Смысл главы — в попытке построить вариант такого объяснения с помощью включения в инструментарий анализа элементов «несистемного видения» процессов внутри отдельных общественно-государственных единиц и между пластами, которые они образуют в рамках планетарной общности.

1

Очевидная несовместимость современных российских реалий в рамки теоретически ожидавшихся результатов «третьей волны модернизации» 1990-х годов (если двумя первыми считать Петровскую и большевистскую) дает основание с долей упрощения рассмотреть соотношение происходящего в России с зарубежным опытом как частный случай взаимодействия разнородностей. Поэтому и к построению искомой гипотезы логично идти через переосмысление природы связей между разнородными сегментами общественно-экономического, политического и культурно-цивилизационного бытования в формах, в которых они существуют как внутри отдельных обществ, так и между отдельными

обществами и государствами в мировой политике. С этой точки зрения ключевыми объектами рассмотрения должны стать три пары отношений: системность — конгломеративность, прогресс — соположенность, интегративная глобальность — реальная мироцелостность.

Поскольку исходным объектом рассмотрения являются общества, стоит начать с уточнения типологии и подразделить их на *традиционные, современные и конгломеративные*, причем Россия — и это очень многое объясняет — относится к числу последних.

При этом под *первыми* понимаются общества, поведение членов которых основано не на рациональном целеполагании (в современном смысле), а на опыте, традиции, ритуале, воспроизводстве устойчивых форм мышления. Основной мотив действия — следование уже известному образцу («свой путь»), а не разуму («умствование»). Модель поведения задается культурным опытом, который, как правило, выражается в изустной традиции, неписаных регламентах быта, религиозных катехизисах, сборниках изречений и т.д. В таких обществах новации выступают в известном смысле «актами бессознательного» (скорее «интуитивными прозрениями», чем «интеллектуальными прорывами»), а сфера сознательной активности ограничивается контролем соблюдения ранее определенных правил и норм.

В обществах *второй* группы, понимаемых как «современные», модели поведения строятся, напротив, с опорой на осмысление, рациональное целеполагание, нахождение завершенных форм знания («цельных картин действительности»). В «рационально ориентированной» культуре основа бытия — правила рассудочного поведения, а новации выступают как результат сознательного, рационального осмысления, искомый итог «мобилизации интеллектуальных усилий». Современное общество в этом смысле — общество рациональное в отличие от иррационального традиционного общества.

Общества *третьей* группы названы «конгломеративными»¹. Под ними понимаются общества, для которых характерно длительное сосуществование и устойчивое воспроизводство пластов разнородных моделирующих элементов и основанных на них отношений. Эти пласты образуют внутри общества отдельные анклавы, эффективность организованности которых позволяет анклавам выживать в рамках обрамляющего общества-конгломерата, сохраняя между собой неизменные или мало изменяющиеся пропорции.

Значимы в такой постановке вопроса четыре момента:

- 1) конгломераты общества — мегаструктуры, опирающиеся на анклавы;

- 2) конгломерат — нейтральная характеристика, обозначающая один из типов организации (обществ и мира);
- 3) анклав — не остаточные явления чего-то отжившего (анклавы могут представлять и новации), а устойчивые структурные единицы конгломерата, относительная изолированность которых друг от друга не ведет автоматически ни к расцвету, ни к упадку;
- 4) конгломератно-анклавный тип самоорганизации может быть и бывает инструментом чрезвычайно успешного приспособления общества к индустриальной и постиндустриальной среде.

Анклав «традиционного» не обречен раствориться в окружающей его среде. Точно так же анклав «современного» не гарантировано преобладание в масштабах всего общества. Среда может стремиться поглотить анклав через распространение на него присущих ей связей. Но анклав может успешно сопротивляться ей, попутно способствуя приобретению обществом более сложной («сдвоенной», «строенной») структуры. Подобная структура способна позволить обществу, с одной стороны, адаптировать достижения техногенной цивилизации, с другой — сохранить условия для воспроизводства архаичных трудовых мотиваций. Последние в соединении с современной техникой дадут экономический эффект, превосходящий тот, что возможен в стране происхождения этой техники на основе характерного для нее отношения к работе и производству. Современные Китай, Япония и Тайвань — иллюстрации эффективности обществ конгломератного типа.

Уместно предположить, что, несмотря на подсознательно-негативные ассоциации, связанные с этим определением, было бы, наверное, ошибкой рассматривать конгломератные общества как «внутренне противоречивые» (по Марксу) или «надломленные» (по Тойнби) и обреченные. Конгломератность — ни хорошо, ни плохо; она воплощает частный вид несистемной (или «системно-несистемной») организации; общества, организованные таким образом, не обязательно уступают по характеристикам типичным для Запада однородным обществам «системного типа».

Конгломератность невольно выступает как оппозиция системности, хотя сама конгломератность может быть представлена и как вариант системности — в этом смысле первая не отрицает вторую. Тем не менее оба типа общества воплощают разные типы связей.

Идея системности лежит в основе распространенного видения «стандарта» общественной организации, постулирует единство через наличие всепроникающих, относительно жестких «сквозных», лучевых связей, тяготеющих к однородности и однородность стимулирующих.

Системная общность не обязательно однородна исходно, но она однородна в тенденции. Системность связана с представлением о единстве исторического процесса. В теории мирового развития на логике системности построены такие важные постулаты, как взаимозависимость и интеграция. В свою очередь, из историко-философской школы системности вышла теория модернизации, а в рамках ее историко-политического направления возникла концепция глобализации — две крупнейшие метаидеи современности, которым предстоит таковыми оставаться в начале следующего века.

Конгломератность как идея ничем сопоставимым похвалиться не может, и как теория она — на раннем этапе становления, отчасти оттого, что системность — высшее порождение западной науки и ныне сфокусирована на осмыслении западного опыта, в то время как конгломератность воплощает опыт незападный, опыт взаимодействия не-Запада с Западом. В той мере, как последний пребывает доминирующей силой, изучение первого остается узконаправленным: исследуется то, чем не-Запад отличается от Запада и как имеющиеся различия преодолеть.

Конгломератность тоже воплощает единство, но единство конгломерата — соединение разносущностей, а не слитность в однородности; это единство «по внешнему контуру», через соразвитие разного, а не через слияние в одинаковом. В отличие от системно организованных общностей конгломерат свободен от преобладания единственного типа связей. Для конгломератного общества типичны «несквозные», «опоясывающие связи»². Они отличаются большей мягкостью и не рассчитаны на стимуляцию однородности. Каждый анклав в конгломерате автономно воспроизводит свой тип отношений — в этом они с позиций общества в целом «несистемны». Но анклавы взаимодействуют между собой, вступают в отношения, которые с позиций всего общества можно назвать «системными» — с чем и связано допущение о комбинированном, «системно-несистемном» типе организации в конгломерате.

Сказанное не означает, что конгломераты — «недосистемы» и что со временем они станут «нормальными» системами. Они не становятся и вряд ли станут таковыми в силу веской причины: системам и конгломератам присущ разный тип взаимодействия образующих элементов.

Отношения разнородных составляющих в системах складываются по диалектической формуле отрицания отрицания. Противоположности, сливаясь, образуют новое качество, одновременно утрачивая свойства исходных частей, происходит синтез.

Отношения между разнородными составляющими в конгломератах построены не на синтезе и превращении одних форм в другие, а на парал-

лельном — но разноплоскостном — соразвитии. Анклавы в конгломератах взаимодействуют между собой косвенно: они взаимно влияют и соприкасаются, но не сливаются, не образуют сплав, не приобретают новых качеств за счет утраты исходных. Синтез отсутствует так же, как отсутствует разрушение исходных свойств.

При этом разноанклавные элементы могут образовывать целостность. Русский, чеченский и ингушский уклады на Северном Кавказе не сплелись в «советский уклад» Чечено-Ингушской АССР, что не мешало им тридцать лет воплощать единство в рамках одной административно-политической единицы. Еврейский и арабо-палестинский уклады в Израиле ничем, подходящим на сплав, мир не поразили, но обе общины образуют целое — геополитически и политико-административно. То же можно сказать о единстве русских и эстонцев в Эстонской Республике или русских и латышей в Латвии.

Еще показательнее пример Китая, где в пределах одной общности пласты протозападного типа организации в прибрежных зонах сосуществуют с секторами традиционного экономического, политического и бытового поведения во внутренних районах, образуя причудливое единство, воплощенное в форме общих политических институтов и идеологии и мало осязаемое на уровне каждодневного существования.

Во всех примерах целостность — налицо. Но она не является системной в том смысле, что не тяготеет к «сплошной однородности» составляющих. Унифицирующие связи не преобладают над автономизирующими и разъединяющими. Разнородные элементы сосуществуют, сохраняя автономию, сопологаются, но не взаимопроникают, не взаиморазрушают друг друга, порождая в процессе взаиморазрушения новые сущности. Рискнем повториться: в системе элементы взаимодействуют на основе взаимопроникновения и синтеза-сплава, в конгломерате — на основе «взаимосохранности» и соразвития в рамках общего обрамления.

Единство и выживание конгломератных обществ достигается не через равномерное распространение однородных связей на всю толщу общественной материи, а через отстраивания комбинированной структуры, при которой общество способно развиваться в качестве целого, оставаясь состоящим из анклавов, воспроизводящих себя и свои отличия от соположенных структурных единиц.

Развиваясь в разных плоскостях, анклавы способны выживать неопределенно долго. Они не паразитируют на обществе. Анклавы «традиционного» могут выполнять важные регулирующие функции даже в тех случаях, когда эти функции в силу разных мотивов не признаются или «не распознаются». Так, преодоление классового виде-

ния позволило понять роль, которую в превращенной форме играют родоплеменные и клановые отношения в странах Закавказья, Юго-Восточной Европы, в исламских республиках России, а грекокатоличество — на Украине.

В то же время снобистский отказ российских ученых от разработки важнейшего вопроса о современной политической функции архаичной русско-византийской аскезы (как традиции самоограничения, сдерживания плоти, «нормативной» скудости быта) в России отдал ее на откуп публицистов-заклинателей «мистико-почвеннического» толка. Между тем «антисовременный» пласт этических норм, восходящих к аскетическо-православным ценностям, составляет мощный анклав «традиционного» в жизни российской провинции. С одной стороны, он выступает моральной антитезой западничеству и Москве. С другой — исполняет роль поглотителя-канализатора «низового бунтарства», которое скрытым от нас по нашему же неразумению образом направляется в русло «мученического терпения» (голодовки, пассивные формы протеста, «миссионерское» подвижничество лишившихся оплаты учителей и врачей) и не приобретает формы революции — как было бы уместно ожидать в условиях провала радикальных реформ.

Хотя речь шла об анклавах *традиционного*, анклавы могут состоять и из *современного*, т.е. современное не обязательно выступает в роли доминирующей среды по отношению к традиционному. Показательные примеры — московская либерально-западническая «тусовка» конца 1990-х годов на фоне консервативной провинции, слой бывшего советского партхозаппарата в Средней Азии, англоговорящая элита Индии в сравнении с остальным населением страны.

В принципе можно допустить, что тип отношений, свойственный одному анклаву, в конкретный момент может пользоваться поддержкой власти, получая благоприятные условия для экспансии в сопредельные анклавы и даже их полного освоения. Но так происходит в теории. *Для конгломератных обществ характерна устойчивая востребованность всех типов отношений* и специализация каждого анклава на той или иной функции: общество равномерно воспроизводит типы связей, характерные для всех анклавов, и прагматично пользуется этим многообразием.

Например, большинство российской элиты независимо от политических симпатий мыслит одновременно и «современно», и «традиционно». «Современно» при решении вопросов приватизации (жилья и т.п.), но «традиционно» — при отладке механизма внеинституционального управления страной, когда волевые импульсы транслируются не через официальные институты, а помимо них — через фаворитов

(если речь идет о президенте) или через «партийные группы в непартийных организациях» (если — о практике КПРФ).

2

Конгломератные общества представляют собой целый сектор мировой политики, хотя составляющие его страны не образуют сплошной массив и его границы не легко распознаются: «быть конгломератным» не престижно, конгломератность воспринимается как сопутствующая «незрелости». Между тем взаимоотношения конгломератных и неконгломератных составляющих международного сообщества — крупная проблема, не нашедшая удовлетворительного разрешения в уходящем веке и способная обостриться в веке наступающем.

В самом деле, международный порядок в тех формах, которые он принимал в Новое время, всегда тяготел к европоцентризму. Он во многом строился путем проецирования европейских идей общественного и межгосударственного устройства на неевропейские ареалы. И мировое регулирование — в той мере, как оно существовало в виде Лиги Наций и ООН, Бреттон-вудских основоположений и их модификаций «Группы семи (восьми)» — неизменно выступало продуктом западных интеллекта, энергии и ресурсов. Международный порядок был исходно порядком западным, в который включали (или включались сами) незападные государства. Причем включенность в этот порядок с оговорками и неохотой (Китай) или с вожделием (Прибалтика) воспринималась как знак приобщенности к высшему и прогрессивному. Имелось в виду, что прогресс со временем чудесным образом преобразит всех, мир станет подлинно единым и международное сообщество станет мировым обществом как общностью высшего порядка на базе разделяемых всеми ценностей³.

Такое видение мировой гармонии отражает европейское понимание исторического времени как времени (прямо) линейного и необратимого («время-стрела»), а исторического процесса — как последовательно-стадиального. Его послылками являются представления об историческом прогрессе как восхождении от низших форм к высшим, от простого — к сложному и худшего — к лучшему через смену форм⁴.

В свою очередь, на презумпции линейного прогресса возведена теория модернизации «традиционных» обществ, из которой следует, что вступившие на путь модернизации страны должны стать аналогами западных обществ — в других географических ареалах. С учетом настройки линейно-прогрессивного видения на растворение «низших» форм

в «высших» формах развития линейно-прогрессивное развитие можно назвать «поглощающим».

Между тем жизнеспособность конгломератных обществ на протяжении длительных исторических периодов и опыт их модернизации заставляют пристальнее рассмотреть вопрос о векторах исторического времени, в рамках которого они развиваются и воспринимают новации.

«Современные» Япония, Южная Корея, Китай (и Россия, несмотря на три века модернизации) подобными Западу не стали. Они остаются многослойными структурами, в которых сосуществуют пласты «традиционного» и «современного». Объясняется ли их «слоистость» только «отставанием» от, скажем, Западной Европы в движении по шкале линейного времени? С точки зрения линейного времени устойчивость конгломератной организации если и объяснима, то лишь как патология «нормального» развития. С такой позиции и не может сойти изрядная часть зарубежных коллег.

Ситуация становится менее непонятной, если принять допущение о нелинейном (или нелинейно-линейном) развитии, иначе говоря, о том, что модернизаторские усилия в отношении конгломератных обществ, хотя не пропадают впустую, оказывают свое действие по иной логике, чем та, что предписывается «прямолинейным» видением истории. Импульсы новаций не приводят и не могут привести к возникновению *на месте конгломератного общества однородной социокультурной амальгамы «современного» типа. Они приводят к воспроизводству новой (обновленной), но тоже конгломератной общности*, каждая из составляющих которой восприняла «свою долю» исторических новаций «порознь». При этом они не утрачивают своей «отдельной сущности» и, следовательно, не растворяются в гомогенном общественно-государственном массиве.

Такой тип воспроизводства противоречит линейности и, напротив, указывает на иной, предположительно спиралевидный, тип развития конгломератов во времени. Точнее, конгломератные общества взаимодействуют с потоком модернизирующих импульсов и *по спирали, и линейно*: по спирали — на внутриобщественном уровне и отчасти линейно — во взаимоотношениях с воздействиями внешней среды. Каждый анклав развивается одновременно и в своем собственном, «параллельном», времени, и в «оплетающем» его временном потоке, в который «вписан» весь конгломерат. Общество может, с одной стороны, воспринимать новации каждым анклавом в отдельности и постепенно в целом увеличивать в себе присутствие инновационного содержания, а с другой — сохранять стабильной свою внутреннюю структуру, т.е. типичные для общества соотношения между «порознь обновившимися» анклавами.

Как очевидно, и спиралевидное развитие, подобно линейно-прогрессивному, предполагает взаимное влияние «современного» и «традиционного», но в отличие от него оно не предполагает поглощения одного другим. Напротив, спиралевидное развитие предполагает гораздо лучшие шансы для взаимосохранности противоположностей. Эта взаимосохранность не исключает появления у целого новых общих свойств, но эти свойства не приобретают «всепроникающего» характера и концентрируются главным образом на внешнем, обрамляющем контуре целого.

Иначе говоря, при линейно-прогрессивном развитии противоположности уничтожают одна другую или уничтожаются обе, чтобы дать новое качество целому. При нелинейном — они сопологаются рядом, образуя объединяющий их по внешнему периметру слой качеств и отношений, но и сохраняя базовые качества частей.

Конгломератная модель способна привести к приобретению новых качеств не через разрушение свойств частей, а посредством растянутого во времени образования нового макросвойства через ряд повторяющихся, схожих, но и различающихся циклов, в процессе монотонного набегания которых друг на друга соположенные элементы испытывают взаимное влияние и меняются, но сохраняют критическую массу исходных микрокачеств.

Инстинктивно-эмоциональная непривычность такого видения может быть связана с характером отечественного образования как преимущественно западного в базово-понятийном отношении. Интеллигенту в норме присуща позитивная оценка «прогресса» как универсального критерия приобщенности к высшему — достижениям цивилизации, передовым технологиям, лучшим стандартам личной свободы, творчества и быта. Соответственно, иное, чем «прогрессивное» — спиралевидное — развитие-движение воспринимается как консервирующее косность, рутину — нечто, от чего принято избавляться (хотя бы избавиться полностью было и невозможно без разрушения органической основы жизни страны).

Констатация восприятия прогресса как последовательности смены форм не вызывает желания ни восхвалить, ни осудить ее. Во многом западное мировидение российской образованной публики — данность, на которую стоит делать поправку. Но важно помнить, что развитие на основе по-европейски понимаемого прогресса заставляет ожидать результатов в форме приобретения развивающимся субъектом нового качества через отрицание его «недостойных сохранения», «регрессивных» составляющих и опережающий рост «достойных поддержки», «прогрессивных» компонентов. Поэтому «традиционное» (к которому нередко относят все, что не имеет аналогов в западном опыте) может

казаться лишь национально своеобразной «предстадией» современного⁵. Не удивительно поэтому, что образованное сознание испытывает шок, всякий раз «внезапно» обнаруживая, сколь устрашающими могут быть выбросы «иммунных ответов» на модернизацию: Чечня внутри России, Косово внутри Югославии-Сербии, Белфаст — в Великобритании, Басконь — в Испании, Курдистан — в Турции и, возможно, даже черных жителей, скажем, Северной Калифорнии — в США.

Отказавшись от одномерного видения развития через призму «стреловидного прогресса», можно перестать сетовать на живучесть конгломератов и вернуться к их изучению как исторически непреходящих субъектов — тем более что конгломератность и конгломераты как общественно-государственные единицы распространены шире, чем можно подумать.

Примеры конгломератов с выраженной корреляцией анклавов «традиционного» и «чужеземного» — упоминавшийся Израиль или Турция с Турецким Курдистаном. К этой же группе можно причислить и Индию, где «современное» поведение коррелируется с принадлежностью к высшим кастам, а «традиционное» — к низшим.

Как ни странно, в этот же ряд в 1990-х годах стало уместно помещать и Соединенные Штаты, на глазах утрачивающие способность оставаться «плавильным котлом» разноэтничных групп. Стоит задуматься над тем, отчего с таким накалом латиноамериканское и черное меньшинство в США демонстрируют отсутствие у них желания следовать «современным» правилам поведения и, напротив, тягу к тому, что в американской литературе именуется «традиционным образом жизни». Последнее же выливается только в приспособление архаичных архетипов бытования к американским законам, в результате чего вывезенный из Африки первыми рабами инстинкт собирательства трансформируется в не осуждаемое местной моралью и законодательством попрошайничество «афроамериканцев» на улицах американских городов.

Группу этнически гомогенных конгломератов дают Япония и Южная Корея, в которых границы анклавов «современного» и «традиционного» поведения существуют в «перемежающейся» форме. Одни и те же индивиды (или их группы) воплощают в зависимости от ситуации то «современный» (в бизнесе, в городе), то «традиционный» (в быту, в деревне). К этой второй группе есть основания отнести Россию и Китай, поскольку в обеих странах в пределах одних и тех же этнических массивов хорошо различимы анклавы «современного» («меркантилистского» — по А. С. Ахиезеру⁶) и «традиционного» типов поведения с той разницей, что в КНР ось соположения проходит по линии «побе-

режье — внутренние районы», а в России она сопрягается с водоразделом «столицы — провинции».

Многообразие форм конгломератов и их относительная автономность от «универсальных» закономерностей дают основание говорить о существовании особого типа развития обществ и межгосударственного сообщества в целом. Как антипод «поглощающему» линейно-прогрессивному развитию его можно назвать равноположенным развитием.

Первое, линейно-прогрессивное, акцентирует неизбежность перехода одних форм (незападных) в другие (западного или протозападного типа), «не оставляя места и перспективы» западным формам общностей. Порождается теоретико-концептуальный тупик, очевидность которого нарастает по мере накопления материала об устойчивом воспроизводстве западных укладов и возрастании их мощи — как экономической (страны Восточной Азии), так и военной (Индия).

Через *второе* — равноположенное — преодолевается «историко-мессианская» воинственность западной цивилизации в отношении западных укладов. Равноположенность постулирует возможность неразрушительных форм взаимовлияния помимо классической триады «слияние-отрицание-синтез» и задает альтернативную парадигму обновления общества и мира при сохранении автономии и многообразия скоростей и форм развития и на базе сочетания линейного и нелинейного движения сущностей во времени. Возникает более органичное, ненасильственное обоснование цельности мира как общности, соединяющей противоположности, но не обрекающей их враждебному противостоянию в борьбе за сохранение идентичности каждой.

Равноположенное развитие не представляет фронтальной оппозиции линейно-прогрессивному. Оно одновременно и противостоит, и дополняет его, подчеркивая, что *разноорганизованные сущности могут равнополагаться, сохраняя каждая за собой достаточные перспективы на будущее*. Но признание равноположенности как альтернативы линейности означает преодоление «поглотительного», инструментально-наступательного взгляда на мир и историю в пользу «сберегающего» слитно-органического видения вселенной и своего места в ней. При внешнем благополучии нынешних «поглотительных» (в отношении природы и ресурсов) постиндустриальной и информационной моделей «устойчивого развития» обе они обнаружили к концу XX в. относительную исчерпанность. Если XXI век заставит человечество обратиться к «сберегающим» вариантам самоорганизации, которые могли обеспечить человечеству способность к восприятию новаций без расширения антропогенной экспансии в природновещный мир, равноположенное

развитие как вариант «щадящего» взаимоотношения противоположностей (человека и природы) может определять магистраль мирового процесса так же, как до сих пор ее определяла линейность.

3

Учет равноположенности развития уберегает от одномерного взгляда на мир, но и усложняет его картину. С одной стороны, не-Запад перестает казаться несообразной помехой для планетарного торжества «современной цивилизации». С другой — возникает потребность объяснить соотношение между унификацией, постулируемой глобализацией, и феноменом равноположенности, который своим существованием намечает пределы нарастания однородности мира.

Равноположенность не опровергает глобализации как важнейшего из направляемых Западом процессов «сжатия» планеты во времени и пространстве и движения мира к единству. Но она вносит в происходящее предостерегающую ноту: глобализация при ее нынешних формах представляет логику «поглощения», в то время как «обреченные быть поглощенными» составляющие мира и сам этот мир стали иными, чем они были на протяжении последних двух-трех веков, когда «поглотительная» философия складывалась и безопасно срабатывала.

К началу XXI в. незападные секторы мира не без культурного влияния Запада выработали новые стандарты миро- и самовосприятия. Возросла самооценка не-Запада, что связано с укреплением его позиций в мировой экономике (страны Восточной Азии), политике и военной сфере (Индия, Китай, исламские и латиноамериканские страны). Незападные составляющие мира не готовы увидеть в себе лишь «предполье» Запада, которое хочет и, возможно («если будет себя хорошо вести»), сможет стать его частью. Обретение ядерного оружия Индией и Пакистаном — самые грозные аргументы против чрезмерного оптимизма на этот счет.

Более того, опыт восточноазиатских (Япония) и ряда других стран девальвировал ценность западной модели и указал на реальность приобретения незападными обществами новых характеристик (экономическая эффективность), не уподобляясь Западу и находя оригинальные формы самосоотнесения с новациями, обобщенным выражением чего является «цитирование в конгломератах». *Конгломеративная самоорганизация незападных обществ возникла как их иммунный ответ на модернизацию. Она выступила в роли избирательно-проницаемой «защитной брони»: с одной стороны, позволяя обществам дозированно воспринимать и осваивать новации, с другой — предохраняла органические основы вос-*

производства незападных обществ от полного разрушения, с третьей — смягчала противоречия по линии «Запад — не-Запад», предохраняя их от эскалации взаимной агрессивности и «взрывного» отторжения.

Признавая воздействие глобализации в широко понимаемой сфере экономики и финансов, незападное сознание вряд ли готово воспринять глобализацию в качестве воплощения цельности мира. Уместно полагать поэтому, что *реальная мироцелостность не равнозначна глобальности, если последнюю понимать как воплощение гомогенной планетарной общности, в основе которой — западное цивилизационное ядро.*

Глобализация олицетворяет возникновение мощной сети общемировых связей, рост интенсивности которых придает международному сообществу качество глобальности как, *во-первых*, состояния возрастающей слитности, сплавленности стран и народов в планетарную общность, а *во-вторых*, осмысления и признания этой слитности и ее последствий. В той мере, как источником импульсов к глобализации является «индустриальное сообщество», она служит вариантом «поглотительной», линейно-прогрессивистской версии философии международных отношений.

Мироцелостность, напротив, воплощает одновременно и системное единство, и суммативность субъектов мировой политики. Она вбирает в себя идеи и общемировых связей как инструментов формирования единства, и анклавной автономности равнополагающихся субъектов. Она не противопоставляет одно другому, а предоставляет каждому функциональную нишу. Достигается это за счет преодоления присущей концепциям глобализации одномерности в понимании природы связей в пределах мироцелостности. Согласно глобалистскому видению общемировые связи — преимущественно всепроникающи «по толще пласта». Согласно мироцелостному — большая часть общемировых связей относится к разряду всеоплетающих. Но всеоплетающие связи не пронизывают всю глубину мировой материи, оставляя в ней место для анклавов и автономности. В таком прочтении целостность мира не обрекает его вестернизации, хоть и не отрицает моделиобразующей роли последней в современном мире.

К ограничительному пониманию глобализации как преобладающей, но не безусловно позитивной и не безальтернативной тенденции развития подталкивают изменения, которые происходят в природно-материальном мире. На протяжении тысячелетий человечество «вылуплялось» из естественной природной среды, а критерием развития считалась «удаленность от природы». К концу XX в. мир достиг крайней стадии самовыделения из природы, свидетельством чего стало торжество техногенной цивилизации. Но начало нового тысячелетия может

стать конечным рубежом этого вектора⁷. И хотя контуры другого, органичного варианта отношения к среде просматриваются смутно, наступающий этап жизни планеты воплощает переход от эпохи инструменталистско-потребительского отношения к природной обрамляющей к ненасильственному самовстраиванию в нее обществ.

Связанная с этим переходом смена оценочной парадигмы низводит с пьедестала значимые для XIX–XX вв. героики борьбы противоположностей и умеряет ее привлекательность. Непривычным образом начинает терять актуальность присущая лучшим умам уходящей «старой современности» (*modernity*) от Маркса до Леви-Стросса склонность осмысливать мир в бинарных оппозициях. Двоичность размывается, противопоставление и противоположность перестают быть стандартной матрицей анализа. Мир начинает опасаться бинарности и искать концепции, которые позволяли бы обосновать шансы неконфронтационного существования в новом, вольно или невольно отрешившемся от биполярности мире.

Если в структурно-политическом смысле рост международной конфликтности связан с распадом СССР, то с позиций философии международных отношений современную конфликтность можно понимать и как результат попыток регулировать отношения во всех секторах международной жизни с позицией односторонне постулируемой неизбежности исходить из нормативности опыта и этики Запада.

По-своему и еще неконкретно ощущая это противоречие, автор удручающе популярного положения о «конflikте цивилизаций» образно обозначил вероятный источник роста конфликтности. Равноположенность как альтернатива «поглощающей линейности» объясняет конфликтогенный механизм конкретнее, намечая путь к разработке версий преодоления «конflikтов равноположенности».

После пятнадцати лет упоения конвергентностью стоит критичнее взглянуть на проблему единства мира и перестать относиться к нему как к завлекательно абстрактной схеме. Феномен мироцелостности слишком сложен, чтобы его изучение возможно было оставить в рамках какой-то одной аналитической парадигмы⁸. Матрицы анализа требуется обогатить с учетом необходимости улавливать специфику всех составляющих современного мира — включая феномен России⁹.

Глобализация как форма распространения западной модели самоорганизации — глубинная тенденция. Но она не обязательно «обрекает» Россию на трансформацию в часть «цивилизованного мира». *Жесткое внутреннее сопротивление российского материала вестернизации в форме радикально-либеральных реформ заставляет размышлять об*

исторических перспективах России в контексте не только ее единства-слияния с Западом или Востоком, но и конгломератной соравноположенности с тем и другим.

Равноположенное развитие не противоречит партнерству ни с Западом, ни с Востоком. Оно дает методологический ориентир для нахождения предельных рамок, вне которых попытки форсировать включенность России во внешний мир при игнорировании ее существенных характеристик могут иметь трагические последствия для России и оказаться контрпродуктивными для окружающего мира.

Поэтому с точки зрения российского государственного интереса центральная проблема ориентации среди сложностей мира — выработка Россией выверенного отношения к глобализации как важнейшему международному процессу, которым, однако, не исчерпывается ни многогранное содержание мироцелостности, ни перспективы планетарного развития.

* * *

Постановка проблемы о равноположенности как о равноценном варианте планетарной самоорганизации не ставит под сомнение фундаментальный факт: в мире доминируют линейно-прогрессистское видение мирового развития и воплощающая это видение модель мироустройства. Она победила в Новое время и продолжает преобладать, хотя перспективы ее доминирования перестали быть такими же благоприятными, как еще пятьдесят лет назад. Пафос сомнения адресуется не глобализации, а ее некритическому восприятию, которое угрожает дезориентацией относительно долговременных мировых тенденций: упрощения, заблуждения и зигзаги, которые могут позволить себе обладающие неограниченными ресурсами США, способны оказаться фатальными для стесненной в выборе средств России. Глобализация ставит перед ней дилемму: вхождение в Запад и сопряженная с этим вероятность саморазукрупнения до масштабов «среднезападной страны» или равноположенность по отношению к нему, но тогда — сопутствующие такому выбору самоограничения, умеренность и отказ от расточительности. Глобализация не отменяет фрагментации мира. Обе они оттеняют и дополняют друг друга, внося в мироцелостность гибкость и многообразие. Это две равноположенные, хотя и не равнозначные тенденции. И каждая способна дать парадигму встраивания национального интереса в мировую политику.

Примечания

¹ Наиболее распространенной в литературе остается «бинарная» типология обществ: «традиционные» — «современные». Например, британский исследователь Эндрю Вебстер в своей работе о социологии развития весьма подробно рассуждает об относительности понятий «традиционное» и «современное», подчеркивая их взаимную «диффузию» и сосуществование «внутри имеющихся социальных отношений». Но он не видит в «смешанных» обществах особого феномена. См.: *Webster A. Introduction to the Sociology of Development*. L.: MacMillan, 1984. P. 57–58, 62. Такой же логики придерживается большинство отечественных авторов. Например, любопытный анализ приводят в своей статье «В чем секрет “современного общества”» В. М. Сергеев и Н. И. Бирюков, рассматривая взаимодействие «традиционного» и «современного» через призму становления общественных институтов. (См.: Полис. 1998. № 2. С. 52–63.)

Гораздо больше параллелей с излагаемой в данной статье точкой зрения обнаруживает превосходная для своего времени и теперь уже классическая в отечественной традиции коллективная работа российских авторов «Эволюция восточных обществ. Синтез традиционного и современного» под ред. Л. И. Рейснера и Н. А. Симонии (М., 1984). Ее участники не только точно зафиксировали устойчивость сосуществования «традиционной» и «современной» составляющих в обширной группе стран незападных ареалов, но и ввели понятие «смешанного типа» образований (С. 160), для обозначения которых они предложили термин «синтетическое общество». По смыслу это выражение употребляется в цитируемой работе так же, как в нашей — слова «конгломерат» и «конгломеративность».

Разница, очевидно, в несопадающем понимании «синтеза». В классической и современной западных философских традициях, включая ортодоксально марксистскую, «синтез» прежде всего подразумевает «расплав» и «слияние». В «Эволюции восточных обществ» это обстоятельство было учтено по-своему: авторы оговорили в примечаниях, что они понимают «синтез» только в значениях «соединение», «единство» — т.е. в тех значениях, которые «формально-исходно» принадлежали ему в древнегреческом языке (С. 543). В этом смысле впервые термин «синтез» употребил Н. А. Симония в 1975 г.

² Н. А. Симонией также удачно вброшено применительно к связям и отношениям в том, что он сам еще не называл «синтетическим обществом», определение «обволакивающие» (*Симония Н. А. Страны Востока: пути развития*. М., 1975. С. 163).

³ *Bull H. The Anarchical Society*. L.: MacMillan, 1986.

⁴ Из новых политологических публикаций на тему времени интереснее других — статья В. И. Пантина и В. В. Лапкина «Волны исторической модернизации в России», в которой авторы, по сути дела, говорят о «возвратно-поступательном» («волнообразном», как они пишут) времени применительно к циклам российских реформ. Это любопытное прочтение тем не менее не выходит по сути за рамки (прямо) линейного понимания времени, хотя и отрицает его «стреловидность». См.: Полис. 1998. № 2. С. 39–50.

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ И ПОДХОДЫ

В отличие от упомянутых исследователей В. А. Алтухов весьма энергично указал на необходимость учета нелинейных форм общественного развития (помимо спирали — зигзаг, маятниковая пульсация, петля, наложенные волны, взаимовложенные спирали и т.д.) при постановке новых исследовательских задач в своей интеллектуально весьма насыщенной работе «О смене порядков в мировом общественном развитии». См.: Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 4. С. 5–21, особ. С. 6.

⁵ Показательно, что, на взгляд европейцев, до проникновения Запада в Китай истории в Китае не было — он «спал». Возможность истории-развития появилась только в середине XIX в., когда произошел первый осязаемый контакт, столкновение традиционного китайского и современного европейского. Тогда — для европейцев в большей степени, для китайцев в меньшей — проблема виделась в нахождении форм перехода к прогрессивному, передовому типу социально-экономического устройства.

⁶ *Ахиезер А. С.* Оппозиция типов сознания и феномен двоевластия // Запад-Россия. Культурная традиция и модели поведения / Научные доклады. Вып. 55. М.: МОНФ, 1998. С. 9–20.

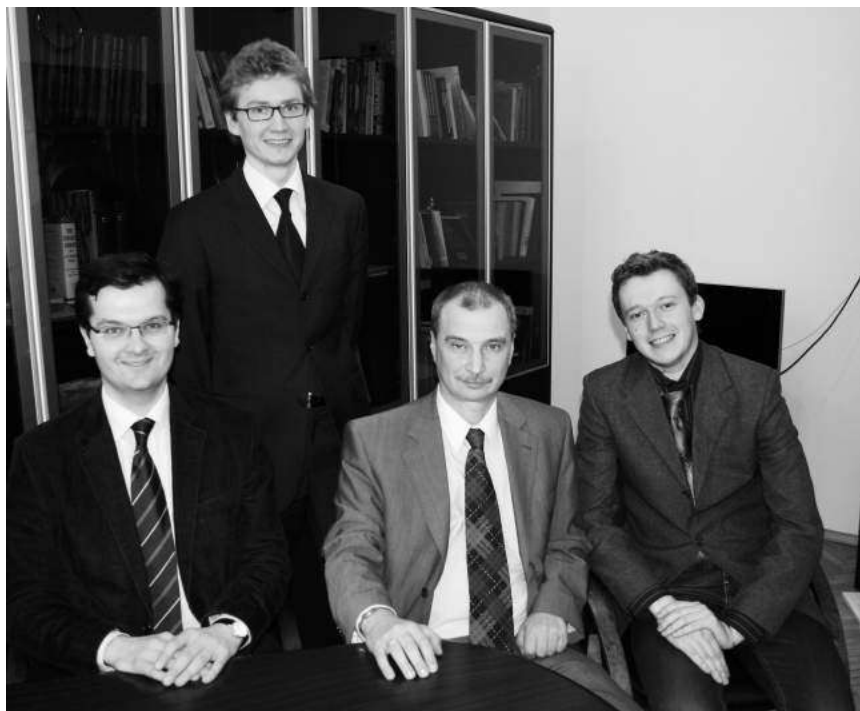
⁷ *Петрухин А.* Откуда вышло и куда идет человечество. Как отвечает на эти вопросы русский ученый Никита Моисеев // Независимая газета. 1998. 10 июня. С. 16.

⁸ Скептицизм по поводу способности системного подхода служить универсальной парадигмой исследования современных реалий в деликатной форме осмелился до сих пор выказать, кажется, только ведущий российский теоретик-методолог международных отношений М. А. Чешков. См.: *Чешков М. А.* Россия в мировом контексте. Глобальная общность человечеств // Мир России. Социология, этнология, культурология. 1997. № 1. С. 107–125.

⁹ Дискуссия с целью найти способ теоретически совместить концепцию «унифицирующей глобальности через глобализацию» с фактической невозможностью описать с ее помощью мирополитическую реальность (по счастью) не затухает. Более или менее удачный ее пример — круглые столы Центра сравнительных исследований России и третьего мира в ИМЭМО РАН, материалы которых были опубликованы. (См.: Запад — не-Запад и Россия в мировом контексте // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 12; 1997. № 1). Более прикладными (ознакомительно-аналитическими) были две статьи на тему глобализации, опубликованные, например, В. Кузнецовым. См.: Что такое глобализация? // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 2–3.

Раздел 2

**МИРОВАЯ СИСТЕМА
И МЕЖДУНАРОДНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ**



Алексей Демосфенович Богатуров и его ученики
(слева направо) Михаил Алексеевич Троицкий,
Андрей Андреевич Сушенцов, Андрей Анатольевич Байков

Глава 11

.....*

Динамическая стабильность во внешней политике*

Стабильность — одно из наиболее часто и неточно употребляемых слов международно-политического словаря. В разных значениях им пользуются теоретики военной стратегии, политологи, историки и экономисты. В последнее десятилетие его стали осваивать экологи и юристы. Как отмечает канадский исследователь Дэвид Дьюит, в связи с отступлением ядерной угрозы подходы к обеспечению стабильности и безопасности стали пересматриваться с точки зрения «деградации окружающей среды и ее способности поглощать вредные последствия снабжения стратегическими минеральными ресурсами, распространения наркотиков, неконтролируемого перемещения крупных масс капитала или населения, эпидемий, терроризма...»¹. На Западе формируется целая подотрасль знаний, связанная с изучением международных отношений под экологическим углом зрения. Вышедшая в конце 1993 г. одновременно в Нью-Йорке и Лондоне книга под режущим глаз названием «Средоохранные основы политической стабильности»² — лишь одна из иллюстраций, прямо связанных с нашей темой.

В задачи работы не входит разбор всех аспектов стабильности как предмета изучения гуманитарных наук. Анализ ограничен международно-политическим аспектом с минимальными экскурсами в сопредельные области военно-стратегических и экономико-политических исследований. Приходится констатировать, что ясности и единообразия в понимании «стабильности» нет. Многоголосье продолжается в употреблении понятий «стабильность», «статус-кво», «силовое равновесие», «безопасность» и «порядок». Некоторые из этих терминов («стабильность» — «силовое равновесие»; «стабильность» — «безопасность») используются как взаимозаменяемые, вплоть до того, что одно полностью вытесняет другое³. Для целей дальнейшего изложения важно определить место «стабильности» в ряду сходных, но существенно иных явлений.

* Опубликовано в: Очерки теории и политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002.

Стабильность, статус-кво и силовое равновесие

Взаимосвязь между первыми двумя понятиями существовала с тех пор, как человечество осознало, что внезапные изменения могут влечь за собой наибольшие потери из-за того, что к ним нельзя заранее подготовиться. Однако до XIX в. понятие «стабильность» в политических рассуждениях, судя по литературе, употреблялось мало. Даже и в XIX в. оно не имело широкого распространения, поскольку в ходу было перекрещивающееся с ним по смыслу, хотя и не тождественное, выражение «статус-кво» («существующее положение»). Показательно, что в книгах по истории международных отношений, опубликованных до Второй мировой войны, слово «стабильность» встречается эпизодически. В более поздних работах, особенно в 1950-е годы, оно стало употребляться чаще, причем применительно не только к послевоенному периоду, но и к более ранним. В то время началось активное «освоение» этого термина в контексте мировой стратегической ситуации и авторы «опрокидывали» заново осмысливаемое понятие на прошлое.

Одним из пионеров в этом смысле был британский историк Алан Джон Персивал Тэйлор, автор классического труда «Борьба за господство в Европе. 1848—1918 гг.», опубликованного в 1954 г.⁴ и оказавшего фундаментальное влияние на несколько поколений специалистов. А. Тэйлор рассматривал понятие «стабильность» в политическом контексте — наряду с понятиями «статус-кво» и «силовое равновесие» (*balance of power*). Перевод его работы на русский язык в 1958 г. сыграл определяющую роль в популяризации этих терминов в советской историко-дипломатической литературе. Показательно, что «стабильность» как понятие, вводимое в аналитический оборот отчасти как бы заново, А. Тэйлор в основном употреблял в собственных рассуждениях, более архаичные «статус-кво» и «силовое равновесие» — при описании образа действий государств и политиков предшествовавших периодов. Тем большую ценность представляет собой данный труд — с точки зрения уяснения семантической традиции употребления этих терминов.

Первое, в чем убеждает анализ книги А. Тэйлора, — преобладание одностороннего восприятия стабильности. Сознание предпочитало фиксировать в основном ее «статическое» измерение. В стабильности видели и стремились видеть не то, чем ее можно было бы охарактеризовать в научном смысле, а «просто» антипод переменам⁵ или «ревиизионизму», под которым понимались попытки изменить сложившиеся между государствами соотношения в самом широком смысле слова —

территориальные, демографические, военно-силовые, экономические и идейно-политические.

Но антиподом «ревизионизму» виделось и поддержание статус-кво. В отличие от отвлеченно звучавшей «стабильности» это понятие было привычным для дипломатов XIX — начала XX в. Возникало ощущение, что статус-кво и есть воплощение стабильности. С понятийной точки зрения такое мнение предстает упрощением. Но практики тонкостями дефиниций пренебрегали, а теория международных отношений стала развиваться в основном после 1945 г. До тех пор «стабильность», как она интуитивно ощущалась политиками, выступала символом идеального состояния международной системы. В ней же государства не имели оснований искать повода для войн, но периодически доверительно обсуждали бы спорные проблемы, продвигаясь к их решению.

При этом фактор силы не сбрасывался со счетов. Предполагалось, что для сохранения статус-кво необходимо, чтобы ревизионистское государство имело возможность заранее оценить размеры своих потенциальных потерь от нарушения мира. С этой точки зрения военные демонстрации (демонстрация флага у побережья, например) не только не осуждались морально (понятие «силовой шантаж» появилось позже), но казались нравственным средством удержать агрессора от выступления. Правда, хотя наличие или отсутствие военной силы проецировалось на дипломатические переговоры, главной для дипломатии статус-кво была не она. Задача виделась не в нанесении удара, а в навязывании оппоненту «амортизирующих» согласований, в ходе которых имелось в виду подвести его к пониманию неприемлемости войны для него самого, с одной стороны, и возможности компромисса — с другой. Можно резюмировать: в XIX и первой половине XX в. со стабильностью связывалось представление об идеальной системе международных отношений, в которой основной целью считалось сохранение статус-кво, а главным условием ее реализации — сохранение силового равновесия. Необходимо сказать о последнем.

Одним из ключевых понятий дипломатии статус-кво — дипломатии К. Меттерниха, а в определенный период и Отто фон Бисмарка — был «*balance of power*». Традиционно это словосочетание переводилось как «баланс сил». Перевод представляется неправильным. Слово «баланс» в русском языке означает просто «соотношение» без определения того, каким именно это соотношение является. Значит, выражение «баланс сил» по-русски равнозначно словосочетанию «соотношение сил» — соотношение любое, равновесное или неравновесное. Между тем главное значение слова английского «*balance*» — «равновесие». Следовательно, «*balance of power*» следовало бы переводить как «равновесие силы», что

точнее лингвистически, или «силовое равновесие», что правильно по сути.

Именно так «*balance of power*» интерпретируется в антологии современной теории международных отношений, изданной в 1987 г. Полом Виотти и Марком Кауппи, которые синонимически употребляют по отношению к «*balance of power*» слово «*equilibrium*», что буквально и означает «равновесие»⁶. Стоит иметь в виду, что для передачи того смысла, который по-русски несет выражение «баланс сил», т.е. их соотношение, в английском языке существует адекватное по смыслу выражение «*balance of forces*». Ободряет, что один из «современных классиков» мышления категориями статус-кво, Г. Киссинджер, в своих поздних (но не ранних) работах проводит грань между понятиями «*balance of power*» («силовое равновесие») и «*balance of forces*» (что буквально соответствует русскому «баланс сил», «соотношение сил»). Он применяет первое к истории до 1918 г., а второе — например, к нынешней ситуации неустоявшихся соотношений влияния между Германией и ее европейскими соседями⁷.

В таком же смысле пользуется термином «*balance of forces*» Пол Кеннеди, один из наиболее ярких современных исследователей международных отношений историко-системной школы. Ему следует в своей работе о теории «циклов силы» и понятиях абсолютной и относительной мощи великих держав политолог Чарльз Доран⁸. Классик теории международных отношений Ганс Моргентау еще в своей основополагающей работе 1940-х годов подсчитал, что выражение «*balance of power*» в современной ему литературе употреблялось в девяти (!) разных значениях, причем даже в его собственной работе — в четырех. И все же даже сам Г. Моргентау счел нужным пояснить, что наиболее точный смысл этого словосочетания передается термином «равновесие»⁹.

Пытаясь приблизиться к ясности, будем использовать термин «силовое равновесие», не злоупотребляя броским и неточным «баланс сил». Выражение «баланс сил» в русском восприятии вызывает ассоциации с представлением о неких суммарных соотношениях — как если бы речь шла о совокупной мощи всех держав. «Силовое равновесие» от таких ассоциаций свободно. Между тем в принципе «*balance of power*» не было идеи суммирующих сопоставлений. Напротив, он означал сравнения индивидуальные. Имелось в виду «равновесие один на один»: *каждое* из наиболее сильных европейских государств должно было оставаться приблизительно равным по силе любому другому, *также взятому в отдельности*. Только тогда коалиция заведомо должна была оказаться сильнее любой державы в отдельности. Значит, мог существовать и построенный на идее коалиций «европейский кон-

церт» с присущим его эпохе «дисперсным» типом отношений между великими державами, при котором между всеми ими сохранялась приблизительно равная дистанция, а постоянных предпочтений не было. Преобладала, как пишет А. Тэйлор, «линия мирной удаленности (*pacific detachment*): в дружбе со всеми и в союзе ни с кем»¹⁰. Были только правила игры, в которой самоцелью казалась игра, а индивидуальный выигрыш (обычно имевший место) формально считался как бы под запретом. Уловив эту «нормативную конкурентность», президент В. Вильсон в обращении к сенату Конгресса США 27 января 1917 г. назвал политику «равновесия сил» «организованным соперничеством»¹¹.

Пока силовое равновесие *tete-a-tete* (индивидуальное силовое равновесие) удавалось сохранять, коалиции успешно исполняли роль регуляторов международной системы. Их силами статус-кво поддерживался до последней четверти XIX в.¹² Но затем дело пошло к формированию долгосрочных союзов (1879 г. — заключение союза Германии и Австро-Венгрии, впервые прямо не связанного с подготовкой войны). «Дисперсный» тип отношений сменился устойчивым избирательным партнерством. Формула исчисления силового равенства усложнилась. Стало труднее оценить потенциальные потери в войне и силы противника. Возросла непредсказуемость. Парадоксально, становление более устойчивых отношений между отдельными странами *в рамках групп* вылилось в рост *общеевропейской* нестабильности. Принцип силового равновесия, эффективный на индивидуально-страновом уровне, на межкоалиционном не сработал.

Похоже, он морально устаревал. Но не оттого, что нельзя было обеспечить равенства коалиций, а как раз потому, что при узости круга ведущих государств этого равенства было нельзя избежать, а значит, невозможно было гарантировать *заведомое* превосходство одной коалиции над другой — эффект, который был основой сдерживающего влияния на ревизионистскую страну в эпоху, когда коалиции существовали не постоянно, а создавались «по случаю» и действовали против отдельных держав, а не друг против друга. Возникновение коалиционной конфронтации подорвало идею классического «силового равновесия» как противостояния преимущественно индивидуального.

Тем не менее два межвоенных десятилетия были временем систематических попыток держав-победительниц вернуться к ситуации, когда статус-кво можно было удерживать с помощью силового равновесия. Попытки реализовать это задачу во многом определили работу Лиги Наций¹³. И в той мере, в какой такие надежды были эмоционально привлекательными для поколений политиков, находившихся у власти

в 1920-е и 1930-е годы, термины «статус-кво» и «*balance of power*» оставались в активе анализа, перекрещиваясь с понятием «стабильность».

Стабильность и безопасность

После Второй мировой войны ситуация стала меняться. Термин «статус-кво» стал употребляться реже. Сузился спектр применения «*balance of power*» — поскольку с появлением ядерного оружия у США и СССР стало труднее определить, что под таковым должно пониматься. В политический лексикон с подачи Джорджа Кеннана вошло «сдерживание» (*containment*). Позднее получило хождение выражение «устрашение» (*deterrence*).

В 1950-е годы популярность «стабильности» среди аналитиков и политических писателей быстро возростала. Причем термин начал отрываться от историко-политического контекста и включаться в понятийный аппарат военно-стратегических исследований. В новом терминологическом поле «стабильность» утрачивала ассоциации с представлениями о международных конгрессах, договорах и организациях для контроля над их соблюдением. Военные эксперты придали «стабильности» роль технического термина, характеризующего состояние военно-стратегической обстановки в мире, когда скованные взаимным страхом сильнейшие державы (США и СССР) не решались напасть друг на друга и не позволяли этого сделать никому из жестко контролируемых ими сателлитов. Соответственно, под укреплением стабильности понималось консервирование принципиальных силовых соотношений между соперниками и, что, возможно, было важнее, разумно высокого (взаимосдерживающего) уровня опасений в отношении друг друга.

Истоки «военизации» понятия «стабильность» показаны в книге Марка Трахтенберга, современного классика американских специалистов в области военно-исторических и политических исследований. Как он подчеркивает, сращивание значений «стабильность» и «безопасность» было инициировано появлением военно-политической доктрины «стратегической стабильности»¹⁴. Известная также под названием доктрины «взаимно гарантированного уничтожения», она была разработана во второй половине 1950-х годов в Лос-Анджелесе, в исследовательском центре РЭНД-корпорейшн¹⁵. Ее смысл состоял в признании достигнутого потенциала ядерных арсеналов США и СССР достаточным для уничтожения друг друга независимо от того, с чьей стороны будет исходить первый удар. В таком случае преимущество первого удара обесмысливалось.

Такое понимание неприемлемости первого удара могло существовать, пока стратегические силы США и СССР оставались уязвимыми для ядерных ударов друг друга. Следовательно, для упрочения мира обе державы должны были прийти к пониманию необходимости примириться с этой уязвимостью как своего рода залогом неприменения каждой из них ядерного оружия первой. Идея консервации этой принципиальной уязвимости, отказа от попыток (практически нереализуемых) стать неуязвимым и тем обрести решающее стратегическое преимущество и была воплощена в слове «стабильность», которое вошло в название доктрины.

Доктрина «стратегической стабильности» стала обсуждаться при второй администрации Д. Эйзенхауэра (1957–1961), а при Дж. Кеннеди она стала теоретической основой американской политики. Не удивительно, что слово «стабильность» стало восприниматься почти как синоним термина «безопасность». Начало этому в 1960-е годы прямо или косвенно положили ученые, причастные к формулированию и популяризации доктрины, — Альберт Уолстеттер (Albert Wohlstetter), Бернард Броди (Bernard Brodie), Фред Хофман (Fred Hofman), Томас Шеллинг (Thomas Shelling) и др.¹⁶ Они не чувствовали себя связанными традицией употребления слова «стабильность» и применяли его в отрыве от контекста, характерного для школы историко-дипломатических исследований¹⁷. Понятие «стабильность» стало сливаться с понятиями «устрашение» и «безопасность» — в той мере, как безопасность ассоциировалась с избеганием войны, а «устрашение» рассматривалось как средство достижения этой цели. Процесс этот шел так энергично, что к 1970-м годам основная масса специалистов по военной стратегии уже не сомневалась, что эти понятия вполне тождественны. Возникла целая литература, написанная в подобном понятийном ключе¹⁸. В 1980-х преимущественное право на оперирование понятием «стабильность» настолько прочно утвердилось за экспертами военно-политического профиля, что употребление этого термина в ином контексте уже требовало оговорок.

Отождествление стабильности с безопасностью характерно как для общих, так и для региональных исследований. Модели первых переносятся в последние, а поскольку труды по регионоведению культурой мышления пишущих редко превосходят общеполитологические, то в регионоведческих книгах дело доходит до курьезных упрощений. Авторы одной из работ, претендующих на исследование отношений в Восточной Азии, вообще не увидели разницы между «стабильностью» и «безопасностью». В главе, которой открывается их книга, в качестве ключевого фигурирует термин «стабильность-безопасность»¹⁹. Тем важнее определиться.

Определение стабильности

Взаимосвязь стабильности с безопасностью, отмечаемая всеми исследователями, не дает оснований упрощать характер этой связи. В литературе предпринимались попытки объяснить содержание понятия «стабильность». За отправную можно взять точку зрения известных американских ученых К. Дойтча и Дж. Д. Сингера, по мнению которых «стабильность — это вероятность того, что система сохраняет все свои основные характеристики; что ни одна из наций не получает преобладания; что большинство членов системы продолжают выживать; и отсутствует крупномасштабная война»²⁰. Поясняя свое видение, авторы добавляют: «стабильность стоило бы связывать с вероятностью продолжения государствами своего политически независимого существования при сохранении их территориальной целостности и в условиях отсутствия высокой вероятности втягивания в “войну за выживание”»²¹.

Иначе, но логически и методологически сходно, решает задачу британский теоретик Н. Ренгер. По его мнению, «определение стабильности должно было бы подразумевать международную систему, которая не склонна к насильственным спорам по крайней мере между великими державами»²².

Оба эти варианта объяснения можно считать приемлемыми, когда и если речь идет о прикладных задачах — анализе конкретных ситуаций или лекции в студенческой аудитории. Вместе с тем трудно не видеть, что и К. Дойтч с Дж. Д. Сингером, и Н. Ренгер *описывают* стабильность, но не дают ее *определения* — и поэтому с теоретической точки зрения их ответы неадекватны.

Но были и попытки дать определение стабильности, уйдя от описательности. Американский ученый Л. Ричардсон предложил понимать под стабильностью набор условий, при которых система международных отношений сохраняет способность восстанавливать равновесие, оставаться равновесной. Под нестабильностью он понимал отсутствие таких условий и нарастание в системе изменений до какой-то критической точки, в момент достижения которой происходит распад²³. Эта точка зрения вызывала критику рецензентов неконкретностью, хотя, как представляется, требуемый уровень абстракции — как раз ее достоинство.

В американской политологии можно встретить и еще более обобщенный вариант понимания стабильности, принадлежащий крупнейшему современному теоретику-структуралисту Кеннету Уольцу. Насколько можно понять, он полагает, что стабильность — это состоя-

ние, при котором система просто способна продолжать свое существование, не разрушаясь²⁴.

Несмотря на отвлеченность интерпретаций Л. Ричардсона и К. Уольтца, обе они соответствуют своему наименованию. Ценными в них представляются, как минимум, три момента: видение межгосударственных отношений как саморегулирующейся системы [1], восприятие стабильности как системного состояния, а не набора конкретных условий (отсутствие доминирующего государства — по К. Дойтчу и Дж. Д. Сингеру; отсутствие войны между великими державами — по Н. Ренгеру) [2], указание на наличие подлежащей формализации связи между выживаемостью системы и ее способностью адаптироваться к переменам [3].

Вместе с тем представляется, что акцент на динамическом характере стабильности стоило бы усилить. Думается, что от зафиксированной Л. Ричардсоном и К. Уольтцем констатации «стабильность — состояние» было бы правильно сделать шаг к постановке вопроса в плоскость «стабильность — движение». В российской печати эта наша точка зрения уже излагалась. Как отмечалось в публикациях, предшествовавших этой работе²⁵, *под «стабильностью» уместно понимать определенный тип движения системы межгосударственных отношений; движение относительно плавное, равномерное и предсказуемое, при котором система оказывается в состоянии существовать, воспроизводиться и изменяться, не утрачивая при этом своих базисных характеристик*. Стабильность характеризует способность системы обеспечивать назревшие, необходимые для ее самосохранения перемены, компенсируя их таким образом, чтобы утрата отдельных элементов или характеристик не создавала угрозы для выживания системы в целом. Очевидно, в стабильности присутствуют и консервирующее, и трансформирующее начала²⁶.

Стабильность не равнозначна статус-кво. Она характеризует *вид* движения системы, а статус-кво — один из *моментов* этого движения²⁷. Статус-кво — это стабильность при условии, что скорость движения системы стремится к нулю. Но в этом случае системе угрожает гибель, она может перестать развиваться. Таково одно из структурных объяснений неуспеха политики статус-кво в ретроспективе двух мировых войн за первую половину XX в. На определенном этапе самоорганизации системы (переход от «дисперсного» типа отношений к коалиционному) статус-кво стал вести к накоплению конфликтного потенциала изменчивости системы; внутренние противоречия не разрешались, а откладывались; отложенный конфликт результировался во взрыв умноженной мощности.

Приняв определение стабильности как типа движения, а не состояния, можно охарактеризовать ее соотношение с безопасностью. Эксперты не раз указывали на изменение смысла понятия «безопасность». Оно стало включать не только гарантии суверенитета, целостности, защиты населения, но и обеспечение благоприятной природной среды, доступности ресурсов, защиту от стихийных бедствий и даже поддержание материального благополучия²⁸. Связывают с безопасностью и содействие распространению демократических ценностей²⁹. Очевидно, такого рода рассуждения относятся не столько к понятию «безопасность», сколько к описанию угроз безопасному существованию. Для целей исследования требуется иной угол зрения — безопасность как таковая. В литературе распространены два ее понимания: безопасность как неугрожаемое состояние и безопасность как совокупность мер для его обеспечения.

Если безопасность подразумевает искомое состояние государства или системы, то стабильность — тип смены их реальных состояний, которые могут характеризоваться большей или меньшей безопасностью. Или по-другому: безопасность воплощает отсутствие угроз для выживания, а стабильность — способность компенсировать такие угрозы в случае их возникновения за счет внутренних адаптационных возможностей системы. Наконец, третий вариант: стабильность — это равномерно отклоняющийся тип движения, средней линией которого можно считать отсутствие угрозы выживанию системы, с которым и отождествляется безопасность.

Вернувшись к интерпретациям стабильности (от К. Дойтча и Дж. Д. Сингера до К. Уольтца), заметим, что все они тяготеют к «прикладному» видению стабильности — к ее пониманию как условия безопасности. Оттого описание стабильности по Дойтчу и Сингеру напоминает попытку перечисления условий, при которых государство будет чувствовать себя безопасно. В этой главе сделана попытка проанализировать стабильность как относительно автономный, объективный феномен, который не является только рукотворным плодом политиков, а органически присущ системе. Стабильность не всегда может доминировать в международных отношениях и в этом смысле зависит от политиков, которые могут способствовать или препятствовать стабилизации системы. Но они вряд ли могут «играть в такую игру» долго без опасности для своего существования, потому что государства зависят от системы больше, чем ее выживаемость — от каждого из них.

Дальнейший анализ уместно развернуть к взаимосвязи глобальных и страновых аспектов стабильности и безопасности. Тождественность безопасности и стабильности в тенденции может существовать, хотя

бы теоретически. В той мере, в какой цель безопасности — выживание системы, она сближается со стабильностью, воплощающей оптимальный для обеспечения этой выживаемости тип движения.

Допустимо полагать, что смысл безопасности состоит в обеспечении стабильности. С оговорками можно сформулировать и обратное: стабильность представляет собой вид саморегулирующегося (самокомпенсирующегося) движения как оптимального с точки зрения выживаемости системы. Значит, безопасность системы может считаться если не целью, то полюсом тяготения стабильности.

Однако важно подчеркнуть, что эта достаточно условная связь существует лишь на общесистемном уровне. С долей погрешности допускать отождествление стабильности и безопасности можно, если речь идет о глобальной системе. На страновом же уровне подобное допущение выглядит некорректно. В самом деле, для выживаемости системы может быть безразлична гибель отдельных государств. Возможны ситуации, когда их разрушение способно работать на сохранение системы в целом. Распад СССР был абсолютно несовместим с его безопасностью. Но глобального кризиса стабильности не последовало³⁰, и даже гипотетически угроза разрушения мировой системы не рассматривалась. С точки зрения безопасности Германии ее расчленение на пять частей (ФРГ, ГДР, Западный Берлин, Померания-Силезия и Восточная Пруссия) в 1945 г. означало полный крах. Но признание раскола как реальности в конце 60-х — начале 70-х годов XX в. привело к стабилизации обстановки в мире.

В Южной Азии в 1970-х годах разрушение политического единства Западного и Восточного Пакистана тоже привело к стабилизации обстановки в северо-восточной части этого региона.

Сказанное не означает, что предлагаемое видение соотношений безопасности и стабильности претендует на нормативность. Задача заключается в том, чтобы обозначить болевые точки российской теории международных отношений в той мере, как она относится к проблеме стабильности, и предложить единый вариант истолкования соотнесенных между собой понятий, без которых дальнейший анализ может вылиться в двусмысленные или просто непонятные рассуждения.

Статический аспект: стабильность и порядок

Стабильность, как она понимается в этой работе, включает в себя статическое и динамическое начала международных отношений. Исторически, как уже говорилось, преобладало первое. Отмечалось, что в 1960-е и 1970-е годы такое восприятие формировалось под сильным

давлением военно-политических исследований с их ориентацией на стратегическую стабильность. Вместе с тем старая школа историко-дипломатической науки продолжала развиваться. Сохранялась и линия политико-исторического осмысления феномена стабильности. В этой области самой яркой фигурой был Г. Киссинджер. Его взгляды особенно интересны по двум причинам: во-первых, он сам испытывал горячий теоретический интерес к классической дипломатии статус-кво и силового равновесия³¹. Во-вторых, вряд ли кто еще имел такие возможности проецировать ее стратегию и тактику на живую ткань международных отношений 1960-х и 1970-х годов, являясь с 1969 по 1976 г. ключевой в интеллектуальном отношении фигурой «первой разрядки».

В понятийном аппарате Г. Киссинджера и его коллег «стабильность» занимала гораздо более важное место, чем в обиходе их предшественников, работавших в XIX в. и первой половине XX в. Наполнение этого понятия определялось взаимодействием образного ряда классики и ассоциациями с доктриной «стратегической стабильности», хорошо знакомой и созвучной самому Г. Киссинджеру. Поскольку и в старом дипломатическом, и новом военно-стратегическом истолкованиях акцент делался на консервирующем моменте, то и в восприятии Г. Киссинджера стабильность виделась преимущественно в «статическом ключе». Она уже не приравнивалась «просто» к статус-кво. Динамика ситуации в лихорадочно самоопределявшемся третьем мире оттеняла недостаточность терминов времен К. Меттерниха или Д. Ллойд-Джорджа. Но идея упорядочения международных отношений была актуальна. Стабильность стала связываться не столько со «статус-кво», сколько с «порядком».

В литературе высказываются разные взгляды на содержание понятия «международный порядок». Из современных наибольшую известность приобрела концепция американского исследователя Линна Миллера. Он считает главным признаком порядка присутствие в мировой системе некоторого основополагающего принципа, которым сознательно или стихийно руководствовались бы государства. В книге «Глобальный порядок» он трактует этот принцип отвлеченно. Утверждается, что с середины XVII в. до Первой мировой войны в мире существовал всего один порядок, автор называет его Вестфальским (по Вестфальскому миру, положившему конец Тридцатилетней войне в Европе и послужившему, как утверждает Л. Миллер, началом нового порядка). Основанием для такого обобщения автор считает то обстоятельство, что в основе международных отношений всего этого периода лежал принцип «разрешительности» (*laisser-faire* = «позволять делать») или «невмешательства»³². Как отмечает Л. Миллер, «в самом широком смысле концепция разре-

нительности предполагает, что для общего блага лучше всего предоставить наибольшую меру свободы и возможности индивидуальным лицам в обществе служить своим собственным интересам»³³. Этот принцип предполагал отказ одного государства от постоянных внешнеполитических обязательств и одновременно от попыток помешать другому государству в осуществлении его задач во всех случаях, когда это не касается жизненных интересов первого. Антиподом этой политики Л. Миллер считает «вильсонский» принцип международного регулирования, впервые представленный В. Вильсоном в 1918 г. Этот принцип воплотился в потенциально «интервенционистской» политике Лиги Наций, затем — ООН, а в последние годы — США и НАТО.

Стоит отдать должное оригинальности такой интерпретации. Тем более что Л. Миллер справедливо сделал акцент на динамическом компоненте международных отношений, необходимости присутствия в них наряду с консервирующими, упорядочивающими устремлениями одновременно также и иницилирующих импульсов, противоречий и конфликтов. Но принять такую концепцию за основу дальнейшего развития нашей темы вряд ли можно.

Во-первых, Л. Миллер абсолютизирует «разрешительное» начало, растворяя в основанном на нем и три века длившемся Вестфальском порядке несколько периодов преобладания не «разрешительности», а, скорее, «запретительности» в международных отношениях (1815–1823 гг., десятилетие после Крымской войны, последняя четверть XIX в.). Британия, например, с конца XVIII в. так широко трактовала свои жизненные интересы, что около 150 лет она практически непрерывно занималась созданием коалиций с тем, чтобы помешать то одной, то другой европейской державе в реализации целей, которые та ставила. В этом ей периодически помогали Франция и Австрия.

Во-вторых, что существенно, искусственно помещая три века международных отношений в рамки единого порядка, автор делает упор на однородность всего этого огромного периода. С аналитической точки зрения это вряд ли целесообразно, потому что при таком подходе невозможно проследить тенденции, в частности ту, что важна для нашего исследования, — тенденцию смены моделей стабильности в мировой системе.

В-третьих, Л. Миллер вообще понимает «порядок» не как «устройство», а как «образ действия». Это снимает все возможные претензии к его действительно талантливой работе с точки зрения интересов нашего исследования, сфокусированного на анализе роли международных структур. Но одновременно это же и вынуждает решительно отказаться от следования в ее русле.

В отличие от концепции Л. Миллера большинство авторов склоняется к более конкретному видению порядка как воплощения разумно *ограничительного начала* во внешней политике государств и в их взаимоотношениях, связывая с функцией такого ограничения упрочение стабильности мировой системы. Британский исследователь Роберт Купер, отталкиваясь от классической работы Хэдли Булла³⁴, например, предложил несколько возможных интерпретаций «порядка». *Во-первых*, таковым может считаться преобладающий тип внешнеполитического поведения государств (*pattern of actions*), независимо от того, служит ли оно упорядочению или дезорганизации системы (здесь Р. Купер близок Л. Миллеру). *Во-вторых*, порядок может означать определенную степень стабильности и целостности системы (исторически такое видение преобладало). *В-третьих*, порядок можно понимать как «правила, которые управляют системой и поддерживают ее в состоянии стабильности; моральное содержание, воплощающее идеи справедливости и свободы»³⁵.

Уже упоминавшийся Н. Ренгер, независимо от Р. Купера, в сущности, развивает его второй тезис, предлагая отделять понятия мирового порядка от международного. Первый, по его мнению, воплощает модели человеческой деятельности, которые обеспечивают элементарные или главные цели общественной жизни человечества в целом. Второй — модели поведения, связанные с реализацией главных задач сообщества государств или международного сообщества³⁶.

Признавая значимость постановки вопроса о моделях внешнеполитического поведения государств, трудно согласиться с мнением, что сами эти модели воплощают международный порядок. Такое понимание кажется слишком абстрактным и излишне сориентированным на бихевиористский анализ внешней политики. История же международных отношений начиная с 1970-х годов подвигает к заключению о преобладании на практике видения порядка, промежуточного между «поведенческим» (по Л. Миллеру, Р. Куперу и Н. Ренгеру) и структурным. Таковым, например, оно было у Г. Киссинджера. В воспоминаниях о годах дипломатической активности он подчеркивал, что не видит возможности обеспечить мир без равновесия (структурное понимание) и справедливость без самоограничения (поведенческое)³⁷.

Под «порядком» здесь, как и ранее (см. гл. 4), мы понимаем систему межгосударственных отношений, регулируемых совокупностью принципов внешнеполитического поведения [1]; согласованных на их основе конкретных установлений [2]; набора признаваемых моральными и допустимыми санкций за их нарушение [3]; потенциала уполномоченных стран или

институтов эти санкции осуществить [4]; политической воли стран-участниц этим потенциалом воспользоваться [5].

Определение порядка как некоторой структуры отношений подразумевает, что он должен опираться на формальную юридическую базу — договор или комплекс взаимосвязанных соглашений, устав международной организации и т.п., если только, конечно, не имеется в виду порядок в условиях однополярного мира — *Pax Romana* в пределах Римской империи. Присутствие всех пяти названных элементов порядка в чистом виде — ситуация редкая. Возможно, поэтому и идеально прочными известные варианты международного порядка не были. Тем не менее с большей или меньшей долей уверенности можно говорить о существовании Венского порядка (в чистом виде в 1815–1825 гг., а с учетом возобновлявшихся и иногда успешных попыток его восстановить — до создания Германской империи в 1871 г.)³⁸, Версальского (1918–1938 гг.), Ялтинско-Потсдамского (1945–1991 гг.).

Но, следовательно, в конце 1960-х ничего принципиально нового создавать было не нужно. Сверхзадачей «первой разрядки» была стабилизация международных отношений через укрепление уже сложившейся биполярной структуры посредством внедрения в нее дополнительного элемента — новых принципов отношений между СССР и США в условиях стратегического паритета. Под последним понимается заведомое превышение военными потенциалами СССР и США уровня, после которого их столкновение при всех обстоятельствах гарантировало взаимное уничтожение.

Да и сам Г. Киссинджер, теоретик и практик разрядки, насколько можно судить, видел себя, скорее, «спасителем» международной стабильности, чем ее «отцом». Во всяком случае, в качестве темы одного из двух своих крупных трудов по истории международных отношений он выбрал не дипломатию позднего Талейрана и Александра I, стоявших буквально у истоков установлений 1815 г., а политику Меттерниха и Кестльри, которые не столько создавали Венский порядок, сколько работали над его сохранением. По-видимому, с ними, более чем с кем-то еще из своих предшественников, мысленно отождествлял себя тот, кто в 1970-х годах стал первым дипломатом Соединенных Штатов³⁹.

Как бы то ни было, политика разрядки была выдержана в духе ограничивающей функции порядка. «Порядок» выступал как выражение консервирующей и ограничивающей функции стабильности. Логика состояла в стремлении развести потенциально конфликтные интересы СССР и США⁴⁰. Если же вероятность случайного противостояния возникала, предмет намечающегося спора предполагалось заранее об-

судить и найти компромисс в духе более или менее симметричной взаимной сдержанности. Иными словами, политика «первой разрядки» строилась на принципе *изоляции конфликтных устремлений*.

Это был статический вариант стабильности, который предполагал, что все внимание СССР и США будет сосредоточено на сохранении сложившихся между ними соотношений в силовом (паритет) и географическом (сферы влияния) смыслах. В его основе лежали стратегическое сдерживание и конфронтация — но конфронтация управляемая и регулируемая. Под конфронтацией при этом понималось систематическое и более или менее симметричное противопоставление сторонами своих действий друг другу.

Взаимный страх и осознание своей уязвимости, которые впервые возникли в Москве и Вашингтоне в дни Карибского кризиса октября 1962 г., были дополнены договоренностями об укреплении механизмов кризисного управления в чрезвычайных ситуациях, о принципиальных основах взаимоотношений между двумя сверхдержавами. Обобщенным выражением и символом стабилизации международных отношений стала подготовка Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.). После него, условно говоря, в мире и формально утвердилась «конфронтационная стабильность»⁴¹ как вид статической. Она определяла структуру международных отношений приблизительно с 1962 по 1991 г.

Стабильность и конфигурация международной структуры: «плюралистическая однополярность»

Идея «конфронтационной стабильности», неполным аналогом которой в западном интеллектуальном обиходе можно считать выражение «длинный мир», предложенное Джоном Льюисом Гэддисом⁴², была, строго говоря, порочна, так как эта модель была основана на симметрии страха перед взаимным уничтожением. Но в реальности она содействовала укреплению мира, снижая шансы прямого столкновения СССР и США. Стабилизация мировой системы с конца 60-х до конца 70-х годов XX в. была столь зримой и непривычной после почти четырех десятилетий напряженности, что вызвала энергичную интеллектуальную реакцию со стороны политологов. В центре внимания оказалась взаимосвязь стабильности с той или иной конфигурацией международной структуры. Речь шла о том, можно ли было ждать при «биполярно зарегулированной» структуре мира 1970-х годов тех же результатов, каких можно было достичь в удачные периоды многополярности XIX в.

Под многополярностью в этой работе понимается структура международных отношений, при которой существует несколько ведущих держав, сопоставимых по совокупности своих силовых, экономических, политических возможностей и потенциалу идейно-политического влияния. Биполярностью уместно считать ситуацию, при которой существует значительный отрыв только двух государств от всех остальных членов международного сообщества по совокупности возможностей, которые перечислены выше⁴³.

Инициаторами полемики стали американские ученые К. Дойтч и Дж. Д. Сингер, весной 1964 г. опубликовавшие статью «Многополярные системы государств и международная стабильность»⁴⁴, в которой стабильность увязывалась с наличием многополярности. Их идеи вызвали критику со стороны тех, кто не только считал стабильность возможной в условиях биполярности, но и расценивал двухполярную структуру как более благоприятную для сохранения мира. Выразителем последней точки зрения был К. Уольтц, вступивший в полемику с К. Дойтчем и Дж. Д. Сингером после выхода в свет их статьи собственной публикацией в 1964 г. и к 1979 г. обобщивший свои аргументы в крупной работе «Теория международной политики»⁴⁵.

Этот труд, ставший классикой международно-политической теории, задал высокий профессиональный уровень продолжающейся до настоящего времени дискуссии вокруг проблемы обеспечения стабильности, но одновременно и ограничил ее проблемные рамки. Полемике с ним и в то же время развитию, уточнению и проверке сомнениями его построений посвящены длинный ряд книг и десятки статей последующих авторов⁴⁶. Со второй половины 1980-х годов среди оппонентов К. Уольтца более других известность приобрел американский историк Дж. Л. Гэддис.

Дискуссия сконцентрировалась на двух положениях. *Во-первых* (здесь тон задавал Дж. Л. Гэддис), К. Уольтца обвиняли в абсолютизации роли международной структуры. Под структурными факторами он понимал биполярность и высокую степень независимости противостоящих центров друг от друга. Фактор ядерного оружия Уольтц учитывал, но долгое время (до конца 1980-х годов) не придавал ему решающего значения⁴⁷. Он стремился показать, что структура межгосударственных отношений наделена определенной мерой функциональности сама по себе, обладает некоторой автономной стабилизирующей функцией, т.е. органической способностью тяготеть к равновесию. В этом смысле, по его мысли, естественным тяготением к равновесию — стабильности наделены и многополярная, и двухполярная структуры. Но это присуще им в разной мере, и биполярность с точки зрения стабильности над-

ежнее. П. Виотти и М. Кауппи, достаточно нейтральные комментаторы теории Уольтца, отмечали, что, по его мнению, государства подобны бильярдным шарам на столе, которые, сколько бы они ни катались, в конце концов все равно замрут в состоянии покоя по крайней мере до тех пор, пока их снова из него не выведут⁴⁸.

Дж. Л. Гэддис, напротив, акцентировал внимание на влиянии, которое оказывает на международную стабильность поведение отдельных государств. Он признавал стабильность биполярного мира, но считал ее производной не от самой двухполюсной структуры, а от особенностей поведения сверхдержав в условиях ядерного противостояния. Фокус его анализа смещался к исследованию традиционных политикоформирующих факторов — влиянию материальных интересов, представлений о безопасности, роли личности в политическом процессе. Гэддис не отрицал стабилизирующей роли биполярности. Но он отмечал, что наряду с чисто структурными факторами, такими как силовой отрыв двух сверхдержав от остальных государств и высокая степень независимости противостоящих центров друг от друга, стабильность определялась «поведенческими» характеристиками межгосударственных отношений. Под этим он имел в виду осознание разрушительной силы ядерного оружия и качественного рывка в прогрессе средств разведки и слежения, постепенного отказа СССР и США от наиболее острых форм идеологического противостояния⁴⁹.

Во-вторых, как уже говорилось, несогласие вызывала точка зрения К. Уольтца на биполярность. Обосновывая ее, он указывал, что в условиях ядерного противостояния решающую роль приобретает такой фактор, как уверенность каждой из сторон в отсутствии у гипотетического противника намерения нанести первый удар. При биполярности, когда число участников конфронтации минимально, наименьшей является и неопределенность. Значит, фактор неуверенности легче всего поддается контролю⁵⁰. Наоборот, расширение числа участников противостояния повышает вероятность общего конфликта. «Многополюсный мир был очень стабильным, но одновременно, к несчастью, и слишком предрасположенным к войнам», — написал он в конце 1993 г. в своей новой работе, во многом подводящей итог многолетним размышлениям об эволюции международной структуры⁵¹.

Сторонники противоположного мнения, начиная с К. Дойтча и Дж. Д. Сингера, тоже указывали на важность фактора неуверенности в условиях конфронтационной стабильности. Соглашались они и с тем, что при многополярности уровень неопределенности в международных отношениях существенно выше. Но, по их мнению, возрос-

шая неуверенность и должна оказывать сдерживающее влияние на всех участников противостояния, удерживая каждого из них от применения силы⁵². Выступая в поддержку этой аргументации, П. Хьюс, Л. Гелпи и Д. С. Беннет в своем новом исследовании о закономерностях эскалации военных противостояний между великими державами утверждают, что считать многополярность фактором, повышающим вероятность кризисов, можно лишь в том случае, если в системе международных отношений «число государственных лидеров, готовых к риску, значительно превысит число лидеров, от него уклоняющихся»⁵³.

Вклад в дискуссию внесли и специалисты в области политической экономии, влияние которых стало ощущаться с 1970-х годов, когда в их среде была сформулирована получившая известность в начале 1980-х годов теория «гегемонистической стабильности». В прочтении известного американского политолога Дж. Ная она оказалась сплавом политико-экономических обобщений и прикладного анализа под углом зрения национальной безопасности и соотношения сил в мире.

Автором термина «гегемонистическая стабильность» принято считать профессора Гарвардского университета Роберта Кохэйна, впервые «запустившего» его в 1980 г. Он предложил данный термин как общее название для разработок нескольких не связанных между собой исследователей в области мировой экономики, которые под разными углами зрения анализировали роль лидерства в мировых связях. Одновременно с Р. Кохэйном, по сути дела, идентичный взгляд высказал профессор Принстонского университета Роберт Гилпин, специалист по политической экономии, хотя он первоначально предпочитал пользоваться в своих рассуждениях словом «лидерство» вместо «гегемония». Оба профессора были заинтересованно, но вполне критически настроены к самой идее «гегемонистической стабильности». Однако оказалось, что они, дополняя и разбирая работы друг друга, своими публикациями, *во-первых*, обозначили понятийный круг анализа, а *во-вторых*, способствовали широкой популяризации самой идеи «гегемонистической стабильности» в академическом сообществе.

Изначально концепция адресовалась сфере мирохозяйственных связей. Однако Дж. Най вывел разговор за рамки экономико-политических обсуждений, устранил несообразности узкоэкономического подхода и выстроил цельную политико-военно-экономическую теорию, которая была приложена им к реалиям рубежа 1980-х и 1990-х годов.

В основе концепции гегемонистической стабильности лежало допущение, что для стабильного развития (мировой экономики — по Р. Кохэйну и Р. Гилпину, или мира в целом — по Дж. Наю) требуется

явное («гегемонистическое») преобладание в международных отношениях какой-то одной державы. По определению, совместно данному Р. Кохэйном и Дж. Наем в 1977 г., под гегемонией понималась международная ситуация, в которой «одно государство является достаточно сильным, чтобы утверждать основные правила, регулирующие межгосударственные отношения, и обладает волей поступать таким образом»⁵⁴. По мнению Р. Кохэйна, государство может стать гегемоном, если его положение будет обеспечивать ему контроль над сырьевыми ресурсами [1], источниками капитала [2], рынками [3] и конкурентные преимущества в производстве наиболее высокоценных товаров [4]⁵⁵.

Феномен гегемонии рассматривался с безоценочных позиций — он не восхвалялся и не осуждался, только фиксировался. Считалось, что гегемонистическое доминирование не обязательно должно было навязываться. Оно могло сложиться в силу объективных обстоятельств — наличия передовой экономики, отстраненности от вызванной войной разрухи. Более того, Р. Гилпин подчеркивал, что для утверждения гегемонистической стабильности требуется «значительная степень идеологического согласия». «Если другие страны начнут считать действия гегемона эгоистичными и противоречащими их собственным политическим и экономическим интересам, гегемонистическая система сильно ослабнет», — писал он⁵⁶. В качестве примера гегемонистической стабильности большая часть авторов называла период с 1815 г. по начало XX в., когда мировым гегемоном была Британия. Многие считали, что аналогичная ситуация сложилась и в первые два десятилетия после Второй мировой войны, когда роль «стабилизирующего» гегемона выполняли США.

Однако все же эту теорию можно было воспринимать всерьез, ограничиваясь анализом реалий XIX в. Применимость ее к послевоенному времени вызывала сомнения, так как приходилось абстрагироваться от факта существования не только СССР и зависимых от него стран, но и Китая. Не удивительно, что у Дж. Наея возникло желание скорректировать концепцию.

Насколько можно судить, ему импонировала идея стабильности в условиях преобладания одной державы — преобладания к тому же (не будем забывать тезис Р. Гилпина) с согласия «ведомых». Пафос его опубликованной в 1990 г. книги⁵⁷ о мировом лидерстве воплощен в стремлении спрогнозировать контуры будущей мировой структуры, в которой, как можно было предположить через пять лет после начала «перестройки» в СССР, биполярности могло и не быть. Тем важнее было проработать варианты единоличного лидерства США — и теория

гегемонистической стабильности в этом смысле давала необходимый концептуальный каркас.

В духе здорового скептицизма Дж. Най оспорил тезис о двадцатилетнем гегемонистическом преобладании США после Второй мировой войны (1945–1965 гг.), так же как и об упадке США в 1973–1990 гг. Его анализ показывал, что упадок США происходил с 1950 по 1973 г., а после 1980 г. практически приостановился — что противоречило утверждениям экономической школы гегемонистической стабильности⁵⁸. Более того, конечный вывод Дж. Найа состоял в том, что в военном отношении Соединенные Штаты вообще не были гегемоном за обозреваемый период ни разу, поскольку их всегда уравнивала мощь СССР⁵⁹.

Теория гегемонистической стабильности, неся в себе рациональное зерно, не могла не вызвать возражений сторонников видения мира как движущегося к многополярности. В качестве указания на наступление таковой в экономической области обычно ссылались на ослабление позиций США в мировом хозяйстве, символом которого стала отмена американской администрацией в 1971 г. золотого стандарта. В политике воплощением многополярности, как утверждалось, была независимая линия Китая. Дж. Най не уклонялся от учета этих обстоятельств, но его точка зрения состояла в том, что оба они не изменили базисной структуры послевоенных межгосударственных отношений, хотя и внесли в нее новые элементы⁶⁰.

Распад СССР вызвал оживление сторонников интерпретации мира 1990-х годов как многополярной системы. Теперь в основе этой аргументации лежал весомый факт разрушения одной из двух основ биполярности в том виде, как она существовала в 1945–1991 гг. Но, как представляется, случившееся само по себе не содержит никаких указаний на контуры будущей мировой структуры, оно лишь с определенностью свидетельствует о достаточно радикальном сдвиге в прежней. В самом деле, экономическая и политическая ситуация в России и сопредельных с ней государствах бывшего СССР настолько сложна, что говорить о России или СНГ как о полноценном глобальном «полюсе», очевидно, не приходится. Но одновременно сохраняется по-прежнему огромный силовой отрыв всего только двух стран мира — США и России — от всех остальных членов международного сообщества по совокупности своих военных возможностей. Между тем наличие такого отрыва как антипода сопоставимости возможностей сразу нескольких государств и является основанием для различения биполярности от многополярности, как об этом уже говорилось выше. Поэтому нынешнюю реально существующую мировую структуру можно обозначить не вполне точ-

ным словом «полуторополярность», под которой подразумевается наличие двух основных полюсов, из которых один (американский) значительно превосходит второй.

Сдержанно-скептические мнения по поводу многополярности в теоретико-аналитической литературе встречаются достаточно часто — в отличие от историко-публицистической ветви политической науки. Скажем, даже Н. Ренгер, представляющий британскую и европейскую школы политологии, традиционно критически настроенные по отношению к существованию биполярного мира, в ходе своих рассуждений приходит к выводу, что разрушение порядка «холодной войны», как он его называет, «не автоматически означает возвращение в многополярность, если под ней понимать традиционное равновесие сил, как оно существовало между великими державами в XIX веке»⁶¹.

Осторожен в оценках и японский теоретик Акихико Танака (подобно европейской, японская политология не проявляла особого энтузиазма по поводу американо-советского доминирования). Он считает, что в военном отношении после войны в Персидском заливе (1990–1991 гг.) мир стал однополярным (единственный полюс — США); в экономическом — трехполярным (США, Германия, Япония); в организационно-политическом — пятиполярным (США, Британия, Франция, Россия, Китай). Под организационно-политическим потенциалом А. Танака понимает накопленный политико-дипломатический опыт и способность государства к эффективному политическому реагированию на события в мире через механизм Совета Безопасности ООН и иными способами. Структура мира, по А. Танаке, предстает в виде сложной формулы $1 - 3 - 5$ ⁶².

Число цитат можно умножить. И все же некоторые обобщения необходимы. *Во-первых*, «энтузиасты» и «скептики» многополярности, в сущности, сходятся в том, что разрушение Советского Союза повлекло за собой достаточно радикальную трансформацию мирополитической структуры и означало распад биполярности в чистом виде. *Во-вторых*, и в этом тоже существует консенсус, США остались единственной «комплексной» сверхдержавой, которая, несмотря на относительное снижение уровня ее преобладания в отдельных областях международных отношений, сохраняет огромный отрыв от всех государств мира по совокупности своих возможностей.

Следовательно, размышлять о структуре будущего мира уместно в русле понимания, скорее, роли США в международном сообществе, чем сообщества как такового. Соединенные Штаты, несмотря на заявления политиков, не смотрят и не готовятся смотреть на себя как

на рядового члена даже западного мира, не говоря уже о мире вообще. Пересмотр американских взглядов на мир определяется стремлением сократить бремя прямой зарубежной ответственности через его рационально-критическое переосмысление. Магистральная линия в этом смысле — отказ от непосредственного контроля в пользу опосредованного, но эффективного влияния. Даже самые сильные партнеры и конкуренты США, включая Россию и Китай, не в состоянии его блокировать, а значит, они вряд ли могут воздействовать на базисный факт: США заняли центральное место в мирополитической структуре.

Эта констатация не равнозначна указанию на главенствующее положение США в мировой иерархии. В той мере, как и сама иерархия, иерархичность, предполагающая жесткую ориентацию на главенство и подчинение, утрачивает смысл в мире, который ушел от одного типа глобального противостояния и не пришел к другому. С распадом СССР старая «вздыбленная» структура биполярного противостояния «распласталась», реорганизовалась в более нейтральную центрo-периферийную форму⁶³. Однако под центром в ней вряд ли можно понимать только США. Скорее таковым является плотно окружающая их группа шести других передовых индустриальных и демократических стран мира. И в той мере, в которой эта группа представляется сообществом, можно говорить не о наступлении многополярности, а скорее об изменении природы, размягчении, дозированной «плюрализации» однополярного лидерства США в мире, при том что в самом лидерстве сомневаться преждевременно. Рассуждение, следовательно, уместно повернуть к оценке тенденции к «плюралистической однополярности» с точки зрения международной стабильности⁶⁴.

Динамическая стабильность: «согласие на перемены»

«Плюралистическая однополярность» перекликается с идеей гегемонистической стабильности в том смысле, что обе исходят из допущения о доминировании одной державы. Но между ними, как представляется, есть различия. Теория гегемонистической стабильности выростала практически исключительно на базе представлений и опыта статических форм стабильности, связанных с представлениями о жесткой иерархичности международной системы, где подвижность и колебания безоговорочно приносились в жертву постоянству и неизменности.

В мирное время после 1945 г. в такой системе межстрановые противоречия либо загонялись вглубь (вариант взаимодействия сильного партнера со слабым даже в рамках союзнических отношений [США—

Тайвань, США—Япония 1950-х и 1960-х годов, СССР—Польша и т.д.)», либо изолировались друг от друга, если оба партнера были сильными (разрядка, по Г. Киссинджеру). В обоих случаях мир удавалось сохранить, хотя была своего рода противоестественность в том, каким образом это достигалось. Но статическая стабильность была не единственной формой обеспечения устойчивости международных отношений.

Не решаясь сформулировать вопрос так определенно, профессор Университета Восточной Англии Ричард Крокэт близко к тому подходит. Критикуя известные по литературе описания-определения стабильности, он замечает: «Очевидно, стабильность не равнозначна статике. В понятие стабильности входит идея адаптации к изменениям, хотя, как можно предположить, к изменениям в неких пределах. Определить — каковы эти пределы — задача теоретиков стабильности»⁶⁵.

Справедливым кажется и его упрек мэтрам теории — тяготеющему к бихевиоризму (но не признающему себя его сторонником) Дж. Л. Гэддису и структуралисту К. Уольтцу, — которым в равной мере «трудно принять в расчет возможные изменения в системе»⁶⁶. И это при том, что в последние годы, например, сам Дж. Д. Гэддис стал (правда, больше порицая своего оппонента К. Уольтца, чем критикуя себя) ссылаться на «статический характер выводов структуралистов — их неспособность принимать в расчет изменения», что, по его признанию, «сделало их подход не намного более пригодным, чем тот, что типичен для бихевиористов для предвидения быстрых радикальных перемен, которые положили конец холодной войне»⁶⁷. Во всяком случае, теоретики международных отношений еще не вполне осознали, что за 1970—1980-е годы в мире возникла новая модель стабильности — иная, чем статическая в ее конфронтационном варианте.

Различие между статической стабильностью по Киссинджеру и этой новой, динамической, состояло в самом принципе отношения к межгосударственным противоречиям. *В статической модели все определял принцип изоляции потенциально конфликтных устремлений, в динамической — логика умножения совпадающих*⁶⁸. Противоречия не обязательно нужно было изолировать друг от друга, они могли соприкасаться и взаимодействовать, будучи уравновешенными общими интересами, привязывающими державы друг к другу. Соответственно, задача стабилизирующих усилий оказывалась связанной с формированием и расширением этой сферы совпадающих устремлений⁶⁹.

Примером динамической стабильности служат отношения США с Японией в 1980-х и 1990-х годах. Между двумя странами систематически воспроизводятся острые противоречия в ряде важнейших обла-

стей двусторонних связей⁷⁰. Печать, аналитики и политические деятели обеих стран начинают всерьез размышлять об опасности разрушения их союза. Тем не менее американо-японские связи сегодня — наиболее мощный, динамически развивающийся комплекс отношений в мире, поскольку сфера совпадающих интересов и устремлений обеих стран в военной, политической и хозяйственной областях делает разрыв между США и Японией невозможным без того, чтобы национальным интересам каждой из двух стран не был нанесен невосполнимый ущерб. При таком уровне взаимопроникновения присутствие противоречий в перспективе работает на укрепление партнерства, так как при совпадении принципиальных взглядов на невозможность разрыва стороны вынуждены работать над преодолением разногласий, накапливая опыт и совершенствуя механизм адаптации к периодически возникающим потрясениям.

Определяющим условием формирования динамической модели стабильности была тенденция к взаимозависимости как общемировое явление. Момент ее острого осознания связан с «нефтяными шоками» и структурно-экономическими катаклизмами 70-х — начала 80-х годов XX в. В этот период американо-японские отношения и начали развиваться в направлении взаимного сращивания экономических структур, достигшего к концу 1980-х степени необратимости.

Американо-японские отношения — наиболее впечатляющий пример динамической стабильности. К воспроизводству их модели (с соответствующими поправками) продвигались США и СССР, когда в годы «перестройки» (1985—1991) М. С. Горбачев и президенты Р. Рейган и Дж. Буш пытались преобразовать советско-американскую конфронтацию в партнерство — трансформировать конфронтационный вариант биполярности в кооперационный. Достигнуть этого мыслилось не через изоляцию конфликтных, а через расширение сферы совпадающих интересов держав — в чем и состояло функциональное отличие «второй» разрядки от «первой».

Наконец, к динамическому типу стабильности тяготеют связи в рамках некоторых обширных фрагментов постсоветского пространства — например, между Россией и Украиной, в отношениях между которыми потенциальная острота проблемы Крыма гасится осознаваемой обеими сторонами неприемлемостью конфликта. Этот пример в нашем тексте менее случаен, чем может показаться. Он интересен не своей замысловатой этнопсихологической и политико-правовой спецификой. Динамическая стабильность в отношениях между Россией и Украиной позволяет установить связь между общетеоретическими

дискурсами и спецификой Восточно-Азиатского региона. Она определяется присущим российско-украинским связям сочетанием динамического типа стабильности с относительно невысоким уровнем их структурной организации (неразвитость договорно-правовой основы отношений, превалирование неформальных и полуофициальных форм урегулирования трений, преобладание практического сотрудничества над его концептуализацией и т.п.). Случайно или нет, но именно такое сочетание, с поправками на региональную и историческую специфику, характерно для Тихоокеанской Азии. Но что важнее всего, к этому же типу отношений со второй половины 1990-х годов начинают эволюционировать отношения между Россией и США, в основу которых фактически уже легла формула «*agree to disagree*», т.е. формула устойчивых мирных разногласий, сохраняющихся в двусторонних отношениях, но не ведущих к отчуждению, враждебности и войне.

Примечания

¹ *Dewitt D. B.* The New Global Order and the Challenges to International Security // Building a New Global Order. Emerging Trends in International Security. Toronto; Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1993. P. 2.

² *Myers N.* The Environmental Basis of Political Stability. Ultimate Security. N.Y.; L.: W.W. Norton and Company, 1993.

³ Например, Линн Миллер, автор оригинальной исторической интерпретации проблемы поддержания мира в международных отношениях последних трех веков, во всех случаях увязывает отсутствие войн с «силовым равновесием» (*balance of power*). См.: *Miller L. H.* Global Order. Values and Power in International Politics. 3rd ed. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview, 1994.

⁴ *Тэйлор А. Дж. П.* Борьба за господство в Европе. М., 1958. Русский перевод книги давно стал библиографической редкостью.

⁵ Пример такого восприятия, сохранившегося до наших дней, — изданная в 1988 г. книга К. Голдмана с характерным противопоставлением в названии «Изменения и стабильность во внешней политике». См.: *Goldman K.* Change and Stability in Foreign Policy: The Problems and Possibilities of Detente. Princeton: Princeton University Press, 1988.

⁶ International Relations Theory. Realism. Pluralism. Globalism / Ed. by Paul Viotti and Mark Kauppi. N.Y.; L.: Macmillan Publishing Company, 1987. P. 51–52.

⁷ *Kissinger H.* Russian and American Interests after the Cold War // Rethinking Russia's National Interests / Ed. by Stephen Sestanovich. Washington: Center for Strategic and International Studies, 1994. P. 1, 3.

⁸ *Kennedy P.* The Rise and Fall of Great Powers. N.Y.: Random House, 1988. P. 534; *Doran Ch.* Quo vadis? The United States' Cycle of Power and Its Role in a Transforming World // Building a New Global Order. Emerging trends in International Security / Ed. by D. Dewitt, D. Haglund, J. Kirton. Toronto; Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 1993. P. 17.

⁹ *Morgenthau H. I. Politics Among Nations*. 6th ed. N.Y.: Knopf, 1985. P. 173.

¹⁰ *Taylor A. J. P. Bismark. The Man and the Statesman*. N.Y.: Vintage Books, 1967. P. 142.

¹¹ *The Papers of Woodrow Wilson* / Ed. by Arthur Link. Princeton: Princeton University Press, 1982. Vol. 40. P. 536.

¹² Рассмотрению роли России в этой связи посвящена одна из наших работ. См.: *Богатуров А. Д. Евразийский устой мировой стабильности // Международная жизнь*. 1993. № 2. С. 34–46.

¹³ *Miller L.* Op. cit. P. 50.

¹⁴ *Trachtenberg M. History and Strategy*. Princeton: Princeton University Press, 1991. P. 17–25.

¹⁵ В работах на русском языке эта доктрина разбиралась неоднократно. Многие из них сегодня неудовлетворительны в силу своей тенденциозности.

¹⁶ См.: *Schelling Th., Halperin M. Strategy and Arms Control*. N.Y., 1961; *Arms Control, Disarmament and National Security* / Ed. by Donald Brennan. N.Y., 1961.

¹⁷ На это, кстати, хотя и под существенно иным углом зрения, указывает и М. Трахтенберг, упрекающий основоположников «стратегической стабильности» в пренебрежении политическими аспектами принятия решений. См.: *Trachtenberg M.* Op. cit. P. 25.

¹⁸ Не злоупотребляя перечислением (библиография «стратегической стабильности» насчитывает сотни названий), сошлемся лишь на те работы, которые особенно явно акцентировали связь стабильности с безопасностью: *National Security and International Stability* / Ed. by B. Brodie, M. Intriligator, R. Kalkowicz. Cambridge (MA): Oelgeschlager, Gunn and Hain, 1983; *Stability and Strategic Defenses* / Ed. by Jack Barkennbus and Alvin Weinberg. Washington, D.C.: Washington Institute Press, 1989. Из недавних см. также: *Huth P., Russett B. General Deterrence between Encuring Rivals: Testing Three Competing Models // American Political Science Review*. 1993. March. Vol. 87. No 1. P. 61–73.

¹⁹ *East Asia Conflict Zones. Prospects for Regional Stability and De-escalation* / Ed. by Lawrence E. Grinter and Young Whan Kihl. N.Y.: St. Martin Press, 1987. P. 17.

²⁰ *Deutsch K., Singer D. Multipolar Power Systems and International Stability // Analyzing International Relations: a Multimethod Introduction* / Ed. by W. Coplin and Ch. Kegley. N.Y.: Praeger, 1975. P. 321.

²¹ *Ibidem.*

²² *Rengger N. J. No Longer a «Tournament of Distinctive Knights»? Systemic Transition and the Priority of International Order // From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s* / Ed. by Mike Bowker and Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 158.

²³ См.: *Richardson L. F. Arms and Insecurity*. Chicago, 1960. P. 67.

²⁴ *Waltz K. N. Theory of International Politics*. Reading: Addison-Wesley, 1979. P. 161–163. Взгляды К. Уолтца на стабильность были подвергнуты критике, опять-таки за их отвлеченность, Дж. Л. Гэддисом. См.: *Caddis J. L. International Relations Theory and the End of the Cold War // International Security*. Vol. 17. № 3. P. 5–57 (особ. p. 32).

²⁵ Более развернутому анализу такого понимания стабильности посвящена наша с К. В. Плешаковым специальная работа. См.: Динамика международной стабильности // *Международная жизнь*. 1991. № 2. С. 35–46.

²⁶ В общем виде на необходимость каким-то образом отразить в определении стабильности динамический момент системного развития указывали М. Каплан (*Kaplan M. The System Approach to International Politics // New Approach to International Politics / Ed. by M. Kaplan. N.Y.: Sharpe, 1968. P. 388*), а также О. Янг (*Young O. Political Discontinuities in the International System // World Politics*. 1968. April. Vol. 12. № 3).

²⁷ Любопытно, что Э. А. Поздняков, широко и вольно пользующийся термином «баланс сил», одновременно отрицает его «статическое содержание» и стремится придать ему «динамическую» интерпретацию. См.: *Поздняков Э. А. Философия политики*. Т. 2. С. 208.

²⁸ *Penland C. C. European Security After the Cold War // Building a New Global Order*. P. 64.

²⁹ *Sorensen Th. Rethinking National Security // Foreign Affairs*. Summer 1990. Vol. 69. No 3. P. 7.

³⁰ Последовал частичный структурный кризис, выразившийся в падении управляемости международных отношений. Но он оказался, пользуясь медицинским термином, вполне компенсированным. См.: *Богатуров А. Д. Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь*. 1993. № 7. С. 30–40.

³¹ Перу Г. Киссинджера принадлежит специальная работа о европейской стабильности XIX в. См.: *Kissinger H. A. A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problems of Peace*. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

³² *Miller L. Op. cit.* P. 29–32. Термин заимствован из экономической теории А. Смита и означал прежде всего отказ государства от вмешательства в экономическую жизнь. С этим принципом ассоциировалась «свобода торговли».

³³ *Ibid.* P. 30.

³⁴ *Bull H. The Anarchical Society. A Study Order in World Politics*. N.Y.: Columbia University Press, 1977.

³⁵ *Cooper R. Is there a New World Order? // Prospects for Global Order*. Vol. 2 / Ed. by Seizaburo Sato and Trevor Taylor. L.: Royal Institute of International Relations, 1993. P. 8.

³⁶ *Rengger N. J. No Longer a «Tournament of Distinctive Knights»? P. 146.*

³⁷ *Kissinger H. A. The White House Years*. Boston; Toronto: Little, Brown and Company, 1979. P. 55.

³⁸ Р. Купер в уже упоминавшейся работе о мировом порядке так же с определенностью указывает на объединение Германии в XIX в. как на рубежный этап в разрушении европейской стабильности и равновесия. См.: *Cooper R. Op. cit.* P. 9.

³⁹ *Kissinger H. A. A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace*. Boston: Houghton Mifflin, 1973.

⁴⁰ См. подробнее: *Богатуров А. Д., Плешаков К. В. Динамика международной стабильности*. С. 39.

⁴¹ Термин предложен К. В. Плешаковым.

⁴² *Gaddis J. L.* The Long Peace: Element of Stability in the Postwar International System // *International Security*. Spring 1986. Vol. 10. No 4. P. 99–142.

⁴³ Подробнее см.: *Богатуров А. Д.* Кризис миросистемного регулирования // *Международная жизнь*. 1993. № 7. С. 30–40.

⁴⁴ Эта работа (*Deutsch K. W., Singer J. D.* Multipolar Power Systems and International Stability) впервые опубликована в журнале «*World Politics*». В 1975 г. она была воспроизведена в доработанном авторами виде в кн.: *Analyzing International Relations. A Multimethod Introduction* / Ed. by W. Coplin, Ch. Kegley. N.Y.: Praeger, 1975. P. 320–337. Этот позднейший вариант и использован в книге.

⁴⁵ Наиболее часто цитируемая статья: *Waltz K.* The Stability of the Bipolar World // *Daedalus*. Vol. 13. 1964 (Summer 1964). См. также: *Waltz K.* *Theory of International Politics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

⁴⁶ Из наиболее комплексных см.: *International Relations Theory. Realism, Pluralism, Globalism* / Ed. by Paul Viotti, Mark Kauppi. N.Y.; L.: Macmillan Publishing Company, 1987; *Analyzing International Relations. A Multimethod Introduction* / Ed. by W. Coplin, Ch. Kegley. N.Y.: Praeger, 1975; *From Cold War to Collapse: Theory and Work Politics in the 1980s* / Ed. by Mike Bowker, Robin Brown. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

⁴⁷ Стоит отметить, что недооценка ядерного фактора у Уольца простиралась так далеко, что еще в 1981 г. он мог ставить вопрос о возможности приобретения ядерного оружия малыми странами ради стабилизации соответствующих подсистем региональных отношений — о чем не без сарказма напомнил Дж. Л. Гэддис в очередной своей интеллектуальной пикировке с Уольцем в начале 1993 г. См.: *Gaddis J. L.* *International Relations Theory and the End of the Cold War* // *International Security*. Winter 1992/1993. Vol. 17. No 3. P. 33.

⁴⁸ См.: *International Relations Theory. Realism. Pluralism. Globalism*. P. 52.

⁴⁹ *Gaddis J. L.* *Op cit.* P. 123.

⁵⁰ *Waltz K.* The Stability of the Bipolar World // *Daedalus*. Summer 1964. Vol. 13. P. 898–899.

⁵¹ *Waltz K.* The Emerging Structure of International Politics // *International Security*. Fall 1993. Vol. 18. No 2. P. 45.

⁵² См.: *Deutsch K., Singer J. D.* *Op. cit.* P. 321.

⁵³ *Huth P., Gelpi C., Bennet D. S.* The Escalation of Great Power Militarized Disputes: Testing Rational Deterrence Theory and Structural Realism // *American Political Science Review*. September 1993. Vol. 87. No 3. P. 619.

⁵⁴ Цит. по: *Keohane R. O.* *After Hegemony. Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton: Princeton University Press, 1984. P. 34–35.

⁵⁵ *Ibid.* P. 32.

⁵⁶ *Gilpin R.* *The Political Economy of International Relations*. Princeton: Princeton University Press, 1987. P. 73.

⁵⁷ *Nye J. S., Jr.* *Bound to Lead. The Changing Nature of American Power*. N.Y.: Basic Books, 1990.

⁵⁸ *Ibid.* P. 73.

⁵⁹ *Ibid.* P. 92, 104.

⁶⁰ Ibid. P. 94.

⁶¹ *Rengger N.* Op. cit. P. 150.

⁶² *Tanaka A.* Is there a Realistic Foundation for a Liberal New World Order? // Prospects for Global Order. P. 35.

⁶³ Эта точка зрения подробнее развита в работе: *Богатуров А. Д.* Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности // *Международная жизнь.* 1992. № 2. С. 5–15.

⁶⁴ См.: *Богатуров А. Д.* Плюралистическая однополярность и интересы России // *Свободная мысль.* 1996. № 2. С. 25–36.

⁶⁵ *Crockatt R.* Theories of Stability and the End of the Cold War // *From Cold War to Collapse: Theory and World Politics in the 1980s.* P. 61.

⁶⁶ Ibid. P. 66.

⁶⁷ *Gaddis J. L.* International Relations Theory and the End of the Cold War // *International Security.* Winter 1992/1993. Vol. 17. No 3. P. 38.

⁶⁸ Эта точка зрения была впервые изложена нами в научной печати весной 1991 г. См.: *Богатуров А. Д., Плешаков К. В.* Динамика международной стабильности. С. 35–46.

⁶⁹ Пример сходной логики рассуждений находим в статье российского исследователя В. Удалова «Баланс сил и баланс интересов» (*Международная жизнь.* 1990. № 5. С. 16–25).

⁷⁰ Убедительный анализ этой стороны американско-японского взаимодействия дан в докторской диссертации М. Г. Носова «Японский фактор в политике США, 1945–1990» (М.: Институт США и Канады РАН, 1991).

Глава 12

.....

«Синдром поглощения» в мировой политике*

Первое десятилетие в отсутствие горько-бесславно почившей в 1991 г. биполярности приблизилось к завершению. После недолгого этапа наступившего затем кризиса миросистемного регулирования, когда управлять миром по-старому державы уже не могли, а дирижировать им по-новому еще не умели, в международных отношениях с середины 1990-х годов утвердилось плюралистическая однополярность. Тон под ее сенью стали задавать США и теснее примкнувшие к ним «старые» члены «Большой семерки» — страны Западной Европы, Япония и Канада. Эта группа, умело взаимодействуя с ООН и используя «карту НАТО», за несколько лет между Дейтоновскими соглашениями (декабрь 1995) и операцией в Косово (май 1999) произвела в международных отношениях своего рода бескровный переворот, выстроив рядом с прежней системой мироправления, создававшейся вокруг ООН, новую вертикаль принятия и реализации решений («семерка» — НАТО). За неполные десять лет устоялся параллельный неформальный механизм международного регулирования, эффективность которого оказалась выше официального, ооновского.

Несмотря на остерегающие сетования Пекина и эхом отзывающиеся в Москве призывы к строительству многополярного мира, сообщество стран и народов сделалось еще более иерархичным. На вершине новой пирамиды утвердились США и их ближайшие союзники, которые стали энергично проецировать свое лидерство на разные уголки планеты, не особенно церемонно прибегая при необходимости к использованию силы. Наиболее развитые страны, преодолев колебания, спешно ринулись реализовывать исторический шанс для, пользуясь терминологией классика британской школы теории международных отношений Х. Булла, ускоренного преобразования «международной системы» в «мировое общество».

* Опубликовано в: Pro et Contra. 1999. № 4. С. 28—48.

1

Поясним некоторые термины. «Впечатав» в международный интеллектуальный оборот понятие мирового общества в конце 1970-х, Х. Булл считал, что на всех исторических периодах внутри *международной системы (international system)*, охватывающей все государства мира, существовало некое протоядро «международного общества» (*international society*). Разница между первым и вторым заключалась в том, что страны, входящие в «международное общество», в отношениях между собой руководствовались не только практическими интересами момента, но и некоторым более или менее общепризнанным кодексом поведения. Наличие его определялось существованием в отношениях между ними пласта всеми признаваемых и разделяемых нравственных ценностей. В качестве классического примера античного «международного общества» Булл считал совокупность греческих полисов. Он подчеркивал, что в международную систему того периода, помимо этих полисов, входили еще и негреческие государства — Персия и Карфаген¹. Рассматривая разные виды «международных обществ» («христианский» и «европейский»), Булл пришел к формулированию идеи «мирового международного общества» (*world international society*), по-прежнему четко отделяя его от совокупности всего «остального», что составляет международную систему.

Для ясности изложения важно уточнить словоупотребление. В Булловом значении «*world international society*» — букв., «мировое международное общество» — далее в предлагаемом анализе будет использоваться выражение «*мировое общество*», а вместо сочетания «международная система» (*international system*) мы предпочтем писать «*международное общество*». Первая замена подсказана чисто переводческой интуицией и связана с соображениями удобства для восприятия русским читателем. Вторая — значима содержательно. Свойственное Буллу видение международных отношений через призму системности было характерным и новаторским для 1960–1980-х годов. В 1990-х оно перестало казаться единственно адекватным достигнутому уровню методологии знания — во многом благодаря диффузии в науку о международных отношениях понятий и логики синергетики, подходы которой не укладываются в системное видение. Это побуждает избегать расширительного употребления слова «система»², тем более что, как будет показано ниже, *видение международных отношений как системы по меньшей мере не полно в отрыве от их рассмотрения в качестве глобального конгломерата*.

Ставшая достоянием читающей публики в 1977 г., но по достоинству оцененная только на рубеже 1990-х годов, в пору «перестройки», кон-

цепция Булла не имеет, конечно, статуса официального «догмата веры» для западных политиков. Но идеи ее автора, а еще более — их переосмысления позднейшими авторами представляются едва ли не ключевыми для понимания смысла сегодняшнего мирополитического процесса и основного противоречия современных международных отношений.

Несомненно, самого Булла прежде всего и в основном занимал вопрос не о структуре современного ему мира, а о правилах поведения государств на международной арене и о том, как эти правила действуют (в тех случаях, когда они действуют на самом деле). Взаимоотношения «мирового общества» и «международного сообщества» были для него вторичны. Совсем мало его волновал вопрос о перспективах и методах «преподавания» этих правил государствам, которые в силу каких-то причин (еще?) не вошли в круг индустриальных демократических стран, составляющих, по Буллу, немного идеализированный прообраз мирового общества, его ячейку в международном сообществе, из которой на весь остальной мир распространяются импульсы благотворного влияния, результатом которого в самом деле может быть постепенное распространение норм международного права в результате взаимодействия государств.

В картине мира, по Буллу, страны—носители сознания мирового общества составляли меньшинство, но они представляли передовую часть международного сообщества, обладая не только военно-техническим и экономическим, но и моральным превосходством, в значительной мере в силу принадлежности к демократической традиции. Естественно, что для мыслителя либеральной школы самодостаточная ценность этой традиции проверке сомнением даже не подлежала — подобно тому, как не подлежала таковой до 1991 г. «социалистическая перспектива» в Советском Союзе. Интеллектуальная ситуация, может быть, нормальная для западного сознания, избалованного десятилетним победоносным шествием либерализма, но озадачивающая в России, где здоровое аналитическое сознание привыкло беречь в себе способность к сомнению, помноженную на аллергию к истинам, его в этом не подтверждала опытом конкретных страновых и исторических условий. Вот почему русского читателя превосходная по стройности мысли и абсолютно анти тоталитарная концепция Булла обескураживает некоторыми логическими параллелями: вольно или невольно, «мировое общество» по Буллу воспринимается не чем иным, как «авангардом международного сообщества». Это звучало до грустно-комичного сходно с тем, как в качестве революционного авангарда рабочего класса в работах В. И. Ленина фигурирует коммунистическая партия³. Правда, так же как Ленин не считал

нужным «поднимать весь класс до уровня авангарда», Булл — к его достоинству — тоже, в сущности, не настаивал на распространении мирового общества на все сообщество наций.

Он справедливо полагал, что и в международном сообществе между странами может быть много общего — например, стремление избежать потерь в войнах и поэтому снизить вероятность самих войн. Но только в мировом обществе, настаивал Булл, государства спаяны глубокой приверженностью единым стандартам этики и морали. В мировом обществе войны как таковые, считал он, утрачивают смысл, поскольку они противоречат принципиальному настрою государств на уважение в отношениях друг с другом ценностей рационально понимаемых свободы, демократии и мира для каждого как условия процветания всех. Отсюда знаменито романтический вывод: демократии (по определению) не воюют (и не могут, не предназначены для того, чтобы воевать) между собой.

Булл в самом деле не помышлял об «экспорте мирового общества», т.е. о его взрывном распространении на весь мир, хоть и не исключал чего-либо подобного в принципе. Идея мировой пролетарской революции была, по-видимому, слишком отвратительна Буллу, чтобы он не постарался уберечь свою схему от вульгарного прозелитизма. Да и в целом дух его работы был преимущественно оборонительным: автор скорее стремился отграничить «авангард» мира от его «арьергарда», чтобы постулировать ценность избранности демократических стран, даже если она была избранностью меньшинства. (В подсознании звучат цветаевское возвышенно-трагическое «гетто избранничества» и одновременно — «снижающее» раннесоветское «лучше меньше, да лучше»⁴.)

Самозащитный пафос Булла соответствовал духу первой половины 1970-х годов с естественным для западного интеллекта шоком от поражения США во Вьетнаме (1973), с одной стороны, и дерзкой «нефтяной атаки» арабских стран на Запад (1973–1974) — с другой. В такой обстановке идея мирового общества ориентировала на ценность консолидации рядов развитых стран: раз демократии не воюют друг с другом, то они рождены для сотрудничества, которое и есть залог благоденствия — для «мирового общества» прежде всего, но и всех остальных тоже.

Хотя до «перестройки» Булл не дожил, его идеи, похоже, «оплодотворили» целое поколение писателей глобализации. Их интерпретации в силу изменившейся обстановки утратили оборонительно-мобилизующий настрой оригинала, обретя черты наступательности настолько, что в совокупности многообразные теории глобализации сегодня вызывают ассоциации не с «гетто избранничества», а с призраком «мировой либеральной революции» — зеркально отраженной и перекоди-

рованной сообразно реалиям конца XX в. коминтерновской химерой всемирной революции пролетариев.

Мировое общество, которое исходно мыслилось привилегированным клубом цивилизованных стран, после распада СССР и разворота постсоциалистических государств к сотрудничеству с Западом стало почитаться безальтернативной перспективой всего человечества, если только таковое не вознамерилось бы во вред себе предпочесть остаться за порогом райской обители индустриальных и постиндустриальных культурности и благополучия. Из вполне искренних побуждений странам международного сообщества стали предлагать поскорее «подрасти» до уровня мирового общества, обещая при этом помощь и поддержку, с одной стороны, и попугивая «все равно неизбежным» рано или поздно поглощением сверхмощной экономической машины Запада (вследствие глобализации) — с другой. Международное сообщество стало выглядеть как внешняя оболочка разбухающего ядра мирового общества, которую последнее должно неминуемо заполнить.

Концепция «расширения демократии», которую весной 1993 г. огласил помощник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк, стала политико-идеологическим обрамлением этико-теоретической платформы для практической реализации той интеллектуальной парадигмы, которая выросла на Западе из синтеза исходной идеи мирового общества и наслоившихся поверх нее концепций глобализации. Начало переговоров о расширении НАТО в 1997 г. и параллельное распространение на восток европейских интеграционных структур стали рубежными событиями с точки зрения осуществления того, что предначертали теоретики. *Распространение, экспансия мирового общества на планете стало главной тенденцией международной жизни 1990-х годов.* В Восточной Европе, на постсоветском пространстве, кое-где в Азии и вообще всюду, где это было возможно, стали культивироваться слабые и неустойчивые посттоталитарные плюралистические режимы рыночной ориентации, каждый из которых претендовал на звание демократического.

2

Экспансия (термин употребляется безоценочно, как синоним «распространения» и «расширения») мирового общества в сферу международного сообщества, конечно, не была результатом только мыслительных упражнений теоретиков и конъюнктурных побуждений политиков. Ее фундаментом во многом служили как материальные, так и виртуальные новации, обобщаемые в обыденном политологическом дискурсе

расплывчатым словом «глобализация»⁵. Этим неточным словом в литературе 1990-х годов обозначалось в различных сочетаниях по меньшей мере восемь основных взаимосвязанных тенденций и явлений:

- 1) объективное повышение проницаемости межгосударственных перегородок, выражающееся в феноменах «преодоления границ» и «экономического гражданства»⁶;
- 2) резкое возрастание объемов и интенсивности трансгосударственных, транснациональных потоков капиталов, информации, услуг и человеческих ресурсов;
- 3) массированное распространение западных стандартов потребления, быта, само- и мировосприятия на все другие части планеты;
- 4) усиление роли вне-, над-, транс- и просто негосударственных регуляторов мировой экономики и международных отношений⁷;
- 5) форсирование экспорта и вживления в политическую ткань разных стран мира тех или других вариаций модели демократического государственного устройства;
- 6) формирование виртуального пространства электронно-коммуникационного общения, резко увеличивающего возможности для социализации личности, т.е. для непосредственного приобщения индивида в пассивном или интерактивном качествах к общемировым информационным процессам, независимо от его местонахождения;
- 7) возникновение и культивирование в сфере глобальных информационных сетей образа всеобщей ответственности и ответственности каждого индивида за чужие судьбы, проблемы, конфликты, состояние окружающей среды, политические и иные события в любых, возможно, даже не известных человеку уголках мира;
- 8) наконец, возникновение «идеологии глобализации» как совокупности взаимосвязанных постулатов, призванных обосновать одновременно благо и неизбежность тенденций, «работающих» на объединение мира под руководством его цивилизованного центра, под которым так или иначе подразумеваются США и «Группа семи».

Простой обзор проявлений глобализации позволяет подразделить их на материальные (объективные) и виртуальные (манипуляционные). К первым относится все, что касается реального движения финансовых потоков и его обеспечения, трансферта технологий, товаров и услуг, массовых миграций и строительства глобальных информаци-

онных сетей. Ко вторым — содержательное наполнение этих сетей, распространение определенных ценностей и оценочных стандартов, формирование и продвижение предназначенных международному общественному мнению психологических и политико-психологических установок. Очевидно, «глобализация» — это не только то, что существует на самом деле, но и то, что людям предлагают думать и что они на самом деле думают по поводу происходящего и его перспектив.

Последнее уточнение представляется важным. В самом деле, если материальные проявления глобализации не вызывают сомнений, так как они ежечасно подтверждаются жизненной практикой, то ряд «выводов», формально апеллирующих к материальной стороне глобализации, не кажется ни безупречными, ни единственно возможным вариантом понимания действительности. Во всяком случае — в той мере, как об этом позволяют судить опыт и анализ ситуации на пространстве новых государств зоны бывшего СССР и в России, равно как и размышления о необходимости анализировать международные отношения, выходя за рамки милого (сердцам моего поколения), но уже недостаточного исключительно системного взгляда на реальность.

Из спорных постулатов теорий глобализации внутри российской политико-интеллектуальной ситуации наиболее сомнительными кажутся три:

- а) кризис и устаревание государства;
- б) модернизация и вестернизация как естественно предназначенный результат глобализации;
- в) «демократическая однополярность» как предпочтительный способ самоорганизации международной структуры.

3

Идея отмирания государства хорошо известна в отечественной традиции по трудам русских коммунистов и левых социал-демократов, заимствовавших представление о возможности замены старого государства «свободно самоуправляющимися» сообществами граждан из западноевропейских источников. Правда, с победой советской власти в России и возникновением «реального социализма» гипотеза отмирания государства была отодвинута в неопределенное будущее, а укрепление социалистической державы стало считаться важнейшей национальной задачей — как то было и при Романовых применительно к организму империи. Ситуация не менялась в принципиальном плане до конца 1980-х годов, когда руководство М. С. Горбачева вы-

нужденно и боязливо приступило к реформе государственной системы СССР. Речь пошла об изменении отношений компартии с государством и о модификации основ самой советской федерации.

Но попытка отхода от презумпции ценности государственных начал окончилась для СССР плачевно, хотя лично Б. Н. Ельцину циничная игра на антигосударственной волне принесла успех, позволив ему прийти к верховной власти в Российской Федерации в результате ее «отделения» в 1991 г. от СССР. Последовавшие за тем смутные годы всеобщей суверенизации и кризисов самоопределения (первая чеченская война 1996 г.), нестабильности государственных институтов (октябрьское восстание и обстрел Белого Дома в 1993 г.) инерционно проходили под знаком отрицания «старого» государства. Это оборачивалось отрицанием государства вообще и единого государства в частности, вплоть до формирования в сентябре 1998 г. правительства Е. Примакова, обозначившего поворот к возвращению видоизмененной государственных идеологии. Вторая чеченская война (1999) символизировала придание российскому государству воинственно-реставрационной формы. Страна стала возвращаться к опоре на сильное государство как все еще главному, хотя уже далеко не единственному и не монопольному инструменту защиты национальных интересов.

События 1998–1999 гг. в России позволили организационно оформиться тенденции, которая и до того выделяла ее на фоне европейских процессов. Для них в 1980–1990-х годах был характерен последовательный, добровольный и даже несколько самоистязательный (на русский и — в меньшей мере — на американский вкусы) настрой интеллектуалов и политиков на отрицание национально-государственных начал и идеализацию начал надгосударственных, интеграционных и регионалистских.

Западная Европа, присоединяя к себе, прежде всего в лице бывшей ГДР, Европу Центральную, готовилась к отречению от отдельных германского, французского, итальянского или британского государств ради консолидации коллективной субъектности Европейского союза, непосредственными участниками которого *вместе* (а со временем и *наряду*) с историческими государствами (Францией, Германией, Испанией и Соединенным Королевством) смогли бы стать сегодня входящие в них исторические области — Корсика, Савойя, Бавария, Страна Басков, Шотландия, а может быть, и вовсе новообразования в виде «трансграничных еврорегионов» вроде украино-русино-венгерских Карпат, австро-итальянского «Притироля», польско-германской Померании или — как знать — русско-литовско-польско-немецкой «Пруссии–Калининграда»⁸.

Таким образом, Европа, начавшая движение к превращению в современный мировой центр в результате революций национального самоопределения XIX в., прошла в нынешнем веке через порожденные национализмом войны 1914–1918 и 1939–1945 гг. Она это сделала, чтобы в конце XX в. снова столкнуться с угрозой национализма в условиях мира, благополучия и даже богатства. Реагируя на возобновление националистической угрозы «изнутри», западноевропейские интеллект и политическая воля стали вырабатывать собственный, точно учитывающий региональную специфику рецепт профилактики возобновившейся угрозы и управления вызревающим конфликтом. Отсюда почти ажиотажный интерес «евролибералов» к разработке темы «устаревания» национального государства, в форме «индуцированного невроза» распространяющийся в США и по всему миру⁹. Европейский проект казался поистине отважным и грандиозным, заставляя следить за попытками осуществить его не только с академическим интересом, но и с замиранием сердца: чему он научит Россию в случае своего успеха — и неуспеха тоже?

Смысл европейского рецепта — в попытке растворить проблему самоопределения отдельных этнических групп в интеграции всех европейских народов. Чем острее ощущают в Лондоне шотландскую и североирландскую угрозы, в Париже — корсиканскую, в Мадриде — каталонскую и басконскую, а в Риме — южнотирольскую и ломбардийскую, тем с большим нажимом политики соответствующих стран говорят об ускорении интеграции. В укреплении наднационального начала западноевропейские страны хотят видеть инструмент обуздания радикального самоопределения. Устремление понятное до тех пор, пока западноевропейцы работают над решением собственных проблем, и угрожающее, когда те же методы наднационального регулирования экспортируются за пределы «интегрированной Европы» — на Балканы или в зону бывшего СССР.

Стоит заметить, что теории глобализации с их безапелляционным акцентом на модернизационном векторе мировых тенденций, преодолении «отсталости» по известным лекалам, в сущности, предлагают в качестве универсальных образцы решений, выработанные из грандиозного, но и во многом специфичного опыта западного индустриального ядра. Когда речь идет о пропаганде такого опыта и его воздействии на умы через демонстрацию собственной привлекательности, места для возражений нет. Но если речь идет о насаждении стандартов «мирового общества» силой, то следует называть вещи своими именами и заключать, что форсированные попытки исходить из «вторичности» и ненужности государственного суверенитета там, где забота о его укреплении объективно является главной задачей момента, влекут за

собой кровавые конфликты. Пример насильственного проецирования стандартов мирового общества на не входящие в него, хотя и «приграничные», зоны — ситуация на Балканах.

Понятно, что европейские лидеры болезненно воспринимают обострение проблем самоопределения в этой части мира, потому что из западноевропейских столиц она видится ближайшим периметром границ и естественной сферой влияния «Большой Европы» — почти в точности так же, как именно таковыми считает зону СНГ (как теперь уже явно) большинство российской элиты. Но типологически «не-интегрированная» Европа существенно отличается от «интегрированной». Дело не в коммунистических стереотипах ее лидеров. Отказавшийся от коммунизма покойный хорватский президент Туджман ни в теории, ни на практике ничем не отличался от «условно коммунистического» сербского президента Милошевича, но Хорватию произвольно зачислили в партнеры Запада, а из Сербии сделали изгоя из-за того, что в Косово она пыталась сделать как раз то, что Хорватия при поддержке Запада на несколько лет раньше сделала в Сербской Краине. Но Хорватия и Сербия дрались, не жалея себя, за то, что они считали самым главным, за свое новое государственное «я», с точки зрения которого либеральные трактаты об отмирании государства как об общемировой тенденции казались лишь вычурным конструктом утомленного сытостью интеллекта.

Со стороны западноевропейских стран разумно спешить в «над-Европу», готовя теоретическую и политико-идеологическую почву для грядущего слияния: *во-первых*, фрагментация существующих государств «старой» Западной Европы для западноевропейцев — вполне реальная угроза, на которую они должны реагировать; *во-вторых*, Западная Европа созрела для «преодоления» традиционной государственности, пройдя перед этим с 1870 по 1945 г. через три изнурительные войны (франко-прусскую и две мировые), которые как раз и были борьбой за окончательное оформление системы европейских национальных государств.

Большинство новых государств Юго-Восточной, Восточной Европы и зоны бывшего СССР испытывает не столько страх перед национализмом, сколько благодарность к нему как основной движущей силе возникновения этих государств на карте мира. Ни одна из таких стран, включая Россию, не имела западноевропейского опыта «пре-сыщения» государственностью и «усталости» от нее. Из недр российской жизни западноевропейские предписания о желательности «преодолевать» государственность через интеграцию и регионализацию кажутся просто либерально-утопическим аналогом провалившейся советской концепции развития отсталых обществ из средневековья не-

посредственно в современное индустриальное общество («социализм» и «коммунизм»), минуя промежуточные стадии рыночных отношений и начального промышленного производства. Даже в новой России, выкарабкавшейся из-под обломков Союза, ощущается страх перед новой эскалацией территориального распада — на него-то и среагировала в 1999 г. российская элита, попытавшись — возможно временно — вернуться к идее укрепления государственности.

В принципе, теоретики упрекают государство справедливо. *Во-первых*, они выражают сомнения в нужности государства в условиях, когда каждый гражданин в отдельности может непосредственно обратиться для защиты своих интересов в международные правозащитные, судебные и другие органы — от Международной амнистии до Международного суда. *Во-вторых*, в условиях внутренней устойчивости на западе Европы убедительно звучали слова о необходимости защищать не всепоглощающее налоги государство от людей, а людей от всемогущего бюрократизированного государства. *В-третьих*, в современных условиях надгосударственные и трансгосударственные субъекты (международные финансовые институты и многонациональные корпорации, МНК) в самом деле обладают ресурсами, намного превосходящими возможности большинства государств, и поэтому суверенитет последних, во всяком случае экономический, становится фиктивным. Наконец, *в-четвертых*, как отмечают исследователи, «обычное» государство утрачивает способность регулировать межэтнические отношения, проблемы которых, как предполагается, могут быть лучше разрешены в рамках надгосударственных общностей.

Вряд ли кто-либо взялся бы всерьез спорить по сути любого из этих замечаний. Эти и другие пороки государства очевидны и россиянам. Но в России иным остается соотношение потребностей в защите граждан *от* государства и защите граждан *при его помощи*. Найти управу на произвол российского чиновника хоть и с трудом, но можно хотя бы и в Гааге (в Москве выросла целая агентская сеть по оказанию гражданам соответствующей помощи). Но как с помощью санкций извне России защитить от изгнания из родных домов, похищений людей, взрывов, террора и рэкета жителей Ставрополя, Ростовской области и даже Москвы?

Там, где ситуация остается нестабильной и опасной, идея отмирания государства не имеет под собой почвы. Ослабление государственного начала в России угрожает распадом страны. Игнорировать эту опасность в конце 1990-х годов не решаются даже и убежденные радикал-демократы. Не случайно откровенно прозападный по приоритетам Союз правых сил (СПС) России — преемник демократического

движения начала 1990-х годов — осенью 1999 г. в политическом плане решительно перешел на государственнические позиции, в экономическом отношении продолжая отстаивать идею свободного рынка.

Не менее показателен опыт стран СНГ и большей части восточно-европейской зоны бывшего социалистического лагеря, где преобладает тенденция не к «преодолению» государства, а к его всемерному усилению, как правило, в интересах силового регулирования внутренних гражданских отношений (Хорватия, Сербия, Румыния, Латвия, Эстония, Беларусь, Грузия, Казахстан, государства Средней Азии), противостояния гипотетической или реальной внешней угрозе (Албания, Македония, Армения и Азербайджан) и задачам социально-экономического и политического развития (Украина). Наконец, абсолютно для всех перечисленных государств наступательная государственническая философия политики является инструментом утверждения (часто избыточного) новой идентичности. Надо ли искать новые аргументы для констатации: важнейший постулат глобализации — «одоление» государства надгосударственностью — по своему значению остается локальным, и для огромного пространства Евразии к востоку от Словении, Венгрии и Польши — равно как и, заметим, той части Североамериканского материка, которую занимают Соединенные Штаты, — его применимость вызывает больше сомнений, чем понимания.

4

Как и расхожее объяснение неместимости международных реальностей в русло теорий глобализации посредством отсылки «просто» к фактору исторической асинхронности — отставания России и связанной с ней поясной зоны Центральной Евразии от опережающе развивавшихся ареалов Западной Европы и Северной Америки. Рискнем усомниться в обоснованности глобализаторских построений с методологических позиций.

Очевидно, что при всей мощи внешнего демонстрационного эффекта теорий глобализации, они исходят из единственной версии понимания мирового развития — линейно-прогрессивной. Если полагаться на нее, то действительно следует ожидать, что «отставшие» страны со временем «подтянутся», просветятся, избавятся от ненужной (?) архаики традиций, осовременят себя по образу и подобию передового Запада. Так они подготовятся к «вхождению-интеграции» в мировое общество. При таком взгляде трудно возражать против «естественной обреченности» всего мира рано или поздно стать «сплошным Запа-

дом», а международного сообщества — мировым обществом. Не придется сомневаться и в надежности нынешней однополярной структуры международных отношений, которая объективно наилучшим образом приспособлена для содействия распространению импульсов глобализации в ее вестернизаторской версии.

Всякая теория склонна к упрощениям, и глобализаторская — не исключение. Так, на языке структурных понятий краеугольный постулат глобализации о перспективе общего уподобления постиндустриальному западному обществу строится на понимании связей между субъектами как связей жестких и лучевых. Имеется в виду, что такие связи проникают повсюду и все видоизменяют на своем пути. Им и отводится роль инструмента унификации мира, формирования в нем единообразных пластов социальной, международной и иной реальности (общие стандарты потребления, поведения и быта, единые ценности, сходные политические практики, модели поведения и родственные художественные вкусы).

Но распространение импульса по лучу — не единственный возможный тип связей в социальной и международной среде. Связи не обязательно должны быть жесткими, пронзающими и лучевыми, они могут на деле оказываться мягкими, гибкими и опоясывающими. Значит, передаваемое через них воздействие не обязательно будет «вонзаться вглубь», а может растекаться по поверхности, вдоль внешних мембран-оболочек объекта — как оно и происходит в действительности. Конечно, и через мембраны-оболочки видоизменяющие импульсы могут просачиваться внутрь, оказывая свое влияние, но только медленно, постепенно, дозированно и — в меру большей или меньшей проницаемости мембран. Внешние импульсы смогут воздействовать на внутренние структуры объектов, но не обязательно сумеют радикально изменить их, уподобляя источнику первичного импульса.

Следуя такой логике, не входящие в «гетто избранничества» мирового общества страны (Россия в том числе), испытывая воздействие внешнего мира, не обязательно должны поддаваться ему настолько, чтобы видоизменялась их (геополитически, культурно-традиционалистски и исторически) заданная сущность. Причем они могут избегать уподобления, не отказывая себе в прагматическом использовании тех или других благоприятных элементов внешних воздействий, допуская их в одни и не допуская в другие секторы своей внутренней жизни. Так, Япония и Корея, освоив западные стандарты бизнеса, не позволили внешним влияниям разрушить традиционные модели производственного поведения японцев и корейцев (отношение к работе

как к сакрализованному долгу; соотношение потребления и отдыха, с одной стороны, и накопления и трудовых занятий — с другой, в пользу последних). Более того, сумев найти оптимальные сочетания новаций и архаики, эти страны сами приобрели черты новой субъектности в смысле способности служить образцом подражания для западных обществ, которые в этом смысле стали реципиентами влияния.

Общества, исторически сложившиеся в относительной удаленности от «мирообщественного центра», которые и были объектами приложения усилий модернизаторства (цивилизаторства, глобализаторства), развили в себе особую внутреннюю структуру, которая позволяет успешно совмещать новое (современное) и архаичное (традиционное), не позволяя ни тому, ни другому уничтожить друг друга. Подобная структура представляет собой *конгломерат* одновременно и архаичного, и современного, каждое из которых образует в обществе отдельный анклав¹⁰.

Анклавы сополагаются рядом и влияют друг на друга, но не сливаются, не образуют общего однородного качества через традиционную (для любезной марксистам диалектики) цепочку: разрушение исходных качеств — слияние-сплав — синтез и образование нового свойства. Анклавы устойчивы — потому что они устойчиво востребуются обществом на протяжении исторически весьма продолжительных периодов, каждый — в своем исключительном качестве. Поэтому три века модернизации России так и не сделали (и не могли сделать!) ее «современной» в западном смысле слова, хотя и позволили ей развить в себе обширный анклав «современного», который продолжает сосуществовать наряду с еще более масштабным анклавом традиционного типа неформальных общественных отношений, быта, моделей экономического и политического поведения.

Конгломератная структура (которая типична для России, большинства других так называемых переходных обществ восточноевропейского и постсоветского ареалов, Китая, Индии, Японии и целого ряда других незападных государств) сама по себе не обрекает общество на отставание и застой. Она может быть превосходно приспособленной для восприятия новаций. Просто новации воспринимаются каждым анклавом в отдельности, и сообразно тому каждый из них изменяется в пределах собственной структуры. Общий накопленный потенциал новаций в обществе при этом увеличивается, но его дву- (или много-) анклавная структура не разрушается, и соотношение между пластами обоих анклавов остается более или менее устойчивым.

Поэтому «человеческий фактор» — феномен по определению архаичный — в отношениях между российскими губернаторами и чле-

нами федерального правительства сегодня не тождественен отношениям между приказными дьяками и просителями времен Алексея Михайловича, хотя в обоих случаях эти отношения вполне архаично регулируются не столько писаным законом, сколько неформальными связями и симпатиями-антипатиями, апеллирующими к землячеству, родству, знакомству, совместному обучению на ранних этапах карьеры, принадлежности к клубам и гласным и негласным объединениям по интересам.

Точно так же «современные» по критериям своего времени методы бюрократического управления при Петре Великом отличаются от сегодняшних процедур прохождения документов для регистрации новых общественных организаций в Минюсте РФ. Но методы круговой обороны чиновников перед и сегодня бесправными просителями-гражданами принципиальных изменений не претерпели, и фактический механизм преодоления бюрократических тупиков зависит от наличия или отсутствия у заявителя каналов неформального воздействия на разрешающую инстанцию так же, как и триста лет назад. Чиновнику выгодно выступать носителем «современного», агитируя в соответствии с новыми законами в пользу избрания «своего» депутата в законодательное собрание, и здесь он ведет себя «современно». Но ему не выгодно обеспечивать прозрачность прохождения через его ведомство тех или иных бумаг, и он ведет себя «традиционно», вымогая, например, мзду с очередного просителя.

Примеры легко умножить. Для нашего рассуждения важнее зафиксировать: общество и элита нуждаются в современном и архаичном в равной мере, и до тех пор, пока это будет мотивировано подобным образом; «многокамерная», конгломеративная структура общества не изменится, как она принципиально не изменилась в структурном плане за последние три столетия. По этому поводу можно сокрушаться или ликовать, но нельзя и дальше исходить из того, что «скоро» все станет по-другому. Думается, один из главных недостатков современной российской политологии состоит в том, что она снова задержалась на (продолжающемся много лет) этапе изучения зарубежных наработок. Позабыв о необходимости наряду с освоением западных открытий углубленно изучать фактическое развитие российской действительности такой, какая она есть, мы затем на базе накопленного материала стремимся прийти к обобщениям, способным уточнить и дополнить в ряде существенных положений и зарубежные теории.

Можно ли считать, что современные международные отношения имеют анклавно-конгломеративную структуру? Отвергать эту версию

лишь потому, что образованное сознание привыкло полагать иначе, нет оснований. Как нет их для того, чтобы считать единственно возможным понимание единства мира как единства системного, основанного на представлении о жесткой внутренней взаимосвязанности образующих систему элементов и ее тяготении к однородности в силу действия внутрисистемных связей по мере движения по шкале линейного времени.

Ни практически, ни теоретически мир не утратит цельности, отказавшись от линейно-прогрессивного *credo*. Движение-развитие, как хорошо известно в том числе благодаря работам по синергетике, может происходить по колебательным, спиралеобразным и даже более сложным траекториям. С точки зрения не линейного, а спиралевидно-циклического взгляда на историю, например, легко объясняется устойчивый рост безграмотности среди определенных категорий населения в постиндустриальных США и новой посттоталитарной России.

Взгляд на мир как на конгломерат взаимодействующих, но не обреченных на взаимное уподобление (*через фактическое поглощение одного другим, не-Запада Западом*) анклавов представляется адекватным живой реальности. От «обратно-идеологизированного» видения мира через призму глобализации-вестернизации конгломеративный подход отличается в трех отношениях.

Во-первых, он органичнее сочетается с фактическим многообразием мира, находя естественное структурное местоположение и функцию для западных и незападных его составляющих. Мир перестает, как сегодня, делиться на «Запад» и «недо-Запад», который должен стать Западом, но еще этого не сделал в силу неразумия, «отсталости» и злонамеренного, посткоммунистического упрямства.

В идеале мир-конгломерат предстает состоящим из нескольких равноположенных частей-анклавов, не похожих и не стремящихся походить друг на друга, но взаимно влияющих и взаимно приспособляющихся. Причем «по поверхности» в таком мире на самом деле постепенно формируется общий стабилизирующий пласт разделяемых всеми ценностей (мира, например). Но внутренняя организация каждого анклава не разрушается только потому, что ситуативно анклав (в данном случае — анклав мирового общества) более выгодно (экономически, экологически, ресурсно) максимально быстро освоить пространство расположенных рядом других анклавов, хотя бы и ценой видоизменения-разрушения последних.

Во-вторых, достоинством анклавно-конгломератного видения является его миролюбивый, примирительный характер, контрастиру-

ющий с воинственностью теорий глобализации, с их нескрываемой ориентацией на поглощение «отсталого» — «передовым» и подразумеваемой борьбой цивилизационных разностиц за выживание. Анклавно-конгломератный взгляд избавляет от необходимости исходить из неминуемости нового мирового антагонизма и намечает пути его предупреждения через отказ от форсирования попыток модернизации — даже и движимой благородным побуждением поделиться лучшими стандартами политического устройства, хозяйствования, потребления и быта.

В-третьих, предлагаемый в работе взгляд по сути дела является вариантом средоохранной (и в этом смысле экологической) рационализации. Он представляет оппозицию инструменталистско-преобразовательскому подходу мирового общества к международному сообществу как среде своего обитания и призывает считаться с ней как с равнозначной составляющей международных отношений, а не как с бессильным объектом «мирообщественных» устремлений. Миру, может быть, стоит помедлить, чтобы лучше понять, куда ведет вектор постиндустриализма и устойчивого развития на базе расширенного потребления ресурсов и ценой обеднения культурно-духовного многообразия планеты.

Анклавно-конгломеративный подход по-своему, несомненно, воплощает идею целостности мира. Он строится на представлениях о наличии в планетарном организме единых естественно-материальных закономерностей, задающих некоторые общие параметры поведения человеческой общности в целом. Но он противостоит попыткам представить единственный, хотя и соблазнительный с позиций современной культуры потребления, вариант рационализации этого поведения в качестве высшего достижения людского интеллекта.

Объективно современная рациональность с сопутствующим ей типом конкретизации понятий добра и зла неразрывно связана с ресурсопоглощающим, потребительским отношением к среде — социальной, страновой, межстрановой и т.п. Продление этого вектора развития, в пользу которого работают колоссальные материальные интересы и сверхмощные движущие силы МНК, переросшие страновые рамки, — наиболее вероятная перспектива. С этой точки зрения теории глобализации выполняют вполне прикладную роль, они обосновывают наименее затратные пути бесконфликтного расширения природной базы такой модели роста. Однако ресурсоемкий тип развития устаревает, и природно-ресурсный — прежде всего экологический — кризис на планете может неожиданно ускорить этот процесс.

5

Возможно, западным политикам такой оборот событий кажется более реальным, чем они любят в этом признаваться. Во всяком случае, очевидно, что Запад спешит, торопится использовать ту ситуацию, которая сложилась в международных отношениях на рубеже нового века, и закрепить за собой наиболее благоприятные позиции в мире на будущее, по крайней мере, двадцать—пятьдесят лет. Обзор зарубежной литературы убеждает, что в целом Запад удовлетворен положением международных дел и намечающаяся фронда Китая, России, Индии и, возможно, каких-то еще меньших стран его не слишком пугает. США, как отмечают с подкупающей откровенностью американские коллеги, добились решающего преобладания над всеми своими соперниками и ныне смело проводят «ту же самую стратегию достижения превосходства, которой они следовали с 1945 по 1991 г.»¹¹. Если говорить о мнениях западноевропейцев и японцев, то они вполне довольны «просвещенным авторитаризмом» американского лидерства в мире, но опасаются, что США «могут увлечься» и перестанут считаться с мнениями своих более слабых, но в общем очень лояльных к Вашингтону партнеров¹². Между тем извне мирового общества картина кажется менее умиротворительной. Гармонию нарушает прежде всего несоответствие методов и процедур управления современными международными отношениями их объективной природе.

Действительность 1990-х годов обнаружила ряд важных закономерностей. *Во-первых*, изменилась и продолжает меняться структурная конфигурация мира. После распада биполярности в 1991 г. условно биполярным мир можно считать только в военно-силовом отношении, да и то при понимании асимметрии возможностей США и России как двух составляющих этой конструкции. Хотя США остались единственным комплексным лидером, мир не приобрел черт классической однополярности. Новый полюс оказался «плюралистичным», и его функции приняли на себя вместе с США шесть других старых членов «Группы семи», среди которых Соединенные Штаты, конечно, являются партнером, «более равным, чем остальные». Эти страны фактически образовали орган политического управления мировым обществом, а в той мере, как последнее задает тон обстановке в международном сообществе — то и орган мироуправления вообще.

Во-вторых, не успев окрепнуть, однополярная структура мира стала испытывать значительное давление со стороны дебютировавших в 1990-х годах в роли глобальных игроков Китая и Индии, первый из которых резко нарастил свои экономические и военные возможности,

а вторая, вопреки сопротивлению «старых» великих держав, прорвалась к обладанию ядерным оружием (одновременно с Пакистаном). От этого существенно изменилось соотношение военно-стратегических возможностей в Центральной Евразии.

И Индия, и Китай, но прежде всего последний, обнаружили беспокойство по поводу негласного стремления США начать подготовку для возможного в будущем распространения зон влияния НАТО глубоко в центр Евразии посредством избирательного подключения к системам паравоенного сотрудничества с альянсом центральноазиатских государств и России. Ответным шагом Китая, исходившего из желания помешать дрейфу Москвы к Западу, была попытка предложить России декларативный «антиоднопольярный пакт», который и был заключен в 1996 г. в форме российско-китайской Декларации о многополярном мире, трактовки которого российской и китайской сторонами носят антизападную направленность.

Хотя по фактическому значению российско-китайское сближение, улучшение китайско-индийских отношений и оживление российско-индийских связей не дают оснований говорить о становлении в мире многополярной структуры, можно констатировать, что в рамках однополярности уровень централизованности принятия и реализации решений стал ниже, чем он был в условиях биполярности 1945–1991 гг., и продолжает понижаться за счет «рассеянной фронды» по отношению к Западу со стороны арабо-исламского мира, а также активно акцентирующих субрегиональные аспекты своей политики стран Латинской Америки. Есть основания полагать, что, оставаясь «плюралистически однополярным» по методам управления, мир становится одновременно все более децентрализованным, фрагментарным.

В-третьих, реагируя на децентрализацию, в которой старые члены «семерки» увидели вызов своему влиянию, Запад с 1996 г. ужесточил свою политику. Были приняты меры для переобоснования американского присутствия в Европе при видоизменении его материально-технических основ (сокращение американских контингентов и вывод ядерного оружия). Начались широкомасштабные мероприятия по выдвиганию передовых рубежей безопасности НАТО к востоку (Венгрия, Польша, Чехия), дважды апробировались натовские механизмы кризисного принятия решений по военным вопросам и непосредственного использования вооруженных сил Альянса в наступательных целях — т.е. за пределами национальной территории государств-членов.

Действия НАТО, в свою очередь, оказали провоцирующее воздействие на другие государства, в числе которых Россия впервые пос-

ле провозглашения независимости прибегла к целенаправленному применению силы на Кавказе, возобновив осенью 1999 г. регулярные боевые действия против мятежа в Чечне, вожди которого попытались распространить зону своих террористических акций на сопредельный Дагестан. В мире произошло понижение порога применения силы, и вооруженные конфликты перестали рассматриваться в качестве экстраординарных явлений.

В-четвертых, произошел серьезный концептуальный сдвиг в понимании того, что является и что не является элементами международного порядка. После «третьей и четвертой» балканских войн в Боснии и Косово произошел фактический, хоть и не формализованный, отказ мирового общества от принципа разрешительности (*lasser-faire*), считавшегося системообразующим со времен Вестфальского мира 1648 г. и предусматривавшего неограниченную свободу суверенных государств в вопросах внутренней политики в пределах, не угрожающих непосредственно безопасности других стран.

После войны в Косово, когда страны НАТО вмешались во внутренние дела Сербии, не граничившей ни с кем из членов Альянса, стало ясно, что «Группа семи» фактически приняла к руководству новую доктрину международного порядка — доктрину «избирательной легитимности». В соответствии с ней страны НАТО присвоили себе право самостоятельно определять параметры легитимности действий суверенных правительств в вопросах внутренней политики и самые пределы государственного суверенитета других государств. Отход от устоявшегося принципа упорядочения международных отношений стал возможен на фоне военного превосходства НАТО над странами, выступающими потенциальными объектами политики «избирательной легитимности». От этого в международной политике возрос потенциал недоверия и конфликтности.

И все же, несмотря на противоречивый характер развития, *есть основания полагать, что в 1990-х годах в целом в мире утвердился новый международный порядок*. Для такого вывода есть необходимые основания. *Во-первых*, появился — плохой или хороший — принцип «избирательной легитимности», которым фактически начинает руководствоваться международное сообщество под давлением «Группы семи». ООН и другие международные организации все чаще в каждом отдельном случае рассматривают вопрос о «законности» или «незаконности» политики конкретных правительств государств мира. Расширяется и закрепляется практика принятия практических шагов (санкций, разнообразных форм парасиловых и силовых интервенций) на основе результатов таких обсуждений. Раз за разом создаются прецен-

ты нарушения классической нормы невмешательства во внутренние дела суверенных государств — эта новая черта, несомненно, является одной из основных характеристик современного международного порядка. *Во-вторых*, существует ясное соотношение сил и возможностей, которое определяет четкую иерархию стран в мировой политике. Все более или менее хорошо понимают, какие государства и группировки занимают верхние ступени пирамиды и какие теснятся у подножья. *В-третьих*, большинство стран мира, соглашаясь или не соглашаясь с фактическим положением дел, принимает его в расчет и соответствующим образом строит свою международную политику. *В-четвертых*, в мире существует согласительный механизм — пусть слабый и несовершенный — в лице ООН, с помощью которого фактические демиурги главных международных решений могут при желании устранять наиболее конфликтные несоответствия в ходе реализации попыток мирового общества руководить международным сообществом. *В-пятых*, по крайней мере отчасти, институты реального (неформального) регулирования международных отношений в лице «семерки» остаются полуоткрытыми — в них формально может участвовать Россия, к которой (об этом уже ведется речь) может в будущем присоединиться Китай. И хотя сомнительно, чтобы новые члены группы могли скоро сравняться со старыми, их взаимодействие в рамках этой конструкции лучше отсутствия диалога и откровенной разобщенности. Скверное управление миром не хуже отсутствия управляемости вообще, хотя это и недостаточное утешение: однополярность, может быть, и предпочтительнее по сравнению с химерами многополярного мира с его неизбежным тяготением к большим войнам, но она неорганична в том смысле, что не соответствует объективной структуре мира. В этом может оказаться одна из причин ее недолговечности.

Нынешний порядок не кажется надежным. Слишком многие страны отчуждены от участия в его регулировании, и слишком откровенно его поборники полагаются на силу. Концепция «избирательной легитимности» в этом смысле не внушает оптимизма, так как игры, в которых участники меняют правила по ходу игры, редко кончаются ко всеобщему благу. В стремлении Запада устанавливать правила, полагаясь на свой интерес, состоит главный риск современной ситуации. Она терпима в той мере, в какой ведомые мировым обществом остальные члены международного сообщества не имеют ресурсов сопротивляться или полагают, что неудобства пребывания в положении младших партнеров лучше других мыслимых альтернатив. Но эта ситуация противоречит структуре мира-конгломерата. В этом смысле она искусственна и уязвима.

Современный порядок не благоприятен для России, роль которой в процессе как его складывания, так и регулирования пассивна и ограничена. Россию учитывают в мировом раскладе — в силу ее огромного геополитического потенциала и остаточной военной мощи. Но, отдавая должное ее потенциальным возможностям, партнеры в равной мере учитывают ее неспособность эффективно распорядиться имеющимися ресурсами. Сформулировать надо цели, отвечающие ее реальным потребностям. Одновременно сформулировать потребности в соответствующих ресурсах, включая организационные ресурсы, характеризующие способность правительства сосредоточить средства национальной мощи на приоритетных направлениях.

В силу геополитической природы Россия как страна с преобладанием пространственно-ресурсного, а не инструментально-преобразовательского начала является хрупким образованием. Нынешняя формула включения в экономико-производительную сферу мирового общества в краткосрочной перспективе способна обеспечить рост материального благосостояния ее населения, как она и сегодня обеспечивает рядовым россиянам уровень жизни более высокий, чем у граждан безресурсных Болгарии, Грузии или Армении. Смущает не роль сырьевого приростка более развитой части мира, а отсутствие свободы решить, хочет ли страна быть таковым, накапливая богатство в зарубежных банках, или она предпочтет тратить ресурсов меньше, держать деньги дома и жить богаче, чем по среднесоветским, но скромнее, чем по среднезападным стандартам затрат и потребления.

Втиснутая в нынешний мировой порядок Россия не только не выбирает, но даже теоретически не осмысливает издержки и преимущества альтернативных выборов. В нынешних российских условиях свобода выбора условна.

* * *

Рубеж веков отмечен десятилетием самого успешного в XX в. этапа экспансии мирового общества в отдаленные и закрытые для внешних влияний уголки планеты. Восемь десятилетий споров, войны, сотрудничества и интеграции спаивавшее себя демократическое ядро международного сообщества с выгодой использовало эпохальный шанс распада биполярности и сделало рывок к преобразованию международного сообщества в мировое общество планетарно-вселенского масштаба.

Но прошедшие годы обнаружили и определенную исчерпанность ресурса исходных ожиданий. Постулировавшаяся долгие годы упрощенная

картина мира, источником «неправильного» развития которого считалось идеологическое противоречие прежних, политико-идеологических, Запада и Востока, обнаруживает свою неполноту. Реальный мир, не утративший единства, стал проявлять себя организмом, склонным развиваться не только по законам линейного восхождения. Избавившись от страха быть втянутыми в ядерную схватку между двумя супергигантами, страны мира стали обращаться внутрь себя, осмысливая и пытаясь капитализировать внутренние культурно- традиционные, социальные и иные ресурсы, в которых многим из них видится шанс стать более конкурентоспособными перед растущим давлением-соблазном «стать частью Запада».

Ставшая более заметной, эта тенденция в случае ее нарастания способна затормозить глобализацию, по крайней мере в ее поверхностных, скоротечных формах уподобления культурных, бытовых и поведенческих стандартов. И хотя, не будучи концептуализированной и не обретя организационно-политической институционализации, эта тенденция вряд ли сможет приостановить глобализацию как таковую, она кажется способной ограничить влияние глобализационных импульсов, которым для сохранения прежних параметров влияния придется искать не просто более изощренные, но и более адекватные формы воздействия — прежде всего в смысле их совместимости с интересами государств, объективно ощущающих себя главным образом объектами международного влияния. Как долго может сохраняться вектор таким образом направленного развития? Ответить на этот вопрос — захватывающе масштабная задача, встающая перед современным аналитиком международной реальности.

Примечания

¹ *Bull H.* The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics. N.Y.: Columbia University Press, 1995. Ch. 1, 2. P. 3–50, особ. P. 36, 39.

² Из отечественных журналов гуманитарного направления лидерство в обсуждении синергетики принадлежит «Вопросам философии». См., напр., серию статей на эту тему в № 3 упомянутого журнала за 1997 г. Из российских методологов международных отношений пионером в практическом использовании аналитических возможностей синергетики является М. А. Чешков. См. его обобщающий свод «Глобальный контекст современной России. Очерки теории и методологии мироцелостности» (М.: МОНФ, 1999). В этом же ряду можно назвать Л. Я. Бородкина, который, однако, работал преимущественно на материале исторических исследований.

³ *Ленин В. И.* Что делать? // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 6 (раздел Д).

⁴ *Цветаева М.* Поэма конца // Сочинения. Т. 1. Стихотворения. Поэмы. Драматические произведения. М.: Художественная литература, 1980. С. 393.

⁵ В отечественной литературе проблематика глобализации стала обсуждаться с отставанием по меньшей мере на 2–4 года по сравнению с Западом. Сегодня на страницах российских изданий представлены по крайней мере три типа публикаций — переводные статьи иностранных авторов, фактически являющиеся их адаптированными вариантами работы русских по происхождению авторов, постоянно работающих за рубежом, и публикации собственно российских исследователей, которые стремятся посмотреть на глобализацию через призму отечественных экономических и политических реальностей. Хотя практически никто из российских авторов не решается оценивать глобализацию отрицательно, в русских публикациях отчетливо звучит мотив тревоги по поводу преувеличенных оценок позитивных последствий глобализации для международных отношений и развития отдельных стран. См., напр.: *Володин А. Г., Широков Г. К.* Глобализация: истоки, тенденции, перспективы // *Полис*. 1999. № 5; *Коллонтай В.* О неолиберальной модели глобализации // *Мировая экономика и международные отношения*. 1999. № 10.

Впрочем, трезво-критический настрой к анализу глобализации и исследованию ее противоречивых последствий для международных отношений представлен и в доступных российскому исследователю западных работах. См., напр.: *Cox R. W.* A Perspective on Globalization // *Globalization: Critical Reflections* / Ed. by J. H. Mittelman. Boulder; L.: Lynne Rienner, 1997. P. 21–32; *Mittelman J. H.* The Dynamics of Globalization // *Globalization: Critical Reflections* / Ed. by J. H. Mittelman. P. 1–20.

⁶ *Sassen S.* *Losing Control. Sovereignty in the Age of Globalization*. N.Y.: Columbia University Press, 1996. P. 31–33.

⁷ *Julius D.* Globalization and stakeholder conflict: a corporate perspective // *International Affairs*. 1997. № 3. P. 453–455.

⁸ *Зюнова Т. В.* От Европы государств к Европе регионов? // *Полис*. 1999. № 5.

⁹ См.: *Lauterpacht E.* Sovereignty — myth or reality? // *International Affairs*. 1997. No 1. P. 137–139.

¹⁰ Анклавно-конгломеративной структуре обществ посвящена наша с А. В. Виноградовым работа. См.: *Модель равноположенного развития: варианты сберегающего обновления* // *Полис*. 1999. № 4.

¹¹ *Layne C.* Rethinking American Grand Strategy. Hegemony and Balance of Power in the Twenty-First Century? // *World Policy Journal*. 1998. Summer. P. 8.

¹² Показательна в этом смысле работа французского автора Ж.-М. Гэнно. Давая вполне объективный анализ противоречий современного развития, он, кажется, ничем не обеспокоен так сильно, как кажущимся ему нарастающим нежеланием Вашингтона разделить бремя лидерства с Европой. См.: *Guehenno J. M.* Globalization and the International System // *Journal of Democracy*. 1996. No 4. P. 30.

Глава 13

.....

Самоопределение наций и международная устойчивость *

1

Сдвиги, инициированные в международной структуре «эпохой Горбачева», определили новое соотношение компонентов международной конфликтности. Исчезла глобальная угроза столкновения коммунистической экспансии с западным сообществом. Но одновременно на региональных уровнях усилился рост дезинтеграционных тенденций, угрожающий взрывом колоссальной разрушительной силы. И, пожалуй, никогда ранее деструктивные явления не были так тесно связаны с межнациональными, межэтническими конфликтами.

Трагедия Югославии и события на территории бывшего Советского Союза лишь самые яркие тому примеры. Территориальные претензии Румынии Украине (Северная Буковина, Южная Бессарабия), Венгрии — Румынии (Трансильвания); сепаратизм македонцев и ирредентизм албанцев на месте вместо единой Сербии (косовских), мечтающих влиться в Албанию; болгарско-турецкий антагонизм в Болгарии.

Брожение на востоке Европы возбуждает колебания на западе, где достаточно своих болевых точек — фламандский вопрос в Бельгии, проблемы Ольстера и Шотландии для Великобритании, Корсики — для Франции, Страны Басков и Каталонии — для Испании, Южного Тироля и даже Ломбардии — для Италии. Не составляет исключения и Америка. Здесь на переднем плане — англоязычная Канада с неясным будущим франкоязычного Квебека.

В Азии наибольшие опасения внушает ядерный Китай, руководство которого в ходе неизбежных реформ рано или поздно столкнется с комплексом проблем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Внутренней Монголии и Тибете. Особый случай — Африка, буквально покрытая сетью межэтнических конфликтов — от Эфиопии до ЮАР и от Либерии до Сомали.

Почти все эти конфликты разворачиваются под лозунгом самоопределения наций. Между тем смысл его от чрезмерного употребления

* Опубликовано в: Международная жизнь. 1992. № 2. С. 4—15.

расплылся. Для туземцев Восточного Тимора понятие «самоопределение» значит одно, для страны «черного расизма» Нигерии — другое, для алжирских фундаменталистов — третье. Отсутствие общего понимания самоопределения наций — один из самых существенных пробелов в политологии, в том числе российской, хотя для России как многонациональной державы вопрос этот особенно важен.

Попробуем выделить главные черты самоопределения наций как международно-политического процесса. Первой бросается в глаза его архаичность. В самом деле, этот процесс лежит в основе международного общения с самого момента его зарождения, и лишь термин «национальное самоопределение» был изобретен в Новое время. На память приходит меланхолическая строка из Екклесиаста: «...и нет ничего нового под солнцем» (Еккл., 1, 9).

Национальное самоопределение — это реализация этносом природного инстинкта к приобретению максимально благоприятного положения по отношению к окружающей среде, главнейшими образующими которой являются другие этносы, их государственные образования, а также природные ресурсы. Современный человек, конечно, чувствует соблазн заменить в этом определении «максимально» на «оптимально», и в этом желании он прав. Но лишь в теории. В действительности любой этнос склонен считать оптимальными именно максимально благоприятные условия. Это — конфликтообразующее обстоятельство, но такова уж природа самоопределения — стремления первобытного, инстинктивного и оттого такого стойкого и малоуправляемого.

Отсюда ясно, что чем дальше этнос отошел от первобытных моделей сознания, чем глубже в него проникло рациональное мышление, тем надежнее оно уравнивает неконтролируемые эмоциональные выплески и тем цивилизованнее может идти процесс. Самоопределение, как видим, во многом сводимо к проблеме уровней социально-экономического развития. Неудивительно, что образ действия сторон в карабахском конфликте разительно отличается, к примеру, от поведения противостоящих партий в Стране Басков, не говоря о Квебеке; а североирландский терроризм при всей своей дикости чуть-чуть сдержаннее шиитского и арабо-палестинского.

Ключевая характеристика самоопределения наций как понятия — его нейтральность, неподверженность оценочным элементам. Самоопределение само по себе — это ни хорошо, ни плохо, это просто данность, с которой надо считаться. Державное иго условных македонцев при Александре Великом, вступивших в борьбу за самоопределение среди балканских племен еще при его отце, дало невиданный толчок

прогрессу обществ от Восточного Средиземноморья до Согдианы и Гиндукуша. А нашествие на Русь ордынских татар, тоже, кстати, самоопределившихся от империи Чингисхана, как минимум, круто увело страну в сторону от магистрали общеевропейского пути, куда она потом многожды пыталась вернуться.

Отпадение американских колоний от британской короны стало прологом к возникновению общества, на долгое время ставшего эталоном предприимчивости, а затем и плюралистической политической культуры. А распад империи Габсбургов привел к формированию в Юго-Восточной Европе не поддающегося саморегулированию узла национально-государственных противостояний, с начала XX в. остающегося источником региональной напряженности. Сербо-хорватский конфликт и война начала 1990-х годов — лишь одно из многих отдаленных последствий отказа от, так сказать, экспансивного варианта самоопределения австрийцев в пользу ограничительного, национально-государственного.

Внутреннюю противоречивость тоже стоило бы выделить в качестве черты самоопределения. В истории трудно вспомнить хотя бы один пример, когда национальное самоопределение при благоприятных условиях не тяготело бы к избыточному национальному самоутверждению — попросту говоря, к экспансии за счет других государств или народов. Не всегда это удается, но всегда такие поползновения возникают — идет ли речь о сложившейся в XVII в. в Северной Америке примитивной индейской протоимперии ирокезов (блестяще исследованной основоположником мировой антропологии Льюисом Морганом) или о созданной на двести лет раньше мощной среднеазиатской державе Тамерлана.

Самоопределяясь, древние египтяне создали неповторимый очаг культуры, возвысившийся над окружающим морем дикости и первобытного варварства. Но и бедуинские племена Аравии начали с самоопределения, чтобы вскоре сокрушить более высокие эллинистические цивилизации Ближнего Востока. Взаимно самоопределившись в Средние века, Британия и Франция дали миру две поразительно богатые ветви европейской учености, а самоопределение буров, потомков носителей другой, и тоже славной культуры, голландской, привело к апартеиду в Южной Африке.

В порыве национального самоутверждения римляне или турки-османы создали в своих империях невиданные по тем временам условия для расцвета в рамках, как бы мы сегодня сказали, единого экономического, политического и культурного пространства. Но тот же меха-

низ национального самоутверждения подвигал покоренные народы к возмущению и готовил гибель или видоизменение этих и других великих монархий — французской в 1815 г., австро-венгерской в 1918 г., британской, плавно трансформировавшейся в Содружество, в 1931 г. В 1991 г. под натиском самозабвенно самоопределяющихся республик пала и воздвигнутая на древних костях российской многонациональной державы 74-летняя империя большевиков.

Противоречивы даже сами установки самоопределяющихся народов. Сетую на тяготы пребывания в составе Российской и советской империй, в конце 1980 — начале 1990-х Грузия демонстрировала образцы «имперского поведения» в отношении Абхазии и Южной Осетии. Казанские радикалы, добивавшиеся при Ельцине суверенизации Татарии в составе СНГ, совсем не склонны признавать тех же прав за своими ближайшими соседями (но не столь близкими родственниками), башкирами. Много веков страдавшая от национального угнетения турками, Греция сама всего за несколько десятилетий почти ликвидировала путем ассимиляции македонское меньшинство, оказавшееся в ее пределах после 1913 г. В этот ряд вписывается и политика молодого литовского государства в отношении поляков бывшей Виленской области, а Латвии и Эстонии — в отношении русских.

Стоит ли удивляться, что и крупные этносы чувствительны к вопросам самоутверждения на территории, которую они считают национальной. Нетрудно представить, как реагировало бы сознание среднего американца, например, на известие о том, что из состава США решила выделиться Флорида, где проживает такое количество кубинцев, что при его дальнейшем росте может возникнуть соблазн заговорить об их национальной автономии.

Сомнительно, чтобы и русское национальное сознание восприняло перспективу дальнейшего дробления страны, теперь уже собственно России, с тем же безразличием, с которым оно в целом отнеслось к отделению Молдовы или Армении. Что же касается Китая, то его возможные реакции на угрозу перерастания национальных тенденций в явно сепаратистские, в силу комплекса политико-идеологических и психологических причин, могут быть, скорее всего, весьма энергичными. Советский вариант мирного «развода» республик с центром в КНР имеет мало шансов на успех.

Наконец, самой обобщающей характеристикой процесса самоопределения является его двухслойный характер. В самом деле, самоопределение нельзя свести только к сепаратизму, потому что в тенденции оно закономерно предполагает образование крупных государств, в том

числе многонациональных. В нашей политологии «застенчиво» обходится этот аспект. Возможно, оттого, что ленинизм в сознании еще не преодолен.

Как известно, для В. И. Ленина главным было, *во-первых*, принципиальное право наций на отделение и создание независимого государства; *во-вторых*, противодействие «практицизму» в национальном вопросе, т.е. попыткам реализовать этот признаваемый большевиками в теории постулат на практике. Для нас не так важны оттенки ленинской мысли, однако существенно, что исходной точкой для В. И. Ленина был распространенный среди либеральной интеллигенции начала XX в. психологический комплекс вины великороссов как представителей самой крупной, «угнетающей», по большевистской терминологии, нации, перед «угнетенными» нациями Российской империи. Иначе необъяснимо, почему В. И. Ленин понимает под самоопределением почти исключительно один сепаратизм, тогда как теоретически термин «самоопределение» мог бы относиться, скажем, и к стремлению русской нации обрести то самое максимально благоприятное положение относительно окружающей среды, с которого мы начали этот раздел.

Комплекс этой вины, конечно, возник не случайно и отражал болезненные переживания лучшей частью российского общества своей принадлежности к народу, именем которого монархия проводила русификацию народов России. Однако после октября 1917 г. ситуация изменилась: русский народ сам стал объектом политики искоренения национального духа, характера и быта под лозунгом пролетарского интернационализма. Драматизм ситуации состоял в том, что, будучи такой же антирусской, как и антигрузинской или антиукраинской по сути, советизация России по форме продолжала выступать как русификация. Соответственно, сохранился комплекс вины, заставляющий многих и сегодня понимать самоопределение наций лишь как эмансипацию нерусских народов от России, а не как возрождение великороссов в своем не только политическом, но и национальном качестве.

Таким образом, процесс самоопределения наций предстает как сочетание двух тенденций: образования крупных государств [1]; их дробления [2] в результате попыток отдельных этносов перераспределить в свою пользу сложившийся в государстве баланс гражданских прав и свобод или же создать новый баланс вне старых государственных рамок. Специфика момента в том, что вторая тенденция грозит стать преобладающей, что не только противоречит логике взаимосближения в интересах хозяйственного развития, но и сопряжено с упадком глобальной стабильности.

2

Виток эскалации межнациональной конфликтности в начале 1990-х годов тревожил особенно. Для того были причины. Важнейшая среди них — структурная. Начавшись как военно-политические, советско-американские переговоры 1985–1990 гг. вылились в глобальный диалог о демонтаже биполярной в военно-политическом отношении модели мира, каким он сложился между концом 1940-х и серединой 1980-х годов. Кувейтский кризис 1990–1991 гг. стал рубежом перехода к монополярности, где роль главного превосходящего всех по совокупности возможностей полюса отошла к США. Правда, нельзя сказать, чтобы США стали управлять миром из Белого дома. Скорее, надо полагать, что источником регулирующих импульсов стала в целом группа высокоинтегрированных в НАТО и ЕС и взаимозависимых стран Запада, Япония, а также до последнего своего дня тяготевший к сотрудничеству с ними Советский Союз.

Образно говоря, после сорока лет противостояния двух вздыбленных военных супергигантов, СССР и США, мировая структура «распласталась» — стала плоской. Сместившись, в ее центре оказались высокоинтегрированные передовые демократии, а на периферии — рыхлый, стагнирующий, вязнувший во внутренних конфликтах развивающийся мир. Причем центр явно отказывался от прямой (военной и политической) вовлеченности в дела периферии. Но, не желая изолироваться, он стал стремиться контролировать периферию косвенно, через те государства, которые в силу каких-то обстоятельств занимали в новой структуре мира промежуточное положение.

К 1990-м годам его фактически занимали, *во-первых*, новые индустриальные страны (НИС), а *во-вторых*, транссоциалистические государства, т.е. бывшие (и остающиеся) социалистические страны, включая СССР и Китай. Роль первых была главным образом экономической, вторых — политико-военной. НИС в целом обнаружили высокую степень внутренней стабильности и выполняли свою миссию достаточно эффективно. В отличие от них транссоциалистические страны стали зоной повышенного риска. Из субъектов посредничества они стали превращаться в объект приложения стабилизирующих усилий мирового центра, с тревогой просчитывающего последствия реальной и потенциальной дезинтеграции бывшего «Востока».

Прогнозы о перемещении эпицентра глобальной конфликтности с оси «Восток — Запад» на ось «Север — Юг» парадоксальным образом оспорены реальностью. Казалось, что в перспективе угроза глобальной

стабильности будет связана не столько с напряженностью между центром и периферией — развитыми и слаборазвитыми странами, — сколько с кризисом амортизирующей «прослойки», важнейшим компонентом которой был транссоциалистический сектор мировой политики.

В начале 1990-х особую тревогу вызывали сразу три транссоциалистические страны — Украина, Беларусь и Казахстан, — оказавшиеся «ядерными наследниками» разрушившегося Союза ССР. Правда, руководство Беларуси сразу же заявило о стремлении придать своей стране нейтральный безъядерный статус. Вслед за тем Украина тоже стала настаивать на своем желании отказаться от обладания ядерным оружием и тем самым ускорить удаление со своей территории войск, которые подчинялись непосредственно Москве. Менее очевидными были мотивы расставаться с ядерным статусом у Казахстана, который переживал своего рода шок от сепаратного соглашения славянских республик в Белой Веже, в результате которого СССР был фактически распущен, а его азиатские члены «оставлены за бортом».

В такой ситуации отдалиться от России для Казахстана значило бы остаться один на один с таящим в себе неопределенности азиатским окружением. Что еще осталось от некогда стабильного Китая до труднопрогнозируемых и переживающих сложный этап внутренних трансформаций ближайших (Узбекистан и Кыргызстан) и близких (Таджикистан и Туркменистан) среднеазиатских соседей? Особенно с учетом того, что обеспечение безопасности самих этих соседей, если им суждено было бы оказаться без российского «ядерного зонтика», может стать не таким простым делом перед лицом находящегося на пороге крутых перемен Афганистана и фундаменталистского Ирана. Вспомним об их многочисленных таджикском и туркменском меньшинствах, а также о закаленном в нескончаемых войнах Пакистане.

В свою очередь, всякое изменение нынешнего ядерно-силового внимания — полуоптимистический вариант. При любом ином пример новоявленной ядерной страны, если такая объявится, способен стать фатальным ускорителем движения к обладанию ударными атомными средствами не только пороговых, но вообще всех индустриальных и индустриализирующихся держав, озабоченных своей безопасностью на фоне кризиса международного режима нераспространения.

Помимо структурных и военно-стратегических, есть политико-психологическая причина, осложняющая сдерживание конфликтности. В отличие от предшествовавших десятилетий на рубеже 1990-х годов острота национальных споров нарастала *лавинообразно*. Множественные политические сдвиги в Центральной и Восточной Европе повлек-

ли за собой слишком быструю трансформацию глобальной системы. Эти изменения сопровождалось обесцениванием традиционных факторов глобального и регионального сдерживания, замыкавшихся на биполярное противостояние США и СССР. Старые методики проецирования американской и советской мощи (не только военной, но также политико-экономической) на региональные конфликты стали непригодными, а новые не успели возникнуть.

Строго говоря, лавинообразно нарастали события и в конце 1950 — начале 1960-х годов, когда шквал самоопределения налетел со стороны бывших колониальных и полуколониальных стран. И тогда он внес сумятицу в головы политиков. Она порождала неверные интерпретации событий, создававших, в частности, политико-психологический фон Карибского кризиса. Ведь именно подъем национально-освободительного движения, с одной стороны, утверждал Н. С. Хрущева в иллюзиях относительно скорой гибели «мирового империализма» и США как его главной силы, а с другой — добавлял нервозности Дж. Кеннеди, которому пришлось наблюдать латиноамериканский вариант самоопределения наций теперь уже у самых границ своей державы.

Но тогда оба лидера имели основания для уверенности в своей власти, способности не только принимать решения, но и полностью контролировать их выполнение. Иначе последствия событий вокруг Кубы могли быть другими. Сегодня ситуация иная. Иная во многом потому, что национальные конфликты, требующие реагирования всех ведущих членов мирового сообщества, наложились на тенденцию к падению эффективности механизмов власти и управления во всех трансоциалистических государствах — прежде всего в России и других странах СНГ.

Политическое сознание не поспевает за событиями. Возник своеобразный «кризис понимания» происходящего. В результате политико-формирующие элиты в Москве и Вашингтоне, возможно, пассивно реагируют на события, вместо того чтобы направлять их.

Одна из психологических сложностей международного взаимодействия связана, в частности, с размыванием грани между воздействием на национальные конфликты и вмешательством во внутренние дела. Именно эта проблема всегда была для Москвы наиболее болезненной, шла ли речь об американских попытках влиять на Чехословакию, Румынию или Афганистан, не говоря уже о Прибалтике, до 1991 г. видевшейся из Москвы неотъемлемой частью советской территории.

Между тем, оказывается, российское руководство, в сущности, может быть заинтересовано в более активном подключении Вашингтона к регулированию ситуации, например, в Афганистане или Закавказье.

Конечно, наряду с политико-психологическими сохраняют значение экономические аспекты. В частности, скажем, финансовая эффективность международных усилий по сдерживанию национальных конфликтов. Их обострение пришлось на период, когда ресурсы передовой части сообщества оказались относительно ограниченными. *Во-первых*, затраты на международный менеджмент постоянно росли и превратились в заметное бремя; *во-вторых*, страны Запада вступили в полосу циклического экономического спада; *в-третьих*, мировое сообщество далеко не всегда умело выработать рациональную политику использования имеющихся ресурсов, что порождает сомнения в целесообразности увеличения затрат.

На этом аспекте стоит остановиться. В последние годы стали возрастать удельные издержки управления конфликтами. В ряде случаев конфликтующие стороны, будь то камбоджийские партии, эритрейские повстанцы или южноафриканские темнокожие радикалы, мало-помалу разработали собственную тактику привлечения зарубежных средств. Они держали в голове максимально затянутые переговоры по урегулированию, увязывая свои уступки с экономическими подачками, наконец, всемерно преувеличивали реальные и гипотетические потери от конфликта в расчете на их хотя бы частичное покрытие международными институтами.

Случались и более драматические ситуации. Иногда щедрость мирового сообщества приводила к явно нежелательным последствиям с точки зрения долгосрочных перспектив урегулирования конфликта. Будучи проявлением ответственности развитой части мира за международную стабильность, западная помощь способна порождать у конфликтующих сторон опасные иллюзии.

Следующим по значению за структурным фактором является ядерный. Наверное, впервые со времени Карибского кризиса 1962 г. взрывоопасный потенциал, связанный с межнациональными противоречиями, имеет столь сильно выраженное ядерное измерение. Непоколебимая уверенность президента М. С. Горбачева в том, что необходимо и возможно сохранить Советский Союз в качестве централизованного государства, не позволила ему запланировать меры к сохранению за Москвой исключительного контроля над стратегическим ядерным потенциалом. Украина и Беларусь заявили о стремлении обрести безъядерный статус. В конце декабря 1991 г. желание стать безъядерной зоной высказал Казахстан. Все три государства выразили готовность следовать международным обязательствам в том, что касается ядерных вооружений. Настояв на своем праве влиять на принятие ре-

шений о применении «ядерной кнопки», республики согласились оставить ее в руках президента России. Все это смягчило ситуацию, но не возвратило ее к исходной точке, когда приверженность ядерного клуба принципам нераспространения закреплялась не только односторонними заявлениями и международно-правовыми нормами, но и почти четвертьвековой практикой строгого следования таким обещаниям.

Вспышка конфликтности в национальной сфере была неизбежна. Она связана с закономерным прохождением многих народов, не имевших возможности сделать это ранее, через этап взаимного отторжения. Будем надеяться, что это только неизбежная ступень к будущему сближению. Но это слабое утешение. Можно ожидать, что нынешний виток потрясений через какое-то время даст новое качество стабильности — размежевывающиеся страны и народы оценят издержки изолированности и вернуться на магистраль интеграции. Но лишь уповать на лучшее недостаточно. Бездействие так же неуместно, как излишняя активность. Международное сообщество не в силах предотвратить локальную дезинтеграцию или остановить ее. Но оно может влиять.

3

На уровне долгосрочной стратегии объединяющей целью может стать содействие возникновению эффективных политических пространств, т.е. государств и межгосударственных объединений, способных развиваться в качестве устойчивых саморегулирующихся систем, пригодных для свободной экономической интеграции в окружающий мир и не представляющих опасность для международной стабильности.

В идеале, как показывает весь ход мирового развития, именно крупные пространства лучше всего отвечают таким требованиям. Однако конкретная их конфигурация и оптимальные размеры зависят от множества привходящих факторов. В данном случае важно подчеркнуть главное: крупные пространства в принципе, в тенденции имеют при прочих равных лучшие шансы обеспечить себе благоприятное положение относительно окружающей среды, в том числе международно-политической.

Вместе с тем очевидно, что величина и состав любого государства, равно как образования вроде нашего СНГ, всегда в решающей степени зависят от его собственной способности быть или стать эффективным — прежде всего в экономическом, но, конечно же, и в военно-политическом смысле. В конце концов распад Советского Союза, как и старой югославской федерации, — это не что иное, как свидетельство их политической неэффективности, в том числе неэффективности мо-

дели внеэкономической мобилизации наций в длительной исторической перспективе. Но отсюда же следует и другое: национальное самоопределение может и не привести к распаду крупного государства, если его экономическим фоном не будет развал хозяйства.

В передовой части мира фактически нет разногласий в том, что для регулирования межнациональных споров экономические методы предпочтительнее любых других. Именно экономический прогресс позволяет снять изначальное противоречие между стремлением этноса повышать уровень своего благополучия как абсолютно, так и относительно. В самом деле, право самоопределяющегося латыша или хорвата кончается там, где оно начинает становиться бесправием русского или серба. И наоборот. Мы видим как бы изъятие из прав каждого. Но в этом изъятии заложено право их обоих подняться до такого уровня социально-экономического развития, при котором национальные противоречия не будут сопряжены с «запредельной» конфликтностью. Иначе говоря, достаточно высокие темпы абсолютного прогресса общества, несомненно, способны нивелировать стремление одного этноса к максимизации его устремлений относительно другого.

Лишь экономические методы способны обеспечить, например, воспитание в среде конфликтующих народов новой политической и экономической элиты, тяготеющей к транснациональному мышлению и поэтому более склонной к взаимному компромиссу. В ряде трудных для управления конфликтов этот путь — единственно возможный. Прежде всего имеется в виду конфликт в Палестине (который надо отделять от так называемого арабо-израильского), понимаемый как спор ее арабского населения с правительством государства Израиль.

Вместе с тем экономическое влияние инертно. Оно сказывается не сразу и поэтому бывает не очень эффективным при стремительном нарастании событий. Тот же палестинский конфликт убеждает, что в обозримом будущем не приходится особенно рассчитывать на отказ от политико-силовых методов регулирования. Способность государства настоять на своем решении, как и прежде, зависит от того, насколько сильную власть оно представляет.

Демократический мир един в понимании неприемлемости насилия как способа решения межнациональных споров. Но приходится констатировать, что сознательный отказ правительств от применения силы не всегда спасает от кровопролития. Более того, случается, что он его провоцирует. Мы знаем множество примеров, когда национальные правительства, опасаясь негативных реакций внешнего мира, медлили с применением мер давления на национал-радикалов, фактически давая им

шанс консолидироваться. Это выливалось в формирование вооруженных отрядов и спонтанное применение силы снизу. Так, вместо отказа от применения силы мы видели отказ от ответственности за ее применение.

По этому сценарию развивались конфликты в Карабахе, Южной Осетии, Абхазии, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине — и по всей территории бывшей Югославии. Безусловно осуждая прямое применение силы в национальных конфликтах, не стоит все же забывать о ее стабилизационной, сдерживающей способности. Конечно, речь идет, так сказать, о некоем силовом минимуме. Но минимуме достаточном, чтобы связать неконтролируемые устремления экстремистов.

Вопрос о силе и издержках силового регулирования оттеняет необходимость практической работы для сближения международных стандартов в подходе к самоопределению. Совещание стран ЕС в Брюсселе в декабре 1991 г., по итогам обсуждения обстановки в Югославии, предложило свой вариант базисного консенсуса по вопросу самоопределения. «Брюссельский минимум» состоял из пяти пунктов: приверженность демократии, уважение границ, мирное разрешение споров, уважение прав человека, гарантии прав национальных меньшинств. Соблюдения всех пяти условий, по мнению Европейского сообщества, достаточно для признания субъекта самоопределения и установления с ним дипломатических отношений. Эта программа могла бы стать отправным пунктом для более широкой дискуссии.

Думается, что безусловной поддержки заслуживают два главных принципа декларации ЕС: уважение демократии и мирное урегулирование межнациональных споров. Не столь очевидной кажется универсальность трех других.

Во-первых, нет ясности в соотношении между гарантиями прав человека и прав национальных меньшинств. Как представляется, первые подразумевают вторые, включают их в себя и уже в этом смысле являются основополагающими. Между тем конфликты по всему транссоциалистическому миру наглядно показывают, что большинство движений, самоопределяющихся от центра, ставит права нации выше прав человека. Это мы наблюдаем всюду — от прибалтийских стран до Молдовы и от Хорватии до Азербайджана.

Подчеркнутое уважение к правам национальных меньшинств, безусловно, понятно в контексте современных западных представлений о свободе и демократии. Но в условиях транссоциалистических преобразований, тяготеющих к Востоку политических традиций на огромном пространстве от Балкан до Дальнего Востока, оно граничит с абсолютизацией.

Опыт показывает, что национал-радикалы видят в концепциях самоопределения лишь то, что они хотят в них увидеть (конкретно — обещание помощи и солидарность), а не всю ту гамму идей, которые закладывались в эти концепции их авторами.

Во-вторых, неубедительны увязки прав человека, равно как и прав меньшинств, с признанием существующих границ. Какие границы должны признаваться основополагающими? Государственные или административные? Исторические или современные? Наконец, как быть в ситуации, когда вчерашние административные границы сегодня становятся межгосударственными? Ведь государственные границы сплошь и рядом становились результатом произвола властей предрешающих и конкретного соотношения сил между государствами. Это относится и к границам между Ираком и Кувейтом, Болгарией и Македонией, Ираном и Азербайджаном. То же можно сказать и о разделительных линиях между Хорватией и Сербией, а также Россией и Украиной.

С одной стороны, интересы международной стабильности диктуют необходимость минимизации перекройки границ. С другой — никто не решается оспаривать право каждого народа решать свою судьбу. Хельсинкский акт с зафиксированным в нем принципом признания нерушимости существующих границ в Европе в этом свете был грандиозным шагом к ненасильственному миру, но одновременно всего лишь этапом на этом пути.

В свое время именно самоопределение нации, определенным образом интерпретируемое Гитлером, послужило идейным импульсом фашистской агрессии против Австрии, Дании, Чехословакии, затем Франции и т.д. И юридические гарантии германских границ 1918 г., закрепленные в подписанных Германией в 1925 г. Локарнских договорах, ее не удержали. Так и сегодня, не право и мораль удерживают объединенную Германию от экспансии. Ее связывает международный контекст, вне которого она не сможет развиваться как передовое государство, условием процветания которого являются взаимная зависимость и взаимное доверие со всеми западными партнерами от бывшего классического геополитического противника — Франции до США.

Поэтому вместо трех принципов — гарантий прав национальных меньшинств, прав человека и уважения границ, — может быть, стоило оставить один — защиту общечеловеческих прав, дополнив его еще необходимостью исходить из существующих реалий, включая такие, как государственно-административные границы и сложившийся демографический состав.

Тогда сводная формула самоопределения наций примет, например, такой вид:

- 1) демократия как способ осуществления права на самоопределение от волеизъявления до принятия окончательного решения;
- 2) мирное решение споров;
- 3) гарантии прав человека;
- 4) сложившиеся на текущий момент реалии как исходная база для урегулирования.

Думается, что такое сочетание оптимально. Не оспаривая права на самоопределение, оно одновременно нацеливает на разумный внутренний компромисс, продвигаясь к которому каждой стороне предстоит сделать выбор между отделением как переделом крох нищего в пользу еще более бедного и интеграцией на основе прибавочного перераспределения преимуществ от ускоренного соразвития.

Рост потенциала межнациональной конфликтности в начале 1990-х годов застал мир врасплох. Сообщество наций, 45 лет ориентированное на сдерживание ядерных вызовов и достигшее в этом неоспоримых результатов, оказалось плохо подготовленным к адекватному ответу на новую глобальную угрозу. И не оттого, что межнациональные конфликты являются по сути чем-то совершенно новым и неизвестным, а потому, что вся прежняя система международного управления конфликтами опиралась на незыблемый постулат — внутривнутриполитическую стабильность главных несущих конструкций мировой структуры — США и Советского Союза. В этом позитивном качестве СССР для мира потерян. Россия не смогла принять на себя стабилизирующие функции бывшего Союза. Не сыграл в этом смысле положительной роли и СНГ.

Глава 14

.....

Этническое и надэтническое в мировой конфликтности*

К началу нового десятилетия рассуждения о национализме в России стали общим элементом политологических работ. На страницы западной прессы возвратились и предречения об угрозе российского неоимпериализма. Тон, как водится, задали американские «меньшинства» — от польского (Зб. Бжезинский) и западноукраинского (А. Мотыль) до не по малочисленности задорного крымско-татарского. Западное сознание тревожно реагирует на очевидный факт: национальное возвращается в российскую интеллектуальную, политическую и эмоционально-бытовую среду мощно, хотя до досадного «развязно» и неумно.

В международных оценках национальной волны в России преобладает один мотив — угроза шовинизма, сопряженная с экспансией. Предлагаю попытаться взглянуть на проблему иначе: национализм, если его удастся утвердить в России в умеренной, либеральной форме, не обязательно должен сопрягаться с ростом международной конфликтности. Он может стать внутренним ограничителем исторически доказанной склонности России к саморасширению, равно как и средством, способным предохранить Российскую Федерацию от участи Советского Союза.

Проблема, однако, в том, что сдерживающую роль либеральный национализм способен проявить лишь в национальном государстве, каковым Россия еще не является, хотя может им стать. Стоит сразу уточнить понятия. Национальное государство не обязательно равнозначно моноэтническому — такому, как Япония. Под национальным понимается государство, сложившееся вокруг какого-то численно и территориально преобладающего этноса, принадлежность к культуре которого стала основой самоотождествления для подавляющего большинства граждан независимо от их этнических корней и оказалась признаком, на внешнем уровне отличающим данное государство от остальных членов международного сообщества.

Рядом с национальными в мире веками сосуществовали государства, построенные по наднациональному принципу. В качестве организующего начала они постулировали не общность культурно-психологического

* Опубликовано в: Международная жизнь. 1995. № 8. С. 68–79.

склада, а политическое единство территории, принадлежность и верность государству и его институтам (монархии, например, или советскому строю). В таком государстве вместо естественного доминирования той или иной культуры существовала, скорее, иерархия культур, одна из которых играла роль официальной, играя на внешнем уровне роль знака принадлежности к данному государству, но которая не обязательно являлась для большинства населения основой для самоотождествления.

Национальное государство — феномен прежде всего культурный и психологический, оно ориентировано на высокую степень культурной общности, влекущей за собой единообразие психологического склада и представлений о базисных ценностях. За счет этого достигается органическая прочность государства. По этому признаку, а не показателям численности этнических групп причисляют себя к национальным государствам подрагивающая от ссор англо- и франкоговорящих граждан Канада, непрерывно выясняющая отношения со своими каталонцами и басками Испания, полуваллонская-полуфламандская Бельгия, не говоря уже о Румынии с ее трансильванскими венграми.

Наднациональное государство — образование в основном экономическое, политическое и военное. Три его формы — «сплошные империи» (Российская, Австро-Венгерская и Оттоманская), Советский Союз, а также колониальные империи — Голландская, Британская и Французская. Государство представляет собой не культурное, а территориально-политическое единство, в нем сведены сильно различающиеся в этнопсихологическом отношении группы, согласные, возможно, на соразвитие, но не на слияние (Левобережная Украина после Рады — в России, Богемия — в империи Габсбургов).

Очевидно, что вопрос о выборе между национальной и наднациональной концепцией государства в России сводится к нахождению адекватного соотношения между культурно-психологической составляющей государственного строительства и его экономико-политико-военным компонентом. Аргументов в пользу каждой из концепций можно привести десятки — цель, скорее, занятая, чем наделенная смыслом, тем более что в памяти всплывают не без иронии смиренные слова Отто фон Бисмарка: «Политик ничего не может сделать сам. Он должен только ждать и вслушиваться — до тех пор, пока сквозь шум событий не услышит шаги Бога, чтобы затем, бросившись вперед, ухватиться за край его мантии»¹. В нашем случае — дело не в интеллектуальных и политических пристрастиях, а в потребности понять, какой из двух вариантов соответствует глобальной тенденции, а какой обрекает на противостояние ей.

Соотнесем очередную «российскую дилемму» с международным контекстом. За лесом восторженных и ревниво-скептических откликов на статью Ф. Фукуямы «Конец истории?»² почти потерялась идея, которую я склонен считать в его работе главной. Интеллектуальное зерно его опуса — в констатации не победы либерально-демократического сознания, а возвращения идеального на то положенное ему высшее место в иерархии человеческих мотивов и ценностей, которое с утверждением капитализма было «узурпировано» у него материализмом. Возможно и спорная, эта мысль, как представляется, воплощала глубинную тенденцию 1980-х и 1990-х годов. Вряд ли случайно, что принадлежащая новой политологической знаменитости Самуэлю Хантингтону концепция «конflikта цивилизаций» с присущим ей акцентом на культурно-мировоззренческом компоненте конфликтности, несомненно, косвенно подтверждает точность изначального наблюдения Ф. Фукуямы.

Отталкиваясь от замеченной обоими тенденции к «реваншу» духовного начала, логично предположить, что выживаемость государства в условиях отсутствия внешней агрессии зависит прежде всего от интегрирующей силы его культуры как основы национальной психологии и идентичности (самовосприятия) населения, а только затем — от экономически и стратегически мотивированных групповых и индивидуальных устремлений граждан. Следовательно, из двух концепций моделирования России выбирать стоит ту, которая в состоянии обеспечить условия для формирования мощной национально-государственной идентичности. Советская наднациональная культура в этом смысле показала свою несостоятельность.

Грандиозность зданий наднациональных государств от Римской империи и империи Карла Великого до Советского Союза оттеняет трагизм их истории не только потому, что она связана с войнами, но и оттого, что ни один из этих колоссов не выжил. Можно ликовать по этому поводу, как можно ощущать и горечь сопереживания. Нельзя уклониться от обязанности охватить этот уязвляюще ясный факт рассудком.

Выживаемость государства зависит от его воли выжить. Наличие или отсутствие таковой определяется соотношением в массовом восприятии чувств макро- и микропринадлежности (макро- и микроидентичности). Житель Шотландии в XIX в. ощущал себя шотландцем и одновременно подданным британской короны. Так и венгр, чтивший в себе мажорство, сознавал свою причастность к монархии Габсбургов. Но в первом случае общегосударственное самовосприятие подавило локальное, и шотландцы не были склонны к сепаратизму, а во втором — чувство макропринадлежности не смогло подчинить себе микроидентичность

венгров. Последняя в 1848 г. приобрела такую мощь, что вдохновила едва не сокрушившую габсбургское правление революцию.

Очевидно, сплоченность общества высока, когда макроидентичность доминирует над чувством микропринадлежности; если та и другое находятся в состоянии равновесия, складывается ситуация кануна распада (Советский Союз второй половины 80-х годов); возобладание локальных самовосприятий знаменует начало распада (попытки армян и греков Анатолии при поддержке Антанты отстраниться от Стамбула с момента окончания Первой мировой войны до утверждения у власти в Турецкой Республике М. Ататюрка). Можно предположить, следовательно, что нарастание потенциала «малых» идентичностей способно подорвать влияние идентичности «большой» и подготовить раскол многоэтнической страны.

Однако если страна является национальным государством, у нее есть шанс заметить опасность и прекратить поглощение «чужих» территорий. Наднациональному государству пагубное отношение к себе как обрамляющей рамке, внутри которой сосуществуют разные народы, не позволяет вовремя остановиться. Так, в 1939 г. не остановился и присоединил к СССР принадлежавшую Польше Галицию И. В. Сталин, совершивший фатальную для русско-украинского единства ошибку. Она обернулась пылким национализмом западноукраинцев, их стойкими антимосковскими настроениями и тем почти недоступным пониманию фактом, что Украина стала самым трудным партнером России в мировом сообществе.

Национальные государства обнаруживали склонность к агрессии не менее наднациональных, но в своем экспансионизме они стремились быть рациональными. Сам принцип организации государства, роль инструмента обеспечения единства которого отводилась культурно-политической общности, выступал внутренним ограничителем — не экспансии вообще, но ее пределов. В саморасширении национальное государство сковано своей способностью синтезировать общие культуру и ценности, поддерживать их высокий моральный авторитет, несмотря на приток чуждых и несогласных на слияние элементов.

В отличие от национального, наднациональное государство своей вненациональной философией утверждает принципиальную возможность присоединения к себе других территорий. Внутренний культурно-психологический ограничитель экспансии отсутствует, ее масштабы зависят в основном от экономических и военных ресурсов правительства, чтобы «сбивать» воедино то, что на самом деле продолжает оставаться механически сочлененным конгломератом взаимно неприязненных,

психологически (но не в экономическом и военном смыслах) самодостаточных территориальных и этнических компонентов.

Была ли историческая неизбежность в том, что Советский Союз, наиболее сложно организованное наднациональное государство, пал? Фундаментальные причины его гибели, думается, существовали. Одна из них — неприемлемый рост удельного веса нерусских и активно самоотчуждающихся от русской культуры составляющих государства. Приверженность утопии «всемирного пролетарского братства» повела большевиков дальше, чем позволяли себе Романовы, не спешившие, например, аннексировать Среднюю Азию быстрее, чем это давала возможность постепенно колонизовать ее. Культурный баланс русского и нерусского элементов в империи был в пользу первого. В Советском Союзе это соотношение было нарушено, когда большевики включили в состав государства исламские территории Хиву и Бухару, добавив к ним в 1943 г. буддистскую Туву.

Изнутри дело осложнялось изменением соотношения численности «старых» и «новых» этнических групп за счет опережающих темпов прироста населения в азиатских районах. Эта диспропорция была связана с систематическим перераспределением общесоюзного «пирога» ассигнований на культуру и социально-бытовые нужды в пользу нерусских республик. Уже в середине 1970-х годов в Центральной России отмечались признаки этнодемографической деградации (превышение уровня смертности над рождаемостью), и в это же время союзные и автономные республики СССР вступали в пору своего национально-культурного расцвета. Оставаясь по абсолютным показателям развития культурным лидером, Россия отставала от них по темпам прироста культурно-национального достояния и прочности национальной идентичности. В конце 1980-х годов великорусская народность стала составлять менее половины населения СССР.

Но, возможно, самое главное было в том, что большевики принесли с собой доктрину «многонационального государства», объявив его воплощением гармонии межэтнических отношений и целью национального строительства. Между тем, по определению, «многонациональное государство», т.е. государство многих наций, могло быть только результатом разрушения наднационального государства. Как единое целое Советский Союз мог существовать лишь до тех пор, пока массовое сознание его главных нерусских составляющих оставалось на «донациональном уровне». Едва только микроидентичности союзных республик окрепли так, что смогли на равных выступать с советской макроидентичностью (а это стало происходить в последние 35–40 лет существования СССР),

началось его разрушение, и этносы с неизбежностью потянулись к созданию собственных национальных государств. «Многонациональное» государство и в самом деле было создано в СССР, став «высшей и последней» стадией наднациональной траектории государственного экспериментирования на территории исторической России.

Драму этого распада невозможно отделить от международного контекста. Подобно тому как в экономике существуют длинные циклы Н. Кондратьева, в мировой политике можно вести речь о длинных волнах национального самоопределения. Первой из таковых была эпоха революций XIX в. в Европе, когда сложились национальные государства в ее западной и центральной частях. Вторая волна с окончанием Первой мировой войны и дала жизнь новым государствам в Европе Центрально-Восточной. Третья — в 50-х и 60-х годах XX в. разрушила империи Британии и Франции, четвертая — на рубеже 1990-х, расколов Чехословакию, захлестнула Югославию и Союз ССР.

Принято порицать большевиков за то, что своей концепцией самоопределения они подготовили разрушение СССР. Упрек уместен, но содержит упрощение. Власть досталась российским коммунистам в пору апогея второй длинной волны. Гибли Австро-Венгрия и Порты, на территории империи Романовых самопровозгласились независимые Украина, Грузия, Азербайджан, Армения. Не было надежд сохранить Прибалтику, отделились Финляндия и Польша. При том, как ограничены были ресурсы, удивительно, что большевикам вообще удалось выстроить федерацию. Советское руководство нашло оригинальный способ адаптации к националистической волне, «канализировав» ее в русло национально-территориального размежевания, погасив силу удара в хитроумных механизмах распределения благ и преимуществ, сопряженных с созданием в новых республиках властных структур и элит властей предержавших.

Это был выигрыш не без потерь. «Отцы-основатели» пошли дальше, чем к тому понуждала волна самоопределения. К внутренней России они применили тот же принцип «раздачи» государственных, что и к периферии. Но на окраинах создание квазигосударств могло быть уже неизбежным, а внутри исторического ядра России в том виде, как оно сложилось к моменту гибели дома Рюриковичей (1598 г.), новая этноадминистративная чересполосица породила конструирование микроидентичностей «практически с нуля».

Считается, что, провозгласив создание союзных и автономных республик, большевики не допустили реального автономизма. И. В. Сталин не испытывал доверия к национальным меньшинствам, предпочи-

тая на местах иметь верных людей. При нем сложился институт вторых секретарей в партийных комитетах национальных республик. На эти должности выдвигались русские и украинцы, которым поручалось курировать вопросы идеологии и оставаться оком Москвы на периферии.

Но со смертью И. В. Сталина в 1953 г. произошли изменения, тоже связанные с «длинной волной национального самоопределения», на этот раз третьей. Приход Н. С. Хрущева ознаменовался интересом к концепции исторического «соревнования двух систем». Перевод вопроса об отношениях с Западом в плоскость мирной конкурентности вел к переосмыслению вопроса о союзниках. Началась разработка вошедшей в 1961 г. в Программу КПСС теории трех революционных сил — мировой социалистической системы, рабочего движения в капиталистических странах и национально-освободительных движений в развивающихся государствах. Национализм «третьего мира» был провозглашен союзником Москвы. Но рассчитывать на успех сотрудничества с ним и одновременно следовать сталинской линии подавления «малых» национализмов внутри СССР было трудно. Поэтому советское руководство пошло на либерализацию политики в отношении национальных республик под лозунгом «выдвижения национальных кадров». В результате к середине 1960-х годов в СССР сложилась новая партийно-национальная элита из лиц коренной национальности.

Новая элита была образованнее прежней и обладала более многослойным сознанием. В нем уживались лояльность коммунизму с приверженностью местным культурно-бытовым нормам, традиционной практике неформального регулирования отношений через родственные, земляческие, клановые, родоплеменные механизмы. Соединение этой сохранившейся «невидимой механики» с официальной партийно-государственной иерархией в 1950–1960-х годах способствовало укреплению власти Москвы на периферии. Н. С. Хрущев смог адаптировать СССР к разрушительным воздействиям третьей волны.

Однако бум малых идентичностей, сопряженный с массовым приходом к власти на местах национальных кадров и столь же массовым вытеснением лиц, в этническом отношении некоренных, не сопровождался принятием адекватных мер для укрепления общегосударственного самовосприятия. Падала действенность власти вторых секретарей: как «чужаки» они были исключены из механизмов традиционного регулирования общественных отношений. За 1950–1980-е годы произошло перераспределение ролей между центром и республиками таким образом, что первый сохранил за собой контроль только над вопросами безопасности, иностранных дел и макроэкономического

планирования, а вторые получили реальную самостоятельность в ключевых для воспитания национальной идентичности сферах — кадров, культуры и образования.

Вместо формирования общности культурного склада нормой оказывалось состояние конкуренции культур, которые, соприкасаясь, только повышали иммунитет по отношению друг к другу. «Успех» советизации вылился в то, что понятие «русский» в сознании самих великороссов и других народов СССР было потеснено понятием «советский». Волнами дискриминации с конца 1940-х до середины 1980-х были приучены бояться своей национальности лишь советские евреи. В остальном культурная советизация не прижилась. К концу 1970-х средний секретарь райкома КПСС в Тбилиси и Ереване чувствовал себя менее лояльным Москве, чем эриванский или тифлисский губернаторы из числа местных уроженцев ощущали себя верными Петербургу в начале XX в. Еще более значимо, что нерусские народы, получив небывалые возможности для этнопсихологического и культурно-политического развития, научились ощущать и демонстрировать свое превосходство по отношению к русским.

Это должно было рано или поздно вызвать контрреакцию русско-украинской части советской элиты — прежде всего выдвиженцев из низов, которые чаще других соглашались на работу вторых секретарей, не имея возможности сразу получить более престижные места. Ротация кадров вела к тому, что через должность вторых секретарей проходило довольно большое число кадров, которые приносили в среду партийной элиты этнонациональное сознание, активизированное опытом работы в чужденациональном окружении. Не только эту, но и новую струю русского национального самосознания, вобравшую опыт ущемленного положения русских в нерусских республиках, уловил Б. Н. Ельцин, сделав центральным пунктом своей программы идею суверенитета и самостоятельности России и тем добившись своего избрания в 1989 г. председателем Верховного Совета РСФСР.

Распад СССР, будучи, вероятно, самым впечатляющим примером почти мгновенного разрушения наднационального государства, одновременно символизировал, по-видимому, крах наднациональной парадигмы на территории бывшей Российской империи. Этот факт, однако, не принят большинством российской элиты. Инициировав роспуск Союза вместе с Украиной и Белоруссией, Россия не стала относиться к себе как к национальному государству. Возможно, поэтому столь многие в Москве видят в СНГ не блок 12 национальных государств, а соединение 11 из них с Россией, которой отводится роль странно вяз-

кого, лишенного четких границ «цементирующего» ядра. И оттого так легко в Кремле сложилась концепция «российского народа», несущая в себе такое вненациональное содержание, как прежде понятие «советский народ».

На первый взгляд в пользу сохранения наднациональной основы России говорит многое: советский опыт мирного сожительства народов в пределах одного государства; ностальгия по величию, которое связывалось с контролем над частями пространства, которые теперь отпали; предположение о том, что в «многонациональной» стране создание национального государства «несправедливо»³. Но и контраргументов достаточно: мирное сожительство внутри Союза не обеспечило ему жизненной силы; величие, если за него надо платить разорением русских областей ради «прикормки» окраин, оскорбительно и неприемлемо для измученного российского хозяйства. Что до «несправедливости» национального государства в России, то эта проблема во многом снимается, если уяснить, что национальное государство может быть многоэтническим. Почему Россия, где русские составляют более 80% населения, должна считать несправедливым провозглашение себя национальным государством, если таковым считает себя Канада, в которой доля англо-канадского большинства составляет менее 50%, франко-канадцев — 25% и еще 25% приходится на другие группы — от эскимосов до украинцев?

Для горожан Москвы, Питера и Нижнего слово «россиянин», которым предлагается именовать всех, кто проживает на российской территории, не обидно в той мере, как этнически смешанной стала городская среда. Но для русских селян и жителей безбрежной массы малых городов России это слово звучит вычурно и бессмысленно, как и для кабардинцев, башкир, якутов и других, даже примирительно настроенных нерусских групп Федерации. Годится ли в таком случае «российскость» для роли основы общестрановой самоидентификации?

Боязнь сформулировать ясную линию строительства России как государства, организующим принципом которого является принадлежность к русской культуре, не уберегла ее от центробежных тенденций. Примеры тому — Татарстан, постыдный курьез «Уральской республики» и чеченская трагедия. На фоне «вакуума» позитивной национальной философии в провинциях нарастает культурное самоотчуждение, которое выходит за рациональные рамки «сохранения самобытности». Одновременно экстремистские теории «русскости» разрабатывают ультраправые. Решение проблемы территориальной целостности Федерации, как представляется, следовало бы искать не на пути ломки реально

существующей — плохой или хорошей — административной структуры через всеобщую ее «губернизацию», но через использование все еще не оцененных в должной мере возможностей культурной политики.

Вряд ли можно обойтись без концепции общенациональной культуры, которая, будучи в основе русской, отличалась бы от традиционной русской культуры в одном — была бы свободной от религиозной окраски в той мере, как для единства государственного «я» важна принципиальная приемлемость русской культурной основы для нерусских, иноцивилизационных составляющих Федерации. Главным признаком принадлежности к России как стране и государству стоило бы считать не проживание на территории Федерации, а добровольное самопричисление к общенациональной культуре, которая при этом объективно будет культурой преимущественно русской в ее светском варианте.

Национальное государство в России — это не отказ от территорий с исторически не чисто русским населением, но это и не уничтожение их самобытности. Это сохранение полноты культурного и бытового своеобразия нерусских народов, однако в рамках разделяемого ими чувства принадлежности не только к экономическому, политическому и военному организму единого Российского государства, но прежде всего к его общенациональной культуре. Угроза целостности страны видится не в развитии нерусских национальных культур, но в угарном отказе малых народов от усвоения культуры русской.

Конечно, побудить силой к ее усвоению нельзя. Частью решения проблемы может стать возвращение русской культуре внимания государства, оказание ей поддержки, в относительном выражении, по крайней мере, не меньшей, чем та, которую систематически получают в республиках культуры нерусских народов. Достаточно побывать в бывших автономиях, чтобы увидеть, насколько губителен для единства страны протекционизм местных властей в культурной политике.

Интересам России отвечала бы свободная конкуренция культур, в ходе которой русская сама смогла бы реализовать свое «практическое превосходство» и индуцировать изнутри идущее желание образованных слоев местных обществ приобщиться к ней, не порывая связи с культурной традицией своей этнической группы. Есть основания полагать, что ограждение малых культур от конкуренции с русской несет в себе тенденции разобщения, которые вряд ли возможно сдержать только экономическими уступками. Такие уступки нужны, но важно уравновесить их проведением в регионах энергичной культурной политики как средства преодоления кризиса идентичности, с которым столкнулась Российская Федерация.

Говоря о противоборстве национально-государственного и над-национального начал, стоит коснуться концепции, рассматривающей Россию не как страну и государство, а как цивилизацию, под которой предлагается понимать совокупность определяющих для данного географического ареала и отличающих его от других зон культурно-психологических характеристик. Именно они на протяжении длительного исторического времени самореализуются в специфике представлений о материальных и культурно-этических ценностях, способах их производства, поведенческих особенностях, а также типических для данной цивилизации взглядах на себя, окружающий мир и свое место в нем.

В основу концепции «Россия — цивилизация» кладется геополитический факт — промежуточное положение страны между культурным Западом и культурным Востоком, ее переходное состояние по отношению к обоим, которое, как постулируется, позволяет считать Россию особым цивилизационным феноменом, несовместимым с такими «цивилизационно чуждыми» понятиями, как, например, «национальное государство». Нынешнюю Россию, как и старую империю, считается возможным представлять не как наднациональное государство, а как уникальное образование, обладающее силой органического цивилизационного притяжения, которому отводится главная интегрирующая роль на российском имперском и постимперском пространствах. В подтверждение уместности такой интерпретации ссылаются на пример Китая, о котором американский китаевед Лукиан Пай из Массачусетского технологического института как-то сказал, что это «цивилизация, которая претворяется государством».

Кому-то сопоставление покажется соблазнительным, например, потому, что оно позволяет легко обосновать необходимость восстановления единства старого союзного пространства как зоны российского цивилизационного влияния. При более пристальном отношении к концепции возникают, однако, сомнения — но не потому, что Россия не дотягивает до роли самостоятельной цивилизации, а оттого, что определение «цивилизация» никоим образом не постулирует государственного единства. Исламская, так же как и западная, цивилизация состоит из десятков страновых фрагментов, тогда как нас в этой статье заботит способность России устоять как государству. Цивилизационная гипотеза, скорее, ориентирует на примиренность с неизбежным распадом, тогда как цель видится в попытке найти путь к его избежанию.

На уровне внешнеполитической практики отправными точками в поиске целесообразно видеть, *во-первых*, взаимопонимание с нашими западными партнерами в отношении происходящих во внешней

политике России сдвигов, *во-вторых*, в модернизации самой этой политики прежде всего в том, что касается отношений с новым зарубежьем. Стоило бы понять, что поворот от безоговорочного единения с Западом к логике национального интереса — не измышление качнувшегося к авторитарности российского руководства, а результат трансформации России из наднационального государства Советов в национальное государство с сопутствующей такому переходу потребностью в позитивной национальной философии. Задачи текущего момента во многом сводятся к приобретению способности разумно управлять процессом становления национального сознания в России, а не к попыткам фронтально противостоять ему.

Концепция России как национального многоэтнического государства официально остается непризнанной и конкурирует с остаточным мышлением парламентариев, руководства партий, общественных движений и части деятелей средств массовой информации в русле старой, наднациональной традиции. Отсюда эклектизм установок Москвы, в которых сочетаются задачи обеспечения внешних условий для консолидации самой России с попытками возложить на нее максимальную долю ответственности старого Союза.

Между тем принятие этой концепции позволило бы лучше использовать внешнеполитические ресурсы, концентрируя их на направлениях, которые в решающей мере необходимы для поддержания статуса великой державы, и одновременно высвобождая их за счет свертывания избыточной вовлеченности за рубежом. Расширительные интерпретации международной роли России и ее задач в СНГ представляются несвоевременными. В свете нарастания внутренней конфликтности силы требуются для разрешения «домашних» проблем.

Отказ Москвы признать себя национальным государством вызывает настороженность стран нового зарубежья. Сегодня бывшие республики, лучше понимая соотношение потерь и выигрышей от сохранения «особых» отношений с Россией, ведут себя покладистее, чем в годы упоения «самостийностью». В рамках СНГ заключен экономический союз, выгоды или просто отсутствие альтернатив которому в основном связаны с зависимостью новых государств от российских нефти и газа. Но тем показательнее, что военно-политическое сотрудничество стран Содружества не обещает скорого создания структур стратегического сотрудничества и формирования объединенных вооруженных сил.

Несмотря на стремление сохранить привилегии в экономических отношениях с Москвой, дополненные расчетами воспользоваться российскими стратегическими гарантиями (Армения, Таджикистан, Туркмения)

и политической поддержкой (Грузия), в целом мало кто в новом зарубежье выказывает готовность поступиться суверенитетом ради маячащей за Содружеством надгосударственной идеи. Пример Беларуси с ее «несостоявшимся» национализмом — исключение, подтверждающее правило. Бывшие республики предпочли бы иметь дело с Россией как национальным государством — потенциально грозным, но все-таки ограниченным в возможных устремлениях к слиянию с новым зарубежьем.

Конфликт в Чечне, поставки туда военного снаряжения из-за рубежа вынуждают возвращаться к необходимости обустройства внешних границ Российской Федерации. Расходы по обустройству границ, конечно, лягут бременем на налогоплательщиков. Однако можно предположить, что они не будут большими, чем те, что понесла Россия из-за чеченской кампании.

Вопрос о границах непосредственно выводит к российской политике в Центральной Азии, принципиальным для которой остается вопрос о будущем российско-казахстанских отношений. Значение Казахстана для России несопоставимо выше, чем любого другого нового государства постсоветской зоны из числа азиатских. Поэтому стоило бы на двусторонней основе проработать перспективы российско-казахстанского союза и в зависимости от этого решить вопрос о линии прохождения границы стратегической ответственности Москвы в Центрально-Азиатском регионе — к югу или к северу от казахстанских границ. Однако при всех обстоятельствах эта часть границы должна быть контролируемой.

Прояснение будущего отношений с Казахстаном могло бы стать логическим прологом к свертыванию военной вовлеченности России в Таджикистане, а в перспективе, как представляется, неизбежному отказу от нее. При этом на первом этапе, вероятно, речь могла бы идти не просто об «оставлении Таджикистана» на произвол обстоятельств, но, так сказать, о делегировании значительно большей доли ответственности за таджикскую ситуацию соседнему Узбекистану, которому, соразмерно тому, Россия могла бы увеличить военно-экономическую помощь.

Вопрос о границах России в практической плоскости актуален прежде всего в том, что касается их азиатского периметра. В европейской части проблема границ в целом менее остра и упирается в основном в экономическую контрабанду, к которой примешивается та или иная доля политически и психологически мотивированных неопределенностей. Вряд ли сама по себе она особенно важна для отношений России с Украиной. В этом случае большой эффект могло дать не обустройство границ, а последовательное, но не слишком навязчивое декларирование намерений России строить национальное государство в пределах

своих нынешних рубежей. Типологически Россия и Украина находятся друг к другу ближе, чем это признают официальные политики. Обе страны не знали традиций национально-государственного развития, в обеих народная ментальность тяготела к наднациональности, обе остаются многоэтническими государствами со слабым и неустоявшимся национально-государственным «я».

Однако если нынешнее российское мышление отягощено инерцией наднациональности, украинское склоняется к национальной философии в ее более умеренном после выборов 1993 г. варианте. Зафиксировав общность установок на создание национальных государств в своих странах, правительства России и Украины могли бы продвигаться к преодолению взаимных сомнений и умерить, в частности, опасения Украины по поводу возможных попыток Москвы в форме «реинтеграции» навязать Киеву свой, так сказать, протекторат.

Наконец, в духе интересов национально-государственного строительства России стоит переосмыслить и соотношение нажимных и кооперационных составляющих российской политики в отношении Балтии. Теперь, когда низшая точка отношений с ними в основном, хочется надеяться, пройдена, вывод войск завершен, а Эстония и Латвия нехотя, но все же начинают реагировать на обращенный к ним призыв международного сообщества отказаться от своей дискриминационной политики в отношении прибалтийских русских, наступает пора готовиться к подлинной нормализации отношений с этими странами.

Условием взаимопонимания при этом мог бы стать отказ российской стороны от попыток превратить эстонских и латвийских русских в сообщества российских граждан за рубежом. Разумеется, при встречной готовности Эстонии и Латвии создать более благоприятные условия для расширения возможностей русского населения интегрироваться в эстонское и латвийское общества. Помимо прочего, через расширение возможностей для получения адекватного образования, служебной карьеры и предпринимательства.

Необходимые и далее протесты по поводу нарушения прав человека, скажем, в Эстонии, правительство которой и на Западе не пользуется репутацией самого дальновидного, не может заслонить видения крупниц политически целесообразного в его действиях. Стоит спокойно осмыслить то обстоятельство, что для большинства русских отказ от переезда в Россию — сознательный выбор, предполагающий и необходимость приспособиться к жизни в пока еще чуженациональном государстве. Русские в Эстонии имеют все права на сохранение своей этнокультурной самобытности.

И все же в интересах России, чтобы они оставались не просто русскими в Эстонии, а постепенно научились ощущать себя эстонскими русскими, как стали во втором и третьем поколениях американскими татарами и итало-американцами люди, в силу стечения разных обстоятельств перебравшиеся в США из Старого Света, как стали русскими армянами и русскими грузинами давние потомки переселенцев с Кавказа в Россию, как, позволю предположить, должны рано или поздно стать русскими чеченцами внуки и правнуки тех, кто так или иначе оказался связан с нелегальными мятежниками и террористами в Чечне.

В преддверии полосы выборов российское сознание колеблется между наднациональной и национально-государственной парадигмами развития. Страна раздваивается между соблазном мессианства в постсоветском пространстве и потребностью ощутить себя национальным государством — в не меньшей степени, чем ощущают себя таковыми Франция, Китай или Турция. Имеющиеся в самой России и вне ее страхи перед национал-экстремизмом только оттеняют потребность в воспитании национально-либерального сознания. Оно, будучи проникнутым идеями универсального значения — демократия, свобода, достоинство личности, — было бы в состоянии обеспечить их доктринальное и практическое политическое воплощение в форме, учитывающей культурные, ситуационные и психологические особенности России. Назревшим кажется и отказ от наднациональных установок, которые отвлекают материальные и организационные ресурсы страны от главной задачи — укрепить Федерацию. Сплотить ее не только силой поколебленного военного могущества и надеждой на экономическую стабилизацию, но и мощью национального сознания, которому, как представляется, суждено стать основой новой российской государственности, в отличие от времен, когда государственность замещала национальность.

Примечания

¹ Цит. по: *Taylor A. J. P. Bismark. The Man and the Statesman. N.Y., 1967. P. 115.*

² *Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология. 1990. № 5.*

³ Лепту в разработку такой аргументации внес и автор статьи, за что несет долю ответственности. См.: *Богатуров А., Кожокин М., Плешаков К. Национальный интерес в российской политике // Свободная мысль. 1992. № 5.*

Глава 15

.....

Истоки американского поведения*

В феврале 1946 г. поверенный в делах США в Москве Джордж Кеннан послал в Вашингтон знаменитую «Длинную телеграмму» (*The Long Telegram*), которая по сей день остается лучшей из предпринятых в Америке попыток проанализировать мотивы внешней политики сталинского руководства. В переработанном виде этот документ был опубликован в июле 1947 г. в журнале *Foreign Affairs* под заголовком «Истоки советского поведения» (*The Sources of Soviet Conduct*). Кеннан оказал большое влияние на политическую мысль США: он сформулировал ключевые идеи концепции сдерживания Советского Союза, которая на многие десятилетия определила взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР.

Почин Кеннана-аналитика интересен прежде всего как одна из первых успешных попыток выявить политико-психологические и идейно-культурные истоки внешней политики государства. Без их понимания сегодня, как и полвека назад, трудно рассчитывать на выработку эффективной внешней политики вообще и курса в отношении ведущих международных партнеров, таких как США, в частности. Предлагаемая статья — попытка зеркально отразить замысел Кеннана, раскрыть особенности мотивов, которыми руководствуется нынешняя американская элита во взаимодействии с внешним миром.

Демократия или демократия по-американски?

Уверенность в превосходстве — первая и, возможно, главная черта американского мировидения. Она свойственна богатым и бедным, уроженцам страны и недавним переселенцам, образованным и не очень, либералам, консерваторам и политически безразличным. На идее превосходства высится машина американского патриотизма — неистощимо многообразного, сводимого, однако, к общему знаменателю: многое в Америке нужно исправить, но это — лучшая страна в мире. Идея превосходства — такая же вьезшаяся черта американского сознания, как чувство уязвленности (обиды на самих себя) — современного русского. В данном смысле американцы — это «русские наоборот».

* Опубликовано в: Россия в глобальной политике. 2004. Декабрь. Т. 2. № 6. С. 80–97.

Два века наши «интеллигентствующие» и «антиинтеллигентствующие» соотечественники сладострастно страдают в метаниях между комплексами несоответствия «стандартам» демократии и ксенофобией. Те и другие твердят об ужасах жизни в России. Подобное самоистязание недоступно уму среднего американца. В США могут, не стесняясь, словесно «отхлестать» любого президента. Но усомниться в Америке? Унизить собственную страну даже словом — значит, по американским понятиям, выйти за рамки морали, поставить себя вне рамок приличия. Граждане США любят свою страну и умеют ее любить. Американцы развили высокую и сложную культуру любви к отечеству, которая допускает его критику, но не позволяет говорить неуважительно даже о его пороках.

Америка достойна уважения по многим показателям. Но простому американцу не до статистики экономических достижений. Подозреваю, что если бы США и не были самым сильным и богатым государством мира, то наивно-восторженная убежденность американских граждан в достоинствах родины осталась бы ключевой чертой их национального характера. Отчего? Да оттого, что приток иммигрантов в США возрастает, а оттока из страны нет. На уровне массового сознания это неопровержимый аргумент. Почему мы стыдимся говорить о том, что и в Россию устремляются сотни тысяч людей, в том числе здоровых, красивых, образованных, из Украины, Молдовы, Китая, Вьетнама, из стран Центральной Азии и Южного Кавказа?

Оборотная сторона американского патриотизма — искренняя, временами слепая и пугающая убежденность в том, что предназначение Соединенных Штатов — не только «служить примером миру», но и действительно «помогать» ему прийти в соответствие с американскими представлениями о добре и зле. Это вторая черта американского характера. Для американца типична незамутненная вера в то, что его представления хороши для всех, поскольку отражают превосходство американского опыта и успех благоденствующего общества США.

Принято считать, будто в основе американских ценностей лежит идея свободы. Но стоит подчеркнуть, что в представлениях американцев абстрактное понятие свободы переплетается с более конкретным понятием демократии, хотя, строго говоря, это разные вещи.

В самом деле, свободу белого человека, пришедшего из Европы, чтобы колонизовать Америку, удалось защитить от посягательств Старого Света с помощью демократии — демократии как формы государственной самоорганизации колоний Северной Америки против Британской империи. Вот почему в глубинах сознания американца идея его личной свободы органично «перетекает» в идею свободы на-

ции. При этом в американском понимании «нация» и «государство» сливаются. Возникает тройной сплав: свобода — нация — государство. А поскольку кроме собственного государства никакого иного американское сознание не знало (и знать никогда не стремилось), то названная триада приобрела несколько специфический вид: свобода — нация — американское государство. Демократия для американцев — не тип общественно-политического устройства вообще, а его конкретное воплощение в США, совокупность американских государственных институтов, режимов и практик. Именно так рассуждают ведущие американские политики: в США — «демократия», а, например, в странах Европейского союза — парламентские или президентские республики. С американской точки зрения это отнюдь не тождественные понятия.

Происходит парадоксальное с точки зрения либеральной теории сращивание идей свободы и государства. Концепция освобождения (эмансипации) человека от государства обосновалась на американской почве не сразу. Это в Европе тираническое государство с VIII в. виделось антиподом свободного человека. В США государство казалось инструментом обретения свободы, лишь с его помощью жители североамериканских колоний добились независимости от британской монархии (*freedom*).

Идея освобождения личности от государства утвердилась в США только ко времени президентства Джона Кеннеди (1960-е годы), косвенно это было связано с началом реальной эмансипации черных американцев. Отчасти поэтому идея «свободы-демократии» (*liberty*) имеет в массовом американском сознании несколько менее прочные основания, чем идеи патриотизма и предназначения, которые апеллируют к понятию *freedom*¹.

Приверженность этой идее — третья черта американского политического мировосприятия. На уровне внешнеполитической практики идея «свободы-демократии» легко трансформируется в идею «свободы Америки», которая подразумевает не только право Америки быть свободной, но и ее право свободно действовать. Внешняя политика администрации Джорджа Буша выстраивается в русле такого понимания свободы. В этом заключается идейный смысл политики односторонних действий.

Уверенность в самоценности «свободы-демократии» позволяет считать ее универсальным высшим благом. Идея «свободы действий» в сочетании с комплексом «исторического предназначения» позволяет формулировать миссию Америки — нести «свет демократии» всему миру. Представление об оправданности американского превосходства дает возможность отбросить сомнения в уместности расширительных

толкований прав и глобальной ответственности США. В результате взаимодействия всех трех свойств американского политического характера формируется четвертая присущая ему черта — упоенность идеей демократизации мира по американскому образцу.

При всей иронии, которую вызывает «собственническое» отношение американцев к демократии, его стоит принять во внимание. Например, для того, чтобы отличать «обычное» высокомерие республиканской администрации от характерной черты сознания американской нации. Причудливая на первый взгляд вера американца в почти магическое всеисие демократизации для него самого не более необычна, чем наша почти природная тяга к «сильной, но доброй власти» и «порядку». Американцам трудно понять, почему другие страны не хотят скопировать практики и институты, доказавшие свое преимущество в США. Стремление «обратить в демократию» против воли обращаемых (в Ираке и Афганистане) — болезненная черта американского мировосприятия. Ирония по этому поводу вызывает в Америке недоумение или холодную отстраненность.

В отношении американца к демократизации много от религиозности. Пиетет к ней связан с высоким моральным авторитетом, которым в глазах американца обладает проповедь вообще. Исторически протестантская миссионерская проповедь среди привезенных из Африки черных рабов сыграла колоссальную роль для их интеграции в американское общество через обращение в христианство. Демократизация мира приобретает черты сакральности в глазах американца, потому что по функции она родственна привычным для него формам «богоугодного» религиозного обращения.

Повод для сарказма есть. Но и американцам кажется «природной тоталитарностью» россиян то, что сами мы предпочитаем считать естественным своеобразием собственного культурно-эмоционального склада. Наш народ сформировался в условиях открытых пространств Евразии, на которых Российское государство не могло бы выстоять, не занимаясь обеспечением повышенной военно-мобилизационной готовности своего населения. Постоянный настрой на нее сформировал у русских канон поведения, в соответствии с которым личная свобода соотносится с подчинением таким образом, что акцент делается на последнем.

Любопытна и другая параллель. Всемирное коммунистическое братство и глобальное демократическое общество — единственные светские утопии, способные по мощи и охвату претензий сравниться с главными религиозными идеологиями (христианство, ислам и буддизм). Но коммунизм отеснен, а религии могут уповать лишь на час-

тичную реставрацию былых позиций. Только демократизация остается вселенской идеологией, по-прежнему притягающей на победу во всемирно-историческом масштабе.

Мышлению политической элиты США, как и любой другой страны, присущ элемент цинизма. Однако в вере американцев в полезность демократии для других стран много искренности. Поэтому она и не лишена заряда внутренней энергии, неподдельного пафоса, даже романтики подвига, которые помогают американцам убеждать себя в том, что, бомбя Сербию и Ирак, они «на самом деле» несут благо просвещения.

Демократизация фактически представляет собой идеологию американского национализма в его своеобразной, надэтнической, государственнической форме. Подобную «демократизацию» США успешно выдают за идеологию транснациональной солидарности. Это упрек американским политикам и интеллектуалам. Но это и пояснение к характеру рядового американца. Он лишь отчасти несет ответственность за политику той властной группы, которую его голос, преломленный избирательной машиной, приводит к власти, но влиять на которую повседневно ему сложно, хотя и легче, чем россиянину влиять на российскую власть.

Не имея возможности в достаточной степени воздействовать на внешнюю политику, американский избиратель легко освобождает себя от мыслей о «вине» за нее. Проблемы экономической политики и внутренние дела вызывают расхождения, но внешняя политика — предмет консенсуса. При видимости «раскола» в американском обществе из-за войны в Ираке полемика ведется на самом деле относительно тактики прорыва к победе: с опорой на собственные силы или в сотрудничестве с союзниками, при игнорировании ООН или при символическом взаимодействии с ней. В главном — необходимости победить — демократы и республиканцы едины.

Такое отношение к войне с заведомо слабым противником не новость в американской истории. Но оно не новизна и в истории советской (Афганистан), французской (Алжир), британской (война с бурами) или китайской (война 1979 г. с Вьетнамом). В 60-е годы прошлого века отношение американцев к вьетнамской войне тоже стало всерьез меняться только в канун президентских выборов 1968 г. Лишь тогда Республиканская партия, добиваясь поражения демократов, сделала ставку на антивоенные настроения. За счет вброса денег в СМИ республиканцы инспирировали обнародование сведений о потерях США во вьетнамской войне. Журналисты и владельцы новостных каналов располагали этими сведениями и прежде, но ждали момента для выпуска их в эфир и помещения на страницы печати.

«Безграничная» Америка

Пятая черта американского мировидения — американоцентризм. Принято считать, что это китайцы помещают свою страну в центр Вселенной. Возможно, когда-то так и было. Во всяком случае в маленькой, тесной Европе трудно было развить психологию «срединности» какого-то одного государства. Все европейские страны придумывали себе родословную на базе исторической памяти о двух Римских империях, империи Карла Великого и Священной Римской империи германской нации. Европейские государства ощущали себя скорее «частями», чем «центрами». Политический центр в «европейском мире» блуждал из одной страны в другую. Не удалось развить идею «мироцентризма» и России, которая на протяжении истории безотрывно смотрела через свои границы — сначала на Византию, потом на Орду и, наконец, на Западную Европу, отдавая силы преодолению «маргинальности», а не утверждению «мироцентризма».

Долго не было американоцентризма и в США. Присутствовали изоляционизм и идея замкнуть на себя Западное полушарие, сделав его «американским домиком» («доктрина Монро»). Но посягательства на вселенский охват эти концепции не предполагали. Идея *Pax Americana* стала зреть в умах американских интеллектуалов после Второй мировой войны. Но тогда «мироцентризм» США оставалось мечтой. Ее реализации препятствовал Советский Союз. Американоцентризм начал процветать лишь с распадом последнего.

Все, что из России, Германии, Японии и Китая кажется американской экспансией, расширением сферы контроля США (в 1990-х годах — Босния, Косово, в 2000-х — Ирак, Афганистан), американцам таковым не представляется. Они полагают, что наводят порядок в «американском доме». Драма в том, что дом этот имеет странную конструкцию: у него «пульсируют» стены — то сжимаются, то раздвигаются. Снаружи они служат оградой вокруг территории США, ошетилившись кордонами на границе и жесткими процедурами выдачи виз. Изнутри — наоборот: если речь идет об американских интересах, масштабы которых безгранично разрастаются, до бескрайних пределов раздвигаются и стены «американского дома».

При прочтении любого внешнеполитического документа США очевидно: сферой американских интересов в Вашингтоне считают весь мир. Никакой другой стране, согласно американским воззрениям, не полагается иметь военно-политические интересы в Западном полушарии, Северной Америке и даже на Ближнем и Среднем Востоке. Американцы терпят факт наличия у Китая и России собственных

стратегических интересов в непосредственной близости от их границ. Но попытки Москвы и Пекина создать там зоны своего исключительного влияния воспринимаются Вашингтоном как противоречащие его интересам. Принцип «открытых дверей в сфере безопасности» распространяется на весь мир...за исключением тех его частей, которые США считают для этого «неподходящими».

Картина интересов США предстает в виде трех отчасти пересекающихся зон. Первая совпадает с контурами Западного полушария — это «внутренний дворик» США. Вторая охватывает нефтяные регионы — Ближний и Средний Восток и Каспий с выходом в Центральную Азию. Третья с запада охватывает Европу, «подпирая» Европейскую Россию, а с востока — Японию и Корею, «обнимая» Китай и Индию. Первая воплощает интересы безопасности США. Вторая — потребности экономической безопасности. Третья — старые и новые сферы фактической стратегической ответственности Соединенных Штатов.

Международная жизнь — последнее, что интересует американцев. Обычно они поглощены внутренними делами — социально-бытовыми, преступностью, развлечениями, затем — экономикой, наличием рабочих мест, выборами, политическими интригами и скандалами. Внешнеполитические сюжеты для них второстепенны, за исключением ситуаций вроде войны в Ираке. Но и такая война — вопрос для американца внутренний. Соль новостей из Ирака — это не страдания иракцев, а влияние войны на жизнь американцев: сколько еще солдат может погибнуть и вырастут ли цены на бензин?

Представления о географии, истории, культурных особенностях внешнего мира не очень занимают американцев. Все, что не является американским, значимо лишь постольку, поскольку способно с ним соперничать. США уделяют больше внимания тем странам, отношения с которыми у них хуже. Опасаются Китая? Госбюджет, частные корпорации, благотворительные организации тратят огромные деньги на изучение КНР. Вспыхнули разногласия с Парижем из-за Ирака? В Америке создаются центры по изучению Франции. Ким Чен Ир стал угрожать ядерной программой? В течение 2003 г. американцы издали около двадцати плохих и не очень плохих книг по КНДР — больше, чем о России за три года.

Сам факт, что Россия почти не упоминается в американских СМИ, а средства на ее изучение сокращаются, — признак того, что о «российской угрозе» в Вашингтоне не думают. Между тем американские политологические школы изучения России, никогда не отличавшиеся глубиной исследования, находятся в состоянии кризиса, сравнимого лишь с упадком американистики в Российской Федерации.

Мышление аналитиков яснее от этого стать не может. Размываются и прежде неотчетливые географические представления американских коллег, пишущих о евразийских сюжетах (речь не о профессиональных географах). А поскольку на карте все кажется рядом, то в ходе «научной» дискуссии в США можно услышать, что размещение американских баз в Кыргызстане и Узбекистане будет способствовать повышению надежности транспортировки нефти на Запад. Тот факт, что нефтяные месторождения Казахстана находятся на Каспии, на крайнем западе региона, а американские базы — у границ Китая, на его восточной окраинности, западному человеку кажется далеко не важным. «Центральная Азия» предстает сплошным нефтеносным пластом от Синьцзяна до Абхазии — этакая гигантская «Тибетско-Черноморская нефтяная провинция», замершая в восторге ожидания демократизации.

Россия—США: «союз несогласных»

Американское руководство предпочитает вести переговоры с позиции гласного или негласного проецирования силы, считается с силой и всегда использует ее — в той или иной форме — как дипломатический инструмент. Этот набор характеристик распространяется на обе версии американской политики — республиканскую и демократическую.

Между двумя партиями есть разница. Демократы считают применение силы последним резервным средством. Республиканцы готовы применять ее без колебаний, по собственному произволу, если не отдадут себе отчета в том, что им может быть оказано противодействие сопоставимой разрушительной силы. Страх перед ядерной войной с СССР умерял пыл республиканцев в 1950-х годах. Отсутствие опасений в отношении России придает смелость администрации Буша.

Как вести себя с таким важным партнером, как США? Ответ замысловат. Если Россия в самом деле намеревается стать партнером/союзницей Америки, она должна стремиться быть как можно сильнее, но при этом не представлять угрозы для Соединенных Штатов. Иначе сотрудничество с ней не будут воспринимать всерьез. Слабая Россия, идеал отечественных «пораженцев» бесславной ельцинской поры, для союза с Вашингтоном бессмысленна, а для роли «сателлита» слишком тяжела.

Необходимо осуществить второй этап реформы экономики, преодолеть ее исключительно нефтегазовый характер, провести модернизацию оборонного потенциала и реформу вооруженных сил, принять меры по усилению государства на основе рационализации при одновременном укреплении демократических устоев политической систе-

мы. Отказ России от мысли построить жизнеспособную демократическую модель — аргумент в пользу оказания давления на нее.

Другое дело — какое место даже для умеренно сильной (и «умеренно демократической») России угадывается в американской картине мира. В истории внешней политики США можно отыскать десятки вариантов партнерств с разными странами — от Великобритании, Франции, Канады или императорской России до Китая (между мировыми войнами), Филиппин, Австралии, Японии или Таиланда. Однако американская традиция знает всего два случая равноправного партнерства — это союз США с Россией в пору «вооруженного нейтралитета» Екатерины II и советско-американское сотрудничество в годы борьбы с нацизмом.

Больше Соединенные Штаты на равных ни с кем не сотрудничали. Американское партнерство — это альянс сильного, ведущего, с менее сильным, ведомым. Но такое понимание дружбы плохо сочетается с российскими представлениями о союзе как о договоре равных или договоре сильного с менее сильным, в котором роль ведущего отводится России. Мы слишком похожи на американцев, чтобы нам было легко дружить. Россия стремится стать сильнее, надеясь с большей уверенностью заговорить с иностранными партнерами. США хотели бы видеть Россию умеренно сильной и ничем не угрожающей, но были бы против уравнивания ее голоса с американским.

Можно представить себе несколько вариантов «особых отношений» между Россией и США. Вариант под условным названием «Большая Франция» отчасти реализуется сегодня. Россия, как и Франция при президенте Шарле де Голле, поддерживает США в принципиальных вопросах: борьбе с терроризмом, нераспространении оружия массового уничтожения и соответствующих технологий, предупреждении ядерного конфликта между Пакистаном и Индией. Одновременно и тоже как Париж времен де Голля, Москва не разделяет подходов США к региональным конфликтам — на Ближнем Востоке и в Северо-Восточной Азии. В отличие от Франции, однако, Россия не связана с США договором союзного характера и формально строит свою оборонную стратегию на базе концепций, не исключających конфликта с Соединенными Штатами.

Вариант «либерального Китая» не имеет аналогов в реальности, но может возникнуть, если между Россией и США станет нарастать отчуждение, вызванное, например, односторонними действиями США в Центральной Азии или в Закавказье, которые Москва сочтет враждебными. Это не будет автоматически означать возобновления конфронтации, но повысит вероятность сближения России с Китаем.

Двусмысленность американского военного присутствия у западных границ КНР в сочетании с неясностью ситуации вокруг Тайваня тревожит Пекин. Ни Россия, ни Китай не хотят противостояния с США, но их сближают подозрения, которые вызывает «неопределенность» целей американской стратегии в Центральной Азии. Вариант «либерального Китая» в лице России не пугает США. Он может оказаться для Вашингтона приемлемым (если не привлекательным) при условии уверенности американской стороны в том, что Пекин и Москва не вступят в полномасштабный союз в целях противодействия США.

Возможно, в идеале для американского восприятия подошел бы вариант «Россия в роли более мощной Британии». С одной стороны, дружественная страна, к тому же снабжающая США нефтью. С другой — достаточно сильная держава, способная оказать поддержку американской политике в глубине материковых районов Евразии, там, где Соединенные Штаты настроены расширить свое влияние. Однако нет уверенности, что этот вариант импонирует российскому руководству, если принять во внимание «ведомый» характер британской политики, подрывающий ее авторитет даже в глазах европейских соседей.

Компромиссным вариантом оказалось бы сочетание элементов первого и третьего сценариев. Россия — страна, развивающая, как и Великобритания, отношения с США независимо от отношений с Европейским союзом, но одновременно менее покладистая, чем Великобритания, и более упорная, как Франция, в отстаивании своих позиций.

При данном варианте разумной была бы политика «уклонения от объятий» Евросоюза и НАТО. От форсирования дружбы с первым — ввиду его стремления в последние годы мешать сближению России с Вашингтоном. От сотрудничества со второй — в силу неопределенности перспектив такого сотрудничества. Как инструмент обеспечения безопасности только на евроатлантическом пространстве НАТО перестала представлять для США ценность. Трансформация альянса — с точки зрения американских интересов — предполагает его отказ от роли исключительно европейской оборонной структуры и приобретение им военно-политических функций в зонах Центрально-Восточной Азии и Большого Ближнего Востока, т.е. в бывшем Закавказье и бывшей Средней Азии.

Зачем Россия нужна Соединенным Штатам? Мы привыкли думать о своей стране в основном как о ядерной державе. Своей «нефтяной идентичности» мы стесняемся: неловко вписывать себя в один ряд с Саудовской Аравией, Кувейтом, Катаром, Венесуэлой и Нигерией.

Теоретически американцы нашу ядерную сущность признают и отрицать не собираются. Однако для политиков-практиков, особен-

но среднего и более молодого поколений, Россия — это прежде всего крупнейший мировой экспортер энергоресурсов, который при всем при том обладает еще и ядерным потенциалом. То есть никакая не «Верхняя Вольта с ракетами», а страна, обладающая двояким потенциалом энергосырьевого и атомного оружия.

Переговоры о контроле над вооружениями вернутся в повестку дня встреч российских и американских лидеров. Но это случится позже, когда к ним присоединятся Китай и, возможно, лидеры других государств, если продолжится пока необратимый распад действующего режима нераспространения ядерного оружия. Тогда откроются новые возможности для российско-американского совместного маневрирования в военно-стратегических вопросах.

Это не значит, что России не надо совершенствовать свой ядерный потенциал. Но это означает, что в обозримой перспективе попытки вернуть Вашингтон к ведению дел с Москвой будут с упором на переговоры о контроле над вооружениями. Ядерный потенциал России обеспечивает ей пассивную стратегическую оборону. Будущее активной дипломатии — в сочетании энергетического оружия в наступлении и ядерного в самозащите. В мире нет больше ни одной ядерно-нефтяной державы. А потенциально таковой могут стать... Соединенные Штаты.

США изучают нефтегазовые перспективы России с различных точек зрения. *Во-первых*, с точки зрения ее собственного экспортного потенциала (нефть Коми и газ Сахалина); *во-вторых*, способности России препятствовать или не препятствовать Америке в налаживании импорта из пояса месторождений поблизости от российских границ — на Каспии прежде всего, в Казахстане и Азербайджане; *в-третьих*, ввиду возможности влиять на новых импортеров российской нефти — Китай и Японию (нефть и газ из Восточной Сибири). Ядерный фактор работает скорее на воспроизводство подозрений США в отношении России, нефтяной — больше на повышение конструктивного интереса к ней.

Другие факторы проявления Америкой внимания к России тоже делятся на условно негативные и позитивные. К первым относится способность Москвы дестабилизировать обстановку в государствах, важных для производства нефти и ее транспортировки на Запад, — Азербайджане, Казахстане и Грузии, а также способность стабилизировать позиции с Украиной. Последнюю Вашингтон рассматривает в качестве новой транзитной территории, которая позволит обеспечить расширение военно-политических функций НАТО на новые фактические зоны ответственности альянса вне Европы.

Искаженные восприятия

В США Россию изображают то страной «неудавшейся демократии» и авторитаризма, то просто отстающим в демократизации государством, способным или быть полезным Соединенным Штатам, или нанести ущерб американским интересам и поэтому тоже достойным внимания. Сохраняется высокомерное отношение к России, как к дежурному мальчику для битья. Призывы «потребовать от Кремля...», «сказать Путину...», «напомнить, что США не потерпят (позволят, допустят)...» — к таким фигурам речи прибегают и демократы, и республиканцы. Поводы одни и те же: ситуация в Сирии, нежелание Москвы поддерживать авантюру в Ираке или согласиться с попытками Вашингтона повторить ее сценарий в Северной Корее.

Правда, подобные выходки со стороны США имеют место и по отношению к другим странам — например, в связи со вспышками разногласий с Францией или Японией. Разница в том, что японское лобби в Америке — одно из самых мощных, да и людей, симпатизирующих Франции, достаточно. Напротив, признаков ведения систематической деятельности в пользу России в США почти не наблюдается. Российское государство на эти цели денег тратить не хочет, а крупный российский бизнес, в отличие от японского, тайваньского, корейского и французского, поступает как раз наоборот, лоббируя свои интересы в России с помощью нагнетания за рубежом антироссийских настроений.

Какая из российских нефтяных фирм вложила средства в исследования России, проводимые, например, в Институте Гарримана (Нью-Йорк), в Школе Генри Джексона (Вашингтонский университет в Сиэтле) или в Центре русских исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне? Неудивительно, что на многих конференциях, посвященных России, в США продолжают говорить об «авторитарных и неоимперских тенденциях».

Правда, в последние годы американские политологи-русоведы стали больше читать по-русски (на это справедливо указывал Б. Рубл²). Но контраст очевиден: в России рукопись книги о США с указанием малого количества американских источников просто не будет рекомендована к печати, а диссертацию по американистике, две трети сносок в которой не будут американскими, не пропустят оппоненты. В США — иначе. В советские времена американцы находили извинительным не читать русские книги, говоря, что все, публикуемое в СССР, — пропаганда. Те немногие американские работы о советской общественно-политической мысли, которые выходили тогда, являют

собой стандарт аналитической беспомощности. Исследуя состояние умов в Советском Союзе, американские авторы до середины 1980-х годов ссылались лишь на решения съездов КПСС и труды советских официальных идеологов, не улавливая сдвигов, которые проявлялись в советской политической науке в виде массы осторожных, но вполне ревизионистских книг и статей. В результате американская политология проспала и «перестройку», и распад СССР.

С тех пор в России изданы десятки новых книг и напечатаны сотни статей, представляющих плюралистичную палитру мнений авторов новой волны. И что? За редким исключением (Роберт Легволд, Брюс Пэррот, Блэр Рубл, Фиона Хилл, Гилберт Розман, отчасти Эндрю Качинс, Клиффорд Гэдди и Майкл Макфол), американские политологи, пишущие о российской политике, читают русские публикации лишь от случая к случаю. Сноски на русскоязычные источники и литературу в американских политологических работах — исключение, а не правило. Они не составляют и трети справочного аппарата.

На что же ссылаются американские политологи? *Во-первых*, американцы предпочитают цитировать друг друга. *Во-вторых*, использовать материалы газет, выходящих в Москве на английском языке, будто не зная, что эти тексты рассчитаны на зарубежного читателя, а россиянин их обычно не читает и не испытывает на себе их влияния. *В-третьих*, они ссылаются на книги на английском языке, написанные русскими авторами по заказам американских организаций. Работы этой категории авторов тоже предназначаются американской аудитории и в минимальной степени характеризуют российскую политико-интеллектуальную ситуацию. За свои деньги американцы получают от русских авторов те выводы, которые хотели бы получить. Каков коэффициент искажения подобного рода «научных» призм?

Читали бы американцы русские работы в оригинале чаще, они бы, может быть, узнали из истории почившего Советского Союза нечто о перспективах собственной страны. Поняли бы — и кое-чего бы остереглись.

* * *

США — страна, которая, используя исторический шанс, стремится на максимально продолжительный срок закрепить свое первенство в международных отношениях. Это ключ к пониманию американской политики. Опасность заключается в том, что Соединенные Штаты чувствуют себя вправе применять любые инструменты, включая наиболее рискованные. Остановить продвижение США по этому пути вряд ли может

внешняя сила, если иметь в виду другие страны и их коалиции. Иное дело, что международная среда, природа которой сильно меняется под влиянием транснационализации, способна еще не раз резко осложнить воплощение в жизнь американской стратегии глобального лидерства.

Смысл идущих в России дебатов вокруг вопроса о перспективах российско-американского сближения состоит в выработке оптимальной позиции в отношении не столько самих Соединенных Штатов, сколько той непосильной, если верить истории, задачи, которую они гордо и, возможно, неосмотрительно на себя возложили.

Мощь Америки невозможно рассматривать и вне контекста эгоизма ее внешней политики. Но в то же время планета выигрывает от готовности США нести на себе груз таких мировых проблем, как нераспространение ядерного оружия, борьба с наркобизнесом, ограничение транснациональной преступности, упорядочение мировой экономики, решение проблем голода и пандемий и, наконец, ограничение потенциала авторитаризма национальных правительств.

Лучше или хуже станет миру, если вместо «либеральной деспотии» Вашингтона установится иной, не просчитываемый пока вариант борьбы за новую гегемонию? Непохоже, чтобы в случае падения величия США настала мировая гармония. Так что же правильнее: ждать революционного свержения лидера или коллективным ухищрением втискивать его амбиции в рамки придуманного американскими же учеными конституционализма?

Когда полвека назад Джордж Кеннан, «человек, который придумал сдерживание», писал свою статью, он пылко ненавидел советский строй и силился сочувствовать нашему народу. Оттого в его тексте много чеканных приговоров, временами чередуемых с лирическими отступлениями. Симпатичны американцы, и трудно ненавидеть американский строй по очевидной причине: современный российский строй, казалось бы пропитанный обоснованным раздражением против США, в главных чертах, в сущности, моделируется по американскому образцу. Это не случайно не во всем плохо. Это — важнейшая черта современной российской жизни, пронизывающая политические дебаты, которые в России отнюдь не затихают.

Примечания

¹ См.: *Косолапов Н. А.* Нелиберальные демократии и либеральная идеология // *Международные процессы.* 2004. № 2.

² См.: *Рубл Б.* Откровенность не всегда плохо // *Международные процессы.* 2004. № 1.

Глава 16

.....

Политика влияния США в Восточной Европе*

Современную политику США, при всем ее многообразии, трудно понять в отрыве от трех новых черт. Это снижение для США силовой конкурентоспособности со стороны международной среды, связанное с ним изменение целеполагания в отношении европейского, российского и дальневосточного материковых пространств и, наконец, опережающий рост роли Восточной Азии в американской системе приоритетов.

Россия в политике, формирующейся под воздействием этих факторов, утратила универсальную роль, которой обладал Советский Союз. Но российское, а в меньшей степени и восточно- и южноевропейское направления приобрели для американской политики новое значение. На тихоокеанских рубежах Евразии возвысились Китай и Япония, отношения с которыми превратятся для американских интересов в сплетение возможностей и граничащих с угрозами вызовов. Цель главы — выявить наиболее устойчивые, мотивированные характеристики политики США в отношении России и ее попыток найти линию противостояния Вашингтону.

1

Внешняя среда американской дипломатии сильно изменилась. *Во-первых*, при ее участии явочным порядком была осуществлена реорганизация структур мироуправления таким образом, что наряду с универсальным по охвату и официальным по статусу механизмом ООН вырос полузакрытый (по избранности допущенных в него членов) и неформальный (по типу принятия решений) тандем «семерка»—НАТО», который по практическому воздействию на мировую политику стал вровень с ООН. Между двумя ветвями мирополитического регулирования — формальной, ооновской, и неформальной, «семерко-натовской» — разворачивается конкуренция.

* Опубликовано в: Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 2. С. 20—29.

Во-первых, «неформальная» ветвь эффективнее в принятии решений. Члены «семерки» представляют собой однородные в политико-идеологическом и экономико-социальном отношениях государства, и им проще «притирать» свои интересы, чем разнородным субъектам, составляющим ООН. Страны «семерки» имеют возможность заранее согласовывать позиции по международным вопросам, а затем отстаивать их в ООН коллективно. Такая дипломатия довольно точно (но «зеркально») воспроизводит двухступенчатую модель выработки решений, характерную для дипломатии стран АСЕАН в отношении их партнеров. Государства этой группировки вели переговоры с более сильными западными партнерами и Японией. Они делали это после того, как предварительно договаривались между собой за закрытыми дверями совещаний на уровне министров иностранных дел или глав государств и правительств¹. Подобная модель повышает эффективность дипломатии группы стран, выступающих с позиций «прогнозируемого меньшинства» в процессе выработки решений, что учитывается странами «семерки».

Другое преимущество механизма «неформального регулирования» — его замкнутость на военную организацию НАТО. ООН не имеет собственных вооруженных сил. Поэтому любое решение Совета Безопасности (СБ) о силовых санкциях грозит перерасти в громоздкое многоканальное согласование, способное отсрочить действия на неопределенное время. Страны «семерки», напротив, могут мобилизовать свои военные ресурсы сравнительно быстро, руководить ими слаженно и применять по своему усмотрению, учитывая собственные политические интересы, как и задачи испытания боевой техники, обкатки и обстрела военных формирований на случай последующих конфликтов.

Правда, «семерка»–НАТО предпочитает действовать с санкции ООН, но не считает получение мандата ООН «категорическим императивом». Более того, речь скорее идет о формировании цепочки прецедентов, прокладывающих путь к утверждению практики принятия международных решений в обход ООН. Имеется в виду двуединая установка: с одной стороны, легализовать, морально оправдать в глазах общественного мнения действия «семерки»–НАТО, предпринимаемые вопреки ООН. С другой — оказать психологическое давление на ООН, которая, понимая собственную слабость и реагируя на силовое преимущество и превосходство политической воли, стремится избежать противостояния с «семеркой», идя навстречу ее требованиям.

Ситуация усугубляется положением внутри ООН. Обсуждение вопроса о реформировании организации привело лишь к тому, что разговоры об устаревании ООН и ее неадекватности стали рефреном на ооновские

темы. Острые критики направлены против Совета Безопасности. Внутри него, в соответствии с Уставом, сохраняется привилегированный статус постоянных членов (США, России, Китая, Франции и Великобритании), обладающих правом вето. Соответственно, предложения о реформе концентрируются вокруг возможностей увеличения числа постоянных членов СБ (путем включения некоторых других крупных держав, например Индии, Германии, Бразилии, Японии) и размягчения консенсусной формулы, чтобы некоторые решения СБ принимались простым большинством.

Не вдаваясь в частности вопроса о реформе и ее необходимости, заметим, что дискуссия о неадекватности ООН работает на моральную делегитимацию ООН и основанной на ней системы регулирования. В международное общественное мнение внедряется мысль о непригодности ООН для выполнения регулирующих функций в международных отношениях и о неизбежности передачи ее роли тем механизмам, которые де-факто перенимают долю ее прежде исключительных функций.

Во-вторых, после переходного периода, длившегося не более полутора-двух лет после распада СССР, в мире в основном утвердился пришедший на смену Ялтинско-Потсдамскому новый международный порядок. В литературе была предпринята попытка назвать его «Мальто-Мадридским»² — по встрече на Мальте в 1989 г., когда советское руководство, как принято считать, согласилось признать право стран Варшавского договора развиваться по несоциалистическому пути, и сессии Совета НАТО в Мадриде в декабре 1996 г., на которой было в принципе решено начать расширение НАТО на восток.

Этот новый порядок официальные власти и часть научных кругов в ряде стран, но прежде всего в Китае и России, стремятся вопреки очевидному видеть многополярным. Однако более основательным представляется мнение, что структура современного мира строится вокруг одного полюса, роль которого играет не одна страна, а группа ««семерка»–НАТО». Было предложено именовать такую структуру «плюралистической однополярностью». Появившийся затем на страницах печати термин «многополярность»³ представляется менее удачным, так как он существенно затушевывает процессы внутри единственного полюса. Речь идет о том, что параллельно с укреплением позиций группы по отношению к остальному миру внутри нее развивается процесс децентрализации.

Этот процесс (его описывают как частный случай тенденции к фрагментации современного мира) имеет несколько проявлений. Прежде всего, продолжает укрепляться собственно европейское начало, стремящееся стать наравне с атлантическим. Ускорившийся с 1998 г. поиск собственной военно-политической и оборонной идентичности, настой-

чивое желание заложить основу для единой оборонной политики Европейского союза — самый заметный из этого ряда признаков.

Другим является крен в пользу пересмотра некоторых положений американско-японского союза. Интересы двух держав слишком переплетены, чтобы какая-то из них помышляла о разрыве или переводе отношений на более низкий уровень. Но эволюция представлений и США, и Японии о возросших возможностях Токио оказывать влияние на международные отношения и объективное укрепление его позиций в 1990-х годах создали основания для устранения асимметрии обязательств обеих сторон по связывающему их договору безопасности 1961 г. (Вашингтон обязан защищать Японию, которая, согласно своей мирной конституции, не обязана защищать США). Это может выразиться в изменении ключевых положений договора путем расширения объема встречных обязательств Японии и ее прав в союзе с США, которые сегодня ограничивают японский суверенитет в сфере внешней, военной и технологической политики.

Еще одним признаком децентрализации можно считать стремление США избежать фронды в рядах союзников. Ради этого американская дипломатия прилагает усилия к тому, чтобы не только закрепить за собой основные рычаги управления миром, но и обеспечить согласие на это со стороны самих управляемых — по крайней мере той части, которую составляют старые члены «семерки». Не позволяя усомниться в воле следовать собственному видению перспектив международного развития, Соединенные Штаты перешагивают через «комплексы величия», стремятся методами убеждения и экономического стимулирования добиться принятия или понимания их позиции теми странами, отношениями с которыми Вашингтон дорожит.

Действуя так, США удерживают Россию и Китай в режиме диалога с собой, хотя спектр расхождений между ними и США не является секретом. В русле этой тенденции стоит понимать спокойствие, с которым Вашингтон говорит о трансформации «семерки» и о возможном присоединении к ней в перспективе Китайской Народной Республики. В этом случае он станет внешне (по составу и консенсусной процедуре принятия решения) выглядеть как Совет Безопасности ООН, реорганизованный согласно обсуждаемым проектам, без участия таких стран, как Индия и Бразилия.

В-третьих, новый международный порядок характеризуется смелой основополагающей идеей, остававшейся базой межгосударственных отношений со времен Вестфальского мира. Вместо принципа *laisser-faire* («разрешительности», «невмешательства»), в соответствии с которым каждое государство теоретически было свободно в своей

внутренней политике до тех пор, пока это не начинало угрожать безопасности других государств, 1999 г. принес утверждение принципа «избирательной легитимности». Согласно этому принципу государства-лидеры могут сами определять параметры законности или незаконности того или иного правительства в зависимости от соответствия или несоответствия его политики их представлениям.

Первой жертвой реализации новой концепции стала неспособная представлять угрозу для НАТО бывшая Югославия (по сути — Сербия) в 1999 г. во время конфликта в Косово. Показательно, что пороговая в ядерном отношении, и в этом смысле более опасная, Северная Корея, потенциально угрожающая Южной Корее и Японии, в разряд объектов применения мер против «нелегитимных» режимов не шла. Хотя ее политика в области прав человека не соответствует стандартам «реального социализма».

В-четвертых, утверждение нового порядка произошло на фоне длительного благоприятного периода развития экономики и экспансии в новые ареалы. Эффект экспансии не был смягчен азиатскими финансовыми кризисами 1998 г. и угрозой обострения проблемы международной задолженности. Устойчивый экономический рост США, Японии, стран Западной Европы, бум в Китае, объясняемый как результат отхода от государственного регулирования, способствовали укреплению психоэнергетического потенциала Запада, направленного на продление жизни модели экономического развития. Благополучие развитой части мира стало аргументом для обоснования мнений о безальтернативности избранного пути. Стали набирать популярность концепции переходности: от госрегулирования — к свободному рынку, от бедности — к процветанию, от тоталитаризма — к демократии, от унитарности — к федерализму, от национального государства — к свободной ассоциации регионов и территорий.

Финансово-экономическая подпитка интеллектуальных построений, а в ряде случаев их убедительность привели к тому, что для международных отношений, и это *в-пятых*, стала неожиданно характерна обратная «идеологизация». Она выразилась в либерально-моралистском идеологическом наступлении, абсолютизации опыта западной демократии и связанных с ней хозяйственной и социально-политической систем. Соответственно, реальный опыт (ход реформ в России), невместимый или не вполне вместимый в клише соответствий-несоответствий теоретическим ожиданиям, стал восприниматься как признак нежелания России исправиться, должным образом следовать моделям поведения, которые Запад согласился считать нормативными ценой войн с конца XVIII до середины XX в.

Наконец, *в-шестых*, сдвиги в международных отношениях, подчас неприглядные, оправдываются «либерал-идеалистической» гипотезой о том, что содержание современной эпохи определяется переходом большинства стран на путь созидания гражданского общества на базе либерально-демократического синтеза. Читатель старшего поколения невольно вспомнит постулат «неизбежности перехода от социализма к коммунизму» из Программы КПСС в редакции 1961 г. и — ухмыльнется. Однако молодой читатель, погруженный в современную либеральную теорию, но незнакомый с советскими догмами, лишен материала для сравнений. Он может не уловить иронии доктринальных параллелей, и мы ему посоветуем просто наложить предлагаемые теории на жизненные реальности и подумать над неувязками. Над тем, например, что разрушение тоталитарных обществ в большинстве случаев дало не прирост цивилизованных демократических мотиваций, а обнажение *традиционных, архаичных и антицивилизованных структур в поведении и мышлении людей, государств и народов*. Примеры тому — внешнеполитическое поведение Хорватии, Боснии и Герцеговины, Азербайджана, Армении и центральноазиатских государств.

Или над тем, что псевдодемократические и авторитарные составляющие *политии* фактически гармонично сосуществуют, дополняя друг друга, в обществах конгломератного типа, к числу которых принадлежат Россия с Беларусью и большинство других стран, образовавшихся на прежнем месте. Наконец, над тем, что тенденция к распаду классических тоталитаризмов в итоге сработала на увеличение в мире архаико-традиционалистского потенциала.

Эти наблюдения покажутся спорными. Но дискуссии о смысле перемен в современном мире, противоречивость их природы и отсутствие ясности в представлениях о преобладающих векторах развития (ясно, что от тоталитаризма, не ясно — куда) не позволяют говорить о шестом сдвиге как реальном. Но это не важно. Значимо, что представление о реальности этого сдвига внедрено в общественное сознание. Поэтому в сфере идеологии международного общения тенденция к демократизации оказывает влияние на отношения между государствами и подлежит учету при анализе.

2

Сдвиги оказались благоприятными для Соединенных Штатов. Сознавая это, американская элита стала формулировать заявки на руководство мировыми процессами. Несомненно, в ее основе лежат объек-

тивные перемены экономической природы, которые происходят в мире и оказывают влияние на современные международные отношения. На эту тему в России и за ее пределами существует литература, в которой разбираются различные аспекты процесса. Охватить их — не наша задача. Для темы этой главы важно отметить одно: на базе осмысления экономических процессов глобализации выросла политическая идеология, которая начинает влиять на международные отношения столь заметно, как материально осязаемые сдвиги глобализации экономической⁴.

В развитии идейной составляющей глобализации уместно понимать установку президента Б. Клинтона, который в январе 2000 г. в ежегодном послании Конгрессу провозгласил содействие распространению глобализации главной задачей международной политики США: «Глобализация — это не только экономика. Нашей целью должно стать объединение мира вокруг идей свободы, демократии и мира для противостояния тем, кто не разделяет эти понятия. В этом состоит фундаментальный вызов, с которым Америка, я уверен, должна справиться в XXI веке»⁵.

Свое лидерство США стараются скорее настойчиво проецировать, чем грубо навязывать. Вашингтонские аналитики просчитывают потенциал сопротивления. Его составляющими являются, *во-первых*, стратегическая самостоятельность двух-трех ядерных держав — Китая, Индии и Пакистана; *во-вторых*, неоднозначность политических ориентаций исламского мира, внутри которого не ослабевает, меняя очертания, антиамериканский запал; *в-третьих*, сетования на авторитарность США в кругу западноевропейских союзников и Японии; *в-четвертых*, подозрительность России связывается с угрозой выживанию страны, с американской поддержкой антироссийских тенденций в зоне российского влияния; *в-пятых*, с антиамериканизмом, присутствующим в разных регионах мира, прежде всего в Латинской Америке.

Показательный курьез: самыми верными сторонниками США сделались самые недавние из них — новообращенные государства, ждущие американской помощи (Латвия, Польша, Азербайджан и Украина). Но их декларативная поддержка может выполнять в основном роль психологического громоотвода от непопулярных шагов США, но не всерьез облегчать проведение избранного курса.

В Вашингтоне стараются не трогать ресурсы на преодоление сопротивления там, где его можно ослабить. Желание предупредить конфронтацию с несогласными — последовательная линия США. «Америка не может лидировать, если другие за ней не следуют», — раздраженно признал зарубежный коллега, критикуя администрацию за ее чрезмерную, по его мнению, щепетильность в диалоге с иностранцами⁶.

Оглядываясь на внутренних оппонентов, Вашингтон терпеливо одновременно увещевает несогласных и оказывает на них давление, применяя такую тактику к отношениям с Китаем, Россией, Индией и Ираном. Логика поведения понятна — помочь в осуществлении долгосрочных планов. Эти государства, может быть, не в состоянии, но они способны помешать повысить издержки washingtonской политики. Это логика, пригодная для объяснения линии Москвы в тревожных, испорченных связях с Украиной. Лавируя и изворачиваясь, она двигается к приобретению в глазах США и западных партнеров роли главного рычага воздействия на российскую политику с юго-западного и западного направлений.

Политика США рассчитана на разрешение двух задач. *Во-первых*, Вашингтон стремится обеспечить мобилизацию ресурсов союзников, чтобы использовать их для достижения общезападных («семерочных») интересов под своим руководством. *Во-вторых*, цель США — раздробление, измельчение потенциала реального и латентного противодействия западным устремлениям, в том числе через «стратегию перемалывания», под которой понимается линия на формирование в бывшей части «социалистического» мира сети не особенно сильных и не слишком устойчивых государств, вовлеченных в сотрудничество «асимметричной взаимозависимости» с Западом.

При постановке задач такого масштаба не думать о естественном сопротивлении материала, т.е. международно-политической среды, невозможно. Очевидна заинтересованность мирового ядра в минимизации возможного сопротивления и в размягчении среды. Подобное разрыхление влечет за собой повышение конфликтности международных отношений в виде множественных конфликтов, относящихся к уровням ниже региональных. Игра по-своему опасная. Но на фоне силового превосходства Запад не тревожится. Тем более что выигрыши от успеха реорганизации восточноевропейского пространства могут превысить потенциальные потери.

Важно избежать упрощений. Ни в политическом, ни в интеллектуальном отношении американский истеблишмент не представляет из себя монолита. В США существует значительный разброс мнений относительно роли и места России в мировой политике и американо-российских отношений. Наряду с традиционно антироссийскими группировками в стране существуют не менее влиятельные силы, симпатизирующие России. Более того, в 1990-х годах настроения в пользу сотрудничества с Москвой были в США наиболее сильны: видеть в России партнера Соединенных Штатов стремились и романтики-либералы из числа демократов, и одновременно республиканцы, включая

часть их правого крыла. Однако при всех различиях и те и другие понимали партнерство с Россией в едином ключе — «партнерство доброго учителя с прилежным учеником».

С проведением рыночных реформ и построением демократического общества Россия не справлялась. Отношения давали взрывы взаимного раздражения, позволяя Соединенным Штатам действовать односторонне в вопросах, где Москва имела право голоса на равных — расширение НАТО, в 1999–2000 гг. политика на Балканах или российско-украинский «тупик» 2014 г. Основная часть американского истеблишмента была едина, несмотря на несогласие России с политикой Вашингтона. Любопытная ситуация: на фоне дебатов по многим вопросам, в отношении американо-российских связей в США на уровне практических решений, затрагивающих интересы Москвы, возникает двухпартийный консенсус.

Есть цепь не зависящих от США обстоятельств, связанных с развитием самой России, вызывающих конкретные шаги-реакции Вашингтона и его союзников. Из них складывается закономерность, анализ которой дает обобщение относительно стратегии перемалывания, не представляющей писаную доктрину, но неофициально принятую к исполнению американской дипломатией.

Разрыхление, выравнивание евразийского пространства — не самоцель, а промежуточная задача Вашингтона. В долгосрочной перспективе цель состоит в создании на этой части материка устойчивого пространства. Но к этому состоянию международных отношений легче прийти через подравнивание предварительно хорошо перепаханного международно-политического поля. Вот отчего готовность США оказывать помощь национальному самоопределению в бывшей российской сфере влияния — инструмент рыхания местного пространства, а установление тесных связей с относительно молодыми государствами и содействие их переориентации на Запад — средство его выравнивания.

Соединение обоих методов в руках американской дипломатии образует инструмент формирования в Евразии структуры обеспечения стабильности и безопасности, отцентрованной под США. В нее входят НАТО и связанные с ним системы меньших региональных и двусторонних союзов, партнерств и квазисоюзных комплексов межгосударственных отношений. Таким путем американская дипломатия движется к реализации в новых условиях стратегической задачи США: предотвратить появление в Евразии гегемона, способного поставить под удар американские интересы⁷.

Материальных условий для формирования на осваиваемом пространстве проамериканского ядра Соединенные Штаты не видят. По-

этому НАТО остается краеугольным камнем евразийской политики Вашингтона. Но к востоку от «старой зоны» Альянса могут сформироваться протосистемы, составляющие не «санитарный кордон» или сферу передового базирования Атлантического мира (против России — как полагают аналитики крайне левой и резко правой ориентации), а «всего только» — в точном соответствии с теориями интеграции — его *новый фронтир*, что может быть гораздо хуже для «остальных» стран, Москвы и ее партнеров, остающихся за порогом этого процесса.

Подобными системами при определенных обстоятельствах могли бы стать, например, азербайджано-турецкий союз, перекрестные итальянские и турецкие гарантии Албании на одновременно антисербской и антиирредентистской основе, сеть балтийско-черноморского сотрудничества от Финляндии до Грузии. От этого зависит очертание внешних границ новой зоны освоения-интеграции.

Непроясненность этого вопроса и отсутствие базы для суждений о перспективе российско-американского взаимодействия — источник неустойчивости структуры отношений в Центрально-Северной Евразии и одна из причин беспокойства США. Поэтому американская политика строится в расчете на два сценария: Россия — партнер США (более покладистый или более упрямый) или Россия — соперник, готовый, не возобновляя конфронтации, совместно с другими недовольными странами воспользоваться любым промахом будущей администрации для ограничения американского влияния.

Американцы не говорят правды, изрекая, что желают России стабильности. Но Соединенные Штаты мечтают о распространении влияния на восток от старой зоны ответственности НАТО. Инструментом их утверждения в новых пространствах является благожелательное отношение местных правительств. Вашингтон больше заинтересован в возникновении в зоне потенциального влияния покладистых государств, чем в поддержке попыток Москвы сохранить сферы своих интересов.

США заинтересованы в «геополитическом разукрупнении России». Вряд ли Вашингтон станет активно содействовать разрушению Российской Федерации, но он окажет поддержку всякому режиму, который сможет добиться от Москвы своей частичной легитимации.

России важно сохранить с трудом завоеванный статус демократической страны потому, что если Россия — такая страна, то пытающийся отколоться от нее мятежный режим трудно рассматривать как демократический, а его борьбу — как движение за национальное самоопределение. Следовательно, сепаратистов будет сложно отнести

к разряду сил, заслуживающих американской поддержки на основании известной «концепции Лейка» 1993 г. («расширение демократии»).

Сохранение собственной территории — дело Москвы, а не ее зарубежных партнеров. Мы сами создали существующий строй и сами должны выбираться из трясины, в которую угодили из-за собственной гражданской безответственности. Острые стратегии США направлены на обеспечение оптимально благоприятных конкурентных позиций в XXI в. При этом они исходили из того, что наиболее мощным и закрытым для американского влияния государством будет оставаться Китай, для которого отношения с Россией могут оказаться и активом, и пассивом.

Этим в значительной мере определяется заинтересованность Вашингтона в конструктивных отношениях с Москвой. Соображениями реорганизации пространственных тылов определяется политика США в Восточной Европе. В случае гармонизации российско-американских устремлений этот регион может стать частью общей российско-европейской опорной платформы США в конкуренции с Китаем. А в ситуации роста противоречий между Вашингтоном и Москвой — превратиться в передовой форпост, с которого Западу будет проще удерживать Россию в нейтральной позиции на случай острого противостояния Китая с Соединенными Штатами.

Это не конфронтационная версия политики США в отношении России, но она могла бы содействовать включению ее в орбиту американской политики.

3

Виноватого вне страны, за исключением известных политических кругов, никто не ищет, но повод «обидеться» на США и международные институты силен. Фон российско-американских отношений хорошим не назовешь. Тем острее имеющиеся разногласия. *Первая группа* разногласий касается противоречий по вопросам конфликтов, связанных с самоопределением по внутренней и внешней стороне границ России, а в более широком смысле — на постсоветском пространстве. Проблема — положение на Кавказе. Война в Чечне и положение фактически втянутой в нее Грузии, ситуация в разделенном между Россией и Азербайджаном историческом Лезгинистане; армяно-азербайджанский конфликт вокруг Карабаха; активность американских нефтяных корпораций в зоне кавказских нефтепроводов и посулы Вашингтона расширить сотрудничество НАТО с государствами Закавказья — образуют клубок российско-американских противостояний.

К этой группе разногласий тесно примыкает вопрос о роли США в отношениях России и Украины. Проблема перехода Крыма из автономии украинского подчинения в республику российскую в 2014 г. решена на основании соответствующего закона Российской Федерации. Осталась нерешенной перспектива двух новообразований на украинской земле в Донецке и Луганске — сложный клубок двусторонних отношений. Реакция США по обоим аспектам проблемы остается отрицательной.

Другая группа разногласий — вопрос о статус-кво, отказе США его соблюдать и шагах Вашингтона к приобретению позиционных преимуществ над Россией посредством расширения НАТО. Об американской позиции было сказано достаточно. Москва не согласна с политикой свершившихся фактов, которая в самом деле отчасти вернула российско-американские отношения к практике, существовавшей в советско-американских (классически конфронтационных) до появления М. Горбачева с его новым политическим мышлением. США и СССР провозгласили приоритет согласованных действий по отношению к односторонним.

Другой блок трений можно охарактеризовать как битву за организационный ресурс. Россия теряет возможности влиять на принятие ключевых международных решений: *во-первых*, «Группа семи» перенимает у ООН функции регулятора мировой политики, и, *во-вторых*, сама Организация Объединенных Наций приближается к внутренней реформе. «Выпаривается» один из двух последних ресурсов проведения глобальной политики, который остался у России.

Ситуация характеризуется перевесом США в обеспеченности внешнеполитическими ресурсами. Российская дипломатия может сделать на американском направлении то, что можно описать как «пассивное сопротивление»: противодействовать напору США по всем азимутам трудно, это происходит из-за ограниченности ресурсов России и ее зависимости от западной финансовой поддержки.

Вряд ли правление В. Путина принесет резкие перемены в отношениях России и США. Скорее всего, их развитие продолжится в приемлемых рамках добрососедства, сохранение которого не исключает вспышек трений. В этом нет ничего фатального. Ведь вспышки разногласий, говоря языком медицины, можно расценивать как своего рода спазмы аккомодации, сопровождающие приспособление российской внешней политики к изменившимся внешним и внутренним условиям для ее проведения.

Соединенные Штаты и их союзники много вложили в Россию после 1992 г. — политически, идеологически, морально и экономически. Запад получил от сотрудничества с Москвой выигрыш, составляющи-

ми которого являются улучшение условий доступа к энергетическим ресурсам, использование высококачественного интеллектуального и людского потенциала и высвобождение средств оборонных бюджетов. Запад добился преимуществ в конкуренции с азиатскими центрами мировой экономики и политики. Перспективы сохранения или, наоборот, частичной утраты этих преимуществ ассоциируются в глазах американской элиты с возможностью или невозможностью удержать Россию на платформе сотрудничества с Западом.

Это не предвещает отсутствия проблем в контактах России и США. Основными задачами угадывающейся российской политики в обозримой перспективе могут стать:

- вовлечение Соединенных Штатов в переговоры о режиме контроля над вооружениями;
- отстаивание относительной свободы маневра России в вопросах урегулирования конфликтов вблизи ее границ;
- достижение компромисса в трактовке терроризма, допустимых пределов борьбы с ним, права на гуманитарную интервенцию, соотношения прав человека и государственного суверенитета в ситуациях политических и правовых коллизий между ними;
- расширение сферы внешнеполитической самостоятельности России, в том числе за счет углубления сотрудничества с Китаем, Вьетнамом, Индией, арабскими странами, Ираном и Северной Кореей;
- повышение роли России в механизмах миросистемного регулирования.

Повестка дня вырисовывается сложная. Запас прочности истончился, стали другими представления о достаточности такового у российского слоя. Отсутствие весомых экономических успехов и рост внутренних трудностей делают элитные группы чувствительными к вопросам престижа и безопасности.

Реагируя на новый элитно-массовый запрос, руководство страны стремится четче сформулировать национальные интересы и превращать отстаивание этих интересов в норму внешнеполитической деятельности. При таком подходе можно ожидать больших разногласий в содержательной программе отношений между двумя странами. Рост трений кажется естественным показателем развития.

Однако повод для серьезного беспокойства есть. Он связан не с существованием противоречий между Россией и США, а с неуспехом попыток сформировать сферу торгово-хозяйственных и финансово-

экономических устремлений, которые могли бы уравновешивать рост противоречий.

О линии России в отношениях с США говорить не просто. Она должна представлять собой сочетание твердости с умением находить компромисс в условиях превосходства партнера по диалогу. Порядок сложился как модификация биполярного, к началу нового десятилетия сформировался как порядок однополярный. Стратегия перезакладки, которая в наступающем веке должна гарантировать ведущим странам Запада сохранение их положения в международных отношениях, служит объединяющей целью. Эта стратегия, реализуемая в наступательных внешнеполитических концепциях, предусматривающих использование силы, ущемляет интересы России, исторически сложившейся в качестве сверхкрупного многонационального государства.

Болевая проблема в том, что в качестве партнера для сотрудничества Запад принял бы несколько иную Россию — меньшую в размерах, имеющую иные границы и несильную в ядерном смысле. Для самой России вхождение в сообщество кажется имеющим смысл лишь в той мере, в какой оно совместимо с традиционной российской идентичностью, радикального изменения которой вряд ли можно скоро ожидать.

Примечания

¹ Об этом механизме подробнее см. нашу работу «Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. 1945–1995. М.: Конверт — МОНФ, 1997.

² *Бабурин С. Н.* Мировой порядок после СССР и территориальный вопрос // Национальные интересы. 1998. № 1. С. 8–15. К формулированию основных положений этой работы имел отношение д-р ист. наук Б. Н. Занегин (скончавшийся в январе 2000 г.), российский международник марксистско-фундаменталистской, как он сам ее именовал, школы.

³ См.: Плюралистическая однополярность и интересы России // Свободная мысль, 1995. Для сравнения см.: *Страус Л.* Униполярность (Концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России) // Полис. 1997. № 2. С. 27–44.

⁴ *Milletman J.* The Globalization Syndrome. Transformation and Resistance. Princeton, 2000. P. 31–74; *Stem G.* The Structure of International Society. London, 1995. P. 43–60; *Steinbruner J.* Principles of Global Security. Washington, 2000. P. 23–84.

⁵ The State of the Union Address // Washington Post. 27.01.2000.

⁶ *Lake D.* Entangling Relations. American Foreign Policy in Its Century. Princeton, 1999. P. 298.

⁷ См. в основе своей не устаревшую ни в чем, кроме названия, работу: *Трофименко Г. А.* Об эволюции стратегической мысли США // США: политика, война, идеология. М., 1976.

Глава 17

.....

Иракский кризис и навязанное молчание*

Иракский кризис в течение короткого февральско-мартовского времени свидетельствовал: в мировой политике, в сфере взаимоотношений США со своими западноевропейскими и иными партнерами, впервые выходят новые обстоятельства, которые способны внести коррективы в сложившуюся политическую систему. На заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 г., на котором госсекретарь США К. Пауэлл в докладе пытался доказать правоту Вашингтона в нанесении наказующего удара по Ираку, обнаружилось, что американцев из солидных государств поддерживает лишь «вечная союзница» Британия. Три из пяти постоянных членов СБ выступили против (речь идет об итогах состоявшейся дискуссии, не о голосовании по резолюции). В Европе сложилось не совпадающее с американским мнение — Германии и Франции. К нему присоединилась Россия в ходе визита в эти страны Президента В. Путина. С большим трудом удалось скрепить НАТО по вопросу, связанному с войной против Ирака. Это по части официальных кругов. Что касается общественности, то впервые после вьетнамской войны протестные движения охватили многие страны — Великобританию, Францию, Германию, Италию, Бельгию и сами США. Это уже новое качество.

1

Распад биполярности, по сути дела, не привел к демократизации международного порядка. Отношения между странами и народами остались иерархичными — теоретически все равны, но нет тайны по поводу того, кто и насколько «равнее» остальных. Вместе с тем сильно изменилась стилистика межгосударственного взаимодействия — хотя бы в том смысле, что по крайней мере наиболее влиятельные державы, по традиции именующие себя великими, перестали угрожать друг другу и научились признавать древнюю истину: «Худой мир лучше доброй ссоры». «Компромисс» и «консенсус» стали ключевыми терминами в дипломатическом лексиконе XXI в. Ни тот, ни другой, однако,

* Опубликовано в: *Международная жизнь*. 2003. № 3. С. 30–39.

символом гармонии интересов разных стран не стали, и противоречия между государствами из международных отношений не испарились. Скорее виртуознее стало умение дипломатов договариваться между собой даже о самом горьком и неприятном. К тому же сильно изменилось качество международно-политической среды, в которой стала действовать современная дипломатия — в этой новой, более «плотной», интегрированной среде возможности действовать автономно, самостоятельно и независимо друг от друга распределились между отдельными странами неравномерно.

«Шквал» февральских дипломатических борений вокруг намерений США и Британии применить силы для свержения иракского правящего режима оттенил любопытную тенденцию. Имея все материальные, технические и организационные возможности для нападения на Ирак, Вашингтон и Лондон упорствуют в попытках заручиться если не поддержкой, то хотя бы пассивной лояльностью ведущих стран мира (за исключением разве что Китая) в отношении их политики в иракском вопросе. В силу множества причин Соединенным Штатам хочется избежать даже морально-политического расхождения со своими международными партнерами, в круг которых вступила Россия. Эта черта международной политики США вносит коррективы в условия, в которых действует дипломатия стран мира.

2

В самом деле, несколько черт международных отношений стали определяющими. *Во-первых*, продолжилось перерастание «классических» отношений между государствами в то, что стало называться «мировой политикой» — сферой спрессованного и нерасчлененного взаимодействия между государствами и негосударственными участниками международных отношений, базирующимися в географических пространствах, формально разделенных межгосударственными границами по неограниченно широкому кругу вопросов. Мирочелостность не стала менее противоречивой внутренне, но прочность ее внешнего контура стала заметнее.

Во-вторых, Соединенные Штаты Америки, опираясь на первенство в мировой экономике и отрыв от конкурентов в сфере новых технологий и военных возможностей, закрепили за собой положение глобального лидера, вокруг которого формируют современный международный порядок. Большинство других стран мира раздражено американским лидерством, а больше того — упорством на грани вы-

сокомерия, с которым республиканская администрация это лидерство демонстративно утверждает. Сотрудничество с США выгодно многим странам, и все же — парадоксальный факт: повсеместно происходит рост антиамериканских настроений в мире. Его признают даже сами Соединенные Штаты — любопытная новая черта ситуации.

В-третьих, заметнее, шире, многообразнее и изощреннее стала практика, которую применяет Вашингтон в интересах подключения ресурсов своих старых (НАТО) и новых (Россия) партнеров для реализации задач США в международной политике. Американская элита поглощена захватывающей работой над формированием новой повестки дня глобальной политики на первую половину наступившего века — «американский проект для России и всего мира». Неотъемлемым условием сохранения мирового лидерства в США считают присоединение к национальным ресурсам Соединенных Штатов ресурсов других стран *не методом силового захвата, завоевания, а мирным путем* — посредством экономической и политической интеграции. Интеграция в самых многочисленных оттенках значения этого слова становится ключевым элементом американского внешнеполитического инструментария. Отсюда не только желание возвеличить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), но и грандиозный план интеграции в масштабах всего Западного полушария. Шаг, предпринимаемый американцами параллельно с упорным «ввинчиванием» США в Азиатско-Тихоокеанское региональное экономическое сотрудничество с опорой на «особые» военно-политические и хозяйственные связи Вашингтона с Японией, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и Тайванем, Южной Кореей, странами АСЕАН, Австралией.

В ключе этой универсальной «панинтеграционной» стратегии («стратегии смиряющих объятий», как точнее будет ее назвать) стоит понимать этап российско-американских отношений. Соединенные Штаты яснее и лучше российских политиков «судорожно-либеральной ориентации» понимают ценность и особенности потенциала, которым обладает Россия, — не только (не столько) энергосырьевого, но и (сколько) пространственного — геополитического и геоэкономического. Пространство, способность российской власти его удержать и контролировать, потенциал российского влияния (конструирующего или сдерживающего) в ключевых точках пояса приграничных территорий России на Дальнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье — вот что превращает Москву в ценного потенциального партнера Соединенных Штатов. Вот почему содействие демократизации России объективно важно прежде всего для нас самих.

Далее в кругу основных американских партнеров прорисовалось некоторое перераспределение ролей и влияния таким образом, что Россия смогла приобрести его больше, чем во времена Ельцина. В итоге за 2002 г. в рамках «однополярного мира» не сникла, а укрепилась тенденция к плюрализму мнений и позиций. Собственные интересы континентальной Европы, особенно крупных государств, готовы выплеснуться за обод «однополярности». Это происходило в связи с иракским кризисом в начале 2003 г.

Наконец, перегретая международная экономика, «на острие ножа» увильнувшая в 2002 г. от ожидаемого краха ее виртуальных составляющих, стала развиваться медленнее, но по-прежнему в русле формирования глобальных производств, укрепления транснациональных финансовых, технологических и информационных сетей. В этом смысле острый драматизм и конфликт мировой ситуации — в «невидимом бунте» этих сетей против Вашингтона и направляемого им механизма мирового регулирования. Транснациональные финансовые сети вышли из-под контроля государств-лидеров, в том числе США, и международных организаций. Соединенные Штаты пытались восстановить хотя бы частичный, избирательный контроль над мировым движением капиталов под лозунгом борьбы с финансированием терроризма, требуя помощи от партнерских стран. Эти попытки были безуспешны. Война в Афганистане, активная фаза которой была завершена на год раньше, внешне и политически выглядела как очередная карательная акция против «неблагонадежных режимов», на самом деле и экономически являясь первой военной акцией США и поддержавших их стран за восстановление государственного и межгосударственного контроля над каналами обращения «серых» и «черных» денег, связанных с наркотрафиком. На очереди был багдадский режим.

Понимание малой результативности этой попытки с точки зрения долгосрочной перспективы мирового управления определяет нервозность, с которой американская администрация относится к международному терроризму. Борьба с ним дала повод и основание для применения жестких мер и даже силы для восстановления равновесия в сложнейшей механике управления транснациональной финансовой системой, внутри которой в последние полтора десятилетия позиции национальных правительств резко ослабли, а роль автономных, вненациональных и иногда антинациональных транснациональных интересов усилилась.

Терроризм прирос к транснациональным финансовым сетям, он от них питается — во всяком случае от той части финансовых сетей, которая сама питается теньвыми деньгами «наркотического» проис-

хождения. Терроризм заинтересован в расширении наркосектора международной экономики, но и транснациональные финансовые сети объективно заинтересованы в наркоденьгах, потому что благодаря их притоку они становятся мощнее. Народился трехглавый монстр — неформальная коалиция транснационального финансового интереса, наркобизнеса и терроризма. По опасности для мирового общества этот зверь сравним с ядерной угрозой времен биполярной конфронтации — потому что транснациональные финансы *встали над* национальными государствами, и с такими угрозами национальные государства, замечательно научившиеся воевать друг с другом, бороться не умеют.

Вот почему главным противоречием кажется конфликт между сетевым, рассредоточенным характером *трансгосударственных* угроз безопасности человечества и старыми механизмами управления международными отношениями — посредством импульсов из Вашингтона, Пекина, Москвы, штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке или мигрирующих мест заседаний «семерки».

Отвлеченное рассуждение? Наоборот — указание на пока единственную, но главную угрозу американскому доминированию и порядку «плюралистической однополярности». Ни одно крупное государство мира, включая Китай, в обозримой перспективе, думаю, не будет планировать войну против Соединенных Штатов. США могут сами стать жертвой глобализации, содействие которой США официально провозгласили одной из основных целей американской внешней политики.

3

Устоят или не устоят в таких международных условиях отношения России с Америкой? С первого раза — при М. Горбачеве — не получилось: Советский Союз распался, и красивая идея советско-американского глобального «альянса во имя порядка» погибла, едва родившись. Не вышло и со второго: «первопрезидент» Б. Ельцин девять лет донимал У. Клинтона требованием равенства в партнерстве, но вывел дело лишь к ссоре из-за войны в Косове; американцы так и не поняли, отчего Москва домогалась равенства, не обладая равенством потенциалов с Соединенными Штатами.

В. Путину, честно говоря, повезло. *Во-первых*, дела в стране обстоят лучше, чем при Ельцине: цены на нефть не падают, позволяя время от времени даже правительству вспоминать о необходимости структурной реформы экономики и отказа от ориентации на экспорт ресурсов. *Во-вторых*, нашелся наконец у нас с Америкой общий враг, имя ему —

терроризм. Не то чтобы мы смогли в борьбе против него помочь Соединенным Штатам. И не то чтобы Штаты особо посодествовали нам против него на Кавказе. Но все же общий враг — большая сила, и польза от него немалая: Россия и Америка впервые со дня победы над нацистами в 1945 г. увидели друг в друге практическую пользу. Прежде, если правду сказать, думали в лучшем случае о минимизации взаимного ущерба.

Два этих новых обстоятельства в свое время изменили политико-психологический фон российско-американских отношений. Впервые после Горбачева американцы снова стали относиться к России с оттенком интереса и сдержанного уважения. Не потому, конечно, что в Москве появился новый президент — ладный и хлестко говорящий. И даже не оттого, что он пришелся по нраву — тоже нелегкому — чему-то похожему на него новому и скорому на расправу американскому президенту. *Россия стала привлекательнее для американцев из-за того, что «вдруг» изменилась конфигурация глобальных интересов США, и в новой — Россия стала играть совсем иную роль, чем та, что ей досталась в старой, оставшейся в прошлом веке переходной структуре международных отношений и внешнеполитических устремлений Америки.*

На наших глазах происходит «евразияция» внешней политики США. Такого раньше не было. Американские стратегические концепции, конечно, содержали упоминание Евразии. Почти два века главной внешнеполитической задачей Соединенных Штатов называли противодействие появлению державы, способной установить свою гегемонию в Евразии. Но такие упоминания Евразии были, скорее, формальными. Реально в системе внешнеполитических приоритетов США господствовали Европа, страны Западного полушария и Япония. Европа была главной.

Теперь — иначе. Европа осталась важной. Но ее значение стало другим. Прежняя Европа была для США передовой линией обороны, «фронтом» противостояния с самым опасным противником. Ныне Европа — глубокий «тыл» американской политики, «фронт» которой сместился в глубину Центральной Евразии — туда, где смыкаются границы Афганистана, новых центальноазиатских республик СССР и двух новых ядерных держав мира — Пакистана и Индии. Здесь в новом веке разместился новый геополитический центр мира. *К востоку от него — Китай, могучий и опасный. К западу — Иран и Саудовская Аравия — две мощные нефтяные державы, откровенно враждебные Соединенным Штатам.* Европа ничем или почти ничем не может помочь американцам в этой части мира. Ее удел — играть вспомогательную, а не главную партнерскую роль в американской глобальной стратегии.

Изменилась роль НАТО как минимум в той мере, в которой уменьшилась стратегическая роль Европы. Ведь НАТО прежде всего европейская организация, а лишь одна натовская страна, Британия, способна практически помочь Соединенным Штатам в решении задач глобальной или евразийской политики. Как и Европа, НАТО очень важна для США. Но важна не как прежде. Во всяком случае, она, несомненно, теряет его при своем нынешнем страновом составе даже с учетом новопринимаемых малых, слабых и в военном смысле недостаточно подготовленных государств, от Эстонии до Румынии.

Только подпитка Североатлантического альянса российским геополитическим (пространственным) ресурсом может позволить НАТО приобрести новые позиции, дающие возможность рассчитывать на определяющее влияние альянса в Центральной Евразии. Россию в НАТО не будут приглашать, но альянс — теперь это становится понятным — на самом деле надо реформировать. Из наступательной ударной структуры глобального значения (так сказать, союза обороны) он обречен превращаться в «обычную» европейскую структуру безопасности. В последнем случае американцам предстоит строить свою наступательную внешнеполитическую стратегию в опоре на двусторонние союзы — с Британией, Японией, может статься, с Индией.

В самом деле, ведь курс на союз с США провозгласили двадцать лет назад, а что-то похожее на настоящее сотрудничество так и не нашли. С одной стороны, для нашей страны это шанс упрочить положение в престижном кругу влиятельных стран мира. С другой — риск и вызов: с Америкой можно вести дела только на хладнокровно просчитанных соотношениях интересов обеих сторон. Соединенные Штаты более терпимы к политике России в отдаленных странах, вопросе прав человека, а также на Ближнем Востоке. Но это внешняя сторона ситуации.

За ней скрыты глубокие противоречия по поводу главного. США были готовы предложить Москве, по их мнению, роль младшего, ведомого партнера со всеми вытекающими последствиями: необходимостью учитывать пожелания Вашингтона в вопросах российской политики. Но в России не вызрела готовность большинства элиты согласиться с такой ролью. Желая сближения, стоит готовиться к неизбежным ссорам. Разногласия из-за американских планов первой войны с Ираком — пример тому. В мировой дипломатии вырисовывается новый «образ действия».

В новом веке Соединенные Штаты оказались в роли последней сверхдержавы, в понимании этого слова согласно традиции политического реализма — огромной, экономически и военно-политически мощной, но одновременно «по-имперски» внутренне разрыхленной

и неоднородной в этнорасовом отношении. Знак ли это прочности американского доминирования? Скорее — признак ограниченности возможностей США в XXI в. и, вероятно, внутренней хрупкости американского государственного организма. В России бунт пришел со стороны безземельных крестьян и осатаневших от войны солдат. В Америке, похоже, источник внутреннего несогласия — этнические сообщества с их транснациональной, «трансамериканской» идентичностью. Правда, это то ли будет, то ли нет, и если случится, то не завтра. России надо иметь дело с такой Америкой, какая она есть.

Для российской дипломатии значимо то, что *США взяли на вооружение новую внешнеполитическую концепцию — доктрину смены режимов в зарубежных государствах*. Соединенные Штаты — в апогее превосходства над другими странами, а внешнеполитические ресурсы тех разобщены и ограничены.

При этом свои обширные ресурсы американская дипломатия расходует экономно. Вашингтон ведет учет своих противников, стараясь не допустить чрезмерного расширения их списка. Обратим внимание — число официально поименованных «неблагонадежных» стран стабильно невелико, американская администрация словно успокаивает международное сообщество, подчеркивая: круг «стран-плохишей» узок, и поэтому применение силы против них не повлечет за собой обширного мирового конфликта.

США дорожат единством в рядах дружественных стран. Вашингтон стремится избегать лобовых дипломатических схваток с партнерами, стараясь по возможности привлечь их на свою сторону уговором, посулом сообразно моменту и только в самом последнем случае — жестким хладным словом-остережением. При этом США экономят дважды: уменьшая сопротивление со стороны внутренней оппозиции в союзных рядах и одновременно перекладывая на них часть бремени по осуществлению навязываемых им решений. Американская дипломатия научилась навязывать «вольным и невольным партнерам» свои варианты решения международных проблем таким образом, что это почти в самом деле выглядит как принятие решений консенсусом на основе взаимных уступок, компромиссов, согласованных шагов.

США пытаются применять тактику «вовлечения», втягивая бывших и потенциальных *соперников* в отношения сотрудничества с собой, по возможности превращая их в *партнеров* — пусть «упирающихся», «несогласных», не во всем надежных, но все-таки партнеров, а не противников. В этом смысл стратегии «навязанного консенсуса». Сбои в этой стратегии более чем очевидны.

Китай, Россия, страны Европы, объединившиеся во все политически разобщенный Евросоюз, на региональных уровнях последовательно и временами упорно стремятся отстоять независимость или автономию своих действий по отношению к США. Но верно и другое. Наиболее сильные государства мира — от Китая и России до Германии и Франции — вовлечены за предшествовавшие годы в отношения торгово-экономической и финансовой взаимозависимости с Соединенными Штатами, и резкий разрыв связей с Вашингтоном никому из них не выгоден. Великобритания — особый случай.

Сообразно тому меняется «генокод» российской дипломатии. *В 1990-х годах он определялся настроением на уход от противостояния с Западом и удержание его на не враждебных к России позициях. Сегодня вопросы о противостоянии и враждебности свою актуальность, похоже, утратили.* Определяющими устремлениями стали завоевание Россией наиболее благоприятных позиций внутри глобальной системы партнерств и — с использованием этих позиций — поддержание необходимого уровня политического контроля на всей территории Российской Федерации.

Поверхностному наблюдателю нынешняя дипломатия России может показаться продлением прежней политики. Раньше она демонстрировала дружбу-братание с Западом, была своего рода самоцелью, средством укрепления легитимности своей власти, которая ежечасно оспаривалась российским политическим сообществом, да и самими реалиями российской жизни. В. Путину в этом смысле союз с Западом был не нужен: внутри страны бросать вызов его власти всерьез никто не стремится. Поэтому отношение к партнерству с США для него более прагматично. У него нет перед ними трепета, как не было чувства необходимости постоянно повторять слова «присяги против коммунизма». В политике России стало больше здравого смысла, расчета, понимания своего интереса, сравненного и соотнесенного с интересами США и Запада.

Партнерство с Западом в новых условиях стало рассматриваться как важный инструмент решения внешнеполитических задач страны. Из двух зол выбрали меньшее, но выбрали сознательно, после тщательного обдумывания и перебора альтернативных вариантов — ориентация на Китай, «равноприближенность» с ним. Не романтично, но менее ненадежно. Вот отчего российская дипломатия принимает правила стратегии.

Обольщаться по поводу отношений с США не приходится. Американская администрация демонстрирует склонность завышать возможности и самооценку, принижая роль оппозиции и критики ее курса. Рискованная политика, тем более что риски за ее проведение ложатся

не только на США. Российской дипломатии приходится задумываться о «стратегии уменьшения рисков», которую можно проводить «извне», во взаимодействии с европейскими партнерами и в режиме диалога с американцами.

Иракская ситуация — не столько повод критиковать США. Ее основание позволяет прийти к своего рода «коалиции заинтересованных» государств (Франции, Германии и Италии), целью которой было бы сотрудничество в интересах изменения американского лидерства. В этом много неудобств и ограничений. Но еще много дополнительных возможностей.

Впрочем, яснее другое — трехсторонняя коалиция (Франция—Германия—Россия) была против войны США в Ираке, а первый со времен греко-турецкого конфликта из-за Кипра кризис в НАТО в феврале 2003 г. сформировал совершенно необычную ситуацию. Старые и новоприобретенные партнеры США рискнули с помощью дипломатических методов урезонить Вашингтон, удержать американскую администрацию от очередной авантюры. Важно видеть при этом, что страны, не согласные с американским курсом, прилагают усилия, чтобы избежать противостояния с Соединенными Штатами. Они настойчиво, но деликатно пытаются убедить их в неуместности и несвоевременности войны против Ирака.

Иными словами, «вдруг» возникшая антивоенная коалиция стремится прийти к компромиссу с Вашингтоном, сохранить тот хрупкий и небесспорный международный консенсус в иракском вопросе, который удавалось поддерживать с лета 2002 г. Первый случай применения «стратегии консенсуса» не Соединенными Штатами в отношении более слабых партнеров, а последними — в отношении США. Это придает текущему моменту в международной политике новое измерение и одновременно интригующе захватывающую перспективу.

Глава 18

.....

«Стратегия перемалывания» в политике великих держав*

Внешнюю политику США — при многообразии ее главных аспектов — трудно понять в отрыве от выявившихся нескольких новых «вводных». Силовая конкурентность со стороны международной среды для США снизилась. В связи с этим в Вашингтоне изменилось целеполагание в отношении западноевропейского, российского и дальневосточного материковых пространств. Обнаружился опережающий рост значения восточноазиатских составляющих Евразийского материка в американской системе внешнеполитических, экономических и военно-стратегических приоритетов. Наконец, «всемирно-лидерские» устремления Вашингтона стали реализовываться на фоне проявляющих себя с 2001 г. типологически новых — транснациональных — угроз, к борьбе с которыми Соединенные Штаты по-прежнему не готовы теоретически (Ирак, Афганистан, Сирия и Украина) и практически-организационно¹.

Если в предшествовавшие полвека, в эпоху биполярности, международная стабильность рассматривалась американскими политиками как ценность политики, то в последние годы американское руководство перестало испытывать опасения в отношении мировых катаклизмов. Отстаивая стратегию «смены режимов», К. Райс, ставшая при администрации Дж. Буша в конце 2000-х годов государственным секретарем США, поясняла: «По мере того как мы продвигаемся вперед в осуществлении намеченной нами масштабной повестки дня, мы должны помнить, что времена величайшей стратегической важности оказываются одновременно и временами великих потрясений. Всякий, кому удавалось успешно построить демократическое общество, прошел через период потрясений. В Америке гордость за демократию, которую мы построили за 225 лет, была бы ложной, если бы мы позабыли о жертвах, понесенных на пути к ней»².

Россия в политике, формирующейся под воздействием этих факторов, утратила универсальную роль, которой в глазах американского истеблишмента обладал Советский Союз. Но в начале нового века рос-

* Опубликовано в: Международные процессы. 2009. № 3.

сийское направление приобрело для американской внешней политики существенно новое важное значение. Отчасти это было связано с нарастанием фундаментальных противоречий США с радикальными исламскими движениями в зоне Ближнего и Среднего Востока. Но в значительной мере — и с общим изменением конфигурации американских интересов в Евразии, на тихоокеанских рубежах которой мощно возвысились Китай и Япония.

Задача: исходя из главных процессов мировых трансформаций, выявить наиболее устойчивые, мотивированные характеристики американской политики в отношении России и ее попыток найти оптимальную внешнеполитическую линию в контексте того всемирного наступления в утверждение своего лидерства, которое (пока победоносно) около 25 лет разворачивают США.

1

За эти годы внешняя среда активности американской дипломатии сильно изменилась.

Во-первых, продолжилось перерастание «классических» отношений между государствами в том, что в новом веке стало называться «мировой политикой» — сферой спрессованного и нерасчлененного взаимодействия между государствами и негосударственными участниками международных отношений, базирующимися в географических пространствах, формально разделенных межгосударственными границами. Мирочелостность не стала менее противоречивой внутренне, но прочность ее внешнего контура стала заметней.

Во-вторых, налицо всемирный кризис многостороннего управления международными отношениями. При активном участии американской дипломатии «явочным порядком» была осуществлена реорганизация глобальных структур мироуправления таким образом, что наряду с универсальным по охвату и официальным по статусу ооновским механизмом вырос полузакрытый и неформальный — «восьмерка», — который по степени практического воздействия на мировую политику стал вровень с ООН.

В-третьих, после переходного периода, последовавшего за распадом СССР, в мире утвердился пришедший на смену Ялтинско-Потсдамскому новый международный порядок «плюралистической однополярности»³. Этот порядок часть политологов и политиков в Китае и России стремятся видеть многополярным. Более основательным является мнение о том, что современный мир приобрел характер од-

нополярной структуры, полюсом которой стала не одна страна, а их группа — ось «семерка» — «восьмерка» — НАТО».

Внутри этой группы развивается процесс децентрализации. Он имеет несколько проявлений. Прежде всего в западном блоке продолжает отвердевать собственно европеистское начало, пытающееся равноположить себя по отношению к атлантическому. С 1998 г. ускорился бег стран объединенной Европы в поиске европейской военно-политической и оборонной идентичности, повторяемое желание иметь мощную европейскую основу для того, что когда-то должно стать единой оборонной политикой Европейского союза — самый заметный из этого ряда признаков.

Другим его проявлением является давно нарастающий крен в сторону пересмотра некоторых положений американо-японского союза. Речь вряд ли идет об изменении ориентации Вашингтона или Токио на развитие двусторонних отношений. Интересы двух держав слишком тесно переплетены, чтобы какая-то из них помышляла о разрыве отношений. Но эволюция представлений и США, и Японии о возросших возможностях Токио оказывать влияние на международные отношения и укрепление позиций страны в мировой системе создали солидные основания для устранения асимметрии обязательств обеих сторон по связывающему их договору безопасности 1961 г. (США обязаны защищать Японию, но Япония, согласно своей мирной конституции, не обязана защищать США). Внутриполитическая эволюция в Японии ведет к формированию неформального консенсуса большинства политических сил страны относительно необходимости пересмотра мирной конституции таким образом, чтобы Япония вернула себе право на создание военного потенциала, от которого она отказалась вскоре после Второй мировой войны, в 1947 г.⁴

Это может выразиться в переподписании прежнего договора и заключении аналогичного, в котором, однако, может быть зафиксировано расширение как объема встречных обязательств Японии, так и ее прав в рамках союза с США, которые сегодня существенно ограничивают японский суверенитет в сфере внешней, военной и технологической политики. Важно иметь в виду серьезные сдвиги, которые происходят на японской политической сцене.

Главными опорами системы оказались либерально-демократическая и демократическая партии. Они конкурируют между собой. Но при этом обе партии занимают сходные позиции в вопросе о пересмотре мирной конституции 1947 г. Если партии будут действовать сообща, то, по оценкам японских экспертов, этот пересмотр может состояться

в течение трех-четырех лет. Случись такое, Япония получит правовую базу для превращения в «великую военную державу». Таковы мнения американских, российских, да и японских экспертов⁵.

Наконец, некоторое перераспределение возможностей в кругу основных американских партнеров в «восьмерке» было связано и с тем, что сама Россия смогла приобрести в последние годы заметно больше международно-политического «веса». В итоге в рамках отстаиваемого Соединенными Штатами «однополярного мира», как ни парадоксально, не сникла, а укрепилась тенденция к плюрализму мнений и позиций. *Структура «плюралистической однополярности» сохранилась, став более плюралистичной и немного менее однополярной.*

В-четвертых, новый международный порядок характеризуется сменой основополагающей идеи, остававшейся базой межгосударственных отношений с Вестфальского мира. Вместо принципа *lasser-faire* (разрешительности), в соответствии с которым каждое государство было свободно в своей внутренней политике до тех пор, пока это не начинало угрожать безопасности других государств, он принес нарастание попыток наиболее сильных стран мира утвердить принцип «избирательной легитимности», в соответствии с которым государства-лидеры (прежде всего США и их ближайшие партнеры) могут сами определять параметры законности того или иного правительства в зависимости от соответствия его политики интересам государств-лидеров. Идея отказа от принципа суверенитета и невмешательства во внутренние дела — она составляет основу «избирательной легитимности» — выражает стремление администраций объявлять «опасной для мира» любую форму политического устройства и режим (в юридическом смысле слова), который выгодно и неопасно назвать таковым.

В-пятых, утверждение нового порядка происходит на фоне осложнившейся ситуации в мировой экономике. В предшествующие двадцать лет она развивалась в целом благоприятно — сначала для западных стран, а в первые годы нового века — для многих «полусоциалистических» стран, вставших в предшествующие десятилетия на путь экономических реформ. Экономический рост стал заметен не только в Китае, но и в России, Вьетнаме и Казахстане. Эксперты стали говорить об угрозе окончания предшествовавшего длительного периода благоприятного развития постиндустриальной экономики.

В-шестых, новая конъюнктура цен оказала противоречивое воздействие на международное положение России. Отчасти рост цен на нефть был выгоден ей: доходы от экспорта энергоносителей выросли. Но российская экономика, прежде всего ее банковская сфера, стала

обнаруживать признаки «перегрева», вызванного притоком нефтедолларов, которые она фактически оказалась неспособна эффективно «переварить», т.е. должным образом, эффективно освоить в соответствии с долгосрочными приоритетами развития национального хозяйства.

Следствием такой ситуации, с одной стороны, оказался рост курса рубля к доллару, который негативно сказался на экспортной конкурентоспособности российских товаров. С другой — в стране возник стимул к «омертвлению» прихлынувших нефтяных денег посредством вложения их в недвижимость, сокровища и товары длительного пользования.

Формирование «перегретой» спекулятивной нефтяной конъюнктуры повлекло за собой повышение показателей производств, прямо или косвенно связанных с экспортом энергоносителей (вагоны-цистерны, трубы для нефте- и газопроводов, рельсы). Но одновременно высокие цены на нефть стали оказывать депрессирующее воздействие на базовые производства российского неэнергетического сектора. Последние оказывались в еще менее выигрышном положении по сравнению с энергодобывающими отраслями.

Социально-политических итогов такой ситуации оказалось несколько. Прежде всего последовало падение доверия к банковской системе, погрязшей на пике «бума нефтедолларов» в финансировании заведомо нереализуемых (строительных и иных) проектов и выдаче потенциально невозвратных кредитов.

В обществе существовали ожидания «шока» в российской банковской системе. Исторические параллели усиливают подобные настроения: всемирный кризис задолженности и волна банкротств 1980-х годов были порождены сочетанием сходных факторов, главным из которых была циркуляция в международных каналах банковского обращения огромной массы «неперевариваемых» нефтедолларов, которые возникли в результате резкого скачка цен на нефть в 1972–1980 гг.

При этом рост цен на недвижимость на фоне слабости системы льготного строительства жилья для граждан со средними и невысокими доходами сформировал в России потенциал общественного недовольства, прежде всего среди молодежи: теряя надежду на собственное жилье, она фактически не может рассчитывать на создание полноценной семьи.

Следует отметить, что анализы в подобном ключе известны в американской политикоформирующей среде. Их ключевая мысль в том, что экономический подъем в России хрупок. Следовательно, упрочение ее международных позиций, заметное в последние годы, может носить временный характер и обернуться в случае резкого падения цен на энергоносители новым ослаблением страны.

В-седьмых, в мире в обстановке сохранения фоновых демократических мотиваций продолжают демонстрировать пугающую мощь *традиционные, в том числе архаичные и антицивилизованные*, структуры в поведении и мышлении людей, государств и народов. Деятельность сетевых структур террористов и наркодельцов и сотрудничающих с ними транснациональных сетей частных банков и бизнеса — тому свидетельства. Тенденция к распаду классических тоталитаризмов на деле сработала на увеличение в мире не либерального и демократического, а архаико-традиционалистского потенциала.

2

Многие изменения в международной среде оказались благоприятными для Соединенных Штатов. Сознывая это, американская элита стала было предельно откровенно формулировать свои заявки на руководство мировыми процессами. В январе 2000 г. в ежегодном послании Конгрессу президент США Б. Клинтон провозгласил главной задачей международной политики США следующее: «Нашей целью должно стать объединение мира вокруг идей свободы, демократии и мира для противостояния тем, кто не разделяет эти понятия. В этом состоит фундаментальный вызов, с которым Америка, я уверен, должна справиться в XXI веке»⁶.

Потом пришло отрезвление. Стало ясно, на самом деле этот курс воплощает фундаментальные процессы мирового развития, а не является инструментом американской политики⁷. Международный терроризм с его органичной транснациональной, сетевой природой оказался нежеланным, ведь транснационализация коснулась не только «светлых и легальных» сфер международной жизни, но и «темных и криминальных» ее сторон⁸. Но разочарование в глобализации преломилось в идею односторонности. США откровенно стали заявлять о нежелании соизмерять свои действия с позициями других стран. Лидерство Вашингтон по возможности старался скорее «настойчиво проецировать», чем грубо навязывать. Руководство США откровенно стало прибегать для утверждения своего мнения к вооруженной силе⁹.

Правда, американская политика стала медленно эволюционировать в сторону отказа от наиболее демонстративных черт односторонности. Соединенным Штатам не выгодно фронда в рядах союзников. Американская дипломатия в идеале хотела бы не только закрепить за собой основные *рычаги лидерского управления* миром, но и обеспечить *согласие на это со стороны самих управляемых*. Не позволяя усомниться

в непреклонности воли следовать собственному видению перспектив международного развития, Соединенные Штаты одновременно стремятся не только давлением, но посулом, экономическим стимулированием добиться понимания их позиции теми странами, отношениями с которыми Вашингтон считает нужным дорожить.

Американская дипломатия стала относительно меньше обращать внимание на страны объединенной Европы. Но именно действуя в таком векторе, США одновременно прилагают усилия для удержания России и Китая в режиме конструктивного диалога с собой. В русле этой тенденции стоит понимать спокойствие, с которым в Вашингтоне поговаривают о возможном присоединении к «восьмерке» Китайской Народной Республики.

Для сдержанности американских властей имеются веские основания. Более здравая часть вашингтонских аналитиков просчитывает потенциал антиамериканского сопротивления на планете. Его составляющими являются, *во-первых*, высокая стратегическая самостоятельность ядерных держав — Китая, Индии и Пакистана; *во-вторых*, превращение полугласного и многоаспектного американо-исламского противостояния в разных частях мира в своего рода фундаментальную черту современной международной действительности; *в-третьих*, усилившееся разочарование в сотрудничестве с Вашингтоном и антиамериканские подозрения в кругу европейских союзников и Японии; *в-четвертых*, подозрительность России, связывающей угрозы своим интересам с американской поддержкой антироссийских тенденций в зоне своего влияния; *в-пятых*, «дисперсный антиамериканизм», присутствующий в разных регионах мира, прежде всего на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

В Вашингтоне начинают осмысливать положение дел прагматично, не тратя ресурсы на преодоление сопротивления там, где его можно было ослабить. Вашингтон одновременно увещевает несогласных. Логика американского поведения понятна — помочь в осуществлении долгосрочных планов США эти государства, может быть, и не могут, но они могут повысить издержки американской политики. Логика, пригодная для объяснения линии Москвы в испорченных кризисом отношениях с Украиной, политический слой которой склонен к приобретению в глазах США роли рычага воздействия на российскую политику.

Современная политика США рассчитана на разрешение двудеиной задачи: *во-первых*, обеспечить «мягкую мобилизацию» ресурсов союзников в интересах их использования для достижения общезападных интересов под своим руководством и, *во-вторых*, раздробление

потенциала противодействия западным устремлениям — в том числе через *«стратегию перемалывания»*, под которой понимается линия на формирование на пространстве бывшего «социалистического» мира сети не сильных и не устойчивых новых государств, вовлеченных в отношения «асимметричной взаимозависимости» с Западом и прислушивающихся к американским рекомендациям.

Геополитический смысл американской стратегии заключается в повороте США к реорганизации пространства западной и центральной зон Евразии в интересах придания ему новой государственной коммуникационной структуры, соответствующей перспективам развития мировой экономики и хозяйства промышленно развитых стран. Речь ведется о перезакладке фундамента для сохранения ресурсно-пространственных оснований той модели развития, которая в понимании зарубежной политологии принесла успех Западу. Трудно не думать о естественном сопротивлении материала, международно-политической страновой среды.

Не то чтобы США и страны НАТО специально прилагали усилия для разрушения относительно крупных государств вроде России. Но Запад предпочитает иметь дело с меньшими и более слабыми государствами. Ресурсов для оказания им помощи у него достаточно, а иметь с ними дело проще. Слабые страны покладисты и чувствительны к западным рекомендациям, в части реконфигурации пространства — тоже. Отсюда — закономерный выбор Запада к пользу «малых» против «больших». И отсюда же — напор стран, домогающихся помощи Запада. «Стратегия перемалывания» несомненно основана на принципе *индуцирования* центробежных тенденций в несогласных с реконфигурацией Евразии государствах.

Такая логика применялась американскими аналитиками преимущественно к России, а, скажем, Украина представлялась как своего рода инструмент «геополитического разукрупнения» первой. К примеру, американские коллеги в 1990-х годах много потрудились, чтобы подорвать политические позиции тех украинских сил, которые выступали за приоритетные отношения Киева с Москвой. Была разработана, а затем частично на западные и турецкие деньги реализована программа поддержки крымско-татарских групп, проживавших в Крыму, в ту пору части Украины — в 1954 г. законным путем ставшей подконтрольной зоной Киева, а с марта 2014 г. опять вышедшей в соответствии с законными актами из-под юрисдикции Украины и принятой как составная часть в Россию.

Свою роль играли американские эксперты, опиравшиеся, в частности, на учения одного из ответвлений вульгарной «этногеополитики» — А. Мотыля и Зб. Бжезинского. Тогда власти в Киеве исполь-

зовали крымских татар как политический «таран» против крымских «автономистов», казавшихся в Вашингтоне и Киеве сторонниками отделения населенного русскими, украинцами и татарами Крыма от Украины и его присоединения к России. Украинское правительство столкнулось с политической проблемой, которую оно само породило: радикализация части татарских групп привела к возникновению на той земле очага экстремизма, сторонники которого выступают под исламскими и радикально-националистическими лозунгами.

Любопытно, что в начале века Украина казалась западным коллегам слишком «большой и неподатливой». В результате в европейской и американской политико-аналитической среде выросла популярность идей об «исторической многослойности» геополитического массива Украины и «неестественности» его политической природы с точки зрения «органичного самоструктурирования» единой Европы как пространства соразмерно малых и средних государств, из которого Украина «выбивается». Соответственно, воскрешаются почившие схемы «европейских» Галиций («Южной Польши»), Русинии («Подкарпатской Руси») и Северной Буковины, которым противопоставляются «неевропейские» Слобожанщина, Причерноморье и Крым.

«Разрыхление» пространства больших и относительно больших государств (России или Украины) через их «перемалывание» — не самоцель. В долгосрочной перспективе задумка состоит в создании на этой части материка более или менее устойчивого и хорошо управляемого пространства. Но к этому состоянию международных отношений легче прийти через «трамбовку» прежде хорошо «перепаканного международно-политического поля», чем через преодоление сопротивления мощных, «слежавшихся» государственных слоев. Вот отчего готовность США оказывать помощь национальному самоопределению на постсоциалистическом пространстве — инструмент «рыхления» местного пространства, а установление тесных связей с молодыми государствами и содействие их ориентации на Запад — средство его «трамбовки».

Соединение того и другого методов в руках американской дипломатии образует инструмент формирования в Евразии новой структуры обеспечения стабильности и безопасности, «отцентрированной» под США, НАТО и связанные с ними системы меньших региональных и двусторонних союзов, партнерств и квазисоюзных комплексов межгосударственных отношений. На сей раз таким путем американская дипломатия движется к реализации старейшей, традиционной стратегической задачи: предотвратить появление в Евразии гегемона, способного поставить под угрозу американские интересы.

Ресурсно-материальных условий для формирования на вновь осваиваемом пространстве нового, мощного проамериканского ядра в США не видят. Поэтому НАТО остается важным элементом евразийской политики Вашингтона.

3

Европейский этап расширения НАТО не заканчивается. «Малоевропейцам» кажется, что главное назначение НАТО — защищать их от России. В Вашингтоне рассуждают иначе: если дальше тратить американские деньги на НАТО, то для того, чтобы эта организация служила целям глобальной политики США.

Экспансия НАТО на восток не остановится. Вопрос об Украине и Грузии давно обсуждается в контексте расширения и будет обсуждаться интенсивнее в ближайшие годы. О НАТО грезят в Баку и Ереване. После вступления в альянс Румынии последовать ее примеру захочется Молдавии.

Взгляды американских аналитиков и стратегов устремлены на восток — но не на западные границы России, как привычно было думать, а гораздо восточней — к Закаспию, казахским степям и западным границам Китая и Пакистана. В таком раскладе американцев волнует не «кордон» против России («девичьи грезы» Варшавы и Риги), а включение России в поэтапно расширяемое, единое стратегическое пространство, в долгосрочном процессе конструирования которого «поглощение» прибалтийских «карликов» или Словении со Словакией — частный мелкий эпизод. Украина после 2014 г. вопрос о присоединении к Западу решила, но путь остается долгим.

Правда, «новые малоевропейцы» готовы дать бой европейцам «старым» и «большим». Польша тшится выстроить «особые» отношения с США и противопоставить их натовским «евротяжеловесам» — Франции и Германии. Это дается не без труда, и внутренний расклад в Польше создает пределы для реализации желания наиболее воинственной части польской «элиты» стать союзником Вашингтона на европейском театре.

Не прекращаются разговоры о трансформации НАТО. Русские либералы-романтики (которые уцелели) время от времени пишут о превращении НАТО из военного союза в политический институт профилактики. «Малоевропейцы» строят «тайный заговор» во имя ликвидации господства «старых» членов альянса.

Демократии де-юре в НАТО достаточно: каждая страна имеет право вето — точно, как в средневековых польских сеймах имел его

каждый из сенаторов, все вместе они и довели Польское государство до его гибели.

Де-факто созданы четыре новые зоны военной ответственности НАТО — одна на Балканах, две в Азии: в Афганистане и на Ближнем Востоке; одна — вокруг Украины. Можно возразить: эти зоны таковыми официально не признаны. Не признаны, но не оспаривается, что США, Великобритания, Турция, Германия и другие члены НАТО посылают в эти «непризнанные зоны» свои войска, и те реально координируют на азиатских театрах боевых действий свои операции в соответствии с натовской стратегией, правилами, стандартами и опытом совместных маневров в рамках НАТО.

Реально из круга стран, способных вести боевые операции за пределами своей национальной территории, за расширение зон военной ответственности НАТО на Азию, выступает только Франция. Германия в одном случае оказалась солидарна с ней (Ирак), но в другом (Афганистан) — согласилась с политикой «азиатизации Альянса».

Трансформация НАТО в глазах Вашингтона — приспособление этой организации к нуждам американской политики. Ее приоритеты — закрепление в зонах перспективных месторождений энергоресурсов и путей их транспортировки, а также приобретение выгодных стратегических позиций в отношении держав, способных, хотя бы потенциально, помешать реализации американских целей, — Китая и России в первую очередь. Зоны, о которых идет речь, — Ближний Восток и глубинная материковая Центральная Азия, под которой в Америке (в отличие от России) понимают пласт геоэкономического пространства от черноморского побережья Абхазии (вот зачем Грузия) до границ Китая. Между этими рубежами грезятся неисчерпаемые ресурсы нефти и газа. А тут Украина с ее новыми президентскими выборами в 2014 г. — «неисчерпаемый запас прочности» российских позиций уже таким не кажется.

Прежняя, замкнутая на Европу и Атлантику НАТО для реализации таких целей не годна. Есть смысл уловить: *азиатизация* НАТО, новый расклад приоритетов американской политики может быть не выгоден России как державе евразийской.

На геополитической карте Старого Света проступают новые рубежи. Этот процесс высвобождает из-под контроля «естественные экономические и политические тяготения». Они стали работать на формирование новых очертаний зон взаимного сближения и взаимного отталкивания. Из «закрытого» региона «Средней Азии и Казахстана» стал формироваться регион Центральной Азии. Он не ограничен территориями ста-

рых советских республик. Фактически в него входят Афганистан (как минимум его таджикско-узбекские районы) и Синьцзян-Уйгурский район Китая (по крайней мере его северо-западные части с преобладанием уйгуров, казахов и киргизов). Исподволь и «поперек» официальных границ возобновился прерванный распространением царской империи в Среднюю Азию процесс формирования Центральноазиатской подсистемы международных отношений. Он непосредственно затрагивает интересы Пакистана, Китая, Ирана, а косвенно — России, Индии и США. Западная наука смотрит на происходящее, запуская новое выражение «Большая Центральная Азия» — *Greater Central Asia*.

Сходным образом «расползается» старая карта Закавказья. Дело не в том, что коллеги из Грузии, Армении и Азербайджана стали обижаться на приставку «за». Объективно на Азербайджан и Армению (несмотря на сопротивление последней) стратегическая обстановка вокруг Турции и Ирана начинает влиять сильнее, чем положение дел в России. В Ереване стараются этот процесс замедлить, но не могут его остановить. Понятие «Средний Восток» (фактически Иран и Афганистан), к которому привыкли в России, сейчас вообще перестало «работать»: идет формирование региона «Большой Западной Азии» (*Greater Western Asia*). В ее состав включаются Иран, Азербайджан, Армения и Турция. К северу от этого региона «зависла» в неопределенности Грузия.

Не ясно с Ираком. Ряд авторов сегодня относит его к Большой Западной Азии (БЗА), другие по-старому пользуются понятием «Ближний Восток» и относят Ирак к нему. Варианты возможны. Окажется Курдистан независимым (американцы гарантий не дают) — дорога ему открыта в БЗА. Уцелеет Ирак как единая страна — может быть, останется в составе Ближнего Востока. Слова важны лишь потому, что они отражают новую реальность. А она заключается в том, что *рухнул принцип обеспечения международной безопасности на региональной основе*.

Регионализм — понимаемый как тенденция к преодолению границ между странами — два десятилетия удивляет своими достижениями в экономике и политике. Он полностью подорвал основу региональной безопасности. Для того чтобы сохраниться сегодня, этот союз должен приобрести трансрегиональные, общемировые функции. Но политической воли к этому нет, как нет согласия на этот счет среди европейских стран, для которых этот союз создавался и который они считают «принадлежащим им по закону».

Геополитически Россия больше не у края НАТО. Альянс и Россия сомкнулись в Европе и, учитывая известную азиатизацию сферы ответственности НАТО и зону ее реальных военных действий, даже в каком-то

смысле нависает над ней с севера, непосредственно соприкасаясь в Центральной Азии

По-видимому, в долгосрочной перспективе угрозу ослабления базы американского хозяйства эксперты специального профиля в США оценили выше, чем потенциальный военно-силовой вызов со стороны Китая. Это меняет роль России в раскладе в Старом Свете и побуждает американцев переосмысливать известные сценарии ее внешнеполитического поведения.

4

Американская политика строится в расчете на два сценария: Россия — все-таки партнер США или Россия — американский соперник, готовый воспользоваться любым промахом американских администраций для ослабления контроля США в современном мире.

Американцы говорят правду, желая России стабильности. Но более стабильности *для нее* Соединенные Штаты желают *для себя* усиления влияния в глубине Евразии, далеко на востоке от старых зон ответственности НАТО. США принципиально заинтересованы в «геополитическом разукрупнении России» за счет ослабления ее некоторых периферийных частей — Украины, на Кавказе и Дальнем Востоке.

Острые американской стратегии направлено на обеспечение себе самых благоприятных конкурентных позиций в XXI в., исходя из того, что наиболее мощным и одновременно закрытым для американского влияния государством в эти годы будет оставаться Китай. Эта страна может оказаться как мощным активом, так и обременительным пассивом. Способностью Москвы увеличивать или уменьшать конкурентоспособный силовой, экономический и иной потенциал КНР сегодня на уровне практической политики определяется заинтересованность Вашингтона в отношениях с Москвой.

В целом в американской «стратегии перемалывания» можно выделить несколько основных черт:

- избирательное индуцирование центробежных тенденций во всех многоэтнических пространствах;
- вовлечение привлекательных для США новых государств в партнерские отношения с Западом;
- содействие формированию местных структур безопасности и сотрудничества под покровительством США;
- включение России в невраждебные отношения с Соединенными Штатами.

В последние годы изощреннее стала практика, которую применяет Вашингтон в интересах подключения ресурсов партнеров для реализации задач США в международной политике. Американская элита поглощена работой над формированием повестки дня глобальной политики на первую половину наступившего века. Условием сохранения мирового лидерства в США считают присоединение к Соединенным Штатам ресурсов других стран — *не методом силового завоевания, а мирным путем, посредством интеграции.*

Термин в многосистемных оттенках значения этого слова становится ключевым элементом американского инструментария. Отсюда — желание возвеличить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), но и внедрить план интеграции в масштабах всего Западного полушария. Шаг предпринимается американцами параллельно с «ввинчиванием» США в азиатско-тихоокеанское региональное экономическое сотрудничество. Это взаимодействие предпринимается с опорой на «особые» военно-политические и хозяйственные связи Вашингтона с Японией, торгово-экономическое сотрудничество с Китаем и Тайванем, Южной Кореей, странами АСЕАН, Австралией и Новой Зеландией.

В ключе этой интеграционной стратегии стоит понимать нынешний этап российско-американского партнерства. Соединенные Штаты яснее уцелевших российских политиков «либеральной ориентации» понимают ценность и особенности потенциала, которым обладает Россия. Пространство, способность российской власти его удержать, потенциал российского влияния в ключевых точках пояса приграничных территорий Российской Федерации на Дальнем Востоке, в Центральной Азии и Закавказье — вот что превращает Москву в мощного игрока. Ситуация в российско-американских отношениях характеризуется несомненным перевесом США в обеспеченности внешнеполитическими ресурсами. Однако сотрудничать нужно.

Противодействовать напору США «ради самого противодействия» нет необходимости. Российское руководство серьезно настроено на поддержание отношений с Вашингтоном. В России существует довольно многочисленный слой финансово-деловых кругов, заинтересованных в устойчивом хозяйственном взаимодействии с западными странами. Изменения произошли в массовом сознании россиян и их восприятии внешнего мира. В лице Соединенных Штатов русские люди готовы увидеть сильного, расчетливого и бесцеремонного конкурента.

Развитие российско-американских отношений двадцать лет продолжается в рамках сохранения связей, которые не исключают

периодических вспышек трений. Эти вспышки можно расценивать как «спазмы аккомодации», сопровождающие трудное приспособление российской внешней политики к изменившимся условиям для ее проведения.

Соединенные Штаты и их союзники много вложили в Россию — политически, идеологически, морально и экономически. Одновременно западный мир получил от развития сотрудничества с Москвой выигрыш в Азии. Это обстоятельство будет служить амортизирующей подушкой, снижающей вероятность резких перепадов в западно-российских отношениях.

Нет оснований предвещать беспроблемность взаимодействия России и США. При этом не стоит впадать в эйфорию и принимать перспективу экономического сотрудничества с США. Равно как стоит избегать соблазна развить в себе еще одну версию великодержавности: вместо прежней ракетно-ядерной — новую ядерно-нефтяную.

Болезненной сферой взаимодействия окажутся в близком будущем вопросы, связанные с конфликтами самоопределения по внутренней и внешней сторонам границ России, а в более широком смысле — в российском пространстве вообще. Украина стала зоной конфликта Москвы и Запада. Естественно, надо продумать, как привлечь кого-то из западных стран в разрешение проблем взаимных признаний и территориальных проблем на линии Киев—Донецк и Луганск.

* * *

Наступательность остается стилем внешнеполитического поведения американских администраций. Ни одно крупное государство мира не будет планировать войну против Соединенных Штатов. Но США могут и впредь сами становиться жертвой глобализации. Чем опаснее противник, тем важнее *государствам* найти взаимоприемлемые условия сотрудничества друг с другом. Партнерство России и США может быть условием стабилизации мировой ситуации. Болевая проблема ситуации — Запад с готовностью принял бы иную Россию, меньшую в размерах, имеющую иные границы и не такую сильную в ядерном и энергосырьевом смысле. Для Москвы «вхождение» в сообщество имеет смысл в той мере, в какой оно совместимо с сохранением российской идентичности как сверхбольшого, многоэтнического, единого евразийского государства. Изменения этой идентичности вряд ли можно скоро ожидать.

Примечания

¹ *Yetiv S.* Explaining Foreign Policy. U.S. Decision-Making and the Persian Gulf War. Baltimore; L.: The Johns Hopkins University Press, 2004. См. также: *Odom W.* America's Inadvertent Empire. New Haven; L.: Yale University Press, 2004.

² Remarks by National Security Advisor Dr. Condoleezza Rice to the National Legal Center for the Public Interest. The Waldorf Astoria Hotel. N.Y., 2003. Oct. 31 // URL: www.whitehouse.gov/news/releases/2003/10/20031031-5.html.

³ Термин «плюралистическая однополярность» был предложен в 1996 г. См.: *Богатуров А.* «Плюралистическая однополярность» и интересы России // Свободная мысль. 1996. № 2. Подробнее см.: Системная история международных отношений, 1918–2003: В 4 т. М., 2003. Т. 3.

⁴ Brookings Northeast Asia Survey. 2003–2004. Washington: The Brookings Institution Press, 2004.

⁵ См., напр.: *Yamaji H.* Future Japanese Security Policies: Contending Approaches // Northeast Asia Survey. 2003–2004. Washington: The Brookings Institution Press, 2004. P. 31–50.

⁶ The State of the Union Address // Washington Post. 2000. Jan. 27.

⁷ *Buzan B.* From International to World Society? English School Theory and the Social Structure of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

⁸ См. превосходную ст.: *Соловьев Э.* Сетевые организации транснационального терроризма // Международные процессы. 2004. № 2.

⁹ Remarks by the President on Weapons of Mass Destruction Proliferation Fort Lesley J. McNair — National Defense University.

Контрреволюция ценностей и международная безопасность *

Финансовый кризис конца десятых годов не заслони́л беду более общую — кризис миросистемный. Политики, деловой мир и общественность больше тревожатся из-за первого. Это понятно. Но финансовые потери — не единственная угроза. Дegradiрует международный порядок, сложившийся после распада СССР, а с ним — модель партнерских отношений между Россией и Западом. Между тем эта модель представляет собой ценность, пусть условия российско-западных отношений были выработаны с преобладанием интересов США и ЕС.

Неопределенность ситуации связана не только с циклом смены власти в США в 2008–2009 гг., но и с ситуацией в нашей стране. В России спокойно, но не просто, идет процесс перераспределения влияния, которое оказывают на внешнюю политику обе главные ветви исполнительной власти. При этом финансовый кризис, ударивший и по российской экономике, заставляет сомневаться в том, каким окажется внешнеполитический ресурс России — сколько сможет тратить российская дипломатия на реализацию своих задач. Активная внешняя политика, которой была привержена наша страна последние несколько лет, — линия ресурсоемкая. Но нарастить ресурс политической конкурентоспособности России без крупных инвестиций (программ экономической помощи сопредельным малым и средним странам) невозможно.

1

Мир вокруг России наполнен тревожной динамикой. В политико-психологическом смысле кризис сработал на формирование атмосферы чрезвычайности. Страны и правительства в такой ситуации находят извинительным поступать необычно, решительно и даже резко: все больше думают о собственном спасении, чем об учете чьих-то интересов. Счастье, что ведущие государства смогли хотя бы в принципе договориться о координации антикризисных мер и обуздании финансово-экономической разрухи. Хуже, что, несмотря на это, каждый исподволь

* Опубликовано в: Международные процессы. 2008. № 2 (17).

ждет ослабления другого, уповая на то, что в результате действия объективных причин это ослабление может случиться с соперником. Ключевой вопрос: с каким потенциалом каждая страна выйдет из кризиса. От этого будет зависеть будущий мировой расклад. Пока же все о нем гадают — в Москве, Брюсселе, Пекине, Вашингтоне...

От финансовой ситуации не отделить перепады цен на нефть, в целом резко упавших. Избаловавшись благоприятно высокой конъюнктурой, государства—экспортеры энергоносителей, включая Россию, оказались перед лицом тяжелых испытаний: выдержат или не выдержат их экономические системы проверку дешевизной сырья. В правление В. Путина речь шла о создании в России кризисоустойчивой модели роста, которая могла бы ослабить привязку нашей страны к экспорту нефти. «Великая нефтяная держава» — сила и слабость. Как дело обернется?

Новая неприятность — фактор малых стран. Никогда с боснийской провокации 1914 г. от них не было столько вреда, сколько теперь. Возник целый слой, если не класс, «государств-провокаторов», стремящихся сравнить между собой более сильные страны и нажиться на их противоречиях. Американская дипломатия два десятилетия холила поросль таких умельцев. Стратегия инкубации управляемой нестабильности в Евразии — главное теоретическое наследие дипломатии К. Райс. Именно эта рискованная идея овладела умами руководителей США в годы правления республиканских администраций. Эстония, Грузия, Литва — младшие птенцы «Райсова гнезда». За роль старших — конкурируют Польша и Украина. На Западе словно не видят: с точки зрения дипломатической стратегии Северная Корея — это «Грузия с ядерными амбициями», разве что хитрее и удачливее.

Еще одна черта — «революция ценностей». Припомним, с чего начинали двадцать пять лет назад. В 1986—1987 гг. советский лидер М. С. Горбачев сумел сказать, что все жители Земли имеют общий интерес — выживание, избежание общей войны. Это было поразительное и грандиозное психологическое открытие, благодаря которому ход истории на самом деле изменился, а ядерная война между СССР и США не состоялась. В этом уникальность заслуги первого советского президента.

Последующие двадцать пять лет на Западе не уставали укорять Россию за медлительность в усвоении ценностей свободы, демократии и прав человека. Россияне в самом деле с трудом переориентировали себя. Но все же неотъемлемость свободы, демократии и индивидуальных прав прочно вошла в сознание большинства представителей молодого поколения наших сограждан. Более того, действующие руководители страны стали воспринимать эти ценности серьезно, даже отказываясь соглашаться с их интерпретациями в американском и ев-

росоюзовском» исполнении. «Суверенная демократия» — вряд ли демократия либерального типа, но это, несомненно, демократия — хотя и с выраженной российской спецификой.

Только сегодня это, может быть, не самое главное. Если не будет мира, то может оказаться, некому будет строить демократию. А после «пятидневки конфронтации» России и США из-за августовских событий 2008 г., похоже, мир гарантирован менее надежно, чем он был гарантирован, скажем, при М. С. Горбачеве.

За два десятилетия похода за «освоение-усвоение» либерально-демократических ценностей значительная часть жителей Земли перестали по-настоящему дорожить миром и стали считать его фундаментальной и универсальной ценностью бытия. Люди во многих (преимущественно более богатых) странах ошибочно решили, что мир — неотчуждаемая данность. В атмосфере такого «самоубийственного бесстрашия» администрации Дж. Буша и пришла в голову бредовая и по сути антиамериканская идея уравнивать ценность стратегических отношений США с Россией и Грузией.

Революция ценностей и упоенность демократией «во что бы то ни стало» вылились в фетишизацию демократизации и оправдание практики использования демократических лозунгов для обоснования силового вмешательства США в любой точке мира. Идея демократии была подменена идеей демократической войны и произвола во имя демократии. Последняя потеснила идею мира, победа которой на рубеже 1980-х и 1990-х годов, в сущности, и позволила демократической идее победить, казалось бы, в планетарном масштабе. Последовал реванш силы. Мир на основе равновесия и взаимного учета интересов стал в начале 2000-х годов рисоваться ненужным анахронизмом.

Деградация ценности мира была очевидна со времени нападения стран НАТО на Югославию в конце 1990-х годов на фоне событий сначала в Боснии, а затем в Косове. В России в те годы возникли серьезные опасения по поводу последствий нарастания воинственности Запада для дела международной стабильности и безопасности Российской Федерации. Отказ Москвы от обязательства «не применять ядерное оружие в качестве оружия первого удара», зафиксированный в Военной доктрине 2000 г., был сигналом недоверия России к стабильности ее международного окружения и роста подозрений в отношении военно-политических планов западных стран.

События в сентябре 2001 г., военная акция США против талибов в Афганистане и спазматическое военно-политическое сближение России и США на почве совместного противодействия международному терроризму нейтрализовали на время тенденцию к отчуждению

между Москвой и Вашингтоном. Новый импульс к сотрудничеству был настолько мощным, что Россия удержалась от прямой критики в адрес США во время нападения Соединенных Штатов и Британии на Ирак в марте 2003 г., хотя некоторые американские союзники по НАТО в лице Франции и Германии открыто осудили действия Вашингтона.

За неполные восемь лет (с начатой в 1995 г. войны из-за Боснии и Герцеговины до войны в Ираке) по инициативе США было начато четыре крупных вооруженных конфликта — в среднем по одному каждые два года. Два из них (в Афганистане и Ираке) продолжаются более пяти лет. Тенденция к произвольному применению силы в международной политике не ослабевает. Война становится не чрезвычайным событием, а «обычным» инструментом регулирования международной политики не только для великих держав, но и для малых и средних стран. Первые развязывают войны, вторые — успешно учатся управлять воинственностью первых.

Великие державы не только «развращают» своим примером малые страны, но и сами «сползают» — не вполне это осознавая — к пройденным, казалось бы, уровням взаимоотношений. Плохо, но факт: нынешние политики в Америке и России не знают страха перед войной в той мере, которая была характерна для Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева. Иногда «понятийный кризис» страшнее финансового. В известном смысле российско-западные отношения вообще и российско-американские в частности «упали» ниже того уровня, на котором они были в годы «нового политического мышления» при всех слабостях этой концепции и противоречивости результатов ее воплощения на практике. Понятия демократии или ее отсутствия в условиях ядерной войны теряют смысл. Ситуация во время грузинских событий вернула нас к этой истине.

В 1960-х годах американские теоретики К. Уольтц, с одной стороны, и К. Дойтч с Д. Сингером — с другой, полемизировали по поводу того, какой мир стабильнее и безопаснее — биполярный или многополярный¹. К. Уольтц, казалось бы, выиграл спор. На его стороне оказался исторический опыт: как он и прогнозировал, в биполярном мире не произошло ядерной войны. Но в мире, который анализировал американский классик, властвовали СССР и США, руководители которых, по предположению К. Уольтца, мыслили и действовали в целом рационально: они боялись войны и избегали ее, даже когда внешне вели себя воинственно. После Карибского кризиса 1962 г. были веские основания полагать именно это. Новая проблема в том, что поведение американской дипломатии в дни «пятидневной войны» в августе 2008 г. заставляет думать об эрозии такой рациональности.

В нынешних условиях аналитику важно получить ответы на иные вопросы. Стабильным или нестабильным следует считать мир, в котором новые войны начинаются каждые два года? Рациональность или идеология в большей степени питает стремление США добиться военно-стратегической неуязвимости? Ответы не очевидны. Ясно, однако, что два десятка лет после распада СССР руководители США не видели перед собой ни одного «достойного противника» (терроризм не ставил под угрозу существование США) и привыкли к безнаказанности.

В такой атмосфере складывалась «плюралистическая однополярность». США заняли в мире положение первой державы, но они действовали, по терминологии американского историка Дж. Айкенберри, «конституционно»², в духе плюрализма, демонстративно советуясь с союзниками и с Россией по наиболее важным вопросам международной жизни, даже если не имели намерения всерьез учитывать возражения партнеров.

США отстроили новую структуру мировой политики «под себя». Она давала Соединенным Штатам преимущества, но она же подразумевала своего рода моральное обязательство Вашингтона реализовывать свое лидерство по принципу «управлять с согласия управляемых». После прихода к власти республиканцев в начале 2000-х годов США сами начали демонтировать такой механизм мирового регулирования, отказавшись от мысли согласовывать свои действия с международным сообществом — хотя бы в лице своих партнеров.

Вехами саморазрушения «плюралистической однополярности» были прежде всего война в Ираке (2003), угрозы (тоже вопреки мнениям стран ЕС и Японии) применить силу против Северной Кореи и Ирана и поддержка авантюры Грузии в Южной Осетии в августе 2008 г. Эрозия международного порядка выразилась в кризисе многосторонности, отказе Вашингтона от учета интереса других держав. В результате Россия фактически перешла из позиции конструктивной оппозиции по отношению к США в мировой системе на платформу противодействия американской политике. Российские руководители стали говорить о формировании глобальной многополярности.

2

В такой постановке вопроса, правда, больше политической нагрузки, чем академической достоверности³. С точки зрения теории стабильности недостаток многополярности состоит в том, что ей присуща высокая степень автономии действий отдельных стран и связанная с этим

анархия, хаотичность и непредсказуемость их поведения. Странам тяжелее договариваться, и их сложно заставить действовать согласованно.

Теоретически вероятность войн в таком мире должна быть выше, чем в любом ином. Но практика показывает, что в однополярном мире войны происходят даже чаще, чем они случались в годы многополярности — между мировыми войнами или на протяжении большей части XIX в. после окончания в 1815 г. эпохи наполеоновских завоеваний. Похоже, «однополярность», скорее, генерирует нестабильность, чем ее ограничивает. Во всяком случае в рамках современной реальной однополярности не действует принцип «гегемонической стабильности» Гилпина—Кеохейна⁴, теоретически предписывающий нарастание упорядоченности мировой системы в случае появления в ней единственной державы-гегемона. Хуже того: исходя из реальности придется признать, что вопреки классическим представлениям в условиях гегемонической стабильности источником нестабильности может быть сам гегемон — причем не его относительная слабость, как полагали пробовавшие рассуждать на эту тему П. Кеннеди и Т. Волджи⁵, а его превосходство, стремление к упрочению которого дестабилизирует мировую систему.

Возможно и иное объяснение. Допустимо предположить, что на самом деле международная структура после 1991 г. не была однополярной, а представляла собой (и сегодня представляет) гибрид однополярности и многополярности с тенденцией перерастания первой во вторую. Но убедительнее, кажется, другое. Однополярный мир существовал около 10 лет — с подписания в июне 1992 г. в Вашингтоне Хартии российско-американского партнерства и дружбы и провозглашения в сентябре 1993 г. в США концепции «расширения демократии» до начала войны в Ираке в 2003 г. В таком случае «переход» от биполярности к однополярности занял около года — с первой (еще неудачной) попытки отстранить от власти М. С. Горбачева в августе 1991 г. до визита Б. Н. Ельцина в США в июне 1992 г. в качестве президента России.

После этого Соединенные Штаты стали распространять влияние на все теоретически «нейтральные» пояса мира, страны которых или сами были склонны пойти под американское покровительство (Восточная и Центральная Европа), или не имели возможности противостоять давлению США с целью включить их туда (государства Арабского Востока). С 2005 г. массивная политическая экспансия США достигла зоны жизненно важных интересов России в странах СНГ.

События вокруг Южной Осетии в 2008 г. знаменовали рубеж перерастания американской экспансии в квазисиловую форму. Впервые после распада СССР Вашингтон применил тактику использования ресурса третьих стран для дестабилизации российских границ.

Ситуация усугубляется общемировым сдвигом — смещением фокуса международной конкуренции с пространства Западной Европы, Балкан и Ближнего Востока на регион Центрально-Восточной Азии, сферу соприкосновения военных и экономических интересов России, Китая, Пакистана, Индии и Ирана. Соединенные Штаты строят собственную инфраструктуру политических отношений с государствами региона, пытаясь замкнуть двусторонние связи с отдельными игроками на многосторонний формат. По сути это означает, что наряду с существующей структурой многосторонних отношений с участием России в рамках ШОС, ОДКБ и ЕврАзЭС в этой части мира возникает система многосторонних контактов, замкнутая на США, но без российского участия.

Формально и в ближайшей перспективе Вашингтон озабочен в основном обеспечением поддержки со стороны местных стран своих военных операций в Афганистане. Фактически и в долгосрочном плане речь идет о системе партнерских отношений Вашингтона с малыми и средними государствами. Американская дипломатия пытается переориентировать устремления этих стран с севера на юг, с сотрудничества с Россией — на сотрудничество с южными соседями, но не со всеми, а только с теми, которые доказали свою приверженность союзу с Соединенными Штатами. На реализацию этой задачи США тратят значительные средства, благодаря которым программы сотрудничества малых и средних стран с Вашингтоном оказываются для них бесплатными или малозатратными и в этом смысле — весьма привлекательными.

Российская дипломатия, в отличие от американской или «евросоюзовской», не имеет возможности предоставлять малым странам региона крупных экономических льгот. В итоге она проигрывает конкуренцию ЕС и США и не может затормозить процесс укрепления позиций западных стран в регионе. Если в ближайшие годы Россия не сможет мобилизовать дополнительные ресурсы на ускорение сотрудничества в ЕврАзЭС и ОДКБ, то вероятность центробежных тенденций в ее отношениях с малыми странами заметно повысится. Последние неизбежно (и в лучшем случае) вступят на «путь АСЕАН», т.е. изберут линию откровенного лавирования между Россией, Китаем, США и ЕС с преимущественным вниманием к более выгодным в экономическом отношении партнерам.

В основе активизации усилий Запада по закреплению в Центральной Азии — экономическая прагматика, связанная либо непосредственно с освоением энергоресурсов Казахстана, Туркмении, а в перспективе — Узбекистана и некоторых других стран, либо с транспортировкой этих ресурсов к местам потребления или морским портам для последующего экспорта в западные страны.

Речь идет о создании системы добычи и вывоза сырья без участия России, которая в этом смысле является главным конкурентом ЕС и США. Разрушение полумонополии России на роль главного действующего лица центральноазиатской системы энергоснабжения — неотступная цель ЕС и США. Надо сказать, что КНР, при всей обостренности конкурентных чувств Китая в отношении Евросоюза и Соединенных Штатов, движется в регионе курсом, параллельным им. Пекин тяготит преобладающая энергополитическая роль России в регионе. Ее уменьшение выгодно Китаю, если ослабление позиций России будет идти параллельно с усилением позиций самого Китая, а не его американских и «евросоюзовских» конкурентов.

Не впадая в «бред преследования», стоит все же отметить возникновение контура двойной конкуренции вокруг ресурсов «российских северов». В самом деле, с юга очевидно нарастание «запроса» на сибирские энергоносители со стороны Китая и Японии. Давление нарастает и с севера — США, Канада, Норвегия. Другие державы тоже начинают полускрытый спор с Россией и конкуренцию с ней за преимущественные права в возможном освоении ресурсов Арктики — включая ту ее часть, которая в отечественной науке и политике считается находящейся в границах полярных владений России.

Российский «хартленд» сместился к Сибири и Арктике — это геополитическая и геоэкономическая данность. Ее осознание пришло в российскую элиту только при президентстве В. Путина. Но ни при нем, ни при президенте Д. Медведеве, ни снова при Путине (после переизбрания президентом) заметной переориентации приоритетов национального развития в соответствующем ключе не произошло.

3

Тревожная черта современности — невосприимчивость американской элиты к критике извне, неспособность американцев к самоограничению военно-политических амбиций. В августе 2008 г. командование НАТО и российские военные впервые за 20 лет имели основания в практической плоскости рассматривать друг друга как потенциальных противников. Это колоссальный откат назад, связанный с региональными последствиями глобальной политики абсолютного военного превосходства США, которую с момента прихода к власти стала проводить администрация Дж. Буша-младшего. Ключевой вопрос — будет ли этот курс скорректирован администрацией Б. Обамы, пришедшей к власти после января 2009 г.

С точки зрения возможностей для модификации линии международного поведения США администрация Демократической партии скована рядом устойчивых черт, которые приобрела американская внешняя политика за годы правления республиканцев. «Бушевцы» придали ей черты воинственности, непримиримости, бесцеремонности, вернувшись к образцам «политики большой дубинки» с той лишь разницей, что стали применять ее не к малым странам Центральной Америки, а ко многим странам мира.

На уровне идеологии американская элита поменяла концепцию лидерства, с которой она выступала после 1945 г. В основе этой концепции была логика «управления с согласия управляемых». Следуя ей, например, администрации У. Клинтона в 1990-х годах терпеливо убеждали президента Б. Н. Ельцина в неизбежности изменений, которые США с опорой на НАТО проводили в мировом порядке, и — что важно — в безопасности этих изменений для России. В Москве американским увещаниям верили только отчасти, но вынужденно соглашались с тем, что, скажем, расширение НАТО не угрожало интересам России в ближайшей перспективе, а запас геополитической и собственно военно-оборонительной прочности потенциала страны достаточен, чтобы компенсировать те преимущества, которые приобретали для себя Соединенные Штаты в ходе мирового переустройства.

При республиканцах американцы стали тяготиться церемониями. К. Пауэлл и К. Райс были больше политиками, чем дипломатами, «людьми действия», а не переговорщиками. «Микроидеология» команды Дж. Буша их к этому побуждала: принцип «разрешительности», «свободы рук» (*laissez-faire*) республиканцы возвели в абсолют, придав ему собственную интерпретацию.

В классических трактовках этот принцип означал свободу действий суверенов во внутренней политике и самоограничение во внешней. Страна была вольна у себя внутри делать все, что угодно, за вычетом того, что явно угрожало безопасности других стран. При Дж. Буше-младшем сомнению был подвергнут сам суверенитет всех стран, за исключением США. Американцы присвоили себе право судить о внутренней политике иностранных государств. Но не это было самым опасным. США при республиканцах присвоили себе право нападать на страны, внутренняя политика которых им не нравилась, а внешняя казалась антиамериканской. Не удивительно, что антиамериканские настроения с конца 1990-х годов были одной из самых типичных черт мирового политико-психологического климата. В мировом «рейтинге неприятия» раздражение против США шло сразу после страхов, которые жители Земли испытывают перед террористами.

Концепции «смены режимов» (условно датируется выступлением Дж. Буша перед Конгрессом 29 января 2002 г.), «упреждающих ударов» (выступление Дж. Буша в Военной академии Вест-Пойнт 1 июня 2002 г.) и «принудительного разоружения» (выступление Дж. Буша в Национальном университете обороны Вашингтона 11 февраля 2004 г.) администраций Дж. Буша были построены на идее легализации, придания статуса международно-правовой нормы, прецедентов вооруженных интервенций США. Так было в случаях, когда американская администрация находила это нужным и неопасным для Соединенных Штатов.

Обе концепции соответствовали логике односторонних действий, действий, не согласуемых ни с ООН, ни с союзниками по НАТО. В 2000-х годах в отношении недавних партнеров, вроде России или Китая, США также стали избирательно применять термин «партнерство». Идею мирового лидерства республиканцы облекли в форму абсолютного, даже «абсолютистского», лидерства на основе национального интереса и односторонних решений. «Авторитарность во имя всемирного торжества демократии» — примерно таков смысл идеологического переворота, произведенного республиканцами.

На уровне региональной политики США произошел окончательный сдвиг от европейского приоритета и военного присутствия в Западной Европе как основного рычага обеспечения интересов США в Западной Евразии. Территория стран «материкового ядра» Евросоюза стала казаться для Вашингтона менее надежной, а главное — менее необходимой опорой для проецирования американской военной мощи в Евразии. «Старая Европа» оказалась в тылу американских долгосрочных интересов, которые сместились на восток — к месторождениям восточного побережья Каспия и Кавказу как потенциальной транзитной зоне их доставки в западном направлении.

В 2007 г. американское руководство приняло «двуединое» решение в сфере энергетической безопасности. С одной стороны, провести в стране долговременные реформы с целью уменьшения зависимости от потребления углеводородов вообще и их импорта с Ближнего и Среднего Востока в частности. С другой — приобрести доступ к новым источникам поставок энергоносителей как минимум до тех пор, пока США не почувствуют себя готовыми к свертыванию потребления традиционного энергетического сырья вообще⁶. Каспийский бассейн кажется потенциально новым источником такого рода.

Соответственно, для США важнее оказались не «тыловые» Франция, Германия, Бенилюкс и Италия, а «пограничные» Польша, государства Прибалтики и те потенциальные участники НАТО, которые

в ближайшие годы американская дипломатия намерена продолжить отрывать от СНГ и — в более широком смысле — от влияния России. В таком раскладе «старая Европа» для администрации Дж. Буша была «нетто-пассивом». От нее не ждали, и даже не очень хотели ждать, поддержки и помощи. Главное, чтобы Париж, Берлин и Рим не мешали американской дипломатии в осуществлении ее планов, для которых у США имелось достаточно ресурсов самостоятельного действия. В этом смысле «старой Европе» в американской стратегии отводилась роль, кое в чем схожая с Россией.

Другое дело — Европа «новая». Небольшие, ни в каком смысле не насытившиеся, слабые и полностью зависящие от иностранной поддержки, эти государства безропотно ориентировались и переориентировались в международных делах на того, кто помогал им больше. В военно-политической сфере вопрос «кто именно» не возникал. Никакое сотрудничество в рамках ЕС не могло и не может сравниться с тем мощным потоком помощи, который течет в «страны-новобранцы» НАТО из США. Соответственно, в рамках Евросоюза центристскими импульсам из Брюсселя весьма сложно перебороть те центробежные тенденции, которые объективно стимулируют США своей прямой помощью проамериканским правительствам стран Восточной и Центральной Европы в пику Европе Западной.

«Новобранцы» ЕС и НАТО оказались «снова в цене». Их земли — платформа для броска к Каспию, а потом — к Китаю. Россия в этом раскладе занимает непривычное для нее промежуточное место: США хотят или «перешагнуть» через нее, или «обтечь» российские земли с юго-запада (со стороны Украины) и юга (государства Закавказья).

Может быть, американские ракеты и не перенацелены снова на Россию. Не похоже, чтобы США стремились к прямому военному столкновению с ней. Проблема в другом. Вашингтон хочет от России такой же пассивности, как и от «старой Европы». Пусть Москва не хочет помогать Соединенным Штатам приобретать новые геополитические преимущества в Черноморско-Каспийском поясе. В Америке это поймут. Американцам было бы достаточно и того, чтобы Россия не мешала им. Но именно на это Москва и не соглашается, это слишком опасно.

Прямое назначение американской системы ПРО в Восточной Европе, возможно, мешать Ирану. Но ее побочное предназначение — ограничить возможности России оказывать военно-политическое воздействие со стороны «тыла», которым может оказаться Россия для США в случае закрепления Соединенных Штатов на Каспии, в Закавказье и Центральной Азии.

Европейская Россия перестает быть для США первоочередным приоритетом. Американские интересы в самом деле смещаются к югу и юго-востоку от Москвы, Нижнего Новгорода, Волгограда и Астрахани. Способность России ограничивать или облегчать доступ Запада к каспийским энергоресурсам — решающий фактор формирования политики США в отношении Москвы. Ключевой мотив Запада в этом — играть на уменьшение роли России. В этом ЕС и США едины, расходясь в тактике реализации задачи.

Может быть, это не новое издание сдерживания. Но это очень похоже на «принуждение к партнерству» — идею, аналогичную идее «принуждения к миру» и ей родственную. В этом смысле существует, полагаю, неформальная «американо-европейская» политическая коалиция, которая при Б. Обаме переросла в дипломатическую. Этот вектор американской политики кристаллизовался, если не вполне затвердел, и убедить США выйти за его пределы будет крайне сложно — так же, как самой России будет сложно смириться с тем, что США и Запад не считаются с ее интересами на ее собственных государственных рубежах.

Компромисс с США в таких условиях возможен на основе отказа либо Вашингтона от планов «освоения» зоны пограничных с Россией малых и средних государств, либо самой России — от попыток сохранить особые отношения с этими государствами и соответствующие обоюдные привилегии для себя и самих этих государств.

Россия при этом считает себя вправе возмутиться и начать противодействовать экспансии США. Соединенные Штаты — пользуясь правом более сильного — полагают естественным регулировать свою экспансию по своему усмотрению. В таком контексте всплеск противостояния из-за Грузии в августе 2008 г. — не случайность, а результат встречной эскалации противоречий, которые нарастали с момента первого расширения НАТО — к войнам НАТО против Сербии, а затем — к «цветным революциям» в СНГ и «грузинской авантюре».

Китай в такой ситуации предстает в выигрышной позиции. Китайские руководители продолжают подчеркивать свои разногласия с Вашингтоном, прежде всего по вопросу о Тайване и в целом по международной политике, в которой американская администрация считается с Пекином так же мало, как с Россией или ЕС. Но при этом между КНР и США довольно быстро складывается позитивная экономическая взаимозависимость, которая никак не формируется между США и Россией.

От Москвы в Вашингтоне, образно говоря, хотят одного: чтобы она перестала влиять на мировую политику. США не хотят экономической

(энергетической) войны с Россией, но они не заинтересованы и в экономическом сотрудничестве с ней.

Международное влияние КНР вызывает в Вашингтоне тревогу и раздражение. Но в Америке хотят экономического партнерства с Китаем — дешевых и качественных китайских товаров, китайских заказов на закупки в США дорогостоящего промышленного оборудования, льгот для американских инвестиций в КНР. Бум критических публикаций о Китае, характерный для прошлого десятилетия, в США закончился. Американцы стали писать о КНР прагматичнее. Китай не кажется другом США, но снова стал казаться американцам менее вероятным препятствием для экспансии США в Евразии, чем Россия. Нарастание российско-американских противоречий и вероятность их перерастания в традиционное противостояние выгодно Китаю.

Для внешней политики Б. Обамы возможны как минимум два пути: «авторитарный» — через сохранение примата силовых действий и односторонности или «конституционно-монархический» — через возвращение к тактике согласованных акций с Евросоюзом на базе возобновления теоретических построений в духе «мирового демократического общества» и примата «силы на базе права».

Вероятнее, что демократическая администрация попробует идти вторым путем, тем более что следование им будет предполагать не столько отказ Б. Обамы от постулатов Дж. Буша, сколько приращение усилий с целью убедить «старую Европу» в готовности Вашингтона учитывать ее интересы и не спекулировать на разногласиях между востоком и западом Евросоюза.

Демократы порицали республиканцев за нежелание уважать мнение Франции и Германии. Считалось, что «бушисты» грубо и без необходимости злоупотребляли игрой на внутренних противоречиях в Евросоюзе между его старыми и новыми членами. Теперь Б. Обама находится в удобном положении, чтобы выказать подчеркнутое уважение Парижу и Берлину и вернуть потерянную в 2003 г. степень доверия между США и западноевропейскими материковыми странами. Такой маневр походя позволил бы Б. Обаме деликатно оттеснить Францию от роли полугласного посредника в отношениях между Россией и Западом, которую та сохраняет и хочет, кажется, сохранять с момента «грузинского инцидента». Но в целом задача США — вытянуть ЕС на позицию совместного американско-европейского противостояния России.

Вероятно, Б. Обаме придется думать над прекращением региональных войн. Если он преуспеет, то окажется, что впервые в новейшей истории из военной авантюры Соединенные Штаты вывели демократы. До

сих пор Демократическая партия втягивала страну в войны, а прекращали их республиканцы. Теперь партии словно поменялись ролями.

Американских солдат придется выводить из Ирака и Афганистана, даже если не будет стопроцентных гарантий того, что в обеих странах после ухода американцев сохранятся проамериканские режимы. Но какие-то гарантии, пусть ненадежные, придется вырабатывать — если, конечно, скажем, в Афганистане вместо затухания не начнется эскалация конфликта. Строго говоря, если выбирать между ненадежными гарантиями и перспективой разрастания войны, американцам разумнее выбрать гарантии. Впрочем, для России и ее центральноазиатских союзников могло быть выгодным обратное.

Скорее всего, идеологизация внешней политики США сохранится и при новом президенте. Она, впрочем, началась еще при У. Клинтоне. Республиканцы лишь довели ее до крайности, придав более выраженное военное измерение. Поэтому, вероятно, преследование «политических иноверцев» за пределами своей страны американцы не прекратят и при Б. Обаме. Стало быть, не переведутся желающие стать или прослыть политическими единоверцами демократов в Старом Свете — Восточной Европе и поясе стран СНГ.

Другое дело, что демократы-«обамовцы» погружены в аферы нефтяного бизнеса меньше, чем республиканцы-«бушисты». Возможно, и в СНГ они смогут умерить страсти по форсированному и «почти любой ценой» включению Каспия и черноморско-каспийских стран в сферу военно-политической ответственности США и НАТО.

Зато от «обамовцев» уместно ожидать переноса акцентов на «завершение незавершенной майданной революции» в Киеве. Идеалом вашингтонских стратегов остается антироссийская ориентация бывших республик СССР, с единственной, но важной оговоркой с учетом опыта Грузии: если такая ориентация не угрожает втягиванием США в силовые авантюры малых стран по соседству с Россией.

4

Мировой кризис бьет по всем странам, но Америке он выгоден не меньше, чем, например, странам БРИКС, в группу которых входит и Россия, просто потому, что по этим странам он, кризис, ударит сильнее, сообразно тому, насколько накопленный запас прочности у их экономик меньше, чем у американской. Если это предположение справедливо, то внешнеполитический ресурс политики сопротивления посягательствам США у России окажется меньше, чем это ожидалось несколько лет назад.

Можно сказать иначе: политической воли в России больше, чем ресурсов для ее осуществления на мировой арене. Россия — в отличие от Китая — отвыкла от рискованной внешней политики. Элита привыкла ее бояться. Для этого есть много причин: в России накоплен опыт страшных потерь от больших войн, а идеология и психология самопожертвования скомпрометирована разочарованием в советском строе, который на этой идеологии и психологии стоял.

Между тем США — против больших стран вообще и против сильной России в частности. Американцам легче иметь дело с малыми и средними государствами. Вот почему антироссийские интенции США более фундаментальны, чем хотелось бы думать. Вопрос о мере взаимного отчуждения между Россией и США снова перестал быть праздным. Уровень политико-психологической враждебности между двумя странами выше, чем он был в конце 1980-х. Ее уже не списать на «происки советской пропаганды».

В российской и американской элитах то исчезал, то снова возникал барьер против войны. В прошлом веке он определялся страхом перед взаимно гарантированным уничтожением и культурой «ядерного табу». Сегодня эта культура находится в стадии исчезновения. Стабилизирующая роль страха уменьшается, а стабилизирующая роль общих интересов так о себе и не заявила. Попытки США вернуться к ситуации военно-стратегической неуязвимости, которая существовала для Соединенных Штатов до 1957 г. — времени создания межконтинентальных баллистических ракет в СССР, воспринимаются в России как угроза ее национальной безопасности.

Подобно французским стратегам 1960–1970-х годов, российские военные вынуждены думать в духе генерала Шарля де Голля: России не надо воевать на уничтожение с США, но ей надо иметь потенциал нанесения неприемлемого ущерба Соединенным Штатам с помощью ответного удара в случае, если конфликт с этой страной все-таки окажется неизбежным. В такой ситуации разговоры о совместной борьбе с терроризмом или сотрудничестве в упрочении нераспространения оружия массового уничтожения перестают быть первостепенными.

Повестка дня улучшения отношений с Западом видится более архаичной. От лозунгов партнерства важно вернуться к идеям мирного сосуществования. Актуально подписание «Хельсинки-2» — юридически обязывающего договора об основах отношений между европейскими странами, в основу которого легли бы принципы Заключительного Акта СБСЕ 1975 г. с поправками на изменения, которые произошли в европейских реалиях. По-видимому, такой договор или приложения

к нему должны были бы содержать условия применения между европейскими странами мер доверия, отсутствие которых отравляет атмосферу в западной части Евразийского материка.

Наконец, необходимо вернуться к практике регулярного проведения консультаций между Россией и США (а возможно, и между Россией и наиболее авторитетными странами зарубежной Европы) по вопросам ситуаций в третьих странах — крупных, малых и средних. В первую очередь речь идет о необходимости воссоздать механизмы, которые позволяли бы наиболее сильным державам проводить между собой срочные консультации в случаях возникновения угрозы конфликтов с участием третьих стран в той или иной части мира. Опыт таких соглашений в начале 1970-х годов имелся, но он был раньше времени забыт.

Реалии показали, что даже при современных средствах ведения войны «войны без оккупации» (первая война в Персидском заливе, Босния и Герцеговина) позволяют добиваться только ограниченных политических целей. Для более радикальных задач США применяют сочетание «техногенных войн» с «классической» оккупацией (Косово, Афганистан и Ирак). Фактор контроля над территорией, земным пространством не утратил, очевидно, своего значения.

«Революция в военном деле» не отменила угрозу столкновения между наиболее крупными державами и не «упразднила» ядерную войну. Представление о неприемлемости атомного конфликта как инструмента решения международных споров было в огромной степени феноменом культуры и политической психологии прошлого века. Эрозия этой культуры возвращает мир к необходимости теоретического анализа вероятности войн между большими державами, в том числе применительно к отношениям в «пятиугольнике» между США, Россией, Китаем, Индией и Пакистаном.

* * *

Главная проблема российско-американских отношений — отсутствие сотрудничества в решении конкретных вопросов. США хотят от России бездействия, а она этого бездействия не желает и не может себе позволить, глядя на то, что происходит в приближенных к ней странах. Из Москвы кажется, что США приступили к разрушению сферы жизненно важных интересов России на ее границах. Самая сложная ситуация за историю существования США и России.

Все проблемы российской внешней политики — внутри России. Если мы не приобретем экономического могущества и способности влиять с его помощью на мышление американцев, мы не сможем заставить их уважать российские интересы. Военная мощь — важный, но, скорее, остаточный элемент силы России. Американские правители должны понимать разрушительность прямого столкновения с Россией. Но не менее важно дать им основания убедиться в привлекательности экономического взаимодействия с ней. Это кажется сверхзадачей. Но от ее решения зависит мирный или иной характер российско-американских отношений.

Если возвращение к приоритету ценностей мира и стабильности как противовеса приоритету демократизации мира любой ценой можно было бы назвать «контрреволюцией ценностей», то слово «контрреволюция», думаю, для многих жителей Земли сегодня обрело бы несомненно положительный смысл.

Примечания

¹ См. подробнее: *Богатуров А. Д.* Динамическая стабильность в международной политике // Очерки теории и прикладного анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 161–164. Книга доступна на сайте НОФМО. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.obraforum.ru>.

² *Богатуров А.* «Конституционный кризис» в мировой политике // Космополис. 2003. № 2; *Ikenberry G. J.* After Victory. Institutions, Strategic Restraints, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton: Princeton University Press, 2001.

³ Интеллектуальной реакцией на двусмысленность ситуации стала формула многополярности, предложенная в 2008 г. академиком Е. Примаковым: «Современный мир является многополярным, но США занимают в нем особое место».

⁴ Теория «гегемонической стабильности» была сформулирована американскими учеными Робертом Гилпином и Робертом Кеохейном в 1980-х годах — сначала применительно к сфере мировой экономики. Позднее ее постулаты стали прилагаться к международным отношениям в целом. На русском языке разбор их построений дан в упоминавшейся выше работе: *Богатуров А. Д.* Динамическая стабильность в международной политике. Там же приведена библиография публикаций обоих американских ученых.

⁵ *Kennedy P.* The Rise and Fall of the Great Powers. Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N.Y.: Random House, 1987; *Volgy Th. J., Bailin A.* International Politics and State Strength. Boulder: Lynne Rienner, 2003.

⁶ President George W. Bush. State of the Union 2007. Washington, D.C., January, 23, 2007. URL: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2007/01/20070123-2.html>.

Раздел 3

**РОССИЯ В ОБЩЕЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ**

Глава 20

.....

Ретроспектива личностной дипломатии в России*

Психология лидера, всегда значимая в сфере международного общения, играла во внешней политике России особенно заметную роль. Тому были причины: алчно-неумелый слом старых и трудное становление новых механизмов реализации решений, трудная ситуация с обеспечением дипломатическими кадрами, свертывание роли среднего профессионального звена кремлевско-мидовской машины, контраст между реальной международной обстановкой и задачами, официально провозглашаемыми дипломатами. Формирование внешней политики утратило черты организованного процесса на основе триады «аналитика—политика—дипломатический аппарат» и стало сильнее подвержено импульсивным воздействиям лидеров, делавшихся средоточием политической воли и властных полномочий высшего порядка.

Разговор о личном начале в российской внешней политике несводим к оценке роли президентов. Министры иностранных дел (Е. Примаков, а меньше — И. Иванов, С. Лавров и А. Козырев) — носители персональных черт довольно броских, чтобы влияние каждого из них и всех четверых вместе могло стать объектом рассмотрения. Завлекательный предмет анализа — и «полутеневые» в фигуры: «злой гений» кремлевской «семьи» Б. Березовский; А. Чубайс, обладавший в зените секторальным, но колоссальным воздействием на формирование позиции в отношении международных финансовых институтов, В. Юмашев, А. Волошин и другие лица кремлевского закулисья. Лишь рамки ограниченного рассуждения принуждают отложить эти темы «на потом», сосредоточившись на двух фигурах — «полуизбранном» первом президенте России и его «полуназначенном» и «переизбранном» преемнике.

«Дипломатия невроз», или Пять синдромов Б. Ельцина

Среди образов, воплощавших личностную дипломатию российских лидеров, важно выделять те, что целенаправленно постулировались их носителями, и те, которые существовали объективно, даже если они

* Опубликовано в: Pro et Contra. 2001. Зима—весна. Т. 6. № 2. С. 122—136.

«не признавались» их носителями как противоречащие официально потребному имиджу вождей.

Противоречие между первыми и вторыми бывало значительным. Это бросалось в глаза в пору Б. Ельцина, склонного к неумеренному «политартистизму», перетекавшему в эпатаж (заплетающийся язык Ельцина во время его «допрезидентского» посещения Соединенных Штатов), гротескный юмор (комментарий по адресу американских СМИ на пресс-конференции после переговоров с Б. Клинтон, вызвавший припадок неодолимого смеха у последнего), карнавные эффекты во время официальных торжеств («сцена с оркестром» в ходе визита в ФРГ).

Эти примеры — не случайный набор маскарадных сцен. Они — иллюстрации болезненного стремления экс-президента представить себя зарубежью в качестве (в буквальном смысле) «антисоветской» личности — фигуры, сконструированной «от противного», по признаку контрастности с тем, что понималось под советским руководителем от И. Сталина до К. Черненко — основательным, тяжеловесным, чопорно сдержанным, не склонным смеяться и давать повод для улыбок.

Синдром первый. Ельцин хотел сформировать облик «нового свободного». Это отчасти ему удалось, хотя по иронии «новый свободный» оказался многими чертами — нехваткой вкуса, например — параллелен «новому русскому». Грубоватая маска, которой стал пользоваться президент, воплотила не столько живые черты нового российского характера, сколько зеркально отраженные и нарочито укрупненные «античерты» характера старого, советского. Отсюда — нездоровое тяготение Ельцина к отступлениям от этикета, насмешке над традициями поведения за границей, какими они были сформированы советским воспитанием.

Рационализация происходящего была президенту доступна. Но насколько можно судить, он строил ее на презумпции целесообразности действовать «от противного». Вот почему освоенная Ельциным манера «вызывать смех на себя» видится не чем иным, как «перевернутым» отображением советского (и архаично боярского) стереотипа «ни за что не казаться смешным» и «не уронить себя перед иностранцами». Сходным образом возмутительный отказ от встречи с ирландскими лидерами во время промежуточной посадки самолета Ельцина в Ирландии на пути из США, хотя и был отчасти вызван нетрезвым состоянием президента, одновременно выступал как знак намеренного — «новосвободного» («антисоветского») — пренебрежения к приличиям, почтением к которым отличался, например, вызывавший гневливую зависть Б. Ельцина М. Горбачев.

Сконструированный для «внешнего потребления» имидж Ельцина в самом деле воплощал неизвестный русской традиции тип характере-

ра, который должен был соединять символику демократизма, свободы и открытости (как их понимал президент) со знаковостью культуры, образованности и компетентности. В этом смысле, при всей карикатурности, «новый свободный» Ельцин и был новым. Но «свободным» он мог считаться лишь в «новорусском» значении этого слова, для которого характерно отождествление свободы с развязностью. «Новая свобода» Б. Ельцина ближе к распушенности В. Жириновского, чем к свободе в понимании западного общественного мнения и сознании по-современному образованного слоя российской публики.

Образ «нового свободного» разительно неорганичен. Он по-детски претенциозен и одновременно по-взрослому тосклив. «Устойчивая цепь случайностей» или неодолимость подсознательной моторики в том, что в своем «новосвободном» обличье Б. Ельцин, как правило, являл себя в состоянии «под мухой» — обстоятельство, усиливавшее черты болезненности в его и без того помеченном нездоровьем облике. Болезненность — приметная черта атмосферы ельцинского двора, проступавшая сквозь ретушь политтехнологов. Черты официозного образа, сливаясь, образовывали, говоря языком психиатрии, своеобразный симптомокомплекс, который и можно назвать «синдромом нового свободного».

Несмотря на официозность, практическую роль этого синдрома, предназначенного к тому же для «гастрольных исполнений», не следует преувеличивать. Воплощенный в нем образ служил скорее затуманиванию политико-психологических мотивов внешнеполитической активности России и дезориентации аналитиков и прессы. Фактическое влияние на ситуацию оказывали иные образы поведения и действия президента. Все они, как и официозный образ «нового свободного», были замешаны на чувстве неполноценности, «вытесненных» обидах и подавленных эмоциях — в этом состояла специфика влияния, которое исходило на внешнюю политику со стороны личности президента.

Синдром неравного. В отличие от официозного, этот синдром был на самом деле главным с точки зрения реального влияния на поведение российского президента в отношениях с внешним миром. Б. Ельцин понимал, что он вывел Россию из Союза ССР ценой ее двукратного ослабления, если иметь в виду сокращение всех наличных ресурсов, за исключением военных. При этом США не только сохранили, но и преумножили свой потенциал, оставшись единственным комплексным мировым лидером, обладающим превосходством по отношению к любой другой державе.

Абсолютность американского превосходства была для Ельцина мощным психотравмирующим элементом. На ее фоне президент ис-

пытывал потребность в наркотически регулярном подтверждении уважения к нему как руководителю «великой» страны, России как важнейшего (еще пока не главного, но в перспективе — и главного) американского партнера и союзника. Оба эти слова намертво вошли в лексикон российско-американского диалога, породив ворох непониманий, смысловых разночтений, курьезов. Русские и американцы трактовали оба термина по-разному. Б. Ельцину «союзничество» с Вашингтоном казалось выше «партнерства», и он твердил о союзе как о более высокой точке отношений России и США, к которой будто бы они двигались. Для У. Клинтона «союз» казался вещью частной и конкретно-исторической, а партнерство — феноменом менее определенным и обязывающим в правовом смысле, зато более устойчивым и фундаментальным в значении моральном и историко-традиционном. В американском понимании партнерство основано на общности ценностей, а не только конкретных ситуативных целей, как союз.

Правда, Б. Ельцин был рад и «союзу». Ему требовалось хотя бы формально подчеркнуть свое равенство с У. Клинтонем, принадлежность к кругу привилегированных союзников США, клубу избранных, само членство в котором обладало ценностью в глазах президента России, терявшей международные позиции. Ради такого выигрыша дипломатия Бориса Ельцина проявляла чудеса уступчивости, так сильно поражавшие при первой администрации демократов госсекретаря Уоррена Кристофера. Позднее новый руководитель госдепа Мадлен Олбрайт хорошо овладела тактикой игры на «синдроме неравного», умея терпением, тактом и подчеркнутым, церемониальным вниманием к мнению Москвы облегчать получение от России уступок даже после того, как «мягкий» А. Козырев был заменен на «твердого» Б. Примакова, а потом — «полужесткого» И. Иванова.

О том, насколько сильно Ельцина тяготила мысль о неравенстве, косвенно свидетельствует его навязчивое тяготение к «раздеваниям». Истинная семантика обожаемых им развязываний галстуков и снятия пиджаков очевидна: президент приглашал (фактически понуждал) собеседника, статус которого он подсознательно считал более высоким, чем его собственный, отказаться от внешних атрибутов статусности и, таким образом, стать «на одну ступеньку» с самим Ельциным. Такие маневры в психологическом значении тождественны приглашению в баню на бытовом уровне: в бане собеседники тоже разоблачаются как в прямом, так и социально-знаковом смысле, соглашаясь на время уравниваться в условно раздетом состоянии. Заметим, что прежде российская дипломатия не злоупотребляла такими формами психологического воздействия. Московские

цари, стремясь произвести впечатление на иностранцев, напротив, удивляли их тяжелыми роскошными нарядами и сложными придворными церемониями, которые должны были сигнализировать о грандиозности монаршей власти. «Впечатанная» в подсознание историческая память об этом заставляла Ельцина предполагать в собеседнике намерение подавить его, Ельцина, которое он сам испытывал в себе по отношению ко всем, с кем разговаривал. Вот почему президенту казалось важным побудить лидера предположительно более сильной державы (Япония, ФРГ, США) отказаться от казавшегося ему самому опасным «невидимого психологического оружия» в форме статусных регалий. Кстати, ничего не известно о «встречах без галстуков» между Ельциным и лидерами стран, более слабых, чем Россия — Эстонии, Сербии, Южной Кореи. На них логика «взаимных разоблачений» не распространялась. Случайно?

Синдром обманутого. Этот комплекс не имел такого универсального значения, как «синдром неравного». Он преимущественно проявлялся в политике Москвы в отношении Украины и стран Прибалтики, проступая в отношениях с той и другими с некоторыми различиями. С Украиной, лидер которой Леонид Кравчук скоро показал самонадеянному «свердловчанину» свое превосходство в таланте одерживать блестящие победы малыми ресурсами («беловежский обман» — безоговорочный успех Кравчука и украинской дипломатии), Борис Ельцин все годы своего правления говорил с позиции терпеливого «отца» (старшего брата), который (будто бы) чувствует (даже если блефует), что он сильнее, но не хочет показывать свою силу строптивому и по молодости горячному «сыну» (брату младшему).

Российский владыка понимал, что киевлянин обхитрил его в Белой Веже, поддержав против Горбачева, но одновременно похоронив амбициозные надежды Ельцина стать вместо Горбачева руководителем постсоветского пространства де-факто. Признать такой провал гордецу Ельцину было нелегко. Его любимый образ — непобедимый вождь, который и уйти-то должен непобежденным (досрочное отречение и «завещание» президентства самочинно избранному и самовластно назначенному наследнику В. Путину — уникальнейший случай идеально полного воплощения президентского замысла).

Нежелание признать себя обманутым обусловило упрямое желание Ельцина делать хорошую мину при проигрышной игре, монотонно, назидательно и необедительно причитая о «стратегическом партнерстве» (?) России с Украиной на фоне нескрывавшегося стремления последней уклониться от объятий Москвы. Ельцин продолжал вести эту партию, несмотря на откровенное тяготение Киева к сближению

с НАТО и намеренное выдвижение Украины в круг формировавшейся неформальной антироссийской фронды как внутри СНГ (ГУААМ), так и вне его (балто-черноморская «геополитическая химера»).

Страшась показаться смешным (обманутый смешон по определению), Ельцин продолжал действовать, как незрячий. Необъяснимое с точки зрения здравого смысла подписание, а затем и ратификация ненужного, нелепого и невыгодного Москве российско-украинского договора — венец украинской политики — Ельцина можно хоть как-то объяснить только в контексте синдрома обманутого: не сознающий в своем промахе президент России из принципа «гнет линию» на умиротворение Киева, выдавая за свой «последовательный демократизм» неспособность вернуть Украину к добеловежским отношениям с Москвой.

Сходным образом работал политико-психологический механизм российско-прибалтийских отношений. Испытывая чувство долга перед странами Прибалтики, признавшими суверенитет России в момент противостояния Ельцина с Горбачевым, Ельцин вместе с тем осознавал «задним числом» масштаб политико-дипломатических промахов, в спешке допущенных по его вине российской дипломатией, которая признала независимость стран Прибалтики, несмотря на наличие между сторонами острых нерешенных территориальных, гуманитарных и социально-экономических вопросов. Как в случае с Украиной, российский президент не хотел признать ошибки и не пытался отыграть упущенное. Его позиция в отношении стран Прибалтики определялась сочетанием скрываемой обиды на «неблагодарность коварных прибалтов» и позой показного величия «сильной и великой» России перед несправедливыми злыми уловками слабых и заплутавших в своих комплексах соседей.

«Синдром обманутого», который не хочет признать себя таковым, сыграл разоружающую роль в российской политике, парализуя ее активность на ее не первостепенных, но «чувствительных» направлениях, в сферах, где Россия могла реально добиться уступок, поскольку обладала мощным инструментарием средств воздействия на соседей.

Синдром ревнивого. Этот комплекс тоже влиял на российскую внешнюю политику отрицательно, проявляясь прежде всего в отношении с Грузией и Азербайджаном, где после кратких периодов правления антикоммунистических радикалов (З. Гамсахурдия и Эльчибея соответственно) вновь утвердились представители «старой гвардии» Политбюро ЦК КПСС — Э. Шеварднадзе и Г. Алиев. Отношения Б. Ельцина с двумя последними были окрашены той же ревнивой неприязнью, которой глубоко пропитано личное отношение экс-президента России к президенту СССР М. Горбачеву. Так и не сумев в советские годы по-

настоящему влиться в ряды высшего столичного истеблишмента, Ельцин, переведенный Горбачевым в Москву из «уральской глубинки», всегда болезненно переживал высокомерно-снисходительное отношение, которое обнаруживали к нему как «новобранцу» ветераны московской политической сцены, люди, прошедшие чистилища придворных университетов эпохи Брежнева, Андропова и Черненко.

Для Ельцина никто из старых членов Политбюро «своим» не был. Как сам он не был «своим» ни для кого из них. Самый факт nepотопляемости ветеранов Политбюро, к высшему кругу которых исторически принадлежали Алиев и Шеварднадзе, унижал Ельцина, который силился представить себя выходцем из народа, самовыдвиженцем, бунтарем, человеком, который сделал себя сам. Ельцин не смог простить Горбачеву благородства, с которым тот не позволил Е. Лигачеву в момент «бунта Ельцина» уничтожить его, исключив из состава высшей партийной номенклатуры и изгнав из Москвы. Ельцин не признал искренности мотивов Горбачева и счел себя униженным снисходительной терпимостью последнего.

Последующие действия российского президента соответствовали архетипу «устранения свидетелей» своего тогдашнего «унижения». В этом смысле безупречно логичным предстает свершившийся в конце концов разрыв Ельцина даже с Яковлевым — наиболее радикальным и, казалось бы, идейно близким Ельцину либералом в тогдашнем Политбюро. Для Ельцина представители старого истеблишмента были неприемлемы не идейно — к принципам свободы и демократии и Ельцин, и Горбачев, и Шеварднадзе с Алиевым относились с сопоставимой долей иронии и прагматизма, — а психологически и лично. Ельцин не любил и не умел терпеть вокруг себя людей, которые в прошлом имели шанс и основания разговаривать с ним из позиции «верха».

Упрощать мотивы закавказской политики России не приходится. Но стоит констатировать: при Ельцине сносно отношения у России складывались только с Арменией, где власть старой советской элиты была полностью свергнута и произошел трехкратный кадровый сдвиг. С Грузией и Азербайджаном, где структура правящих элит менялась медленно и преемственность власти была во многом сохранена, диалог Москве не давался, хотя Тбилиси и Баку были заинтересованы в поддержке России, в руках которой оставались мощнейшие рычаги воздействия на грузинские и азербайджанские внутренние дела.

Можно лишь удивляться, насколько мало базовые интересы России в этой части мира влияли на российскую политику, сохранявшую односторонний «проармянский» крен, мешающий Москве выработать сбалансированную политику в закавказском регионе и осложняющий

формирование необходимых внешних условий для урегулирования ситуации в связи с мятежом в Чечне.

Синдром отверженного. Личностные проблемы Ельцина заметно сказывались на отношениях с государствами Восточной Европы. Сосредоточенность президента на выравнивании своего статуса в отношениях с У. Клинтоном или Г. Колем не оставляла надежд на появление у российского лидера интереса к новым руководителям бывших стран-сателлитов СССР. Гавел, Мечияр, Валенса, Илиеску, Жулев, Милошевич — не говоря о Туджмане — вожди этого ряда не виделись Ельцину достойными партнерства на базе пересмотра и обновления прежних разветвленных отношений Москвы с восточноевропейскими государствами. Россия непрерывно вещала устами президента о намерении «включиться в Европу», но она загадочным образом собиралась сделать это, «через головы» своих соседей, «помимо» их.

Конечно, неумение Москвы разработать новую стратегию в отношении стран региона было связано с переориентацией самих восточноевропейских стран на Запад и их слабой заинтересованности в углублении сотрудничества с Россией. Более того, активно демонстрируя настрой на вступление в НАТО, восточноевропейские государства невольно подчеркивали пренебрежение отношениями с Москвой. В России это замечали, а заметив, «обижались», как обижаются на измену любимой, друга или дотоле верного соратника. Вопрос о «наказании» бывших друзей действием, правда, даже не обсуждался. Но наказание все же применялось, «наказание презрением» — той поразительной пассивностью и безразличием «дипломатии Ельцина» к бывшим союзникам, которую единодушно отмечали отечественные и зарубежные международники. Ельцин напрасно ждал от бывших «солагерников» («блудных детей») раскаяния и возвращения. Время было упущено — как оно было упущено в отношениях с Грузией, Казахстаном и другими экс-друзьями Советского Союза.

«Потерянное десятилетие» — было оно неизбежным? Нет желания возлагать вину за него только на Ельцина. Обстоятельства не благоприятствовали сближению России с Восточной Европой. Но российская дипломатия могла быть активной хотя бы в упреждении слишком резкой деградации отношений с восточноевропейскими странами. В том, что не было сделано и это — немалая вина того, кто самодержавно формулировал очередность внешнеполитических задач страны.

Парадоксальный, казалось бы, факт: ослабление России и уменьшение разрыва между ней и средними странами должно было способствовать появлению элементов сходства в видении ими международных

реалий; на деле же происходило обратное — чем уязвимее становилась Россия, тем резче и раздраженнее она отодвигалась от «нестатусных стран», словно отрицая саму мысль о возможности быть даже символически уравненной с ними.

Бывшие российские сателлиты, натужно-потешно демонстрировали кстати и некстати свою независимость от Москвы. В параллель им и Россия неловко пыталась игнорировать своих соседей, делая вид, что можно вести дела с «Большой Европой», попросту не замечая «Европы Малой». Так поглупевшие от стадного коллективизма русские, впервые попав за границу, сторонятся своих, стараясь скорее слиться с толпой иностранцев, которые подсознательно кажутся им в статусном отношении выше и лучше, чем они сами, и Борис Ельцин в каком-то смысле был зеркалом постсоветского сознания россиян! Могла ли быть эффективной дипломатия, столь сильно замешанная на уязвленности духа, невротических комплексах и жажде психологической сверхкомпенсации? Не странно, что она такой и не была.

«Дипломатия жесткой перчатки», или Пять образов В. Путина

Эта часть рассуждения носит печать раздумья. И все же: еще в момент первого появления В. Путина в роли и.о. премьера и официального кандидата Кремля на президентских выборах было видно, насколько чужд ему нажимно-экспрессивный стиль дряхлеющего владыки и как он инстинктивно его сторонился. Может быть, тогда-то Путин и стал лепить собственный облик тоже по принципу со-противопоставления себя с Ельциным.

Подобно бывшему президенту, Путин стремится предстать сильным. В отличие от него он хотел выглядеть скупым на цирковые эффекты и ложные страсти. Прежний вождь буйствовал в непредсказуемости, нынешний — интригует наполненностью тихим значением, которое он не спешит раскрывать. Непостижимость Ельцина страшила грядущей неотвратимостью, непонятность Путина (пока) манит загадкой. Личность, которая не рвется выставлять себя напоказ. Фигура, которая, как кажется, говорит и делает меньше, чем может сказать и сделать на самом деле. Эта стилистика гораздо больше соответствует российским традиционным народным ожиданиям в отношении носителя верховной власти, всегда в большей или меньшей степени условно сакрализованному по своей природе и потому плохо совместимым с низкой конкретикой, которой злоупотреблял Ельцин. В этом смыс-

ле официальный образ Путина, так сказать, гораздо более русский, чем западнический образный официоз Ельцина.

Образ первый. *«Сильный и сдержанный»*. Путинский официоз — образ «сильного и сдержанного». Его избрал президент, и ему он стремится соответствовать в наиболее важных международно-политических ситуациях в расчете на зарубежную аудиторию и российское общественное мнение.

Такому облику вождя прекрасно соответствует поведение российской стороны в вопросах контроля над вооружениями. Путин уверенно возражает Соединенным Штатам, заявляя собственное видение ситуации вокруг попыток США подвергнуть ревизии Договор ПРО, перспектив действий Москвы на рынках вооружений, будущего российско-иранского ядерного сотрудничества и торговли России с Индией. Но президент не дерзит и не провоцирует американцев, сигнала о готовности выслушать и прямо противоположное мнение. Нарочито пылкой ельцинской нетерпимости нет и следа.

В рамках образа «сильного и сдержанного» формируется поведение президента в вопросах текущего развития российско-американских отношений. Часть экспертов склонна оценивать их состояние как кризисное. Такие оценки сильно попорчены эмоциями СМИ. Факты им противоречат. Потому что ни расцвеченные журналистами разногласия Вашингтона и Москвы по стратегическим вопросам (декабрь 2000), ни вялое брюзжание по поводу «провокационного» дела Бородин (январь 2001), ни залиvisto прокомментированные шпионские скандалы (март 2001) не переросли в сколько-нибудь крупную ссору, как не переросло в нее даже прекращение деятельности комиссии «Гор—Черномырдин» — в самом деле крупный удар по политической механике российско-американских отношений.

Обратим внимание: президент замечательно освоил новую тактику произнесения «твердых» речей. Он ясно и недвусмысленно возражает Вашингтону, но возражает «по касательной», не в «лоб»: последовательно, но не категорично, отказываясь соглашаться, но не отвергая путей к компромиссу и — что тоже показательно — никогда не повышая тона, даже в случаях говорения в насыщенно эмоциональном тоне. Это действительно можно принять за спокойную уверенность сильного человека, не склонного злоупотреблять проявлениями силы. Понятно, что в 2014 г. политическая стилистика В. Путина сильно изменилась — он произнес о себе без колебаний: «мы государственники», с напором, натиском, эмоционально.

Такого стиля российская дипломатия не знала с середины 1980-х. Но Горбачеву вести себя подобным образом было легче: за ним стояла

мощь СССР. Механически вторя ему, Путин рисковал бы впасть в карикатурность. Избежать гротеска в нынешних условиях — искусство, требующее интуиции: не «перегнуть палку», не делаться смешным, но остаться в образе «сильного политика». Задача не для слабых. Технологии тут личности не заменят.

Тем более что и технологам трудно: окружение Путина расколото. На президента пытаются воздействовать группы «либералов ельцинского набора» (администрация), «государственники-радикалы» (они же «новые силовики»), придерживающиеся менее либеральных, но более жестких государственных взглядов с левоцентристским уклоном, и, наконец, государственники-либералы, самый любопытный и, похоже, наиболее перспективный вариант политической философии с точки зрения практического воздействия на внешнюю политику в обозримой перспективе. Пресоответствовать вкусам всех советчиков сложно, а сам Путин словами предпочтения обозначает неохотно. Он ведь еще и молчун, особенно если сравнивать с самозабвенным ораторством Брежнева, Ельцина и Горбачева.

Образ «сильного и сдержанного» хорошо монтируется с психической конституцией президента, удачно налагается на его личность. Но и он не исчерпывает палитры образов, которые формируются практическими внешнеполитическими шагами президента. Подобно тому как особенности внешнеполитического поведения Ельцина складывались в четыре «синдрома», объективная специфика поведенческого стиля Путина может быть осмыслена в четырех образах.

Образ второй. *Тихий упрямец.* Смысл этой поведенческой фигуры описывается формулой, знакомой традиции американской дипломатии: «не спорить, но и не соглашаться» (или «согласиться с несогласием», *agree to disagree*). Так, Россия внимательно следит за периодическими волнами критики ее политики в Чечне. Но московские лидеры, в том числе устами президента, четко маркируют грань между тем, что они признают нарушением прав человека, и тем, что российская власть считает «пределом необходимой обороны в рамках борьбы с терроризмом». Это не что иное, как тактика «тихого сопротивления», и она первое время работала.

С образом «тихого упрямства» сопрягается и поведение России в связи с событиями в Косово. Москва ни разу не одобрила действия НАТО в Югославии, но и не развертывала полемики по этому поводу после того, как бомбардировки Сербии натовской авиацией закончились. Одновременно Москва активно выступала против изоляции Сербии в международных отношениях и с готовностью взяла на себя исполнение неформального посредничества между президентом Милошевичем и сербской

оппозицией в ходе гражданского конфликта в Югославии в 2000 г., хотя просербские интенции Москвы вызвали в западных столицах эмоции между едкой иронией и явным осуждением.

Репрезентативен образ «тихого упряма» и для понимания российской политики в отношении сотрудничества Москвы с Ираном в мирном использовании ядерной энергии. Нервная реакция на него со стороны США — не секрет для России, но она упрямо отстаивает свое видение допустимых пределов такого сотрудничества и соотношения выгод и потерь, связанных с его развитием. Причем не всегда понятно, насколько в этом смысле российское руководство движимо материально-финансовыми соображениями, а насколько развитие диалога с Тегераном видится России символом ее остаточной самостоятельности, мера которой непрерывно сокращается.

Добавим к цепочке аналогичных примеров стремление Москвы вопреки скептицизму США восстановить свое влияние в Северной Корее, где президент Путин побывал в 2000 г. с официальным визитом, следуя логике «наверстать потерянное» и потеснить Китай с позиции главного (если не монопольного) международного партнера КНДР. Этот бросок российская дипломатия предприняла как раз в тот момент, когда сочла вероятным улучшение северокорейско-американских отношений, в случае нормализации которых США могли окончательно оттеснить Россию от участия в регулировании ситуации на Корейском полуострове.

Образ третий. *Новый человек.* Этот архетип, хорошо заметный в действиях Путина, внушает умеренный оптимизм. Не чувствуя себя повязанным комплексами обид, российский президент стремится вести себя прагматично, проявляя самостоятельность по отношению к стереотипам, которые блокировали способность Ельцина подниматься над личными амбициями и неприятными воспоминаниями.

В пользу диагноза о «выздоровлении» российской дипломатии свидетельствуют два весомых факта. *Во-первых*, государственный визит Путина в Азербайджан и его переговоры с Г. Алиевым о перспективах сотрудничества против чеченских террористов. *Во-вторых*, приглашение в Москву президента Литвы В. Адамкуса, диалог с которым хоть и не принес особых радостей, все же был важен как попытка Путина найти собственные ответы на доставшиеся ему по наследству трудные проблемы отношений с одной из важных в стратегическом отношении соседних стран.

Показательно и то, как осторожно ведет себя Путин в отношениях с Украиной. Российская дипломатия не позволяет себе сколько-нибудь резко высказываться по поводу происходящего там. Но Путин перестал, в отличие от Ельцина, брататься с украинскими делегатами.

Похоже, ему не понятна и не симпатична прежняя политика «перешагивания» через нерешенные (нелегальные заборки газа) или просто трудные (русский язык на Украине) проблемы двусторонних отношений. Он определенно не верит в действенность «заклинательной» риторики по поводу «братских» отношений между славянскими народами, сама природа которых будто бы способна вернуть Россию и Украину к состоянию единения и солидарности. Как политик Путин, несомненно, суще Ельцина. Как дипломат он менее склонен к лукавству.

При этом действия российской стороны на украинском направлении удивляют возросшей гибкостью: молчание по поводу ссоры президента Кучмы со своей оппозицией может указывать на желание Путина просчитать вероятность смены власти в Киеве. Но в момент очередного обострения киевских событий в апреле 2001 г. Москва откомандировала в помощь украинскому президенту руководителя администрации президента РФ А. Волошина как одного из лучших специалистов по распутыванию внутривосточных интриг. Стилистика и тактика российской дипломатии становятся более изощренными, возвращая ей потерянный при А. Козыреве профессионализм.

Очевидно и другое: профессионализм дипломатии стал при В. Путине котироваться выше идеологизированных словес — праволиберальных, левоуравнительных и «национал-корнеплодных». Предстоит увидеть, сможет ли Путин дать собственную здоровую версию государственнической внешнеполитической философии. Пока что заметно, что следовать предшественникам он склонен так же мало, как поддаваться слишком рискованным новациям.

Образ четвертый. Домостроитель. При значимости первых двух образов Путина, типологические черты устроителя земли, пекущегося о созидании, болях и заботах народа, в его облике в целом доминируют по сравнению с тем, насколько сходные характеристики были типичны для имиджа Ельцина.

Тот, неутомимо завидуя Горбачеву, непрерывно, того не признавая, себя с ним сравнивал, злился и... невольно «натягивал» на себя так удававшийся Горбачеву образ «мирового лидера в глобальном масштабе».

Путин (не без брезгливости?), оставив попытки уподобиться предшественнику, стал сигналить международному сообществу о себе в совершенно ином ключе — более приземленном, но зато и более современном, реалистичном, адекватном народному запросу. Путин выступает в облике вождя, помыслы которого — внутри страны. Внешняя политика для Горбачева была средством упрочить внутривосточные позиции. Ельцину она служила инструментом спасения от

бюджетного краха и поддержания растрачиваемого престижа. Для Путина внешняя политика вообще относительно второстепенна и значима прежде всего в зависимости от того, насколько она может помешать или поспособствовать решению тех внутривластных задач, которые президент считает главными.

С учетом такой акцентировки легче понять сдержанную позицию Москвы в отношении роли ОБСЕ в международной политике, снижение интереса России к этой организации в ее нынешнем виде, приспособленном для обсуждений стандартов соблюдения прав человека, но негодном для того, чтобы, к примеру, хотя бы смягчать в Европе ужесточившееся доминирование структур НАТО.

В самом деле, откуда взяться пиетету к международным институтам, если Россия сосредоточена на «ремонте собственного дома», а международные организации в этом смысле не столько в помощь, сколько в ущерб — если, конечно, понимать под приоритетами России не столько либерализацию внешней торговли, сколько, как полагает Путин, укрепление вертикали федеральной власти, обеспечение подконтрольности территории Федерации и обуздание терроризма.

Образ «домостроителя» вносит дополнительную ясность в нарастающий интерес Москвы к Китаю, если не как стране и политической системе, то во всяком случае к результатам китайской реформы. Ассоциирует ли себя Путин с «российским Дэном»? Такое допущение кажется излишне причудливым. Но не потому, что образ мудрого и дальновидного китайца не симпатичен Путину, а оттого, что российский президент просто слишком мало погружен в китайскую и вообще восточную проблематику, в культурном смысле вырастая из «западнического» соединения профессиональной симпатии к Германии с питерским (т.е. историко-географически — условно ганзейским) происхождением президента и его привязанностью к европейской культуре, которая сквозит из него так же, как из Примакова струилась симпатия ко всему восточному. Вот почему китайский акцент в образе «домостроителя» важен, но не доминантен. Он сужен, функционален и основан на рационализации, а не эмоциональной привлекательности.

Китай символизирует желанный результат, но не указывает путь. В обрывочной картине президента Китай — не столько то, чем он является на самом деле, сколько то, чем он должен казаться, чтобы соответствовать желанному образу действий, некоторые черты которого — условная отстраненность от участия в конфликтах, углубленность во внутреннее развитие — обладают ценностью в глазах российской публики и самого Путина как ее избранника и фаворита. Если бы Китая не было, его бы все равно

выдумали... в лице любой другой страны, когда-либо отстранявшейся от международной политики на время преодоления внутреннего неуроя.

Образ пятый. *Свернутая пружина.* Внешнеполитическое поведение президента не просто втиснуть в стандартные архетипы. Тем более что сам Путин стремится «путать» следы и мешает прогнозированию его поступков. Любопытна черта его образа, связанная с непредсказуемостью. Путинская непредсказуемость имеет иную природу, чем непредсказуемость Ельцина. Для того кажущаяся стихийность была сознательной игрой — так Наполеон симулировал, по свидетельству историков, припадки гнева, чтобы легче реализовать решения, в оправдание которых у него не было логических аргументов.

Путин как дипломат скрытен, активен и изобретателен. Показателен в этом смысле «иркутский сюжет» — встреча Владимира Путина с премьер-министром Японии Ёсиро Мори в марте 2001 г. Тогда Путин первым из российских лидеров неожиданно и совершенно недвусмысленно и конкретно назвал советско-японскую Совместную декларацию 1956 г. (предусматривающую, как известно, передачу Японии двух островов южной части Курильской гряды после заключения между Москвой и Токио мирного договора) в качестве документа, составляющего правовую базу российско-японских отношений.

Косвенно на этот документ в осторожных формах российские официальные лица ссылались и при Горбачеве, и при Ельцине, а эксперты и ученые многократно обсуждали эту тему в печати и закрытых собраниях. Но ни разу московские лидеры не ссылались на декларацию прямо — слишком уж точно в ней говорилось об обещании Москвы передать острова Японии. Путин «выстрелил первым», что само по себе, может быть, и не было бы столь удивительно, не окажись слова президента такими неожиданными. Ведь накануне встречи ничто не предвещало «радикализации» президентской точки зрения. Он заявил ее «залпом», уверенно и очень подробно, дав дополнительные комментарии на пресс-конференции.

Можно допустить, что президент пока еще просто нерешителен и робок. Но можно предположить иное: Путин атакует внезапно и бьет наверняка, тщательно прорабатывая маневр, стремясь полностью исключить вероятность неудачи. Он ценит внезапность как таковую, поскольку при тех затруднениях, с которыми сталкивается российская дипломатия, внезапность становится важным видом маневра, способным принести успех без ресурсных затрат, хотя и с риском. Так российские десантники высадились во время натовских операций 1999 г. против Сербии в аэропорту Приштины, с риском произведя полити-

ческий эффект, заключавшийся в демонстрации участия, а не только присутствия России в балканских делах.

Путин не злоупотребляет внезапностью. Но в отличие от Козырева—Ельцина, он не делает предсказуемость и прозрачность своих мотивов самоцелью. Новый президент сделал выводы из неумения предшественников готовить крупные инициативы в тайне от политических конкурентов и дельцов новостного бизнеса. Непредсказуемость в руках Путина — заново осваиваемый организационный ресурс. Он, правда, относим к атрибутике слабых стран, которые посредством сокрытия намерений стараются компенсировать нехватку ресурсов для проведения открытой политики и прямого воздействия на международные дела. Возможно, в этом тоже состоит новый реализм президента, его фактическое признание (принятие?) того неприятного факта, что Россия — в самом деле не Советский Союз. Отказ Москвы от позиции нанесения ядерного удара первым полностью соответствует дипломатии «свернутой пружины».

Наконец, последнее наблюдение. СМИ стараются создать Путину репутацию жесткого политика. Нет ощущения, что эта репутация отражает что-то большее, чем мыслительные игры писателей, привыкших делать деньги на образе неоимперских амбиций Москвы. Реальная картина внешнеполитического поведения Путина, которая вырисовывается из фактов, а не приписываемых Путину намерений, убеждает в другом: дипломатия Путина — не политика твердой руки, а дипломатия «жесткой перчатки», в которой скрывается вполне интеллигентская умеренно либеральная, но окрашенная государственничеством человеческая ладонь.

Путин говорит жестче, чем поступает. Он не стесняется слов о национальных интересах России, критики Вашингтона, резких высказываний о террористах и силовых поползновениях НАТО. Но Путин хладнокровно взирает на капризную задиристость «младобушевцев», невозмутимо допускает заведомо неприязненных ему эмиссаров Совета Европы в Чечню, выводит федеральные силы из зоны чеченского мятежа вопреки возражениям собственных силовиков, без аффектации, но решительнее других готовит, судя по всему, компромисс в отношении с Токио. Это ничем не похоже на дипломатию «вечного нет» по Громыко. Хоть и на тактику «вечного да» по Козыреву это тоже не смахивает.

Преодолевая «невротическое наследие» Ельцина, российская дипломатия приобретает черты «нормальной» дипломатии национального государства в том смысле, как его понимает второе поколение постсоветских лидеров. Из «пяти неврозов» Ельцина новый президент России фактически, пожалуй, не может пока что справиться с одним — «неврозом неравного», — и с точки зрения личного восприятия внешнего

мира эта особенность остается важной для понимания поведения российских лидеров на международной арене. Вместе с тем личность нового президента во многом уже нейтрализовала остроту этого синдрома, и сегодня «страх неравноправия» сковывает российскую внешнюю политику гораздо меньше, чем раньше.

Роль личностного фактора в российской внешней политике остается очень значительной, а сама политика — авторитарной. Институциональные ограничители всевластия президента фактически не работают. Тем более поразительно, что, имея неограниченную возможность проявлять произвол в принятии решений, российские президенты пока обнаруживают разумную сдержанность в международно-политической сфере, канализируя свой авторитаризм (и деспотизм в случае Ельцина) исключительно в сферу внутренней политики.

Глава 21

.....

«Плюралистическая однополярность» в мировой политике*

Объективной потребности разобраться в вопросе о международно-политической структуре современного мира «рывок к Западу» не отменяет. Сегодня даже самые пылкие антизападники в России перестали вслух убеждать в существовании реальной многополярности: слишком сомнителен постулат на взгляд даже не больно искушенной публики. Они, напротив, стали брать на вооружение прямо противоположный тезис — идею «американского мира», *Pax Americana*, т.е. постновой глобальной американской империи, в которой Вашингтон выступает единоличным вершителем мировых дел.

Содержание дискуссий вокруг проблемы «полярности» изменилось, накал же их остался высоким. Альтернативные точки зрения указывают на серьезность отношения к этому вопросу всех главных политических сил России, основных звеньев аппарата выработки российской внешней политики, работа которых остается не очень слаженной. Тем более важно спокойно проанализировать обстановку, в которой придется действовать российской дипломатии. Задача предлагаемого — соотнести устремления России с объективной стороной мирополитического процесса и наметить рациональные пределы назревшей, по мнению автора, модификации ее внешнеполитического курса.

1

Прежде чем решать, «с кем быть» (если с кем-то быть, конечно!), хорошо было бы разобраться в том, а что, собственно, вообще происходит. Начать уместно с вопроса о внутренней организации современного мира. Большинство исследователей полагает, что биполярной модели мира, в классическом виде сохранявшейся приблизительно с 1945 по 1991 г., не существует. Меньше единомыслия в том, какая структура международных отношений возникает на обломках прежней. Версии разноречивы. В России, однако, популярнее та, что пытается не то фиксировать, не то предвещать наступление эры многополярности.

* Опубликовано в: Очерки теории и политического анализа международных отношений. М.: НОФМО, 2002. С. 283–296.

Почти за данность, к примеру, принимает многополярность один из отечественных экспертов стратегического анализа, С. Рогов. Его мнению созвучны подходы работающего в ключе геополитического анализа К. Сорокина¹. К многополярному видению если не сегодняшнего мира, то его перспективы склоняется часть зарубежных коллег. На этой точке зрения стоят серьезный американский историк Джон Гэддис и известные в США международники Чарльз Кэгли и Грегори Раймонд, с компьютерной скрупулезностью собравшие и опубликовавшие в 1994 г. своего рода «антологию многополярности» в форме развернутых цитат предшественников, перемежаемых собственными комментариями, не слишком отягощенными аналитичностью². Несхожесть школ, к которым принадлежат исследователи, не мешает их работам иметь общую и озадачивающую в теоретических рассуждениях черту: отсутствие определений «многополярности» и «биполярности», хотя именно их сравнение между собой в той или иной форме подразумевается во всех обозначенных публикациях.

И тем не менее, приступая к анализу, дадим себе работу прояснить категории. Повторяя определение, предложенное в одной из работ 1993 г.³, отметим, что *биполярной стоит считать структуру международных отношений, которая опирается на отрыв только двух каких-либо держав от остальных членов мирового сообщества по совокупности своих военно-силовых, экономических, политических, идеологических и иных возможностей*. Такой была мировая структура после Второй мировой войны, когда СССР и США, не будучи вполне равными между собой, вместе с тем «ушли в отрыв» от всех других государств. Соответственно, распад СССР и быстрое сокращение возможностей уменьшившейся в размерах России дали основание ставить вопрос о разрушении «классической» биполярности в результате упадка одного из ее полюсов.

В отличие от биполярности, ключевой характеристикой которой был отрыв двух держав, *для многополярности характерна примерная сопоставимость совокупных возможностей одновременно нескольких государств мира, ни одно из которых не обладает выраженным превосходством над остальными*. Приблизительно такой структура международных отношений была в Европе XIX в., когда европейские великие державы ревниво следили друг за другом, не позволяя ни одной из них усилиться до такой степени, чтобы коалиция всех остальных не обеспечивала им заведомого превосходства над пытающимся «уйти в отрыв» соперником.

Если принять за основную черту биполярности *наличие крупного разрыва* в возможностях между двумя лидерами и остальными страна-

ми, а за характеристику многополярности — *сопоставимость потенциалов* многочисленной группы лидеров, то можно хотя бы отчасти «заземлить» наши представления о текущей ситуации, т.е. приблизить их к удручающей русское сознание, но реальной действительности.

Попробуем отыскать признаки многополярности в военно-силовой сфере. За последние полвека ни одна из стран мира, кроме СССР, не смогла приблизиться к рубежу военных возможностей Соединенных Штатов. Сегодня об относительной сопоставимости военных потенциалов можно с долей условности говорить лишь применительно к США и России (так называемая остаточная биполярность — важная в структурном отношении). Но Соединенные Штаты имеют преимущества перед Российской Федерацией как минимум (но не только) по таким показателям, как эффективность управления военным комплексом, его защищенность, способность к качественному совершенствованию оборонного потенциала при сохранении его количественных параметров.

Иной, но аналогичной, остается ситуация в экономике. Правда, прояснить ее сложнее из-за наличия подотрасли индустрии массовой информации, не менее четверти века зарабатывающей деньги на спекуляциях по поводу «упадка лидерства Америки» и ее отставания от Японии и Германии по показателям эффективности производства и темпов роста. В основе этих разукрашенных фантазиями и отягощенных скрытыми расчетами рассуждений лежат, конечно, факты. В последние 30–40 лет в самом деле происходит замедление экономического роста США на фоне более ускоренного развития Японии, Германии, новых индустриальных стран (НИС) и Китая. Перевес возможностей, который существовал у США, например, по сравнению с разрушенными войной Японией и западноевропейскими странами в конце 1940-х годов, сегодня уменьшился. Это позволяет говорить об ослаблении позиций США по отношению к некоторым другим индустриальным странам или, точнее, об относительном укреплении позиций последних по отношению к США.

Но на фоне *относительного* «упадка» американской мощи сохраняется колоссальное *абсолютное* превосходство США над конкурентами. Огромная по своим параметрам американская экономика не стоит на месте. Сколь бы много ни говорилось об усилении могущества Японии, Германии или Китая, экономики этих стран, по огрубленным исчислениям, составляют от 17 (Германия) до 38 (Япония) процентов американской. Здраво ли принимать за «сопоставимость» ситуацию, когда экономически США *в два с половиной — пять раз превосходят*

самых мощных своих конкурентов? Укрепление роли новых экономических лидеров происходит. Но оно, как представляется, сегодня все еще позволяет говорить только об истончении запасов американского превосходства над другими странами, а не о равновесии их возможностей. Может быть, втайне понимая это, сторонники гипотезы многополярности и предпочитают уклоняться от обсуждения ее объективных критериев.

Но попытки доказать, что экономическая многополярность — не просто романтическое ожидание, все же предпринимаются. Обычный прием в этом смысле — сравнивать несравнимое. Утверждается, скажем, что многополярность в мировой экономике существует, если иметь в виду, что конкурентом США может выступать не какое-либо одно государство, а, скажем, Западная Европа в целом. Но очевидно, что в этом случае национальный центр мощи (одно государство) без долгих колебаний сопоставляется с межгосударственным конгломератом, который находится еще только на пути к приобретению надгосударственных качеств в сфере принятия международно-политических решений.

Да и дело не только в методе. Если все же вопреки логике добросовестного анализа сравнить США сразу со всеми западноевропейскими странами, аргумента в пользу гипотезы многополярности извлечь не удастся. Конечно, чисто формально по таким совокупным показателям, как население, территория и размер ВВП, разрыв между Соединенными Штатами и «объединенной Европой» будет не столь разительным, как при собственно межстрановых сопоставлениях. Но вопрос о соотношении влияний между несколькими источниками импульсов, регулирующих развитие мировой системы, — а именно в нем состоит смысл той или другой конфигурации международной структуры — несводим только к вопросу о наличии или отсутствии суммарного превосходства ресурсов. Ключевым условием международного влияния является прежде всего способность этими ресурсами эффективно распоряжаться, по первому требованию мобилизовывать их на нужном направлении. И в этом смысле национальное государство обладает неоспоримыми преимуществами над межгосударственным формированием, если только последнее в самом деле не приобрело способности выступать в мировой политике в качестве единого целого.

Способность Вашингтона мобилизовать сегодня американские ресурсы в интересах общенациональных задач несоизмеримо превосходит возможности Брюсселя убедить «единую Европу» выступить в мировой политике в качестве единого целого — и тем более целого,

способного бросить хоть что-нибудь похожее на политический вызов Соединенным Штатам. Судя по трудностям, с которыми сталкивается политическая интеграция стран Западной Европы, и темпам этой интеграции (35 лет понадобилось, чтобы от начавшейся с Римского договора 1957 г. интеграции экономик выйти к уровню политического сближения), США, вероятно, всю первую четверть наступившего века смогут сохранять свои организационные преимущества над западноевропейским конгломератом наций, даже если тому удастся справиться с собственными противоречиями и поглощением новых претендентов на вхождение в европейское интеграционное поле.

Искусственной видится и апелляция поборников многополярности к Китаю и России. Россия намного превосходит США по территории, а США не идут ни в какое сравнение с КНР по населению. И тем не менее по совокупности возможностей и Москва, и Пекин не могут считаться сопоставимыми с Вашингтоном. Китай и Российская Федерация при своей естественной «геополитической одаренности» способны, конечно, выполнять весьма важные роли в масштабах Восточной Азии (КНР и Россия) или даже Евразии в целом (Россия). Но они не могут выступать на равных с США *комплексно*, т.е. по всему кругу вопросов политики и экономики. О многополярности отношений России, КНР и США можно говорить в основном только применительно к Азиатско-Тихоокеанскому району. Но такая многополярность, очевидно, относится к региональному уровню и не определяет конфигурации общемировой структуры.

Возможно, больше оснований говорить о тенденции к многополярности в этнокультурном и идеологическом смысле. Заметно, что Европа, «устав» от американского культурного проникновения, поворачивается к консервированию своих традиционных культурных ориентаций. Одновременно — что серьезнее — под натиском латиноамериканской и азиатских эмиграций заметно меняется генетический код самой американской культуры, из которой с каждым поколением вымывается изначальный европейский компонент.

Но этот новый внутренний полицентризм в культуре того, что в России по традиции нерасчлененно воспринимается как «Запад вообще», во многом уравновешивается доминированием американских стандартов в политике, праве и международном поведении. Американская идеология либерализма, конкуренции, демократии, плюрализма определяет сегодня стандарты, с которыми вынуждена так или иначе соотносить себя преобладающая часть государств — от Латинской Америки до Японии и от Южной Африки до Скандинавии. Ком-

прометация коммунистических идеалов в бывшем «социалистическом содружестве», осторожная дерадикализация теоретических установок руководства КНР и медленная эволюция практики авторитаризма в странах Восточной Азии (Южная Корея, Тайвань, Филиппины, Вьетнам и Камбоджа) — все это так или иначе связано с идеологическим влиянием США. Ему пытаются противостоять многие силы. Но ни одна из них пока не в состоянии претендовать на позиции, сопоставимые с теми, что сумел приобрести в мире либеральный демократизм в его американской версии.

США, несмотря на замедление темпов прироста своего могущества, остаются «абсолютным лидером» мира по совокупности своих возможностей. Масштабы американского превосходства не позволяют говорить о сопоставимости потенциала США с потенциалами каких-либо других государств мира. Следовательно, не очевидны основания полагать, что современная мирополитическая структура может быть описана как многополярная. Гипотеза многополярности, по-видимому, воплощает лишь один из нескольких возможных векторов системного развития, причем не самый вероятный. Потребность определить действительные контуры структуры современного мира подвигает к необходимости преодолеть соблазнительную незатейливость противопоставления «биполярность — многополярность» и обратиться к построениям менее элементарным, но более адекватным усложнившимся реалиям.

2

Отрешиться от элементарности, однако, не так уж легко. Слишком много сказано об американском превосходстве, чтобы в сознании не стало циркулировать допущение: «Если мир перестал быть биполярным, а многополярным он не стал, то не пришла ли пора однополярности?» Может быть, в самом деле на планете установился *Pax Americana*, об угрозе которого с начала советско-американской конфронтации в 1940-х годах были написаны сотни плохих, впрочем, и неплохих тоже статей и книг?

Нет впечатления, что сами Соединенные Штаты, не свободные от высокомерия и вселенских амбиций, готовы взвалить на себя бремя *единоличной* ответственности за происходящее в мире. Самоустранение в 1991 г. главного и самого опасного противника, которым для США был Советский Союз, открыло для американской элиты уникальную возможность хотя бы на время сосредоточить максимальную долю усилий на решении внутренних задач — прежде всего на лик-

видации структурных слабостей американской экономики, на протяжении ряда лет не позволяющих ей снова увеличить разрыв, отделяющий ее от конкурентов, пытающихся догнать Соединенные Штаты. Администрация стремилась в первую очередь заниматься внутривнутриполитическими, социальными и хозяйственными вопросами, а только потом — международными делами. Отсюда следовала заинтересованность Вашингтона в сохранении стабильных отношений с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия. Отчуждение между США и Россией могло бы затруднить ремонт «американского дома», на который замахнулась администрация демократов и который она с полным экономическим успехом завершила к моменту перехода власти в 2001 г. к республиканцам. Хотя экономические успехи были одержаны, как показали события 11 сентября 2001 г., на фоне крупных просчетов в сфере совершенствования политических институтов, машины государственного управления, политики в отношении этносообществ, взаимодействия государства и граждан, идеологии и практики политики «плавильного котла».

Все последние полтора десятилетия тем не менее, и при демократах (1993—2000 г.), и при республиканцах (2001—2009 г.), Соединенные Штаты стремились предпринимать самые ответственные международные акции при максимально доступной поддержке — политико-дипломатической, организационной и материальной — со стороны возможно более широкого круга стран. Так было в Сомали и Боснии, Косово и Афганистане. Американская дипломатия настойчиво добивалась, когда это было реально, санкционирования своих шагов наиболее авторитетными формальными (ООН, НАТО, ОБСЕ) и неформальными («Группа семи») международными органами. В этом же ключе, несомненно, стоит понимать и «новые» отношения США с Россией (диалог Путин—Буш) в контексте борьбы с афганскими талибами в 2001—2002 гг.

В этом типе поведения, разумеется, есть доля этикета и «дипломатической психотерапии». Но, как представляется, главное все же — стремление разложить бремя ответственности и потерь на несколько партнеров, даже ценой частичного делегирования им доли властных полномочий. Такой тип политики не характерен для гегемонии одной страны, которая и понимается под однополярностью. Значит, похоже, и версию *Pax Americana* придется признать недостаточной. Наступает черед более экзотических версий. Из них коснемся двух: гипотезы кольцевого строения и теории комбинированной структуры.

В самом деле, альтернативой как биполярности, так и многополярности может быть, например, *кольцевая структура* международных

отношений. Эта концепция построена на наблюдении, смысл которого в том, что после прекращения конфронтации США и СССР в годы «перестройки» (1985–1991) и начавшегося сближения между двумя сверхдержавами международная структура, прежде представлявшаяся в виде двух взаимно противостоящих «вздыбленных» полюсов, «распласталась» — стала плоской. СССР и США стали сближаться друг с другом, увлекая за собой в разной мере поспевавших за ними партнеров и сателлитов.

При этом в центре мировой структуры оказались наиболее развитые индустриальные страны, которые образовали собой своего рода «ядро» — источник основополагающих мироэкономических импульсов и нарастающего политического влияния. Соответственно, на периферии стало складываться «внешнее кольцо» из относительно молодых государств, наиболее сильно отставших в своем развитии. Между этим «внешним кольцом» и ядром начало формироваться «кольцо внутреннее», своего рода «прослойка». Ее составляли бывшие социалистические государства Европы, сам Советский Союз, а также новые индустриальные страны. Такая модель нагляднее других воплощала идею целостности и взаимозависимости постконфронтационного мира и задавала ясную вариантность путей развития государств, входящих в то или другое «кольцо». Применительно к СССР, например, было понятно, что со структурной точки зрения ему было целесообразно стремиться закрепиться, так сказать, у внутренней оболочки первого «кольца» и сопротивляться перемещению в «кольцо внешнее»⁴.

Распад Советского Союза, конечно, не мог не снизить привлекательности такого варианта мировидения для русского сознания, поскольку концепция «кольцевой структуры» невольно травмирует его вопросом о реальном месте России в мировой системе (еще «внутреннее» или уже «наружное»?). Вместе с тем она и ориентирует его на то, чтобы «пробиться» ближе к центру — цель, недостижимая без завершения начатого процесса самореформирования.

Если русского читателя такой вариант мировидения «коробит» мыслью об окраинности места России, то японского, по всей видимости, он разочаровывает «растворением» возвышающейся роли Японии в «ядре», состоящем из относительно многочисленной группы развитых государств. Во всяком случае, именно японскому теоретику Акихико Танаке принадлежит концепция, в соответствии с которой мир предстает в качестве трехслойной сферы, все три пласта которой взаимно проецируются, а взаимодействие их проекций определяет фактическое положение основных мировых игроков по отношению друг

к другу. В такой картине мира, естественно, оказывается выпяченной специфика миросистемной роли каждой из ведущих стран, и Япония в этом смысле не может быть обойдена вниманием.

По схеме А. Танаки, предложенной в 1993 г., современный мир является одновременно одно-, трех- и пятиполярным. Он однополярен в том смысле, что только США обладают абсолютным превосходством над всеми странами мира по совокупности своих возможностей. Международные отношения трехполярны, если речь идет об экономике, причем роль экономических полюсов выполняют национальные государства (методически автор безупречен!) — США, Япония и Германия. Наконец, мир предстает пятиполярным *в организационно-политическом отношении* (такой критерий, насколько можно судить по доступной литературе, ранее никем не предлагался). США, Россия, Китай, Британия и Франция являются организационно-политическими полюсами мира в той мере, в какой эти страны обладают, как полагает А. Танака, *во-первых*, обширным опытом участия в управлении мировой политикой и принятии ключевых международных решений; и, *во-вторых*, наличием каналов и возможностей для участия в миросистемном регулировании⁵.

Соразмеренная элегантность такого построения лишает запала критику, которую стоило бы ему адресовать. И все же обратим внимание: автор, в сущности, предлагает — лучший из известных — вариант рассуждения в русле все той же многополярности. Делает это он, опять-таки уклоняясь от определений, избегая разговора о критериях и благоразумно предпочитая вести речь не о наступлении многополярности, а только о распаде биполярной структуры. Поэтому, отдавая должное свежести авторских классификаций, я склонен ценить в теории комбинированной структуры прежде всего косвенное указание на переходность нынешнего этапа мироструктурной трансформации и, что особенно важно, предощущение *комбинированного, усложненного характера будущей миросистемной самоорганизации*. В этом интуитивном или сознательном интересе к осмыслению структурных реалий в ключе сочетания одновременно нескольких типов взаимных расположений видится достоинство теории А. Танаки. И все же, как представляется, не его объяснение отражает контуры реально складывающейся модели современной структуры.

Думается, что подходящим названием для последней может быть «плюралистическая однополярность». Типологически эта структура может быть отнесена к *комбинированным*. Но она складывается в основном в рамках вектора *однополярного развития*. Это, конечно, не однополярность в чистом виде — в той мере, как источником *направляющих импульсов в мировой политике оказываются не единолично США, а Соеди-*

ненные Штаты в плотном окружении стран «семерки», сквозь призму или фильтры которой преломляются, становясь более умеренными, так или иначе меняя свою направленность, собственно американские национальные устремления. Новая однополярность обещает быть однополярностью смягченного, «плюралистического» типа, в рамках которого сильнейшая держава мира, по-видимому, не будет обладать возможностями жесткого контроля над происходящим в той или иной части мира, хотя сможет пользоваться труднооспоримым влиянием.

На первый взгляд такая структура походит на ту, что выше была описана под названием «кольцевой». Однако, как представляется, плюралистическая однополярность отличается от нее в двух существенных чертах. *Во-первых*, для «кольцевой» структуры одним из наиболее значимых конструктивных элементов было «внутреннее кольцо». Присутствие в этой «прослойке» такой державы, как Советский Союз, придавало ей, казалось бы, устойчивость, усиливало ее роль, повышало, так сказать, плотность «обрамляющей» среды, внутри которой ядро индустриальных демократий могло принимать свои решения. В сегодняшней структуре мира роль «прослойки» ниже, а сама эта «прослойка» «рассыпается», «растаскивается», поскольку составляющие ее страны либо переходят на положение сателлитов «ядра», либо скатываются к позиции явных аутсайдеров. *Во-вторых*, и это вытекает из первого, шансы России занять отвечающую ее (завышаемым) представлениям о «надлежащем» месте позицию в формирующейся структуре хуже, поскольку ядро «плюралистически однополярной» структуры плотнее, чем «кольцевой», в той мере, как доминирование США в ней стало сильнее, а сама Россия, перестав быть Советским Союзом, — слабее.

Добиваться равенства прав в такой структуре, не имея равенства возможностей, тяжело. Тем труднее рассуждать о том, какой вариант внешней политики для России лучше. Возможно, правильнее говорить о том, какой из них менее плох, чем остальные. Версий может быть много. Но сводимы они к трем: тот или иной вариант антизападного курса (необязательно предусматривающего открытое противостояние); «равноудаленность» между несколькими центрами международного влияния — прежде всего США и Китаем; новый вариант партнерства с Западом.

По поводу первого варианта стоит напомнить, что он-то и обрек Россию на ее нынешнее ослабленное состояние. Он может снова толкнуть страну к противостоянию с тем центром мирополитического влияния, который обещает в обозримые десятилетия оставаться самым мощным в смысле способности быть как источником угрозы, так и ре-

сурсом технологии, капиталов, производственного и организационного опыта для российской модернизации.

Теоретически шансы восстановления антизападной перспективы в России сохраняются. Отчасти, как представляется, это связано с неспособностью умеренно либеральных сил российского общества найти правильную форму взаимодействия с волной национально окрашенных устремлений большинства населения, канализировать стихийно формирующийся русский национализм в реформистское русло. В самом деле, российские умеренные силы в обращении с национальными идеями стали ненамного менее беспомощными, чем они были, проигрывая жириновцам думские выборы 1993 г. Национализм в России, между тем, делается радикальнее, и оживление фашиствующих и бритоголовых в крупных и малых городах о том печально свидетельствует.

В наиболее резкой форме антизападные идеи развивают коммунисты. Это не удивляет. Любопытным кажется другое: будучи по идеологическим установкам стопроцентно *наднациональной* — в этом смысле «*антинациональной*», — компартия в антизападной пропаганде стремится «подмять» под себя русскую национальную идею. Поразительно и то, что простые граждане России сегодня, как никогда, чувствительные к национальной тематике, склонны выказывать поддержку этой партии, порой не отдавая себе, очевидно, отчета во вненациональном смысле ее призывов, замаскированных условно национал-патриотической риторикой. И уж совсем обескураживает то, что умеренно либеральные силы как будто даже не пытаются обратить внимание российской аудитории на очередные несообразности между национально окрашенными ожиданиями масс и наднациональными лозунгами как левых, так и неоимпериалистов. Тем самым центристские силы общества без конкуренции уступают крайним флангам контроль над тем, что, по-видимому, будет оставаться наряду с экономической неудовлетворенностью одним из главных движущих моментов политических процессов в России — новым национальным сознанием русского большинства.

В какой-то мере это объяснимо. Сознание российской элиты отчасти смутно понимает различие между национальным и наднациональным началами в российской политике, отчасти в силу разных соображений не стремится его акцентировать. Между тем на уровне государственной идеи выражением первого является установка на развитие Российской Федерации как *национального многоэтнического государства*, подобного вполне жизнеспособным Франции, Великобритании, Канаде. Воплощением же второго были погибшие империи

(Романовых и Габсбургов), а также построенный на наднациональной идее пролетарского братства и тоже не выживший Советский Союз. Такое сопоставление само по себе указывало бы на уязвимость программы КПРФ и, соответственно, способно было отвлечь от нее какую-то часть избирателей, если бы, конечно, умеренно реформистские силы имели собственную сколько-нибудь продуманную и учитывающую ожидания масс программу в национальном вопросе.

Со своей стороны на Западе, похоже, не видя разницы между коммунистическим и неоимперским вариантами государственного строительства в России, с одной стороны, и национально-государственным — с другой, с одинаковой подозрительностью относились к любым попыткам осмысления российской патриотической темы в позитивном ключе, характеризуя их как «националистические», а в западной традиции термин этот имеет остронегативный смысл.

Между тем умеренно либеральная версия национализма в России — своего рода «русский голлизм» — могла бы, как мне думается, стать консолидирующей политической философией, по крайней мере, для того этапа реформ, на котором вероятность внутреннего раскола особенно велика. Такой национализм мог бы сочетаться с концепцией развития России по пути национального государства, а не наднациональной империи, типологически в большей мере, чем национальное государство, предрасположенной к саморасширению и в этом смысле более угрожающей для международного сообщества. Наконец, этот вариант лучше бы сопрягался с потребностью сохранить конструктивные экономические и иные отношения с передовыми странами. Если потребностью и перспективой России остается модернизация, то стране требуется сотрудничество, а не противостояние с западными государствами. Об этом свидетельствует даже опыт Китая, страны гораздо более, чем Россия, «антииностранный» вообще и антизападной в частности. Но, словно по иронии, именно на Китай ссылаются противники «прозападной ориентации» России как на пример удачного проведения внешнеполитической линии «равноудаленности», следовать которой призывают представители не только зюгановцев, но даже «Яблока».

В самом деле, «равноудаленность» как схема может обладать привлекательностью. *Во-первых*, она легка для усвоения: в памяти сразу всплывают «ученое» выражение «баланс сил» и мысль о приписываемой ему способности обеспечивать мир и стабильность. *Во-вторых*, эта схема как бы подразумевает многополярность — а в позиции слабости, в которой находится Россия, многополярность искушает иллюзией многообразия выбора. Но реальность грубее. Вероятно, в Пекине

это сознают предметнее, чем в Москве. Во всяком случае, несмотря на слова о «равноудаленности», произносимые в КНР по крайней мере с 1982 г., никакого «равенства» в отношениях Китая с Россией, с одной стороны, и западными странами и Японией — с другой, не существует. Пятнадцать лет происходит быстрое наращивание экономических, научно-технических, а избирательно — еще и военных связей КНР с Вашингтоном. Все это — на фоне сначала враждебных, затем дружелюбных, но ни в какое сравнение не идущих с китайско-американскими связями Китая с Москвой. Совокупный уровень сотрудничества КНР с США, Японией и западноевропейскими государствами настолько явно превышает развитие отношений КНР с Россией, что ни о каком «выравнивании» в этом смысле просто не может быть речи. Да в Пекине никто и не скрывает, что именно развитие сотрудничества с Западом и Японией, а не с Россией является для КНР приоритетным.

В России энтузиасты сближения с КНР «назло Америке», как видно, готовы перейти грань разумного. За последние три года Россия подписала с КНР два соглашения о военном сотрудничестве, в соответствии с которыми осуществляются поставки в Китай российских вооружений и технологии. Детали этих соглашений держатся в секрете, подобно тому как в середине 1950-х годов секретными были советско-китайские соглашения о сотрудничестве в области использования ядерной энергии, открывшие путь к китайской ядерной бомбе. Оправданы ли попытки прийти к «равноудаленности» между Китаем и Западом таким рискованным образом и чем это может обернуться в будущем для безопасности Российской Федерации?

Единственное преимущество, которое сегодня Россия имеет перед Китаем в области международных отношений, — ее более тесные политические связи с Западом. Этот относительный выигрыш стоил нам больших потерь, но все же это выигрыш. Ошибкой было бы лишиться его просто из желания продемонстрировать Западу свое раздражение его политикой. Нельзя не видеть, что огромный, набирающий силы и перенаселенный Китай представляет собой вызов в первую очередь не для США и стран НАТО, а для самой России, по отношению к которой КНР объективно выступает в роли самого грозного геополитического соперника, которого она когда-либо имела на Евразийском материке со времен татаро-монгольского нашествия.

Даже с «чисто» структурной точки зрения «равноудаленность» по отношению к США и КНР предстает абсурдом: удалиться Россия может разве что от США, но Китай с его четырьмя тысячами километров границы с Россией всегда останется «нависать» своей демографичес-

кой громадой над полубезлюдными территориями русского Дальнего Востока. Можно понять стремление найти альтернативу раздражающей зависимости от США. Но на сегодняшний день «равноудаленность» — это только словесная фигура для обозначения того, что на практике не может не оказаться заменой зависимости России от (передового, насытившегося и не угрожающего потерей территорий) Запада на зависимость от (относительно отстающего и склонного к «мирной колонизации» русских земель в Приамурье и Приморье) Китая. Назревшими для России кажутся размышления не о перспективе «отдаления» от западных партнеров, а о выработке тех темпов, форм и условий сотрудничества с ними, которые учитывали бы текущую ситуацию, исторические озабоченности, национально-психологические особенности и фундаментальные интересы России, не меняя принципиальной установки на сотрудничество с передовой частью мира.

Такая линия может означать рационализацию политики Кремля в духе философии «разумного эгоизма» и национального интереса, усиление ее привязки к специфическим устремлениям России, а также признание неизбежности сопутствующих трений, разногласий и противоречий в отношениях с западными странами. Эти противоречия сегодня вполне различимы — от несовпадения позиций сторон в отношении игнорирующей тревоги Москвы расширения НАТО на восток, подключения России к западным структурам безопасности до в общем-то второстепенной для российско-западных отношений, но болезненной проблемы балканского конфликта или вопроса о ситуации на Кавказе. Вопросы национальной психологии, государственного престижа, реально или мнимо ущемляемых интересов безопасности, остро переживаемый рост уязвимости по отношению к внешнему миру — все это сплавлено в современной российской политике с потребностью завершить реформы, модернизировать страну, вывести ее из состояния слабости, не разрушая рационального ядра национальной идентичности. В таком сложном политико-психологическом контексте России и ее партнерам предстоит найти обновленную формулу своих отношений.

Можно предположить, что темпы взаимного сближения сторон в обозримой перспективе могут замедлиться, а связи — временами даже топтаться на месте. Процесс взаимной адаптации слишком сложен, чтобы и Россия, и западные партнеры были и дальше готовы легко соглашаться друг с другом буквально во всем. По-видимому, этап эпически грандиозных, исторических решений в основном пройден. Началась пора кропотливой, упорной работы по взаимной притирке, в ходе

которой приходится признавать, что России как более слабой стороне, по всей видимости, придется уступать больше. Но это не значит, что российская дипломатия не должна спорить, проявлять упорство и настойчивость, «до хрипоты» торговаться по каждому конкретному вопросу, решение которого может ущемлять интересы Федерации. Тем более что психологически перспектива политики «вечного согласия» с более сильными партнерами начинает вызывать внутри страны достаточно острое эмоциональное отторжение. Оттого, вероятно, и стоит предвидеть замедление темпов сотрудничества с целью выиграть время, необходимое для психологической адаптации.

Это не значит, что пришло «время уклоняться от объятий» (Еккл., 3, 5). Как не пришло оно и для того, чтобы в объятия бездумно бросаться. Категоричные обобщения не кажутся здесь уместными. Думается, России важно сохранить себя в качестве партнера Запада. Но стоит отдавать отчет в том, что партнерство будет трудным. Из не в меру покладистого «нового знакомца» нашей стране, возможно, предстоит вырасти в разумно строптивного, но совершенно необходимого Западу надежного партнера. Партнера, который будет вправе рассчитывать на какие-то привилегии. «Особость» партнерских отношений с Западом, которой, по-видимому, следовало бы добиваться Кремлю, вероятно, не будет равнозначна восстановлению сверхдержавного статуса Москвы. Но положение пусть самого «трудного», но постепенно набирающего «вес» партнера Запада кажется предпочтительнее роли соперника. Во всяком случае, до той поры, когда возможное саморазвитие мирового расклада и/или интригующе противоречивая внутренняя эволюция самих Соединенных Штатов не откроют иных альтернатив.

* * *

В истории бывали и, возможно, будут и впредь ситуации, когда лучшая политика — не зависеть ни от кого. Сегодня, когда Россия слаба, а мир, следуя собственной логике, стремится преодолеть разобщенность в неприятной для нас форме «плюралистической однополярности», упования на самодостаточность и неестественность во внешнеполитической сфере представляются утопичными. США — лидер современного мира и опора его нынешней «плюралистически однополярной» структуры. Это может (и, наверное, должно) быть нам не по вкусу. Но это было бы неосторожно игнорировать. Формы новой модели мира не затвердели. Задача России может состоять в том, чтобы внести свою лепту в ее формирование.

Примечания

¹ *Рогов С. М.* Россия и США в многополярном мире // США: Экономика, политика, идеология. 1992. № 10. С. 3–14; *Сорокин К. Э.* Ядерное оружие в эпоху геополитической многополярности // Полис. 1995. № 4. С. 18–32.

² *Caddis J. L.* International Relations. Theory and the End of the Cold War // International Security. Vol. 17. № 3 (Winter 1992). P. 5–58; *Kegley Ch. W., Raymond C.* A Multipolar Peace? Great-Power Politics in the Twenty-First Century. N.Y., 1994.

³ *Богатуров А. Д.* Кризис миросистемного регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7. С. 30.

⁴ Вниманию читателя эта версия была впервые предложена в 1992 г. См.: *Богатуров А. Д.* Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности // Международная жизнь. 1992. № 2. С. 5–15.

⁵ *Tanaka A.* Is There a Realistic Foundation for a Liberal World Order? // Prospects for Global Order. Vol. 2 / Ed. by Seizabiro Sato and Trevor Taylor. L.: Royal Institute of International Relations, 1993. Название «теория комбинированной структуры» предложено нами. Сам А. Танака свою концепцию никак не именует.

Глава 22

.....

Равновесие недоверия между Россией и Америкой*

Десятилетие 2010-х годов поражает динамизмом своих первых и завершающих лет в такой же степени, как поражало оно унылым консерватизмом своей середины. События 11 сентября 2001 г. и совпавший с мировым финансовым кризисом приход к власти Б. Обамы резко контрастируют с рутинной «по-техасски» традиционным империализма США. И в начале, и в конце десятилетия мир был испуган. В первом случае — давно вызревавшей в недрах глобализации, но все же внезапно открывшейся угрозой транснационального терроризма. Во втором — глобальным кризисом виртуальных финансов, повергшим в рецессию всю мировую экономику.

Но есть и существенная разница. После нападения террористов на Нью-Йорк и Вашингтон США метнулись к идейному и политическому фундаментализму — любимой республиканцами идее «глобального лидерства с помощью силы». С приходом кризиса, случайно или закономерно сокрушившего власть республиканцев, Америка, наоборот, стала сигнальть миру о готовности смирить гордыню, отойти от односторонности и вернуться в правовое поле согласованных действий. Давно мечтавшие избавиться от команды Дж. Буша евросоюзовские интеллектуалы в «спазме восторга» от того, что показалось им доказательствами новаций Б. Обамы, словно «авансом» присудили ему Нобелевскую премию мира — случай в истории небывалый.

1

С позиций международной политики «революция Обамы» — феномен из области политической психологии и «имиджмейкерства». Его реальное достижение — замораживание глобальной тенденции к росту антиамериканских настроений, которая была устойчивой чертой международной жизни на протяжении основной части 2000-х годов. Не только жители арабских и других исламских стран, но граждане Франции, Германии, Испании, Италии и ряда других стран ЕС, не говоря

* Опубликовано в: Международные процессы. 2009. № 3.

о турках, китайцах, россиянах и жителях почти всех стран Латинской Америки, в основном плохо относились к политике США. Вероятно, никогда прежде международная репутация американской политики не была такой скверной, как при двух администрациях республиканцев.

Это было хуже, чем в годы вьетнамской войны. Но ведь тогда против США работали мощные пропагандистские машины Советского Союза, КНР и поддерживающих их компартий в разных точках Земли. В 2000-х годах ничего похожего на системно организованную антиамериканскую пропаганду в мире не было. Антиамериканизм был стихийным, «низовым» и оттого гораздо более прочувствованным и «доходящим до сердца». Его не удавалось уравновесить даже теми продуманно и назойливо проводившимися англоязычными электронными СМИ кампаниями по поводу «злонамеренности» российского президента В. Путина и «гибели демократии» в России. В конце концов, рассуждал хоть сколько-нибудь думающий обыватель, Путин всего лишь русский человек, очень похожий на американца Буша, а русская демократия вряд ли менее либеральна, чем, к примеру, турецкая.

Б. Обама ухитрился выгнать Америку из «репутационного провала» буквально за несколько месяцев. Во всяком случае, в глазах жителей Евросоюза это безоговорочно так. И если решение Нобелевского комитета было основано на оценке заслуг президента, у граждан ЕС были более веские основания полюбить Обаму. После Буша, который постоянно давал понять, что он может обходиться без поддержки «старой Европы» или может играть на ее нескончаемых трениях с «Европой новой», Обама казался спасителем. Он избавил евросоюзников от комплекса «малозначительности», который так травмировал их при республиканцах. Демонстративный акцент демократической администрации на необходимости считаться с ЕС и учитывать мнения европейских союзников по НАТО пал целительным бальзамом на язвы оскорбленного самолюбия, оставшиеся у французов и немцев со времени начала в 2003 г. иракской войны вопреки их сетованиям. Нобелевский комитет знал, что он делает. Просто в этом случае он действовал «не глобально, а регионально» — как европейский, точнее сказать, евросоюзниковский институт, который обычно старается казаться институтом общемировым.

С позиций России вклад Обамы в дело мира и вся история его новаций выглядит существенно иначе, чем из столиц стран ЕС. Разрыв в восприятии обусловлен серьезным обстоятельством военно-политического рода. Даже нарочно демонстрируя неуважение правительствам Франции или Германии в середине 2000-х годов, администрация Буша никогда не пыталась прямо или косвенно угрожать им. Спор групп за-

падноевропейских элит с группами элит американских был политическим. Страны ЕС требовали «должного уважения», Буш им его не оказывал, а Обама весной 2009 г. отправился в европейское турне и всем такое уважение оказал. Причем легко и с обаятельной улыбкой.

С Россией — иначе. Американцы при Буше пытались игнорировать Россию почти так же, как страны «старой Европы», за вычетом Британии. Но в отличие от них Москва столкнулась с непрямой угрозой со стороны США во время событий вокруг Южной Осетии в августе 2008 г. Такое забыть, может быть, и можно, но, *во-первых*, вряд ли нужно, а *во-вторых*, гораздо сложнее, чем обычную американскую неучтивость.

Главная проблема между США и Россией — восстановить доверие. В этом смысле двусторонние отношения отброшены лет на двадцать, если не больше. Ведь при М. Горбачеве мы верили, что пугаться Америки уже никогда не придется, а «после Грузии» в Государственной Думе (и, конечно, не только в ней) только ленивый не думает об опасных сценариях взаимодействия с США.

Прозрачность прозрачности рознь. Соглашения 1990-х годов были проникнуты духом доверия к американцам и уверенности в том, что нашей стране США не будут угрожать ни при каких обстоятельствах. Соглашения 2000-х годов тоже могут предусматривать шаги для обеспечения прозрачности. Но только прежде речь шла о максимальной прозрачности, а теперь может пойти о минимальной. В позиции примерного равенства максимальная прозрачность друг для друга разумна. В ситуации существования нескрываемого превосходства Соединенных Штатов, когда Россия вынуждена полагаться главным образом на способность дать «асимметричный ответ», вопрос информации ключевой. В подобном случае важно оставаться для конкурирующей стороны как минимум не вполне прозрачным. Американцы не верят в намерение и, более того, в способность России безнаказанно напасть на США. «Форсировать прозрачность» — содействовать нарастанию американского превосходства.

Внешняя политика американской администрации — это не политика в отношении России. Поиск пути к замирению в Ираке на американских условиях, предупреждение возвращения талибов к власти в Афганистане, оказание поддержки любому жизнеспособному правительству в Пакистане в целях исключения угрозы попадания пакистанского ядерного оружия в руки антиамерикански настроенных радикалов, выработка эффективной формулы удержания Ирана на доядерном уровне его международных амбиций — далеко не полный перечень внешнеполитических задач США. В двух из названных четырех ситуаций

цена вопроса — жизни американских солдат. В двух оставшихся вопрос об использовании военной силы становится все более практическим.

Может или не может Америка позволить себе начать еще одну региональную войну или допустить расширение уже начатой, если американские избиратели рассчитывают на приоритетное внимание администрации демократов к социально-экономическим проблемам США, ликвидации последствий кризиса? В принципе все еще может. Но уже всерьез опасается наконец перенапрячься.

Даже на фоне таких вопросов идеологическая борьба по поводу того, в какой стране больше, а в какой меньше «демократии по-американски», не утрачивает важности в глазах американской элиты. В кругу советников президента полно специалистов по обоснованию полезности экспорта демократических революций. Но все же складывается впечатление, что в Вашингтоне на время победил трезвый расчет: когда главный враг — экстремизм, «любые демократии» могут быть если не «партнерами навек», то «союзниками по случаю». По крайней мере до тех пор, пока Америке не удастся распутать узлы средневосточной политики.

Никто в Белом доме не думает отказываться от вовлечения Украины и Грузии в НАТО. Но сейчас важнее другое. Если острие американской политики безопасности направлено на Средний Восток (в значении от Ирака до западной границы Индии), то Россия, как и страны Евросоюза, — тыл американской глобальной кампании борьбы с экстремистами. А в тылу на фоне такой масштабной баталии лучше иметь верных партнеров.

2

Недоверие к Соединенным Штатам не помешало российским политикам обрадоваться новым веяниям в американской политике. Речь в 2009 г. вряд ли могла идти о «безоблачном завтра». Но пока довольно было и того, что новая линия Б. Обамы указывала на его намерение строить отношения «не так, как вчера». После августа 2008 г. и это было в радость, поскольку хуже, чем тогда, не бывало примерно с 1983 г. (размещение американских ракет средней дальности в Западной Европе). Российские власти приветствовали перемены в политике США, и переговоры относительно нового соглашения по контролю над вооружениями стали проходить более интенсивно. Последовала краткая встреча президента Д. Медведева и Б. Обамы на саммите «двадцатки» в Питтсбурге в сентябре 2009 г., а спустя месяц — встреча госсекретаря-

рия США, которым еще была Х. Клинтон, и министра иностранных дел России С. Лаврова в Москве.

Между тем в российском руководстве сохранялась неопределенность в оценках ситуации и перспектив отношений с США. Негативный опыт попыток найти взаимоприемлемую формулу сотрудничества с администрацией республиканцев волей-неволей переносился на отношение к новой администрации. События августа 2008 г. слишком глубоко повлияли на российскую элиту, чтобы она безоговорочно и разом вернулась к линии на достижение согласия с Вашингтоном. Никто не мог дать вразумительный ответ на, казалось бы, простой вопрос — а что делать, если однажды с Соединенными Штатами все-таки не удастся поддерживать гармоничные и дружеские отношения?

Об этом, судя по всему, думали российские руководители, как минимум, все первые девять месяцев вплоть до середины сентября 2009 г. В это время созрела идея быть в хороших отношениях с США. Она звучала осторожно — сотрудничать с Западом нужно, но это — не самоцель. У России есть собственные национальные интересы в мировой политике. Если можно идти к их реализации в сотрудничестве с Западом, то это прекрасно. Но если по каким-либо причинам сотрудничество с ним не получается, то Россия будет следовать своим путем полностью самостоятельно.

Речь, по сути, шла о том, что Москва отказывалась от ориентации на сотрудничество с США. Оно продолжало считаться важным, но теперь Россия стремилась обусловить его необходимостью учесть важные для себя требования — в вопросах безопасности в Европе. Новый подход отличался от «доктрины общности целей», «доктрины солидарности с демократическими странами», с которой начиналась внешняя политика России.

Было очевидно, что с «доктриной обходимости» российская сторона шла на первую встречу Медведева и Обамы в Москве в июле 2009 г. С ее платформы она не сходила и позднее. На встрече президентов не удалось прояснить, каковы могут быть практические параметры российско-американского сближения, о необходимости которого теоретично и по-своему красиво говорили оба лидера.

Мышление российских политиков стало несколько меняться после инициатив Б. Обамы относительно инфраструктуры ПРО. Сохраняющееся недоверие к Соединенным Штатам, ожидание какой-либо версии неприемлемых для Москвы «увязок» между решением США и неизвестными требованиями, предъявления которых ожидали в России, заставляли проявлять осторожность.

10 сентября 2009 г., фактически в юбилей известных событий в Нью-Йорке и Вашингтоне, российский президент разместил в Интернете в форме статьи тезисы своего будущего послания Федеральному собранию. В этом документе были по-новому сформулированы приоритеты России.

Но этот пассаж был подводкой к другой мысли. Д. Медведев определенно заявил о том, что модернизация российской демократии и формирование новой экономики невозможны без интеллектуальных ресурсов постиндустриального общества. Вопрос гармонизации отношений с западными демократиями, пояснил он, не вопрос вкуса или личных предпочтений. Внутренние финансовые и технологические возможности России недостаточны для реального подъема качества жизни россиян. «Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии. Этим странам, в свою очередь, нужны возможности России», — продолжил Д. Медведев.

Текст тезисов был адресован внутренней аудитории. Очевидно, президент желал заранее подготовить общество к возможности нового витка в направлении сближения с Западом, но не желал лишить опоры платформу независимого действия в мировой политике.

Похоже, президенту было важнее заверить сограждан в том, что он не собирается тушеваться перед Обамой. Поэтому понадобилось ввести в тезисы пассажи неприемлемости разговоров о «непогрешимом и счастливым Западе» и о «вечно недоразвитой России». Он резко высказался против «конфронтации, самоизоляции, взаимных придинок и претензий», но в таком контексте не было ясно, какую из сторон он предлагает считать, скажем, инициатором подобных тенденций или претензий.

Российская власть с серьезностью отнеслась к шансу добиться улучшения отношений с Вашингтоном. Но не похоже, чтобы возможное новое сближение с США пойдет маршрутами, известными по прошедшим 15–17 годам. Россия долго училась говорить Западу о своих требованиях, и ей вряд ли будет легко забыть эти уроки.

Важно заметить, что идея подготовки к ведению международных дел «в режиме неблагоприятных сценариев», т.е. с минимальной надеждой на взаимопонимание с США, проникла за прошедшее время на разные уровни формирования внешней политики. В официальных выступлениях главы российского внешнеполитического ведомства не трудно различить акцент на новой для политики идее «сетевой дипломатии». Сетевой метод ведения дел противопоставляется иерархии в международных отношениях и, надо полагать, является средством ее нейтрализовать или обойти².

Судя по всему, под сетевым методом прежде всего подразумевается ведение многосторонней дипломатии в рамках разного рода групп — таких, какой по факту является сегодня в вопросах международной политики Евросоюз. Другой пример подобного группового субъекта неформальной и, возможно, неформализуемой природы — БРИКС. Шанхайская организация сотрудничества на деле больше походит на группу, чем на международную организацию-институт.

Многозначно звучит в выступлениях С. Лаврова пассаж по поводу того, что для России сегодня региональный уровень внешней политики важнее глобального. Отчасти это просто «поправка» в известный тезис В. Путина, согласно которому Россия должна привести свое международное влияние в соответствие с возросшей экономической мощью и начать проводить глобальную внешнюю политику, как минимум, в вопросах оказания помощи развитию.

Вместе с тем «уход в региональность» может быть знаком относительного падения заинтересованности России в таких глобальных вопросах, как противодействие распространению ядерного оружия, реформа ООН, контроль над ценами на энергоносители. Российская сторона склонна увязывать готовность к сотрудничеству с США по глобальным вопросам с компромиссами с Вашингтоном в вопросах региональной политики. Россию волнуют вопросы создания региональных систем ПРО и оздоровления ситуации в регионах, имеющих особое значение для безопасности российских границ.

3

Избежание большой войны остается для России, как и для Соединенных Штатов, приоритетом. Вероятность такой войны оценивается российскими экспертами невысоко, в чем они сходятся с американцами. Однако по сравнению с прошлым веком военно-политическое мышление россиян сильно поменялось.

Вероятность ядерной войны с Америкой оценивается невысоко, а вероятность применения ядерного оружия разными странами мира, в том числе Соединенными Штатами, самой Россией, выше, чем 15–17 лет назад. Речь, правда, как правило, идет только об ограниченном применении. Но и эволюция систем вооружения не стоит на месте: миниатюрные ядерные заряды и боеприпасы с обедненным ураном сегодня — не экзотика, а повседневность вооруженных сил не только США. Рутинизация таких вооружений сближает ядерный и обычный конфликты, а вероятность конфликтов последнего типа с участием воору-

женных сил России — например, у ее государственных границ — хотя бы теоретически должны оцениваться выше, чем когда-либо прежде, скажем, со времен советско-китайских пограничных столкновений на острове Даманском и в горах Средней Азии в конце 1960-х годов.

Нервозность россиян в связи с попытками распространить военную ответственность НАТО на пояс территорий вдоль границ России — не нервическая попытка заполучить «право вето» на решения НАТО. В августе 2008 г. страны НАТО расценили объявление Грузией войны России как основание для объявления о региональной угрозы для стран Альянса. В Москве ситуацию вокруг Южной Осетии восприняли как региональную угрозу. Правда, вопрос о наличии или отсутствии угрозы со стороны НАТО в СМИ и на неформальных экспертных форумах не обсуждался. Но вряд ли можно допустить, что непрямая конфронтация по поводу августовских событий не вызвала достаточно серьезных коррективов в военное планирование сторон.

Неучастие России в НАТО ни в каких формах при продолжении экспансии зон военной ответственности Альянса на восток, насколько можно судить, превращается в главный источник напряженности в Центральной Евразии. В США, очевидно, таким источником считают активность экстремистских групп и правительств на Среднем Востоке. Это расхождение приоритетов России и США в сфере региональной безопасности приобретает возрастающее значение. Организационно слабая, юридически неубедительная, двусмысленная в вопросах содержательной деятельности нынешняя инфраструктура «сотрудничества» НАТО и России, как показывает практика, не способна исполнять роль амортизатора отношений. Напористость политики НАТО превосходит стабилизационный потенциал отношений Альянса с Россией.

Важные перемены произошли в сфере понимания паритета, его присутствия или отсутствия в отношениях между США и Россией. В Москве не слышно голосов сторонников понимания паритета. Ни о каком суммарном равенстве речь давно идти не может. Преобладающее понимание паритета современными политиками состоит в том, что даже при отсутствии суммарного равенства обе стороны должны сохранять способность к нанесению ответного удара такой мощи, что ущерб от него будет заведомо превышать гипотетические выигрыши от нанесения ядерного удара первым. Но и при таком трезвом понимании ситуации ясности в вопросе о паритете нет.

Несколько лет назад американские военные — возможно, в рамках информационной спецоперации с целью просто прозондировать экспертные мнения россиян — высказались в том смысле, что состояние

оборонного потенциала России достигло такой степени деградации, при которой страна не в состоянии адекватно среагировать на гипотетическое ядерное нападение.

Ответ власти на сомнения общества последовал — в российских СМИ возобновился интерес к тематике асимметричного ответа на угрозы, способные исходить извне. Идея «асимметричного ответа» выдвинулась на положение универсальной концепции национальной безопасности, концепции, технические параметры которой остаются «невидимыми» в силу секретности потенциального «асимметричного ответа».

С русским сознанием такая концепция сочетается идеально: у страны снова есть «невидимый защитник», предположительно всемогущий. Внешний мир — заинтригован, и у него появляется работа: узнать, над чем работают русские. Все недоумевают: точно и рационально проанализировать стратегическую ситуацию при таких исходных данных почти невозможно.

С учетом того, что никто из экспертов не ставит под сомнение военно-силовое превосходство Соединенных Штатов, приоритет российской политики состоит в противодействии попыткам США нарастить это превосходство и не допустить ситуации полной стратегической неуязвимости Америки. Главным инструментом в этом смысле призван стать «асимметричный ответ», который в идеале должен способствовать сокращению «запаса превосходства» Соединенных Штатов. Это означает либо восстановление военно-политического паритета между Россией и США (если он уже разрушен), либо его сохранение, если он еще существует.

При этом в России давно говорят о необходимости соизмерять военный потенциал США и России с возможностями других стран — прежде всего Китая. В Пекине при этом на такие дискуссии реагируют холодно. КНР продолжает интенсивное военное строительство, активно используя импорт технологий, военной техники и технологий из разных стран мира. В связи с этими аспектами мировой ситуации уместно полагать, что новым приоритетом России в военно-политической области является сохранение ее собственного военно-технического и силового превосходства по отношению ко всем другим странам мира в отдельности, за исключением Соединенных Штатов.

Перемещение вопроса о пограничной безопасности России из теоретической в практическую плоскость оттеняет приоритет реформирования вооруженных сил страны в целях повышения их способности сдерживать конфликты на ее внешних границах.

«Авантюра Саакашвили» в 2008 г. не достигла своей цели. Но она имела для России политические, репутационные и ограниченные воен-

ные издержки. Приоритет России состоит в том, чтобы средствами убеждения и демонстрации отвратить (*dissuade*) любое государство от мысли нападать на российскую территорию, российских военнослужащих, российских граждан вообще, российские военные и гражданские объекты, в том числе легально находящиеся на территории третьих стран.

Сложной, но неотложной задачей является продумывание долгосрочной стратегии России в отношении НАТО. Проблема в том, что среди российских военных и политических экспертов по-прежнему распространено мнение о НАТО как просто о многостороннем военном альянсе. Но эта организация явочным порядком, в обход формальных международных решений, приблизилась к превращению в инструмент глобального военно-политического регулирования. Россия, Китай, Индия, Бразилия и многие другие страны вряд ли оценивают эту тенденцию позитивно.

Можно рассчитывать на поиск путей ассоциации с НАТО при условии продолжения ее трансформации из военного блока образца 1949 г. в международную организацию, возможно, и с ограниченным членством, но более универсальную по статусу, функциям, распределению расходов и внутреннему регламенту. НАТО пытается формировать важнейшие решения по мировым вопросам, а Россия в этом процессе никак не представлена.

4

В экономической сфере приоритетом остается сохранение относительной свободы рук в вопросах ценообразования на мировом рынке энергоносителей. Москва избегает использования «нефтяного оружия», предпочитая укреплять репутацию предсказуемого партнера потребителей нефти. По этой причине, сотрудничая с ОПЕК, она не пытается присоединиться к этой организации, подчеркивая свое «промежуточное положение» между развитыми и развивающимися экономиками.

К такой репутации Россия стремится в сфере мирового газоснабжения. Но ее действия на этом направлении отличаются большей наступательностью. Участие в создании «газового ОПЕК» — заявка на роль в ценообразовании в сфере торговли газом. Похоже, что поставки нефти выглядят в глазах российского руководства политизированным средством «успокоения» мировой экономической ситуации, своего рода «разрядки международной энергетической напряженности».

Экспорт газа изнутри России воспринимается иначе — прежде всего как коммерческий инструмент, причем более узкой направленности. Его основное назначение — наполнение бюджета страны, и поэтому

компромиссы в вопросах цен на поставки видятся как нежелательные и лишённые оправданий.

С фактором энергоносителей связан один важнейший приоритет — диверсификация как маршрутов экспорта энергоносителей из России, так и в принципе торговых и политических партнеров страны на мировой арене.

Заметим: если в 1990-х годах в официальных установках российского руководства говорилось о намерении следовать курсом союза с «передовыми демократическими странами», то в 2009 г. речь идет об использовании ресурсов постиндустриальных стран в интересах модернизации России. Россия опасается связывать себя ориентацией на союз с Западом ввиду появившейся в 2006–2008 гг. вероятности отхода самого Запада от линии исключения ситуаций конфронтации с Россией.

Практические шаги курса диверсификации в основном относятся к сфере экономики. Российское правительство вкладывает энергию и финансовые ресурсы в реализацию проектов обходных маршрутов транспортировки энергоносителей. Это целая «стратегия обхода» — завязшей в антироссийских комплексах Украины — с помощью подводных газопроводов «Северный поток» (через Балтику), «Южный поток» и «Голубой поток-2» (по дну Черного моря).

Реализация этой стратегии пойдет во благо стабилизации поставок газа в страны ЕС и прекращению «газовых тупиков» с Украиной. Однако эта политика ведет к сокращению доходов Киева от транзита российских энергоносителей на Запад.

Другим практическим воплощением курса на диверсификацию является постепенное возрастание торговли России энергоносителями с Китаем и Японией. Хронический тупик в деле пересмотра условий протоколов к Энергетической хартии ЕС работает на пользу сторонников пока еще маловероятной переориентации экспорта энергоносителей из России в страны Азии, включая Израиль.

Нефть и газ — наряду с технологическими заимствованиями из постиндустриальных стран — инструмент российской модернизации. Энергоносители призваны обеспечивать приток в страну средств для оплаты импорта технологических ресурсов и передового опыта из-за рубежа. Эти средства должны позволить обеспечить очередную структурную реформу российской экономики в соответствии с теми приоритетами инновационного развития, которые, наконец, после примерно шести лет борьбы (с момента изгнания с должности в 2004 г. последнего «нефтегазового» премьера — М. Касьянова) будут вот-вот официально сформулированы в России.

Принято считать, что в мире существует примерно 50 главных макротехнологий, которые определяют ключевые направления научно-технического прогресса. Из них 46 находятся у семи ведущих постиндустриальных стран (22 — у США, 8–10 — у Германии, 7 — у Японии, 3–5 — у Британии и Франции). Советский Союз занимал передовые позиции в мире приблизительно по 12 макротехнологиям. Сегодня ставится задача обеспечить России обладание передовыми позициями по 7–8 технологиям. Предполагается, что приоритетными направлениями могут стать космические разработки, нанотехнологии, космос, авиастроение (на базе военного), использование атомной энергии и производство оборудования для ее использования.

Присоединение России к ВТО, о котором периодически много (то злорадно, то сокрушенно) пишут в России и за ее пределами, в сущности, приоритетом Москвы не является. Вернее, является — в неопределенно отдаленной перспективе, скорее всего. Пока же цель страны — медленное и строго управляемое движение к участию в ВТО при избежании социально-экономических и политических издержек и разумном сохранении протекционизма там, где он может способствовать созданию новых инновационных производств.

В этом смысле комментарии по поводу того, что, скажем, Польша, Грузия или Украина могут заблокировать вступление России в ВТО, приобретают почти комический оттенок. Москве не хочется говорить вслух о том, что она предпочитает «спешить в ВТО очень медленно», а названные страны помогают ей избегать такой необходимости. России в целом выгоднее формат двусторонних экономических связей, в рамках которого ей проще добиваться выгодных условий, чем в формате многосторонних переговоров.

Скорее Москве может быть важно повлиять на реформу системы мирового экономического регулирования (МВФ, Мировой банк). В декабре 2008 г., в момент всеобщего ажиотажа по поводу мирового кризиса, в кулуарах «Группы двадцати» обсуждались разные идеи на этот счет. Среди прочего обсуждалась и перспектива «ухода от доллара» и введения новой мировой финансовой расчетной единицы. Но победили «умеренные», и доллар остался «на своем месте».

Правда, весной 2009 г. на следующей сессии «двадцатки» в Лондоне было принято очень важное решение о перераспределении квот голосов в управляющих органах МВФ и Мирового банка в пользу развивающихся стран — решение, с которым Москва горячо солидаризировалась. Хотя увеличение влияния развивающихся стран прямо вряд ли сулит выгоды России, оно в целом означает определенное уменьшение преобладания,

которое в механизмах мироэкономического регулирования сохраняют США. Эта логика вполне соответствует принципиальной линии на сокращение «баланса превосходства», которым Соединенные Штаты стремятся обладать во всех международных вопросах. Сильно напоминает возвращение к «игре с нулевой суммой». Во всяком случае, приоритет России — исключение крупных торговых и экономических войн с помощью переговоров и взаимодействия государства с бизнесом.

5

Можно с уверенностью сказать, что сама по себе демократическая идея прочно обосновалась не просто в лексиконе российских лидеров, но и в сознании большинства правящего слоя. Кажется, даже коммунисты в России перестают говорить о «восстановлении советской власти» и смещают акцент на критику того, что они не без оснований считают отступлениями от демократии в ходе выборов (например, отмена минимального порога явки избирателей).

Вместе с тем российская элита твердо придерживается взгляда о легитимности национально своеобразных моделей демократии и существовании одной из таких действующих моделей в России. Надо сказать, что политологи в США и странах ЕС в последние годы сделали в принципе давно необходимый шаг к признанию обоснованности такого взгляда. С теоретических позиций сегодня его продолжают полностью отвергать только «демоэкстремисты». В самом деле, практическая полезность тезиса о множественности путей к демократии и полифонии демократических моделей доказана историей.

Еще в начале 1990-х годов, например, страны Юго-Восточной Азии казались большинству западных аналитиков воплощением диктаторской власти. Лишь меньшинство ученых догадалось тогда применить к политическим системам стран АСЕАН термин «нелиберальные демократии»³. Теоретики-«демоэкстремисты» возмущались: никакой нелиберальной демократии не бывает. Прошло около 20 лет. Десять лет назад Ф. Закария выпустил свою известную книгу, главной «изюминкой» текста на обложке которой стало словосочетание «нелиберальные демократии»⁴. Сегодня уже никому в голову не приходит всерьез спорить с уместностью этого термина — реальность доказывает его точность и объяснительную силу.

Приверженность российских лидеров демократии несводима к их уверенности в ее либеральном или вполне либеральном характере. Но, опираясь на историческую традицию и учет национальной психологии, они, надо полагать, исходят из того, что в разных политических

культурах существуют неодинаковые представления об оптимальном соотношении индивидуальной свободы и долгом перед группой (родом, соседской общиной, корпорацией). Или между «конкурентным равенством» и «социальной справедливостью», личной инициативой и желанием полагаться на протекционизм государства, даже если его ценой на деле оказывается ограничение свободы (фактический выбор в пользу несвободы!).

Во всяком случае идеологический приоритет России — упрочение ее репутации как демократической страны при сохранении позиции относительно законности национальных моделей демократии. Соответственно, уместно ожидать стремления российской власти противодействовать любым попыткам «ввести монополию на трактовку демократии», присвоить себе право определять законность или незаконность национальных демократических моделей. Есть ощущение, что в мире эта позиция может встретить довольно широкое понимание. Вероятно, Соединенным Штатам придется маневрировать в этом вопросе с предельной осторожностью.

Внутри страны господствующей остается идеология российского надэтничного государственничества (*supra-ethnicstatism*) в его либеральной или даже либерально-консервативной версии (нелиберальные его версии представлены платформой ЛДПР). Ее смысл не только в том, что экономическая политика России останется, как и ныне, преимущественно либерально-рыночной, но и в том, что в социальных вопросах, образовательной и информационной политике власть будет строить схемы подачи материалов таким образом, чтобы можно было совместить интересы человека с интересами государства. Российский человек по-прежнему не может, да, кажется, и не очень хочет, организовать себя в общество. Попытки организовать его сверху (руками власти) или извне (посредством помощи из-за рубежа) тоже не удаются. Неписанный девиз правления В. Путина «Свобода не ценой распада», с готовностью принятый страной после «чудесного избавления от Ельцина», дополняется схожим и тоже понятным лозунгом «Свобода не ценой закона и порядка».

* * *

Формирование приоритетов внешней политики России в последние три–пять лет происходило при уменьшении учета интереса сближения с Западом. Причиной этому стал рост уверенности Москвы, что в Соединенных Штатах во многом исчерпал себя потенциал сотрудни-

чества с Россией. Упор на односторонние действия и глобальное превосходство, как полагали в Москве, девальвировал ценность сотрудничества с ней в понимании американского истеблишмента. В такой ситуации российские приоритеты стали в первую очередь фокусироваться на сугубо внутренних экономических и политических проблемах российского общества и поиске возможности найти вариант его поступательного развития в случае, если сотрудничество с Западом и далее продолжит деградировать. Этот поворот в отношении России к внешнему миру складывался в течение нескольких лет. Его, вероятно, нельзя считать необратимым. Но на возвращение к траектории сближения с Западом может потребоваться время.

Примечания

¹ *Медведев Д.* Россия, вперед! 10 сентября 2009. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/news/5413>.

² Тезисы выступления Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в МГИМО (У) МИД России, 1 сентября 2009 года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/2fee282eb6df40e643256999005e6e8c/5ab819a0990d110ec325762400464e6c?OpenDocument.

³ *Bell D., Brown D., Jayasuriya K.* Toward Illiberal Democracy in Pacific Asia. L.: MacMillan, 1995.

⁴ *Zakaria F.* The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. N.Y.; L.: W.W.Nortonand Company, 2003.

Глава 23

.....

Принуждение к партнерству в действиях США*

Много лет мировая система развивается фактически в отсутствие биполярности. Хотя теоретически потенциал взаимного ядерного сдерживания США и России в военно-силовой области сохраняется, его международно-политическое значение упало. *Во-первых*, потому что не-соизмеримо с «советскими временами» в Москве и Вашингтоне уменьшилась политическая воля применять ядерное оружие в большой войне. *Во-вторых*, оттого что такая война стала маловероятной. *В-третьих*, в результате возникновения за последние 30 лет широкого набора новых способов использования силы, которые позволяют технологически передовым державам добиваться практически необходимых политических целей с помощью силового инструментария доядерного уровня.

Изменение смысла войны

Появление высокоточного оружия, рывок в средствах космической разведки, выход на качественно новый уровень управления боевыми операциями, апробация зарядов с обедненным ураном и иных видов новейших вооружений значительно изменили характер войн. Планируемые и реально ведущиеся войны постядерной эпохи стали меньше по масштабу и сложнее в организации. Классические доядерная и ядерная войны мыслились главным образом как вооруженная борьба с целью разрушить потенциал противника к сопротивлению и принудить его принять твои условия.

Войны постядерной эпохи, начиная с нападения НАТО на тогда еще боровшуюся за целостность Югославию, стали, по сути дела, международно-политическими кампаниями в такой же мере, как военными. В основу обновленной стратегической логики легла идея не уничтожения враждебного государства, а победы над ним в целях последующего политического и экономического подчинения интересам победителя. Смысл войны сдвинулся от нанесения силового поражения противнику к его «переделке под заказ» нападавшего. В 2000-х и 2010-х годах

* Опубликовано в: Россия в глобальной политике. 2001. № 6.

политическая составляющая войн не просто стала вровень с военной, а в заметной степени начала перевешивать ее по крайней мере по размерам затрачиваемых для победы организационных, политико-идеологических, информационных, финансовых, экономических и иных невоенных ресурсов.

Собственно ударно-силовая часть войны начинает выступать не как ее кульминация, а как преамбула, за ней следует растянутый во времени, ресурсозатратный этап, в котором военные не в состоянии обеспечить победу собственными силами. В итоге, с одной стороны, в войны гораздо шире, чем в классические эпохи, оказываются вовлечены гражданские специалисты нетрадиционного профиля — эксперты по пиар-работе, религиоведы, политтехнологи, психологи, социологи, наконец, менеджеры-управленцы.

С другой стороны, возник запрос на военачальника нового типа — не просто талантливый стратега и тактика, но и администратора, способного в равной степени успешно выигрывать военные кампании и налаживать мирную жизнь в побежденной стране, а также обеспечивать переделку этой страны согласно политическому дизайн-проекту, который в начале кампании уже имеется у нападавшего. Идеал командующего сегодня — не боевой генерал типа Георгия Жукова или Александра Суворова, а скорее генерал-реформатор вроде Дугласа Маккартура, который не столько «победил» Японию, сколько скроил и утвердил основы ее новой политической системы в годы американской оккупации с 1945 по 1951 г. Этот тип сегодня воплощает генерал Дэвид Петреус, на которого поочередно возлагались миссии по замирению захваченного американцами Ирака, а потом — Афганистана.

Новый тип войны, как и новый тип командующего, — продукты изменившегося инструментального назначения боевых действий. В классические эпохи их целью чаще всего становился прямой контроль над тем или иным фрагментом земного пространства с его ресурсами. В нынешнем веке политическая цель нападения — не столько устранение врага, сколько приобретение партнера. Партнера, конечно, не равного, а младшего, ведомого, подчиненного, чувствительного к всестороннему влиянию более сильного участника такого партнерства.

Неравновесные и асимметричные партнерства, конечно, существовали и в прежние времена. Таковы союзнические отношения США со всеми странами НАТО, Японией, Южной Кореей, Австралией. Но эти партнерства складывались постепенно, на базе осознания общности проблем стран-партнеров в сфере безопасности. Причем строились они исключительно добровольно дипломатическим путем.

Новизна опыта XXI в. состоит в переходе Соединенных Штатов к формированию систем подобных партнерств через войну с помощью силы. Такого типа партнеров Вашингтон (и Брюссель?) намерены воспитать из Ирака, Афганистана и Ливии. Пока нет достаточного эмпирического материала для суждений о том, насколько эффективной окажется политика принуждения к партнерству. Но очевидно, что она начинает в возрастающей степени определять международную практику в той мере, как ее распространению способствует наиболее сильная держава — Соединенные Штаты.

Вряд ли случайно, что феномен принуждения к партнерству возник в последние 15 лет. Он не появился бы, если бы у относительно слабых стран была проблема выбора. Но сегодня международная среда такова, что государство, в силу каких-то причин привлекательное для Америки в роли «подчиненного партнера», имеет мало шансов уклониться от превращения в такового, не рискуя суверенитетом и безопасностью. Причина безальтернативности — гегемоническое положение США в мировом раскладе, и такое положение дел — непосредственный итог распада Советского Союза.

При биполярном порядке вербовать новых сателлитов приходилось осмотрительно, с оглядкой, дожидаясь особого стечения обстоятельств. Просто так захватить приглянувшуюся страну было опасно — та могла попросить поддержки у державы-конкурента, что было сопряжено с рисками. С распадом СССР риски исчезли. Часть бывших «братьев по социализму» бросилась союзничать с НАТО — это сулило экономические выгоды. На «переваривание» перебежчиков — включение их ресурсов в пул, открытый для использования Соединенными Штатами — ушло меньше 10 лет.

Потом выяснилось, что приобретенного путем добровольного пожертвования от новых партнеров оказалось недостаточно. Или качество ресурсов оказалось «не тем». Как бы то ни было, Евроатлантический регион со всем его потенциалом показался кому-то мал. НАТО заинтересовалось Азией. А поскольку среди азиатских стран идея радостного и добровольного перехода в ряды «ведомых американских партнеров» популярностью не пользовалась, то и понадобилась логика принуждения к партнерству.

Можно, конечно, ритуально порассуждать о «формирующейся многополярности», «многовекторности», группе БРИКС, Китае, наконец, о бесполюсной структуре мира. Интеллектуальные изыски. Игры разума. Остроумные наблюдения, а более всего — мечтательные или ностальгические гипотезы уважаемых и талантливых русских и иностранных коллег Эдуарда Баталова, Чарльза Капчана, Джона Айкенберри

и некоторых других. Дело не в теории и полюсах, а в том, какой тип международного поведения продолжает господствовать. А доминирует тип поведения американо-натовский — наступательный, идеологизированный, с позиции комплексного превосходства и редко допускающий компромиссы. Если структура мира и меняется (в принципе этот процесс идет), то на уровне поведения государств это пока не очень заметно. Игнорировать структурные сдвиги нельзя, но не стоит и переоценивать их реальное значение.

Конфликты: невозможность урегулирования

Падение военно-политической конкурентности международной среды привело к изменениям в сфере урегулирования вооруженных конфликтов, где теперь преобладает одностороннее начало. Почти все серьезные региональные конфликты эпохи биполярности были конфликтами на истощение, помимо непосредственных участников к ним оказывались прямо, а чаще косвенно, причастны несколько сильных и средних держав. Так было в Камбодже, на Юге Африки, в Центральной Америке или Афганистане на «советском» этапе войны. Соответственно, эти конфликты завершались довольно широким многосторонним урегулированием, которое в ряде случаев красиво именовалось «национальным примирением». За вычетом особого случая Афганистана, такие примирения в общем сработали удовлетворительно.

Сегодня ничего похожего не случается. Урегулирования как таковые практически не происходят. За 25 лет можно вспомнить, кажется, единственный случай более или менее жизнеспособного урегулирования на многосторонней основе — национальное примирение в Таджикистане. Случайно или, напротив, показательно, что участие Запада в нем было минимальным. Выходит, и оно не было в полном смысле слова «равновесным», т.е. выработанным при симметричном участии западных, прозападных и незападных сторон.

Значит, симметричные урегулирования вообще перестали работать в условиях отсутствия биполярности, а несимметричные работают не так, как прежде, в силу того, что в их основе не компромисс (баланс интересов), а подавление интересов менее сильной стороны интересами более сильной.

Вероятно, отсюда — заметный рост числа замороженных, но не урегулированных конфликтов — карабахского, приднестровского, югоосетинского, отчасти даже израильско-палестинского. Трудно признать дипломатически оптимальными или даже удовлетворительными решения по

косовскому, абхазскому, северокипрскому вопросам. Более сильные стороны навязывают свои решения, но не могут обеспечить им необходимую международно-политическую поддержку. Односторонний тип регулирования преобладает независимо от того, Запад или не Запад оказывается его движущей силой. Стороны используют разные обоснования своих действий, но модель их поведения одинаково бескомпромиссна.

Любопытно, что прочность таких урегулирований должна вызывать серьезные сомнения, но реальность свидетельствует об ином. Подобные бескомпромиссные и в известном смысле незавершенные, неполные урегулирования демонстрируют относительную долговечность. Их, по-видимому, уже можно принимать как непризнанную норму, новый работающий инвариант конфликтного управления в XXI в. Стоит ли в этом случае продолжать попытки втиснуть урегулирования подобных конфликтов в наши представления о том, «как все должно быть», если они сложились в биполярную эпоху и в этом смысле полностью не соответствуют современным реалиям?

При всей важности формально-правового оформления урегулирования в действительности важнее то, насколько эффективно может или не может обеспечивать мир и развитие решение, найденное эмпирическим путем, даже если его юридическое закрепление затруднено или невозможно — не в принципе, а в обозримой перспективе.

Отсутствие противовеса Западу в лице СССР привело к принципиальному изменению типа урегулирования международных конфликтов, сделав условия урегулирований менее сбалансированными, более односторонними, но тем не менее иногда довольно прочными. Не разумно ли признать объективный характер этого изменения и перестать тратить ресурсы на решение тех проблем, которые фактически уже прошли стадию «самоурегулирования» (как, скажем, в Кашмире) или были разрешены силой, с явным преобладанием интересов только одной из сторон, но достаточно глубоко и надежно (Босния и Герцеговина, Косово, Абхазия, Карабах).

Интригует еще один аспект современной конфликтности. Если все перечисленные ситуации начинались как местные свары без участия больших стран, то конфликты 2000-х годов возникли как прямое следствие нападения Соединенных Штатов на относительно слабые азиатские государства. Конфликты 1990-х годов выглядят результатом более или менее спонтанных выплесков взаимной неприязни или непонимания соседствующих этнических групп и народов. Войны 2000-х годов спланированы одной страной и кажутся подчиненными сквозной логике, исходящей из единого центра.

Их формальная идейно-политическая подоплека — демократизация с помощью силы. Реализуемая на наших глазах химера, по сравнению с которой меркнут марксистские догмы экспорта социалистической революции. Но идеология насильственной демократизации — прикрытие. Стратегический итог конфликтов выглядит как не вполне успешная попытка консолидации части международной периферии под эгидой США и на условиях ее превращения в зону преимущественно американского влияния. Отсутствие соперничества за влияние в этом поясе международно-политического пространства делает процесс такой консолидации полностью зависящим от воли и ресурсов Соединенных Штатов. В отсутствие Советского Союза ни Китай, ни Россия не могут и не стремятся помешать Вашингтону придать этому пространству наиболее выгодную ему конфигурацию.

Рыхлая, разреженная в конкурентном отношении международная среда провоцирует желание наиболее напористой части американского истеблишмента приобретать позиционные преимущества в материковой части Евразии с прицелом, по всей видимости, на возможное соперничество с Китаем. Урегулирование конфликтов с участием США не является урегулированием. Оно представляет собой силовое подавление очагов сопротивления экспансии военной ответственности НАТО на стратегически важные азиатские территории.

Причем вот уже 25 лет это подавление носит профилактический характер. Оно осуществляется с опережением, под предлогом необходимости демократизации мира и в любой точке планеты, если контроль над ней начинает казаться американскому истеблишменту необходимым для укрепления глобального превосходства, которое в отсутствие СССР Соединенные Штаты намерены сохранять как можно дольше.

Неслучайно в Вашингтоне с таким негодованием реагируют на строптивость Ирана — сильного и откровенного противника американизации Среднего Востока и северных фрагментов Южной Азии. Иран, не включенный в систему американских «подчиненных партнеров» и враждебный США, — брешь в том, что в перспективе может стать поясом дружественных Вашингтону государств от Северной Африки до Центральной Азии и границ с КНР.

Индия: модель партнерства на расстоянии

Россия после 1991 г. отступила по всем параметрам международной мощи и не достигла за 20 лет положения и статуса, которым обладал Советский Союз. Незападные страны выиграли от этой перемены не

меньше, чем Запад. Китай и Индия смогли реализовать преимущества, которые обрели в 1990-х годах, когда Соединенные Штаты, не встречая сопротивления Москвы и ввиду маргинализации ее влияния, стали уделять этим государствам нарочито много внимания, желая предотвратить их возвращение к блокированию с Москвой против Вашингтона.

Особенно контрастной (по сравнению с эпохой биполярности и неприсоединения) выглядела международная переориентация Индии. В этом случае, вероятно, произошло уникально удачное для Дели наложение историко-экономических и международно-политических обстоятельств. Насколько можно судить, объективный ход социально-экономического развития Индии привел ее в 1990-х годах к рубежу, когда для дальнейшего рывка стране был остро необходим приток передового технологического опыта, зарубежных инвестиций и общего прироста связей с наиболее развитыми государствами.

Советский Союз, даже если бы он сохранился, роста качества международных отношений Индии обеспечить бы не смог. Напротив, полувекковая (и обоснованная военно-политической обстановкой) ориентация «скорее на Москву, чем на Вашингтон» была препятствием для «переброса внимания» Дели на связи с Западом. Разрушение СССР устранило это препятствие разом и совершенно безболезненно для Индии.

Примерно к этому же времени стало очевидным «истощение наследия» традиционного гандизма. Внутри страны сложилась двухполюсная политическая система. К руководству Индийского национального конгресса пришли новые люди, которые избегали разрыва с идейными ценностями Неру–Ганди, но обладали способностью подвергнуть их переосмыслению, избежав обвинений в ревизионизме. Новые политики отдавали должное важности сотрудничества с Москвой, но понимали, что не с его развитием связаны приоритеты страны.

Индия успешно включилась в экономическую глобализацию. Благодаря аутсорсингу индийские наукоемкие предприятия стали работать на американские корпорации, обогащая себя, принося доходы заокеанским корпорациям и наращивая индийский производственно-технологический потенциал. Сложилась экономико-производственная база индийско-американского сближения, так сказать, его материальная основа, «плоть» на «костях» возникшего политического интереса Дели и Вашингтона друг к другу.

Вопреки собственной воле Индии «помог» и Пакистан. Подточенный внутренней борьбой между военными и гражданскими элитами, противостоянием центральной власти с племенным национализмом и сепаратизмом, наконец, борьбой светской власти с исламскими экс-

тремистами Пакистан в 1990-х и 2000-х годах перестал быть оплотом американской политики в Южной Азии.

Хуже того, обретение им в 1998 г. ядерного оружия в сочетании с внутренней нестабильностью создало угрозу «исламской бомбы» — опасность, которая способствовала сближению США с Индией и не только с ней. Индийская дипломатия смогла перехватить у Пакистана роль привилегированного партнера Соединенных Штатов в региональных делах. Вашингтон занял благоприятную для Индии позицию по поводу ее «незаконного ядерного статуса» и признал особенности позиций Дели по ряду международных вопросов. Сложилась нетипичная для биполярной эпохи ситуация американо-индийского партнерства, которое в основном заменило собой традиционную схему американо-пакистанского союза.

Пакистан не просто утратил прежде главенствующее положение в системе американских приоритетов в Южной Азии. В Америке стали разрабатываться сценарии, при которых Пакистан в результате внутренних катаклизмов (захват власти религиозными фанатиками) мог оказаться гипотетическим противником американской политики в регионе. Как бы то ни было, Индия оказалась привилегированным региональным партнером США — это было внове.

Но непривычно и другое. Индия не производит впечатления младшего партнера Вашингтона. Между тем хорошо известно, что равных партнерств американская внешнеполитическая традиция не признает. Это одна из главных причин того, что вот уже 25 лет не удается выстроить систему партнерства Соединенных Штатов с Россией. Поэтому и партнерство Дели с Вашингтоном — довольно специфический феномен, в котором элемент партнерских отношений уравновешен элементами самостоятельности Индии. Ощущая и признавая возросшую привязанность к американской экономике и политике, Индия не позволяет своей внешней политике «раствориться» в американской, стать ее очередной регионально-страновой эманацией — подобно внешней политике Великобритании, Японии или Польши.

С точки зрения американской традиции в той мере, в которой Индия сохраняет свою внешнеполитическую самостоятельность в отношениях с США, американо-индийское сотрудничество и партнерством-то считаться не может. Разве что отношения Вашингтона и Дели представляют собой новый для Соединенных Штатов тип «партнерства на расстоянии», «отстраненного партнерства», т.е. не особенно тесного.

Любопытно, что Индии в отношениях с Америкой отчасти удается то, что не удается России. Правда, специфика партнерства Дели с Вашингтоном состоит в том, что Индия пока больше приобретает

от него, чем теряет. В этом состоит его отличие от квазипартнерских отношений Соединенных Штатов с Россией, в которых Москва при каждой попытке сблизиться с Вашингтоном теряет часть свободы действий — прежде почти безграничной. Индия, никогда подобной свободы действий не имевшая, не ощущает и ее ограничения, развивая сотрудничество с Вашингтоном, тем более что индийско-американские расхождения по пакистанской проблеме временно потеряли значение.

«Отстраненное партнерство» позволяет Индии сохранять конструктивные отношения с Вашингтоном и одновременно, не затрудняя себя самооправданием, участвовать во встречах БРИКС. Распад биполярности и обесмысливание неприсоединения не помешали Индии использовать новые характеристики глобальной ситуации себе во благо. Вряд ли индийцы ностальгируют по СССР, хотя, возможно, они ему признательны — не только за исторические заслуги в деле укрепления независимости Индии, но и за объективное расширение пространства международного маневрирования, которое для них открылось.

«Стратегическое партнерство» по-китайски

Китай — другая история. В отличие и от России, и от Индии он не провозглашает стремления строить особенно близкие отношения с Вашингтоном. В Пекине слишком высоко ценят свободу рук. Для Соединенных Штатов партнерство — это своего рода режим американского покровительства для кого-то, кто таковое (по любым причинам) принимает. Партнерство по-китайски — это «партнерство символов и дальних целей»: «мы дружим против некоей опасности», но каждый из нас дружит так, как считает это правильным и необходимым — лишь бы его действия не противоречили провозглашенной цели дружбы. Оригинальный, но работающий вариант.

Такой была логика китайско-американского и китайско-японского партнерства против «гегемонии одной державы» (читай — СССР) с 1972 г. приблизительно до XII съезда КПК в 1982 г. Много иногда пугающих намеков и заявлений, демонстративное, почти бурное дипломатическое маневрирование и... практически нулевой уровень реальных совместных действий.

В 1990-х годах и позднее изменилась риторика. Но логика, похоже, сохранилась. Это китайская дипломатия внедрила в международный лексикон словосочетание «стратегическое партнерство». Но ни один специалист в КНР, России или США не знает, что это в действительности означает. Известно только, что такими «партнерствами» Пекин

связал себя с широким кругом стран — больших и средних. Среди них — Соединенные Штаты и Россия, государства Центральной Азии, Япония и Южная Корея, некоторые страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии.

Такое мудреное отношение к партнерству позволяет Пекину без всяких идейно-теоретических и политико-философских осложнений прагматично развивать отношения одновременно с Россией, Америкой, Индией — державами, в международных приоритетах которых бывает трудно найти общий знаменатель. Китайская дипломатия и не отягощает себя его поиском. Сотрудничество КНР с каждой из названных стран развивается, словно в параллельных мирах. Если предстоит ссориться по вопросу о Сирии в Совете Безопасности ООН, то приоритет — дипломатический блок с Москвой. Если обсуждаются торговые преференции и режимы инвестиций в Восточной Азии, главное — взаимодействие с США и Японией. Если наступает очередной цикл ссор вокруг Тайваня — снова выдвигается незыблемость «единых» подходов Москвы и Пекина к территориальной целостности государств. Получается, «стратегическое партнерство» — это в основном взаимное решение «дружить долго и счастливо», не отягощая друг друга обязательствами об оказании практической помощи, но говоря о такой помощи и обещая ее оказать по возможности, если она не будет слишком затратной.

Трудно сказать, временным или принципиальным является такое отношение КНР к партнерству. Нередко кажется, что на самом деле Китаю очень симпатично американское понимание партнерства как партнерства ведущего с ведомым. Просто пока Китай еще не готов вести за собой слишком многих. В Пекине раньше, чем в Москве, признали: ведомые партнеры — бремя, которое должен нести тот, кто претендует на роль ведущего — к вопросу об отношениях России с соседями по СНГ.

«Школа Дэн Сяопина» научила китайцев соизмерять желания с возможностями. Поэтому для Китая вероятное освоение американского понимания партнерства — вопрос будущего. Пока китайская дипломатия действует на платформе необременительного «партнерства при желании и по возможности». Его и называют стратегическим. Словом, партнерство как ненападение.

Отношение Китая к нынешней России тесно переплетено с его отношением к советскому наследию. Не Россию, а скорее себя самого Китай видит восприимчивом той международной роли, которую 20 лет назад играл Советский Союз. Складывается впечатление, что в КНР испытывают даже некоторое чувство неловкости за русских политиков и просто граждан, которые недооценивают советские достижения,

успехи культурного строительства и социального обустройства жизни в СССР — во всяком случае в период 1950–1980-х годов.

Отсюда — многослойное восприятие современной России. *С одной стороны*, законная владелица исторического наследия, ценность которого сама не хочет и не может оценить должным образом. *С другой* — государство, которому в очередной раз не удается стать сильным настолько, чтобы проводить политику, достойную великой державы. Как, например, сохранить такую же степень независимости в международных делах, как у Китая, и одновременно быть столь же привлекательным экономическим партнером, как он, для стран, которые относятся к России с недоверием — прежде всего США?

С третьей — это страна, хоть и уважаемая, но доступная — объект использования в интересах возвышения самого Китая, который может, хочет и находит пути мирного освоения ресурсов России, не вступая с ней в открытое противоречие, но принимая во внимание все пороки российского государственного организма и общества. Вроде бы китайцам неловко так поступать, но если сами русские от эгоизма и алчности не могут навести порядок в своих делах, то почему надо упускать шанс воспользоваться системными пороками русской жизни ради своей страны. Горькие мысли — о нас, а не о китайцах.

Россия: власть как инструмент извлечения прибыли

Во-первых, и прежде всего, сократился внешнеполитический ресурс России, который до сегодняшнего дня не достиг того, которым располагал СССР. Во-первых, не компенсирована материальная основа дипломатической работы. Ни одно новое российское посольство в странах СНГ не оснащено так, как полагалось оснащать советское представительство за рубежом в техническом отношении и с точки зрения обеспечения комплексной безопасности, включая защиту информации. Между тем во всех странах СНГ спецслужбы широкого круга заинтересованных стран-конкурентов ведут активную разведывательную деятельность.

Во-вторых, сократился организационный ресурс российской дипломатии. 25 лет происходило вымывание с дипломатической службы кадров высшей квалификации за счет естественного старения, перехода в российский и иностранный бизнес или просто «утечки за рубеж». При этом привлекательность дипломатической работы для молодых упала ввиду недостаточного по современным критериям денежного обеспечения и невозможности получить жилье, чтобы обзавестись се-

мьей и включиться в нормальный цикл биологического воспроизводства дипломатических кадров — во многом потомственных.

В итоге в целом уровень профессионализма дипломатов перестает расти, а многие уникальные квалификации дипломатических работников старой советской школы — прежде всего профессионалов-переговорщиков экономического и военно-политического профилей — оказались утерянными или находятся на грани утраты. При этом самостоятельное экономико-переговорное направление в работе официальной дипломатии не складывается из-за его малой востребованности: компании пытаются вести переговоры с зарубежными партнерами самостоятельно, а часто — скрывая эти переговоры от дипломатов в силу того, что содержание обсуждаемых сделок бывает «теневым» и «полутеневым».

В-третьих, невосполнимый ущерб понес ресурс культурно-психологического и идеологического влияния России, поскольку представлять образец жизненной привлекательности сегодня она в состоянии разве что для стран СНГ и ряда азиатских государств. При этом изменения в культурно-психологическом образе России, делающие ее комфортной для выходцев из Азии, снижают привлекательность российского образа жизни для носителей западных вкусов и стандартов.

Вспомним нескончаемые ряды ресторанов не русской, а кавказской кухни, азиатско-кавказские по виду, порядкам, обхождению и ассортименту товаров бывшие городские рынки Москвы и Санкт-Петербурга, наполовину азиатский облик пассажиров столичных метро и связанные с таким составом жителей разговорная и иная манеры общения. «Азиатизация» и «провинциализация» поведения затронула даже более образованную студенческую среду. Вместо того чтобы учить приезжих, например, кавказских соучеников (провинциалов, тяготеющим к полусельскому укладу жизни) хорошим столичным манерам, русские студенты сами перенимают у кавказцев их фамильярный «свойско-аульный» тип общения, пренебрежение к правилам городских приличий и культурного обхождения.

Поведение таксистов-частников и автолюбителей на российских дорогах — просто канон традиционной для советских лет «езды без правил» на дорогах Закавказья. Сегодня этот стандарт перенесен в столицу. Рассорившись с Грузией, мы делаем свою столицу похожей на «о-о-чень большой» Тифлис, Владикавказ или Баку. Юрий Лужков, тогдашний мэр Москвы, заложил коррупционно-бюрократическую основу московского процветания. Но он же дал старт азиатизации Москвы. Город, привлекательный для тех, кто алчен и беден, не ценит

европейскую культуру и не собирается соблюдать закон. Как сломать этот низводящий нас тренд?

В-четвертых, трем правителям не удалось снять Россию с нефтегазовой иглы. Лишь к началу 2010-х годов были сформулированы приоритеты поворота к наукоемкой экономике и сделаны неуверенные шаги, формально ориентированные в ее сторону. Государство снова сосредоточило в своих руках гигантскую власть и вернуло способность обеспечивать концентрацию средств на приоритетных направлениях. Но эффективность усилий по созданию наукоемкого сектора заблокирована системой распределения бюджетных средств на основе «распила». Власть, по сути дела, не может ее разрушить в силу органичной встроенности этой системы в государственную машину.

Провинции после распада СССР вернулись к системе «кормления», мало изменившейся с русского средневековья. Лишившись надежд обогащаться за счет лояльности к федеральной власти, региональные элиты обратились к поиску доходов на местах. Для тех, кто обладал предприимчивостью, это было решением проблемы. Умение находить местные доходы, скрывая их от федерального и регионального налогообложения, стало ключом к богатству и власти. Провинции и провинциальные элиты научились жить и выживать без Москвы — беднее, чем в столицах, но не так уж плохо.

В сущности, они лишь повторяли опыт московского мэра, который тоже сумел отделить столичную городскую экономику от экономики общероссийской, отыскав такие источники местных доходов, которые в реальном измерении превосходили бюджеты многих федеральных ведомств.

В международном смысле особый интерес представляли практики общения региональных властей, включая столичные, с этнобизнесом — чужестранным, но не только с таким. Большинство руководителей русских провинций считают себя патриотами. Русские лозунги вне этноадминистративных субъектов Федерации котируются высоко. Но все меняется, едва возникает соблазн обрести местный неучтенный доход. Например, от продуктового рынка, которым верховодят азербайджанцы, вещевого барахолки, подконтрольной вьетнамцам, или от нелегально поселившейся в заброшенной деревеньке китайской общины, которая завалила местный рынок отличной овощной продукцией, оставаясь при этом «условно невидимой» для налоговых органов.

Не в этой ли укорененности практики местных «невидимых доходов» муниципальных властей, полиции и фискальных структур — источник разговоров о мирной и официально не улавливаемой «ко-

лонизации» чужеземными сообществами сельских и городских пространств российских регионов? Разрушение СССР замышлялось как освобождение России от «наднационального экономического ига». На деле оно открыло путь к установлению экономической власти, как никогда далекой от идей национального процветания России.

Сомнительно, чтобы чуженациональный бизнес работал на увеличение ресурса национальной внешней политики Российского государства. Не верится, что власть не замечает этой проблемы. Просто система обогащения элит после 1991 г. оказалась завязана на извлечении доходов в союзе с любым бизнесом. Патриотические задачи при этом роли не играют. Власть стала инструментом получения прибыли — в этом специфика российской политической системы и один из ее системных пороков.

* * *

С точки зрения российского национального сознания главным итогом распада СССР было сокращение внешнеполитического потенциала и ослабление международных позиций России. С учетом развития российской политической системы по порочному кругу считать это ослабление обратимым нет оснований. Сопряженный с исчезновением Советского Союза распад биполярной структуры придал мировой архитектуре неравносильный характер, не способствуя при этом гармонизации международных отношений. Попытка США воспользоваться историческим шансом и закрепить в мире однополярную структуру, «спроектированную» под Соединенные Штаты, тоже не реализовалась. Отчасти в результате ресурсозатратной внешней политики Вашингтона, отчасти вследствие объективных причин — перерастания сложности мирохозяйственных, культурно-идеологических, миграционно-демографических и политических процессов того уровня, в пределах которого их вообще можно регулировать ресурсами и волей одной державы, даже такой мощной, как США. В мире должны сосуществовать альтернативы. Предложить их не может ни одна из других серьезных держав.

Глава 24

.....

Политика ведущих держав в Центральной Евразии*

Вхождение в НАТО новых восточных членов способствовало постепенному формированию на их основе своего рода «резервного» центра влияния внутри Евросоюза, который стал претендовать на роль посредника в отношениях между «старой единой Европой» и Россией. На роль ключевого игрока «новоевропейской группы» активнее других заявила Польша, устремления которой, однако, натолкнулись одновременно на три препятствия: скептицизм Москвы в отношении «естественных прав» Варшавы выступать подобным медиатором, продолжающие «искрить» отношения между Россией и Прибалтикой, неустойчивые и противоречивые тенденции развития внутривосточной ситуации в Беларуси, Молдове и на Украине.

1

Глобальным фоном ситуации является новая волна интереса США к ситуации в Центральной Евразии, в том числе в поясе ближнего окружения Российской Федерации. Четыре базовых обстоятельства определяют состояние международной ситуации, в которой сегодня разворачивается скрытая и явная конкуренция между Россией и Западом в поясе ее внешнего пограничного периметра.

Во-первых, в начале 2014 г. случилась *тупиковая ситуация* в отношениях России с Украиной. С одной стороны, Крым, воспользовавшись ситуацией в Киеве, провел на своей территории голосование о выходе из состава Украины. Почти сразу последовало прошение о вступлении его в Россию, которое было принято. С другой — две области, Донецкая и Луганская в Восточной Украине, оказали военный отпор киевским войскам и удерживают свою территорию свободной от центральных украинских войск. Ситуация вывала удивление и реакцию Запада, что серьезно осложнило ситуацию.

Во-вторых, происходит «повторное» освоение пространственных ресурсов южных и юго-восточных регионов российского «подбрюшья»

* Опубликовано в: *Международная жизнь*. 2005. № 3-4. С. 128–138.

от Кавказа до Алтая. Это освоение происходит на новом технологическом уровне и при существенно новом соотношении сил и возможностей участвующих в нем государств. При этом фактически впервые с конца XIX в. это освоение является остроконкурентным: за влияние с Россией начинают бороться Китай, США, страны Евросоюза, а также (в меньшей мере) некоторые исламские государства, не принадлежащие к Кавказско-Центральноазиатскому поясу.

В-третьих, глобальный контекст обозначенной конкуренции определяется резким концептуальным сдвигом в политико-стратегической мысли США и практике американской внешней политики. В принципе, американские политики всегда уделяли огромное внимание прочности своих позиций во всей Евразии. Однако на деле умы американцев занимало почти исключительно приобретение опорных точек в ее прибрежно-островной зоне. Лишь *в начале XXI в. стала отчетливо видна уже устойчивая тенденция сдвига «эпицентра» американской политико-стратегической активности к глубинным материковым частям Евразийского континента*, что означает для американской внешней политики окончание двухсотлетнего периода ориентации на освоение Евразии «с моря» — военно-политической стратегии, перехваченной и перенятой Соединенными Штатами у Великобритании.

В-четвертых, конкуренция за ресурс материковой Евразии при всех тревогах, которые с ней связывают, носит мирный характер в том смысле, что незаметно пока признаков возможного силового столкновения наиболее мощных ее участников друг с другом. «Нерв момента», однако, состоит в том, что *ни одна из сильных держав не только сама не уверена в устойчивости этой мирной конкуренции, но, возможно, сознательно не позволяет обрести подобную уверенность никому из соперников*. В итоге на фоне отсутствия конфликта вдоль южных и юго-восточных границ России сформировалась зона мощной потенциальной напряженности со всеми ее последствиями для национальной безопасности нашей страны.

В такой ситуации Запад, применяя тактику «проб и ошибок», систематически испытывает Россию на прочность ее позиций в зоне ближнего периметра ее границ. Задача состоит в выявлении подлинных намерений Москвы в этой части мира, степени и характера ее опасений в связи с активностью США и стран Евросоюза и, самое главное, возможных и вероятных реакций России на ожидаемые попытки США закрепить свое присутствие в непосредственной близости от южных и юго-восточных границ нашей страны. Магистральная линия политики США и государств ЕС может быть определена как «стратегия откусывания» фрагментов бывшей территории Советского Союза, которые

в России и на Западе по-прежнему считаются своего рода естественными сферами российского влияния и в известном смысле таковыми и являются. Неудивительно, что в России сгущается атмосфера подозрительности по отношению к целям Запада, а на Западе — настороженности по поводу того, «насколько еще хватит терпения у Путина». Поэтому в западных СМИ постоянно присутствует образ «взрыва, который может произойти в любую минуту» в российско-американских отношениях. Конечно, публики, которая такого «взрыва» с нетерпением ожидает, и в России, и за ее рубежами немало.

Современная ситуация предстает в еще более интригующем виде, если обратить внимание на ту активность, которую разворачивает в самой России и вокруг нее зарубежный бизнес топливно-энергетической сферы. Перестают казаться химерами планы экспорта нефти и газа из России в США. «На горе прибалтам» американские специалисты серьезно обдумывают варианты импорта морским путем по Баренцеву морю жидкого топлива с северных российских месторождений. Менее известны весьма перспективные, по оценкам аналитиков, планы поставок в США сжиженного газа с шельфовых месторождений Баренцева моря, разработка которых может стать возможной на основе сотрудничества России с Норвегией, фирмы которой располагают подходящей технологией и опытом.

Но самыми волнующими проектами энергетической сферы являются те, которые связаны с энергоресурсами Кавказско-Центрально-азиатско-Сибирского пояса. Интересные, разумеется, и сами по себе планы разработки его ресурсов позволяют совершенно по-новому увидеть перспективу, к которой читатель уже начинает привыкать, — тенденцию к азиатизации НАТО. В самом деле, до сих пор инициатором азиатизации выступали США. Европейские страны Альянса воспринимали ее довольно скептически, во многом оттого, что не хотели платить больше, т.е. тратить свои деньги на обеспечение безопасности тех регионов мира, в которых Соединенные Штаты вели себя активно сегодня, а европейцы предполагали развернуть активность в лучшем случае «завтра». Иными словами, азиатизация предстояла в глазах европейцев «планово убыточным», «нетто-затратным» проектом с неопределенными результатами. *«Фактор нефти» задает новое измерение процессу азиатизации НАТО: лишь торговля энергоресурсами может сделать этот проект потенциально рентабельным в конкретном, финансово-экономическом отношении.* Таким образом, у западноевропейцев появляется стимул поддержать тенденцию, которой до сих пор они, как правило, предпочитали скрытно сопротивляться.

Только зачем это России? Давление США на центры азиатского терроризма отвечает российским интересам. Но американское присутствие в Афганистане фактически стало способствовать росту производства наркотиков и их переброске в Россию, что создало новую опасность для ее национальной безопасности. Но это только часть вопроса.

Сомнения вызывает смысл самого американского военного присутствия в Центральной Азии. Его формальным обоснованием по-прежнему считается все менее убедительная цель противостояния международному терроризму. Одновременно американские аналитики склонны писать, что цель Вашингтона — создать стабильную региональную среду для развития сотрудничества с местными странами в разработке энергоресурсов Каспия. Эти объяснения неложны, но они и неполны.

Трудно не видеть, например, что американские опорные пункты в Кыргызстане и Узбекистане гораздо ближе к Китаю и Пакистану, чем к Каспийскому региону. Вот почему они наводят на мысль о расчетах США создать некое подобие, своего рода контур инфраструктуры, способной соответствовать интересам воздействия на Китай, с одной стороны, и при необходимости защищать ядерное оружие Пакистана от пакистано-афганских исламских экстремистов, которые давно пытаются это оружие захватить, — с другой.

Да и это не все. Американские базы в Центральной Азии, по сути, ничуть не дальше отстоят от нефтяных и газовых ресурсов Каспия, чем от российских месторождений Тюмени и Ханты-Мансийского округа. А Казахстан в таком раскладе волей или неволей оказался самым настоящим буфером между Россией и США, если рассуждать в духе международной политики прошлых веков. Сможет ли нефтегазовый интерес сблизить Россию с Западом, или он снова будет толкать стороны к противостоянию?

2

Несколько ключевых обстоятельств определяют международную среду, в которой США затеяли новый тур реформы структуры обеспечения стабильности в Старом Свете. Прежде всего, американские политики на фоне ближневосточных тенденций стали негласно признавать фундаментальный характер противоречий США с арабо-мусульманским миром и испугались зависимости от него. Кроме того, приоритеты экономической безопасности Соединенных Штатов стали сдвигаться в направлении переключения части энергопотребления на поставки из глубинных районов Евразии — Закаспийского региона и России. Вдо-

бавок выросло влияние России на мировую энергетическую ситуацию, что произошло одновременно с консолидацией российского политического слоя вокруг президента В. Путина и переходом России к проведению более активной внешней и оборонной политики. Наконец, из американских представлений о реальных угрозах для безопасности США продолжилось вытеснение мнений о возможности конфликтов в Центральном и Восточно-Европейском регионах.

Американцам стала очевидна недостаточность придуманной еще в 1993 г. стратегии «расширения демократии». Благодаря этой политике на месте бывшего социалистического блока возникло пространство «новых демократий» — от Венгрии и Чехии на западе до России и Казахстана на востоке. Оно состоит из четырех «слоев» — *вполне демократические страны*, *полудемократические* (государства Прибалтики, Россия, «очень автономная демократическая» Украина), режимы «*демократической ориентации*» (Грузия, Казахстан, Кыргызстан) и *анклавы «остаточной» авторитарности* (Туркменистан, Беларусь, Узбекистан, Азербайджан). Соединенные Штаты Америки и Европейский союз многого добились в освоении этого пространства. Ни одна из «новодемократических» стран, за вычетом Беларуси, не противостоит Западу, почти все повторяют о стремлении сблизиться с ним. Но все же ориентация на США и Евросоюз — не абсолютна. Таковой она оказалась лишь для государств приграничного пояса бывшего СССР да прибалтийских республик.

Украина ведет себя осторожнее, по крайней мере формально заявляя, что стремление к дружбе с США и ЕС приоритетно по отношению ко всему. Принимать подобные «сладости» на веру не приходится. Но хоть то благо, что новые украинские лидеры не считают нужным умерять прозападные устремления до разумного уровня с учетом важности соседства с Россией и меры экономической зависимости от нее Украины. Подобным же образом (но не так успешно) лавируют Грузия, Армения, Азербайджан. Еще больше склонны подчеркивать многообразие своих международных ориентиров страны Центральной Азии, которые рядом с Россией упоминают Китай. О многовекторности внешней политики говорят и в самой Москве. Хотя фактически отношения с США (и Евросоюзом) играют для России определяющую роль, недооценить значение «китайского приоритета» нет оснований.

Теоретически многовекторность ориентации существовала для стран Центральной Евразии всегда. Но пока Россия задыхалась в экономическом кризисе, сотрясалась от угроз повсеместного сепаратизма и схваток между левыми и правыми, всерьез «российский фактор»

никто не принимал. В принципе «возвращения России» ожидали. Не думали, что это случится сегодня и благодаря нефти: именно нефтяной фактор позволяет России реализовать преимущества уникального положения «ядерной нефтяной» державы, второй военной державы мира и второго в мире производителя «черного золота».

Эти сдвиги происходят в момент, неблагоприятный для американской администрации: войну в Ираке республиканцы вели неудачно, и на внутривнутриполитическом фронте Демократическая партия стремится предоставить действия команды Буша в самом мрачном свете. Казалось бы, не время американскому президенту размышлять о перспективах глобальной стратегии. Передислокация американских баз и вооруженных сил за рубежом — это второй (после демократизации Восточной Европы и расширения НАТО на Восток) этап грандиозной реконструкции системы американского политико-стратегического присутствия в Евразии, производимой с учетом растущей мощи Китая, завершения процесса ослабления России и, возможно, превращения периодически обостряющегося «американо-исламского» противостояния в устойчивый фактор международной жизни.

При этом в американской стратегии появился важный новый элемент. Она перестает быть антироссийской в традиционном смысле — теряет непосредственную направленность против российских интересов. За минувшие 25 лет, несмотря на противоречия, взаимные раздражения, Россия и США не продвинулись к построению основ партнерства. Американская элита стала рассматривать отношения с Москвой в контексте рецидивов конфронтации с ней, хотя возможности сотрудничать с Россией не игнорируются — правда, на условиях, выгодных Вашингтону. Намерение США закрепиться в поясе Украина—Грузия—Узбекистан—Таджикистан—Кыргызстан представляется не просто актом вытеснения России из зоны ее традиционного влияния, а первым элементом изоширенной двуединой стратегии, второй неотъемлемой частью которой является бесконфликтная (но не беспроблемная) интеграция России в систему нарождающихся интересов США в этой части мира.

Обе главные части американской элиты настроены на партнерство с Москвой. Этот настрой основан на расчете использовать в американских интересах позиционные и иные преимущества России в регионе Центральной Евразии, который США стали считать для себя ключевым. Вашингтон действует, сочетая давление с приглашением к сотрудничеству — англосаксонская «этика торга». Поэтому торговаться надо хладнокровно и упорно.

3

Вопреки прогнозам отношения России и США не ухудшились. Американский президент обнаружил иммунитет к попыткам общественности и советников повлиять на него в «русском вопросе». Ошиблись все: и тайно желавшие «столкнуть» Вашингтон с Москвой евролибералы, и заждавшиеся новых «денег на революции» оппозиционеры в странах СНГ, и часть обиженной на Путина российской публики, которой хочется «наказать» российского президента руками американского. Обманутые не скрывали разочарование, но он явно не переживал по их поводу. Думаю, роль «усмирителя авторитаризма» в России показалась американскому владыке мелковатой.

Саммит президентов России и США в Братиславе, прошедший в нужное время, обычным саммитом не являлся. Это был просто «плановый дипломатический зондаж», который полагается проводить главе американского государства после выборов. Но поскольку всем хотелось сенсации, то придумали сценарий «неминуемой российско-американской ссоры». В его составлении американцы, конечно, принимали участие. Но инициатива шла не от них, а из самой России и объединенной Европы. Российские либералы хотели пострадать Кремль: мол, придет строгий американский дядька и... Евросоюзовцы были расчетливей: им давно хотелось замирился с Вашингтоном, а нет прочнее дружбы, чем дружба против кого-то конкретного — авторитаризма в России.

В Вашингтоне игру Старого Света понимали. Но и Соединенным Штатам было выгодно сыграть в «гармонию трансатлантического единения» на почве приверженности демократии. После взаимного раздражения поговорить о том, что объединяет, — приятно и очень полезно. Таким был смысл американских речей в Брюсселе — вполне взвешенных.

Дело не в том, что состояние отношений просигналило: Россия — часть Европы. Важнее было показать отличие американского мировосприятия и от евросоюзовского, и от российского. В Москве и Брюсселе на европейские дела смотрят сквозь призму представлений прошлого или даже позапрошлого века. И западным, и восточным европейцам волнуют кровь образы «разделенных европейских пространств», которые ссорятся между собой, капризничают, мелочатся и конкурируют. Евросоюз хочет, да не может вобрать в себя ресурсы «восточных территорий» не то что от Атлантики до Урала, но и к востоку от него. Не желая спешить ему навстречу, Россия силится сплотить вокруг себя собственное «интеграционное ядро», но силенок не хватает и у нее. «Перетягивание канатов» — последняя надежда ближних европейских и полувосточных

пейских соседей России — от Эстонии до Грузии, — которые кажутся себе тем важнее, чем противоречивее отношения России с Евросоюзом.

Американцам европейское пространство давно видится не таким. Для них оно сильно «сжалось» — сообразно тому, как расширились, развернулись американские виды через Атлантику на весь Старый Свет, а не только его кукольно-музейный европейский кусочек. Прежде европейские столицы были «приграничными городами» противостояния с СССР. Сегодня Брюссель — «столица всего Евросоюза» — промежуточная остановка на магистрали к энергоресурсам материковой Евразии. И Евросоюз, и Россия одинаково — или одинаково мало — интересуют Соединенные Штаты сами по себе. Их интересует *Большое европейское пространство*, а оно должно быть стабильным, не сильным, но и не слишком слабым, а главное — открытым и проницаемым для американского влияния.

Если ЕС станет всерьез ссориться с Россией, это пространство может «расколоться», а это перестало устраивать США. Американцы не хотят «крепкой дружбы» ЕС с Россией, но они и не хотят конфликта между ними. Статус-кво Вашингтон, в принципе, устраивает — особенно когда нет полной ясности в темпах, условиях и точных направлениях переориентации НАТО на Евразию. А если так, то зачем, собственно, Бушу без крайней надобности «влезать» в российско-европейские взаимные неудовольствия или тем более нескончаемые перемалывания взаимных обид в СНГ.

Никто не изменил «делу демократии» и не отказался от возможности критиковать изъяны политической системы России и *циклический откат* от той меры свободы (но и вседозволенности для преступников, хищников, сепаратистов), которая существовала в 1990-х годах. Стоит быть готовым к тому, что американцы могут вынуть шпагу «борьбы за демократизацию» России в любой момент.

Приверженность демократов и республиканцев демократии органична. Но она замешана на политическом прагматизме и идеологии национального интереса Соединенных Штатов. А эти интересы заставляют американцев думать о ядерной программе Ирана, атомных амбициях Северной Кореи, борьбе с транснациональной сетью террористов и их пособников. В ряду таких проблем вопрос о назначении или избрании губернаторов в России вряд ли кажется в Вашингтоне таким же важным, как согласие Путина реально подействовать в решении тех военно-политических вопросов, которые волнуют в первую очередь.

И все же *собственно демократическая составляющая* была. Информационная волна на тему демократии в России и других странах СНГ

объективно стала сигналом-предупреждением политикам Центральной Евразии: их власть должна быть конечна, и президентам полагается вовремя меняться в соответствии с законом.

«Стратегия игнорирования» бывшей Восточной Европы и Прибалтики была не лучшим, но не самым плохим вариантом политики. *Во-первых*, Россия предпочитала вести дела с Большой (точнее, с Дальней, т.е. Западной и Западно-Центральной) Европой через голову Европы Малой. Все позитивное за 25 лет на европейском направлении было достигнуто благодаря двусторонним диалогам России с Германией, Францией и Италией.

Во-вторых, Москва старалась игнорировать стремление прибалтийских государств, а в меньшей степени — Польши и Румынии использовать «антироссийский фактор» в своей внутренней и внешней политике. Отечественные либералы призывали нас к спокойствию: соседи *временно* вынуждены так поступать, для них нагнетание антироссийских настроений — средство сплочения наций и инструмент формирования «новых идентичностей». Грустно и комично: Россия фактом своего существования помогала не любившим ее соседям становиться «нормальными странами».

Как бы то ни было, за два десятилетия в Москве не было ни одной существенной попытки организовать кампанию пропаганды против бывших союзников по ОВД или стран Прибалтики, за исключением вопиющих случаев официальной дискриминации русского населения последними.

Ближние соседи терпение России не оценили. Жалуясь и раздражаясь, они называли попытки игнорировать их ежедневные мелкие и немелкие выпады «высокомерием Москвы». 25 лет повторялся один и тот же набор постулатов об исторической вине СССР, пороках советской политики в Европе и преступлениях сталинизма. Формально эти рассуждения касались не России, а Советского Союза. Фактически они сформировали в странах Ближней Европы устойчивый антироссийский контекст — ключевой для понимания их поведения.

Можно возмущаться или сокрушаться по поводу этого обстоятельства, но это факт, данность, которую надо принимать во внимание — например, при оценке перспектив эволюции международных приоритетов Украины, Молдовы, а потенциально и Беларуси, если Москве так и не удастся убедить руководителей последней провести спасительные для этой страны, хотя бы и умеренно-консервативные, реформы.

В самом деле, «самодержавная» украинская политика на европейском направлении отмечена тенденцией к сближению, например, с Польшей. Несмотря на сложный характер польско-украинских отно-

шений и наличие в них «темных» сюжетов (злодеяния западноукраинских националистов против поляков в середине прошлого века), Украина и Польша любят «поиграть» на тему российских амбиций. Так проще всего сформировать ощущение близости: раз есть общий внешний вызов (даже потенциальный), то ясно, зачем, с кем и против кого «дружить». Сходные мотивы присущи беседам руководителей Молдовы и Румынии.

С точки зрения интересов России проблема не в том, что Киев или Кишинев «стремятся в Европу». Беда, что на этом пути они включаются в общий ближневосточный контекст, который остается антироссийским «благодаря» трудам прибалтийских братьев и бывших друзей — союзников по Организации Варшавского договора.

Пятнадцати лет политики «терпимости и игнорирования колкостей», которую проводила Россия в отношениях с Ближней Европой, оказалось мало для «выветривания» антироссийских настроений малоевропейцев. Вот почему столь вызывающими оказались реакции прибалтийских государств (и не только их) на примирительную попытку Москвы «подвести психологическую черту» под событиями Второй мировой войны. Празднование 60-летия Победы в ней могло стать актом расставания с болями и негативами советского прошлого — могло, но неизвестно, станет ли.

Изнутри перегретой предубеждениями политической атмосферой стран Прибалтики приглашение пожаловать на празднование 60-летия Победы в Москву в самом деле воспринималось неоднозначно. Немалая часть жителей прибалтийских стран воевала на стороне нацистов и ушла вместе с ними на Запад. Чувствовать себя на праздновании представителями побежденных их потомки не хотели. Но и причислять себя к кругу победителей они не желали, в принципе отвергая свою принадлежность Советскому Союзу, историческим преемником и продолжателем которого является Россия. Политически и психологически ситуация непростая, и российским политикам стоило об этом заранее поразмыслить.

Важно понять и другое: элиты стран Прибалтики настолько малочисленны, по российским масштабам бедны и разобщены, что даже испытывают потребность «подпитывать» себя за счет «импорта лидеров». Скучная элита не способна порождать «новомышленцев» — наивно ждать их появления в прибалтийских странах. Значит, время революционных инициатив не пришло.

Если в России после 1991 г. политические поколения сменились дважды (сначала Ельцин изгнал либералов «призыва перестройки», а потом Путин удалил ставленников ельцинской «семьи»), то в Прибалтике подобного обновления не происходило. Там фактически правит первое поколение «независимцев». Это лидеры, либо воспитанные

в духе «старого и доброго домашнего антисоветизма» (Эстония), либо вовсе сформировавшиеся на искаженных образах эмигрантских воспоминаний (Литва и Латвия). Более активно обновление политической элиты происходило в Польше и Румынии. Но и в этих странах носители старой, еще антисоветской разновидности предубеждений против России остаются влиятельным, хотя постепенно стареющим и вымирающим слоем. России рано «вдруг» отказаться от «стратегии игнорирования», по крайней мере до той поры, пока процесс естественного омоложения элит не создаст предпосылки для иного.

Нет уверенности, наконец, что украинская и молдавская элиты достигли состояния большей зрелости, чем прибалтийские. И есть основания думать, что нарушился естественный процесс формирования элиты белорусской. Уповать уместно лишь на то, что в Беларуси, Молдове и на Украине элитные предубеждения против Москвы слабее, чем в Прибалтике и бывших странах ОВД. Вот почему, думаю, отношения с Ближней Европой — уязвимое место политики России на европейском направлении. «Синдром недоверия» в отношениях между соседями не преодолевается. Либеральный вариант политики «еврососедства» пока не очень удается.

* * *

25 лет после распада СССР приучили к мысли о том, что отношения с ближним окружением России по важности стоят вровень с отношениями России с ведущими мировыми державами — США, Китаем и странами Евросоюза. Относительно недавнее явление — обострение конкуренции между всеми названными игроками за влияние в поясе новых российских границ, симптомы которого воспринимаются тревожнее по мере нарастания динамики перемен в государствах СНГ, которые вплотную сталкиваются с проблемой неизбежности смены высших лидеров и с неумением обеспечить эту смену законно и плавно. Государства Запада — прежде всего США — самым серьезным образом настроены на приобретение доступа к ресурсам постсоветского пространства. Любая внутренняя неустойчивость в принадлежащих к нему странах будет использована наиболее сильными «внешними державами» строго в соответствии с этой базовой целью Запада. Вот почему ключевая задача России — содействовать переменам в сопредельных государствах Содружества таким образом, чтобы, оставаясь в рамках законности и демократического вектора, они соответствовали национальным интересам России, а не противоречили им.

Глава 25

.....

«Отложенный нейтралитет» Центральной Азии*

Рост внимания наиболее мощных держав мира к Центральной Азии¹ в первом десятилетии XXI в. — знак возвращения региона в фокус большой международной политики. Современная Центральная Азия — преемница, но не эквивалент советской Средней Азии. Современное политико-географическое словоупотребление позволяет относить к этому региону не только прежние среднеазиатские союзные республики (Кыргызстан, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан), но и Казахстан. Более того, понятие «Центральная Азия» подразумевает отнесение к этому региону частей Северного Афганистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. В политологических работах, особенно посвященных анализу энергетических аспектов положения вокруг Каспия, в дискурс о Центральной Азии включены пограничные с Казахстаном территории России — от Астраханской области на западе до Алтайского края на востоке.

Международно-политическая среда Центральной Азии

В мире место подсистемы отношений между странами региона определяется его нынешней и потенциальной ролью в производстве и транспортировке энергоносителей. Энергоресурсы — благословение Центральной Азии и ее бремя. Ни Россия, ни западные страны после распада СССР не смогли установить контроль над природными ресурсами центральноазиатских государств, хотя имеют возможность влиять на энергетическую политику последних. Реальное владение природными богатствами, доходы в виде экспортных поступлений, способность играть на конкуренции между российскими и западными компаниями обеспечивают энергоэкспортирующим малым и средним странам серьезный внешнеполитический ресурс.

Государства, которые такого ресурса лишены, все равно имеют для региона важное значение в силу своих пространственно-географических характеристик, позволяющих им влиять на безопасность сопредельных

* Опубликовано в: Россия в глобальной политике. 2010. № 2.

транзитных территорий, через которые проходят или будут проходить трубопроводы. В самом деле, в XIX в. значение региона виделось западным и русским авторам через призму гипотетических угроз со стороны России позициям Великобритании в Индии. В начале XXI в. подходы к анализу региональных реалий изменились, сместившись к геоэкономике. Пространственное измерение Центральной Азии стало восприниматься как зона прохождения энергонесущих артерий, поток углеводородов по которым может быть направлен и в западном (в сторону Евросоюза и Атлантики), и в южном (к побережью Индийского океана) и в восточном (к Китаю, Японии и Тихому океану) направлениях. К Атлантике или Пасифике пойдут нефть и газ центральноазиатских стран?

Наряду с трубопроводной дипломатией геополитическим фактором может оказаться железнодорожная сеть этой части мира. За годы после распада СССР старая советская сеть железнодорожных путей перестала быть замкнутой на Европейскую и Сибирскую части России. Усилиями Казахстана был достроен участок путей, соединивший Казахстан с СУАР Китая (Урумчи). Теперь грузопотоки, если это окажется рентабельным, могут доставляться из Центральной Азии на восток не только через территорию России, по старому транссибирскому пути, но и через Китай.

Туркменистан в 1990-х годах тоже построил участок железнодорожной ветки, соединивший туркменские железные дороги с иранскими (Мешхед). Открылся прямой путь транспортировки на юг. После длительной изоляции от южных и восточных соседей регион «разомкнулся», впервые в истории получив техническую возможность прямого сообщения не только в северном и западном направлениях, но и в южном и восточном. Этот сдвиг не преобразовался пока в переориентацию международных связей центральноазиатских стран. Но открытие дорог на восток и юг подкрепило психологические предпосылки для проведения местными странами при благоприятных обстоятельствах более разнонаправленной политики сотрудничества «по всем азимутам».

Центральная Азия — центр нелегального производства местных наркотиков (прежде всего в Фергане) и в еще большей степени — крупнейший транзитный путь, по которому после распада СССР и свержения просоветского правительства в Афганистане стали доставляться наркотики афганского производства. Этот поток, частично оседая в России, следует далее через российскую территорию в страны Евросоюза.

Доходы от наркоторговли — источник огромных нелегальных доходов всех, кто к ней причастен. Они распределяются неравномерно. Рядовые контрабандисты-курьеры часто остаются нищими на протяже-

нии всей жизни, так как их заработки поглощаются многочисленными родственниками. Однако этот люмпенский слой участников оборота наркотиков является наиболее многочисленным и социально-политически значимым, особенно в условиях медленного расширения прав граждан по мере «управляемой демократизации сверху».

«Пролетарии наркобизнеса» объективно не могут не сочувствовать наркодельцам, видя в их, своей или своих родственников нелегальной деятельности единственный источник существования. Одновременно этот слой наиболее взрывоопасный. С одной стороны, он воспринимает попытки государства искоренить наркобизнес как посягательство на основы своего существования. Лидерам наркобизнеса нетрудно направить стихийное возмущение населения наркотранзитных и наркопроизводящих районов Центральной Азии против местных правительств и спровоцировать подобие не то нарко-, не то цветных «революций».

С другой стороны, более образованная часть бедных слоев справедливо видит инструмент борьбы с наркоторговлей в экономических и социальных реформах, которые позволили бы отвлечь население «наркоопасных» регионов от преступного бизнеса. Отсутствие таких реформ тоже порождает недовольство населения.

Обе тенденции, налагаясь на личные, политико-партийные, клановые, региональные и иные легальные, но часто «невидимые» для аналитика борения создают весьма сложную структуру общественно-политических взаимодействий. Трудности внутреннего развития проявляются на уровне внешнеполитического процесса и внешней политики местных стран. Колебания в отношениях между Узбекистаном и Таджикистаном в 1990-х годах, взаимно настороженные отношения Таджикистана и Афганистана, хроническое противостояние властей и криминала в Ферганском оазисе, «пульсирующая» нестабильность в Кыргызстане трудно проанализировать в отрыве от конфликтогенной роли наркотиков.

Контроль над наркотранзитом — источник борьбы между правительствами центральноазиатских стран и криминальными группировками, а также между самими этими группировками. «Наркофактор», попытки местных криминальных структур поставить у власти в центральноазиатских странах «своих» людей составляют важнейший элемент местного политического, социально-экономического и идеологического ландшафтов.

Наконец, важнейшая черта местной региональной среды — неразрывность политических проблем Центральной Азии с вопросами безопасности сопредельных стран — Афганистана, Пакистана и Ирана. В Центральной Азии нераздельность не воплощена в международно-

политические документы или заявления руководителей. И своими корнями она уходит не в культуры и ценности, а в географические реалии. В Центральной Азии и на Среднем Востоке в силу особенностей рельефа (труднопроходимые горы, пустыни), распределения водных ресурсов и, соответственно, этнического расселения *контуры политических границ* — в отличие от Европы — *не совпадают с очертаниями политико-географических интересов безопасности разных стран*.

В Ферганском оазисе, зоне таджико-афганской границы или в поясе проживания пуштунских племен на рубежах Афганистана и Пакистана разделить интересы безопасности сопредельных стран невозможно. Они сливаются в единый комплекс, и их решение исключает выработку и реализацию юридически четких договоренностей, поскольку таковые практически не в состоянии учесть сложность реальных отношений между этническими группами и государствами в местах соприкосновения их интересов. Вот почему отношения между странами региона тяготеют к более динамичным формам стабильности в отличие от относительно статичных, юридически строже закрепленных и управляемых международных отношений в Европе².

Политико-психологический фон

По-видимому, такой вариант «нераздельности безопасности» имеет объективную опору в традиционном сознании жителей этой части мира, для более южных народов которой (узбеков, таджиков, киргизов, туркмен) характерно оазисное сознание. В его основе — идентификация по принципу самопричисления не столько (иногда и не только) к «своей» этнической группе, сколько к территории своего проживания. Люди исторически селились у воды. В окружении пустынь и гор ее было мало, и возможности менять место жительства были ограничены. Жители оазисов невольно вырабатывали в себе терпимость к чуждой этничности. Владелец оазиса мог не принадлежать к «твоей» этнической группе, но если он не лишал тебя доступа к воде, а значит, к жизни, то его можно было терпеть, даже если по крови, языку и культуре он был «чужим».

Население Центральной Азии до включения в состав Советского Союза с проделанным в его рамках этнотерриториальным размежеванием не знало «национального государства» в европейском смысле. Преобладающей формой организации было территориально-политическое образование на принципе надэтничности. С позиций европейской науки Бухарский и Кабульский (афганский) эмираты, Хивинское и Кокандское ханства были относительно небольшими и пестрыми по этничес-

кому составу *оазисными империями*, «объединяющими идеями» которых были общее водноземельное достояние и идеология религиозной солидарности (особенно в Бухаре и Коканде). В такой идейно-политической совокупности комплексы этнической розни лишались возможности развиваться в доктрины этнического или расового превосходства, как это происходило на волне кульминаций «национального самоопределения» в Европе и в Японии конца XIX в. и первой половины XX в.

Такой фон вряд ли упростил ситуацию. Водораздел между понятиями «мы — они» и «свой — чужой» в центральноазиатском контексте был более размытым, чем в культурах, из недр которых выросли концепции М. Вебера. Условность понятий транслировалась в условность реалий. Ясность представления о «своем» и «чужом» материализовывалась в Европе в твердость предубеждения в необходимости уважать чужие границы — на уровне правовой и этической норм.

Взаимная терпимость этносов в Центральной Азии, условность смысловой переборки между «своим» и «чужим» оборачивались невосприимчивостью к таким условно незыблемым и европейским по происхождению принципам международного общения, как уважение *чужих* государственных границ, невмешательство во внутренние дела *других* государств. Чужими или нечужими для Таджикистана являются афганские дела, если в Афганистане живет больше таджиков, чем в Таджикистане? Какое из двух государств «среднестатистический таджик» должен считать «своим», задайся он целью следовать модели мышления «по Веберу»? Дать теоретические ответы на эти вопросы проще, чем найти практические решения для упрочения безопасности местных стран. Сходные проблемы самоидентификации возникают для узбеков и таджиков Северного Таджикистана (Худжанд), узбекских городов Самарканда и Бухары, узбеков, таджиков и киргизов Ферганской долины.

Вооруженные формирования, выступающие против правительства Узбекистана, до сих пор перемещаются по горным перевалам и тропам с узбекской территории на таджикскую и киргизскую и обратно, не вступая в конфликты в местным населением. Этими же тропами пользуются и для провода караванов наркотиков. Следуют они самостоятельно или под охраной бандформирований? Наркобизнес, контрабанда оружия и антиправительственные движения имеют общие интересы и параметры их сотрудничества быстро меняются.

Конфликт весной 2005 г. в узбекской части Ферганы (Андижан) был частью антиправительственного брожения, которое происходило в это самое время в Кыргызстане и тоже уходило корнями в ее южные, ферганские районы. Аналогичным образом, «просачивание»

конфликтности из Афганистана (из его таджикских и узбекских частей) в Таджикистан и Узбекистан — устойчивая черта региональной ситуации. «Тюльпанной» или «маковой» в этом смысле была «майданная революция» 2005 г. в Бишкеке? Некоторые аналитики полагают, что на ее эмблеме было уместно поместить оба цветка.

Фактор политического реформирования

Важнейший вопрос политики в Центральной Азии — реформа политических систем ее стран. Наличие прочных структур традиционного саморегулирования местных обществ в лице региональных, племенных, родовых, клановых и иных традиционно-общинных связей налагает отпечаток на условия, в которых формируется внешняя и внутренняя политика стран. Семь десятилетий модернизации центральноазиатских обществ в составе СССР и еще два десятилетия реформ в качестве независимых государств трансформировали социальную природу стран региона. Создание советского строя, а после 1991 г. — моделей авторитарно-плюралистического устройства (по Р. Скалапино)³ внешне изменило политический облик этих стран и заложило основы развития большинства из них по пути нелиберальной демократии (по Ф. Закария)⁴.

Однако традиционные структуры саморегулирования не были уничтожены и не разложились. Приняв на себя удар большевистской модернизации в 1920–1940-х годах, они смогли выжить благодаря десятилетию «оттепели» 1953–1963 гг., а затем — адаптироваться к условиям «позднего СССР» в 1970–1980-х годах. Традиционные структуры нашли себе место в политической системе советского общества, научившись сотрудничать с партийно-бюрократическим аппаратом советской власти, помогая ему (мобилизовывать массы на трудовые кампании) и иногда находя возможности образовывать личные унии.

При этом формальная система государственного управления в Казахстане и республиках Средней Азии выглядела советской, а реальное управление ими шло по двум ветвям: формальной партийно-советской и неформальной — регионально-клановой. Центральный аппарат КПСС адекватно оценивал ситуацию и стремился не столько изменить ее через искоренение традиции, сколько научиться использовать традиционные факторы для регулирования положения на местах.

Во второй половине XX в. в этой части СССР раньше, чем в других частях Советского Союза, сложилась «сдвоенная» общественно-политическая система. Внутри местных обществ уживались два отчасти

автономных друг от друга уклада. Первый представлял собой анклав советского (современного). Второй — анклав родоплеменного, этногруппового, регионального (традиционного). Обычаи, нормативные прецеденты, своды поведенческих запретов и правил, религиозные регламенты составляли второй анклав. Привычка получать современное высшее образование, заниматься экономической, общественной и политической деятельностью, навыки проведения выборов — первый.

Бытовое поведение характеризовалось перемещением человека из первого анклава во второй и обратно. Светское сочеталось с религиозным — исламским, доисламским и неисламским (христианским, иудейским, языческим). Современный рыночный бизнес — с обычаем помогать в трудоустройстве неквалифицированных родственников и земляков. Привычки к жизни по канонам западного потребления — со вкусом к традиционному образу жизни. На уровне политического поведения это выливалось после 1991 г. в привычку участвовать в выборах и политической борьбе с обыкновением голосовать в соответствии с советами «старших» в их традиционном понимании — начальники, вожди кланов и групп, старейшины, муллы, старшие родственники мужского пола или в их отсутствие — просто мужчины.

Механизм поддержания социального порядка был сложным, но надежным. Во всяком случае, повсюду, кроме Таджикистана в начале 1990-х годов, анклавно-конгломератная структура общества предохраняла страны от войн, распада и хаоса. Да и гражданская война в Таджикистане была вызвана чрезмерностью политических преобразований под натиском незавершенной «исламской демократической революции», разрушивших старый механизм регулирования отношений между конкурирующими региональными группами в бывшей Таджикской ССР.

Провал эксперимента с «исламской демократией» напугал соседние с Таджикистаном бывшие советские республики настолько сильно, что их руководители были вынуждены предпринять меры для борьбы с исламской и светской оппозицией, в том числе применяя против нее силу. Реформы в Центральной Азии после этого, в той мере, в которой они вообще проводились, были направлены в консервативное русло. Гражданская война скомпрометировала концепт одномоментной демократизации по западным образцам. Последующее десятилетие было употреблено для стабилизации и дозированной модернизации политических систем. На смену советской управляющей машине пришли системы правления, для которых характерно соединение официальных институтов партийно-президентской системы с неформальным традиционным регулированием⁵.

Наложение западных форм демократического правления на местный традиционализм дало жизнь центральноазиатским версиям нелиберальной демократии. В политических системах Центральной Азии соотношение «нормы» и «патологии» не больше и не меньше, чем в общественно-государственном устройстве Индии, Южной Кореи или Японии⁶ на относительно ранних стадиях развития присущих каждой из названных трех стран демократических моделей. Все эти страны в политико-социальном отношении относятся к анклавно-конгломератному типу, как все государства запаздывающей политической модернизации, включая Россию и Китай.

По-видимому, либерализация политических систем Центральной Азии может быть возможна не раньше, чем произойдут изменения в культуре стран этой группы. Имеются в виду прежде всего сдвиги в базовых представлениях этносов о достаточности или избыточности, привлекательности «свободы» или «несвободы», индивидуальной конкуренции или общинно-корпоративной солидарности, ответственности каждого за себя (и равенстве) или покровительстве (и подчиненности).

Это не означает, что Центральная Азия может позволить себе приостановку реформ. Приблизившаяся полоса естественной смены поколений лидеров местных стран вынуждает думать о необходимости продолжить их модернизацию. Однако форсированная демократизация может быть им так же опасна, как попытки остаться в парадигме поверхностного реформирования, стабилизирующий ресурс которой в значительной мере уже исчерпан.

Становление этнополитических соотношений в регионе

Как и почти вся центральная и восточная часть Евразийского материка, Центральная Азия формировалась в историко-политическом отношении под влиянием взаимодействия оседлых и кочевых этносов. Оседлые культуры быстро давали жизнь государствам. Малопригодный для организованной эксплуатации в традиционных формах кочевой уклад *исходно* выступал альтернативой государственности. Однако кочевники нашли вариант адаптации к государству через симбиоз с ним. Внутри Бухарского эмирата, например, потомки кочевников составили «специализированный клан» — слой (по сути дела, племя) профессиональных воинов⁷.

Часть завоевателей становилась системообразующим элементом новых правящих элит, другая часть — смешивалась, не всегда сливаясь с населением завоеванных территорий, формируя вместе с ним социальный «низ». При этом в ряде случаев могла веками сохраняться «этническая специализация» разных групп населения: завоеванные

группы тяготели продолжать привычную хозяйственную деятельность (земледелие, ремесленничество, строительство крепостей и каналов, торговля), пришлые — предпочитали оставаться и становиться воинами, управленцами низовых уровней, а позднее — тоже торговцами. Взаимная диффузия этнических специализаций, конечно, происходила. Но этнически окрашенные архетипы экономического поведения (по М. Веберу и А. С. Ахиезеру⁸) хорошо различимы в странах Центральной Азии и сегодня, характеризуя деятельность «исторически коренных» и «исторически пришлых»⁹ (русские, украинцы, армяне, евреи-ашкенази, греки) групп населения.

Архетипы этнически окрашенной экономической специализации в Российской империи и СССР дали жизнь этнополитической специализации. Часть завоевателей-северян тяготела к специализации на административном управлении, другая — влилась в городские и сельские низы, образовав внутри них подгруппы земледельцев и, по мере индустриализации, рабочих, инженеров, врачей, лиц свободных профессий.

Русский элемент стал играть преобладающую роль в управленческих структурах присоединенных территорий. После революций 1917 г. в России и последующего вхождения Бухары и Хивы в состав СССР персонал политико-административной элиты региона стал в этническом отношении более разнообразным. Русский и украинский элемент был весомо дополнен как другими некоренными этносами (еврейским, армянским), так и местными группами населения, получившими более широкий, чем прежде, доступ к власти.

«Советская элита» в Центральной Азии была многоэтничной. В этом смысле механизм ее формирования соответствовал привычной для региона взаимной этнической терпимости и традиции *оазисно-имперской* идеологии. В роли первых лиц в республиках советской Средней Азии и Казахстане, как правило, выступали прямые назначенцы Москвы — из местных уроженцев или приезжих из других частей СССР.

Включение Центральной Азии в Советский Союз вызвало изменения в регионе. Крупнейшими нововведениями стали перевод Казахстана в режим оседлости и проведение в южной части региона водно-земельной реформы. В результате превращения казахов и киргизов в оседлых жителей часть казахских и киргизских родов бежали на территорию Китая в Синьцзян.

Важнейшим политическим последствием водно-земельной реформы было фактически полное уничтожение сельской части русской диаспоры в Центральной Азии. Успевшее было укорениться в Семиречье казачество перед лицом советских нововведений встало на сторону белого движения. В ходе Гражданской войны казаки и их семьи были

уничтожены, репрессированы или вслед за казахами и киргизами бежали в Синьцзян.

В годы Второй мировой войны в Среднюю Азию и Казахстан было эвакуировано от 3 до 5 млн человек из Европейской части СССР. В основном это были образованные люди, при помощи которых удалось решить ряд крупных социальных проблем и задач культурного строительства. Была ликвидирована безграмотность и созданы основы современной системы здравоохранения. К тем же годам относятся создание в Центральной Азии современного театрального и музыкального искусства, литературы, системы университетского образования.

В том же направлении действовали тенденции, связанные с высылкой в годы войны из Поволжья, Крыма и с Северного Кавказа репрессированных народов (немцев, крымских татар, балкарцев, карачаевцев, греков, чеченцев, ингушей и других). В последующие годы в регион направлялись волны политических иммигрантов из Греции. После завершения восстановительных работ после Ташкентского землетрясения 1966 г. часть рабочих разноэтничных строительных бригад тоже пожелала остаться в регионе.

«Сдвоенная» система политического управления в республиках советской Средней Азии и Казахстана

Конфигурация этнических специализаций стала меняться с 1950-х годов. «Исторически коренные» этносы постепенно стали стремиться сосредоточить в своих руках политическое и административное управление. Москва поддерживала практику назначения на позиции первых лиц местных уроженцев из числа коренных этносов, оставляя за собой право их утверждения. При этом из столицы в обязательном порядке направлялись в союзные республики в качестве вторых лиц при местных руководителях (вторых секретарей ЦК и обкомов партии) представители неместных этнических групп и неместных уроженцев. В обязанности последних входило кураторство республиканских органов КГБ, снабжение центральных органов объективной информацией с мест, наблюдение за этнополитическими процессами и иногда — их регулирование с помощью беспристрастного посредничества.

Вторые секретари, однако, могли выполнять свои функции лишь с ограниченным успехом. Будучи чужаками, они с трудом ориентировались в неформальных механизмах регулирования общественных отношений в Центральной Азии, не были в них включены, а часто, наоборот, оказывались изолированными от них и соответствующей информации. *В отсутствие официальных демократических механизмов*

карьерного роста и распределения благ начали заново складываться (или оживать) механизмы неформального регулирования общественных отношений на основе этнических, родственных, клановых и иных связей.

В итоге первые лица союзных республик, при желании, могли создавать своего рода параллельные структуры власти: в дополнение к официальной партийно-советской иерархии соподчиненности постепенно складывались системы неформального управления с помощью механизмов мобилизации лояльности тех или иных групп населения (родов, землячеств, старейшин) в интересах первых лиц из числа местных уроженцев.

Церковные деятели, как правило, влияли на эти структуры косвенно, оставаясь вне органов государственной власти. Однако они имели возможность влиять на деятелей культуры, которые, оставаясь *светскими* по поведению и открыто выражаемым взглядам, могли представлять мнения *религиозных кругов* во власти.

Фактически с начала 1960-х годов в Центральной Азии существовала «сдвоенная» структура управления. Первая — официальная и регулируемая в кадровом и политическом отношении в соответствии с надэтнической идеологией и этикой КПСС, вторая — неформальная, традиционно-групповая, этнически окрашенная, закрытая для влияния Москвы. Первая была инструментом модернизации, нивелирования этнических различий и централизации. Вторая — средством консервации традиционных обществ, сохранения этнических своеобразий, накопления политико-идеологического потенциала самостоятельности республик.

Экономические отношения внутри Советского Союза в целом отвечали интересам центральноазиатских элит, хотя последствия хозяйственных преобразований той поры были противоречивыми. Например, неразумная ирригационная политика и форсированное выращивание хлопка привело к расточительной модели расходования водных ресурсов. Строительство Каракумского канала им. В. И. Ленина создало технические условия для перераспределения ресурсов Амударьи в пользу Туркмении, которая употребила их для орошения пустынных земель. Республики, освоив водорасточительную модель, столкнулись с тяжелыми экологическими последствиями. В результате водозабора для орошения почти до нуля упал сток Амударьи в Аральское море.

Вместе с тем в рамках единого народно-хозяйственного комплекса СССР будущие страны Центральной Азии имели ряд существенных преимуществ. Доля Российской Федерации в составе СССР в формировании общесоюзного бюджета составляла в 1980-х годах 21%, доля Казахстана — 16, Кыргызстана — 12%. Три остальные республики региона от выплат в союзный бюджет были освобождены, полностью тратя республиканские доходы на внутренние нужды.

Более того, союзное правительство ежегодно выделяло им крупные дотации, формируемые за счет взносов в общесоюзный бюджет других республик Советского Союза. Кроме того, из Российской Федерации в республики Центральной Азии переводились средства на личные счета граждан, объем которых превосходил государственные дотации из союзного бюджета. В такой ситуации республиканские власти хотели не отделения от экономического организма Советского Союза, а независимости от Москвы в вопросах своих «внутренних дел».

«Подтягивание» Центральной Азии к уровню развития СССР в целом определяло повышение уровня жизни их населения. Вследствие этого в регионе сначала снизилась детская смертность, а затем последовал бум рождаемости. Реформа системы среднего и высшего образования, его доступность и относительно высокое качество привели к появлению большого числа образованных специалистов, которые не находили себе применения в своих республиках. Конкуренция за престижную и хорошо оплачиваемую работу окрасилась этническими тонами. Специалисты «исторически коренных этнических групп» требовали и неформально получали привилегии при поступлении на работу по сравнению со специалистами групп «исторически пришлых».

В регионе возникла скрытая безработица и связанное с ней недовольство, которое легко было направить против Москвы. Русские упрекали союзное правительство в нежелании защитить их права в союзных республиках, а представители «исторически коренных этносов» говорили об ответственности Москвы за «колониальную структуру» экономики республик.

При этом, в отличие от республиканской партийной и хозяйственной элиты, местная художественная интеллигенция имела ограниченный доступ к экономическим благам, которые давало республикам пребывание в составе СССР. Как это было в конце 1970-х годов в Иране, образованные слои стран Центральной Азии в конце 1980-х и начале 1990-х годов помогли сформулировать первые оппозиционные программы, написанные в духе этнического традиционализма. В них нашлось место для некоторых политических идей зарубежных исламистов. В регионе стали нарастать признаки межэтнических трений и сепаратистские настроения.

По мере укрепления «сдвоенной» структуры общественно-политической организации в Центральной Азии «исторически пришлые» этносы теряли влияние и некогда более благоприятные позиции в административно-политическом управлении, оказываясь отесненными в лучшем случае в хозяйственную сферу. В последние два десятилетия существования СССР коренные этнические группы пользовались ши-

рокой системой неформальных привилегий в вопросах получения образования и занятия руководящих должностей.

Осознание этой ситуации стимулировало раздражение русских и иных групп населения, которое становилось известным в Москве. При кратком правлении Ю. В. Андропова (1982–1983) центральная власть попыталась ужесточить стандарты представительства разных групп населения в руководящих органах союзных республик с помощью более строгого соблюдения квот на занятие соответствующих должностей. Союзные власти попытались также в середине 1980-х годов вернуться к практике назначения первыми лицами союзных республик представителей некоренной национальности. Но «перестройка» и демократизация СССР лишили оснований линию на ужесточение контроля центральной власти над союзными республиками.

Особенности внешнеполитического поведения стран региона

Новизна современной международной среды в Центральной Азии состоит в освобождении малых и средних стран региона от пассивной роли объектов воздействия со стороны крупных держав. За два десятилетия после распада СССР малые и средние страны прошли большой путь к формированию рациональной внешней политики. Большинство из них смогло сформулировать более или менее убедительные внешнеполитические концепции, даже если не всем им был придан официальный статус — будь то различающиеся между собой версии постоянного нейтралитета Туркменистана и Кыргызстана, варианты доктрин регионального лидерства Казахстана и Узбекистана или концепция национальной безопасности Таджикистана.

Выделяются три типа внешнеполитического поведения малых и средних стран в отношении превосходящих их держав. Первый тип — *«агентский»* («я — **твой** младший брат и поручный, моя земля — твой бастион, форт и крепость»); этот тип заменил собой прежнее вассальное, подданническое поведение). Второй — *«защитный»* («ты — **мой** недруг, и я готовлюсь к борьбе с тобой, нападаешь ты или можешь хотеть напасть»). Третий — *«условно партнерский»* («**мы** ничем друг другу не обязаны и пробуем сотрудничать не только друг с другом, но и со всеми странами, несмотря на разности потенциалов»).

При первом — страны стремятся плотнее «прильнуть» к какому-то мощному государству, выторговывая себе от него за это привилегии. При втором — они могут обострять отношения с заведомо более сильной страной, желая привлечь к себе внимание мирового сообщества,

нарочито концентрируясь на угрозах, реально или предположительно исходящих от крупной державы. При третьем типе поведения *малые и средние страны стараются осторожно дистанцироваться от всех мощных государств, пытаясь сохранить с ними хорошие отношения и отвоевать себе хотя бы небольшое автономное пространство.*

К первому тяготеют страны, именуемые сателлитами. Ко второму — несостоявшиеся или неуверенные в себе государства (от Северной Кореи и Венесуэлы до Грузии). К третьему — нейтральные и неприсоединяющиеся государства, которые демонстрируют многообразные формы внешней политики от «ядерного неприсоединения» Индии до гораздо сдержанного и гибкого «антиядерного нейтрализма» Малайзии, Индонезии и Вьетнама.

Центральноазиатские государства, как представляется, тяготеют к третьему типу. Он сочетается с их возможностями и спецификой международных условий, в которых они развиваются. Главное из этих условий — рыхлая международная среда, в которой в течение 20 лет Россия, Китай и США не имели возможности и желания жестко привязать местные страны к своей военно-политической стратегии.

Государства Центральной Азии избегают перегибов. Дистанцируясь от России и образов «частей бывшего СССР», страны региона избежали соблазна провозгласить себя «частью Запада». Увлечение сначала Турцией, а потом Китаем не спровоцировало их ни на «следование Китаю», ни на путь превращения в элементы «пантуранского пространства».

Ограничив влияние России, страны региона не допустили деградации отношений с ней, сохранив возможность при необходимости прибегать к ее ресурсам (финансовым, технологическим, людским, политико-дипломатическим и иногда военным). Взамен они позволяют России пользоваться своим потенциалом — пространственно-геополитическим и отчасти энергосырьевым. Местный национализм, окрасившийся колоритом ислама и местных доисламских культур, в целом не отлился ни в религиозный экстремизм, ни в светскую ксенофобию и шовинизм. Позитивную роль в этом смысле сыграли мощное советское просветительское и культурно-атеистическое наследие, присущая СССР традиция надэтничной социально-групповой солидарности в сочетании с оазисной культурой терпимости к говорящим на ином языке.

Отчасти сходным образом страны Центральной Азии добиваются уменьшения зависимости от России как покупателя и транспортировщика их энергоносителей. Но это не мешает им желать оставаться под «зонтиком» ОДКБ, который остается скорее политическим, чем военным институтом.

В целом ситуация ориентирует малые и средние государства на политику, характеристиками которой являются прагматизм, гибкость, лавирование, уход от обременительных внешних обязательств, стремление привлечь помощь более богатых стран. Ради нее они торгуются по поводу встречных уступок — с Россией, США, Индией, Китаем или богатыми исламскими странами.

Это не значит, что центральноазиатские соседи России проявляют коварство. Этот термин уместнее адресовать тем странам, вожди которых, хитроумием переиграв Б. Н. Ельцина в 1991 г., разрушили советскую страну. *Центральноазиатские страны в ту пору хотели увеличения пространства свободы рук в отношениях с Москвой, а не полного отделения от России.*

Сегодня нет смысла ни усмехаться, ни сожалеть по этому поводу. Важнее другое. Прагматизм в политике стран Центральной Азии соседствует с исторической памятью, в которой негативные ассоциации уравновешиваются весомым комплексом представлений о позитивном наследии отношений с Россией. Взлет культурного и образовательного уровня, создание систем охраны здоровья, налаживание основ, на которых возможно формирование современной политической системы — плоды пребывания центральноазиатских стран в составе СССР.

Советская система действовала в Центральной Азии так же деспотично, как и на всем остальном пространстве Советского Союза. В этом смысле она — общий источник бед всех народов СССР. Но при всех пороках она достаточно хорошо подготовила Центральную Азию для избирательного и дозированного восприятия новаций 1990-х годов, когда бывшие союзные республики стали независимыми государствами. Эта система позволила местной власти сдерживать рост низовых протестов, направить исламизацию в умеренное русло и справиться с натиском транснациональных криминально-контрабандистских структур, которые в союзе с местными и зарубежными экстремистами представляли угрозу существованию центральноазиатских государств. Сценарии раздела Таджикистана, распада Киргизии и формирования криминального «Ферганского халифата» не реализовались, а попытка «исламской революции» не дала в Центральной Азии тех удручающих результатов, которые она принесла в Афганистане.

Концепция «отложенного нейтралитета»

Географически и отчасти политически центр Центральной Азии из России кажется расположенным между Астаной и Ташкентом. Но с позиций энергосырьевой дипломатии в ее зарубежных версиях цент-

ральную позицию в региональных делах занимает Каспий, вернее его восточное побережье, и газовые месторождения Туркмении.

Однако и в таком восприятии региона превалирует «объектное» отношение к малым и средним странам. Американские и евросоюзовские политики и ученые оценивают ситуацию в этой части мира через призму того, что выгодного или опасного она может сулить. Немалая часть российских и китайских государственных деятелей и экспертов фактически остаются на такой же позиции с соответствующими поправками на Россию и Китай. В качестве субъектов международной политики до сих пор малые и средние государства мало кого интересовали.

Исследователи в лучшем случае стремились оценить, насколько они могут помешать или поспособствовать реализации целей больших держав. При этом каждая крупная страна старалась составить представление, с помощью каких рычагов можно расширить влияние на региональную ситуацию. Американским аналитикам всемогущим инструментом казалась демократизация¹⁰, в том числе революционная — сначала «исламско-демократическая», а потом «майданно-площадная». Российские и китайские ученые выступали за консервативные версии реформ экономических систем центральноазиатских стран и их политического устройства. Оптимальным вариантом стабилизации ситуации при благоприятном для России и Китая ее протекании казался умеренно реформистский курс при балансировании между избирательной политической либерализацией или использованием рыночных механизмов под контролем государства.

Малые и средние страны вынуждены лавировать. Однако вектор маневрирования не исчерпывал смысл их внешних политик. Местные государства тяготеют к нейтралizmu. В 1990-х годах о нем официально попытались заявить Туркменистан и Киргизия¹¹. Правда, о классическом нейтралитете Швейцарии и Швеции в местном контексте говорить не приходится. В регионе сохраняются источники угроз — со стороны Афганистана, экстремистов в Фергане и потенциальной нестабильности в исламских регионах Китая. Опыт Узбекистана, Таджикистана и самой Киргизии свидетельствует в пользу иллюзорности классического нейтрализма в этой части мира.

Вот почему в осмыслении перспектив нейтрализма центральноазиатские страны могут рассчитывать скорее на вариант «умеренно вооруженного нейтралитета» по образцу государств АСЕАН. Такой вариант при определенных обстоятельствах мог бы устроить все страны региона, включая Казахстан и Туркменистан. Но в силу военно-политических реалий такой вариант непригоден для немедленной реализации.

Страны региона включены в многосторонние отношения с Россией через ОДКБ, а также с Россией и Китаем через ШОС. Правда, гибкость обязательств по этим договорам и неразработанность практики их применения позволяют входящим в них странам оставаться самостоятельными в сфере внешнеполитического поведения. Оба договора являются больше механизмами координации и профилактики угроз, чем боевыми организациями, способными к быстрой мобилизации ресурсов входящих в них стран¹².

В то же время наличие этих структур дает малым и средним странам желанные для них гарантии внутренней и международной безопасности. Причем они сохраняют возможность по усмотрению дозировать практическое участие в сотрудничестве с Россией и Китаем, не отказываясь от балансирования и ориентации на нейтралитет в принципе.

Соединение во внешних политиках центральноазиатских стран линии на партнерство с Россией и Китаем, с одной стороны, и стремлением независимо от них развивать сотрудничество с США и ЕС, не участвуя в военном сотрудничестве вне пределов минимальной необходимости безопасности, — с другой, характеризует тип внешнеполитического поведения, который можно назвать *потенциальным* или *отложенным* нейтралитетом. Этот принцип *фактически* стал системообразующим элементом международных отношений в Центральной Азии.

Примечания

¹ В политическое употребление термин был введен в январе 1993 г. по решению саммита пяти государств региона в Ташкенте. Прежде в литературе эта территория именовалась «Средней Азией и Казахстаном».

² *Богатуров А. Д.* Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. 1945—1995. М., 1997. Гл. 2.

³ *Robert Scalapino* — ведущий американский востоковед-политолог 1970—1980-х годов, директор Института Восточной Азии Калифорнийского университета в Беркли, автор множества работ по Китаеведению и японоведению. По его определению, «авторитарный плюрализм» — «...эта система характеризуется жесткой политикой, ограничением свобод и преобладанием личности, а не закона в процессе принятия решения. В то же время — существованием гражданского общества, отделенного от государства, и наличием — в зависимости от конкретных условий — значительного автономного пространства в сферах религии, образования и семейных отношений. Более того, в экономике присутствует значительный рыночный элемент, хотя и при сильной финансовой, направляющей и планирующей роли государства, реализуемой посредством политики неомеркантилизма». — Письмо Р. Скалапино к А. Д. Богатурову от 10 февраля 1992 г.

⁴ *Zakaria F.* The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad. N.Y.; L.: W. W. Norton and Company, 2003; *Bell D., Brown D., Jayasuriya K.* Toward Illiberal Democracy in Pacific Asia. L.: MacMillan, 1995.

⁵ В работе А. Д. Воскресенского они определяются как авторитарные или консервативные патерналистские режимы. См.: *Воскресенский А. Д.* Политические системы и модели демократии на Востоке. М.: Аспект Пресс, 2007. С. 62.

⁶ Нелиберальных демократий оказывается тем больше, чем дальше отстоит рассматриваемый регион от Европы и моделей демократии, вобравших в себя специфику европейского культурного опыта. Типологически Япония — нелиберальная демократия, хотя, наверное, «минимально нелиберальная».

⁷ Каковым были и татары Крымского ханства, в котором они составляли меньшинство по отношению к своим подданным нетатарам (армянам, грекам, караимам, крымчакам). После распада СССР и частичной «ретрибализации» социальных отношений в некоторых частях региона кланы профессиональных контрабандистов и наркодельцов тоже стали вести себя как «специализированные племена». Племенные архетипы поведения, замороженные при советском строе, стали восстанавливаться.

⁸ *Ахиезер А. С.* Россия: критика исторического опыта. Социокультурная динамика России. Новосибирск, 1998. Т. 1–2.

⁹ Такое обозначение условно: за двести лет после переселения русских и украинцев в Центральную Азию они там укоренились и сегодня представляют собой во всех смыслах, кроме исторического, группы коренного населения соответствующих стран.

¹⁰ *Олкотт М. Б.* Второй шанс Центральной Азии. М.: Московский Центр Карнеги, 2005.

¹¹ По сути нейтралистскими являются все концепции центральноазиатских стран. Таковы доктрины «многовекторной политики» и политики «открытых дверей» в Таджикистане, концепции «Дипломатия Шелкового пути» и региональной безъядерной зоны в Кыргызстане, нейтралитета Туркменистана, «евразийства» Казахстана, трактуемого как «ориентация» одновременно на Россию, Евросоюз, США и Китай. Узбекистан придерживается логики «свободы рук и союзов», которая представляет собой вариант «потенциального нейтрализма».

¹² В этом нет патологии. Блок НАТО, особенно после начала войны в Ираке (2003 г.), тоже эволюционирует к размягчению обязательств стран-участниц. Из жесткого военного союза он превращается в «блок политико-идеологической солидарности» и «общий пул» военных, экономических и пространственных ресурсов входящих в него государств. Малые и средние страны НАТО, судя по фактам, могут участвовать, а могут и не участвовать в войнах, которые затевают более мощные государства Альянса. При всей разности условий такая модель функционирования НАТО аналогична той, которая «явочным порядком» складывается в ОДКБ и ШОС. В самом деле, Румыния или Исландия в чрезвычайных ситуациях могут либо непосредственно воевать за интересы «братских стран» НАТО, либо занять позицию, очень близкую к тому, что выше было названо «минимально вооруженным нейтралитетом».

Глава 26

.....

«Пространственная структура» международных отношений*

Формы стабильности и структурированность отношений

Тезис о присущей Азиатско-Тихоокеанскому району (АТР) большей нестабильности по сравнению с Европой — общее место в трудах 1970-х и 1980-х годов¹. Эта точка зрения, основанная на «здравом смысле» и внешне очевидной констатации, тиражировалась в десятках публикаций. Даже поколение специалистов, заявивших о себе в годы «перестройки», не пыталось ни опровергнуть, ни поставить этот тезис под сомнение, несмотря на характерный для 1988—1991 гг. импульс дать новую трактовку обстановки в Восточной Азии².

Для уточнения оценок есть основания. Очевидно, что менее стабильной ситуация в Азии могла казаться на фоне «конфронтационной» стабильности в зажатой противостоянием НАТО и Варшавского договора Европе. С распадом последнего, начавшегося национально-территориальным переделом в Югославии, разрушением СССР и возникновением войн на постсоветской территории, ситуация в Восточной Азии перестала укладываться в стандартные представления о критериях стабильности и нестабильности. На сегодняшний день в регионе нет ни одного конфликта, сопоставимого по интенсивности с войнами в Югославии, Таджикистане и Закавказье. С долей осторожности можно предположить, что нет явных оснований ожидать возникновения таких в близком будущем.

Представляется уместным поставить вопрос о возникновении за последние десятилетия в Восточной Азии механизма неформализованных, полуофициальных политико-дипломатических связей и отношений. Они во взаимодействии с местными формализованными структурами обеспечения экономического взаимодействия и безопасности продемонстрировали достаточно высокий уровень способности амортизировать перепады в региональной политической обстановке, могли предупреждать крупномасштабный конфликт, а также компенсиро-

* Опубликовано в: Великие державы на Тихом океане. История и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны. 1945—1995. М.: Сюита, 1997. С. 52—69.

вать возникающие ограниченные нарушения устойчивости региональной подсистемы.

Тип этой стабильности, как очевидно, является иным, чем европейской — сообразно тому, что исторический, геополитический и иной фон Восточной Азии сильно отличается от того, на котором складывались последовательно сменявшие друг друга в XVII—XX вв. структуры региональных отношений в евро-атлантической части мира. Опыт последней, между тем, во многом определил нормативность мышления теоретиков и практиков международных отношений. Поэтому за эталон стабильности был принят единственный ее вариант — статический, действительно существовавший в Европе с начала 1960-х по начало 1990-х годов.

Оттого непривычно «колеблющийся», не структурированный жесткими обязательствами тип региональной структуры, который удерживает АТР от общего конфликта, внешне казался примером хронической нестабильности — хотя устойчивый, даже устойчиво низкий, уровень этой нестабильности должен был бы бросаться в глаза. Ситуация отсутствия «большого» конфликта и его реальной угрозы сохраняется в АТР с начала 1970-х годов — около 30 лет. Для сравнения: в Европе «порядок Бисмарка» продолжался не более 15 лет (хотя, строго говоря, только десять — с момента заключения союза с Австро-Венгрией и Россией в 1879 г. до отставки самого О. фон Бисмарка в 1890 г.), а венский порядок образца Священного Союза — даже того меньше. Включив в оборот понятие динамической стабильности, можно полагать, что в Восточной Азии складывается региональная модель стабильности динамического типа; процесс этот достиг среднего уровня зрелости, хотя, по-видимому, еще далек от завершения.

В самом деле — 50-летнее вялотекущее противостояние в Корее; дышащее более трех десятилетий негласное согласие сторон на сохранение статус-кво в Тайваньском проливе; полусимволический почти 60-летний территориальный спор Японии с СССР и Россией в рамках почти безупречного дипломатического этикета; наконец, прагматично выверенные, не всегда дружелюбные, но устойчивые вот уже около 30 лет отношения СССР/России с Китаем; Китая — с США и Японией.

Вьетнам, с его, возможно, наиболее острым после успехов 1973—1975 гг. (окончание вьетнамской войны и объединение с Югом) «синдромом победителя», после периода не очень удачных силовых демонстраций около двух десятилетий сохранял временами не свободные от напряженности, но вполне стабильные и далекие от конфликта отношения с государствами АСЕАН, которые в 1995 г. переросли в тесное партнерство. Даже конфликт в Камбодже после прекращения в 1978 г. силами Вьетнама самоистребляющего правления режима Пол Пота приобрел черты

«внутренней компенсированности», «войны по правилам», от которой страдало местное население, но которая выплескивалась вовне в основном в форме гуманитарной проблемы кампучийских беженцев.

Оценки положения дел в Восточной Азии начинают меняться. Некоторые регионоведы начинают признавать уровень стабильности в регионе достаточным. В этом смысле впереди военные теоретики. Сослаться следует прежде всего на Томаса Уилборна, ведущего эксперта по восточноазиатским делам в американском Институте стратегических исследований. В 1994 г. в авторском разделе аналитического обзора региональной ситуации он определенно заключил: «Восточная Азия и Западная часть Тихого океана остаются районом большой экономической силы и относительной стабильности во всем, за исключением Корейского полуострова»³.

В своей более ранней работе он дал видение региональной стабильности, наиболее близкое к адекватному из всех известных: «Региональную стабильность в качестве цели внешней политики США следовало бы определять не как статус-кво и не как предсказуемость отношений в области безопасности с предполагаемым противником (за исключением положения в Корее), но совершенно точно как среду (*environment*), в которой лидеры региона считают положение своих стран в достаточной степени безопасным для того, чтобы они могли продвигаться к осуществлению национальных и международных задач без опасений по поводу внешних угроз и необходимости отвлекать избыточные средства на вооружения и военные нужды»⁴. Непривычное, оригинальное определение, интересное еще и тем, как удачно автор отделил логическую оппозицию — статус-кво и предсказуемость военной политики, с одной стороны, и среда, окружающее пространство — с другой.

Две черты кажутся характерными для ситуации в регионе. О первой из них написано много. Это — слабая структурированность региональных отношений в области политики и безопасности, выражающаяся в отсутствии мощных и претендующих на всеобъемность многосторонних блоков. Двусторонние союзы в области безопасности преобладают, но и они не типичны. Четко фиксированные обязательства и объединяющие цели также не типичны.

Вторая черта — иной, чем в Европе, порог, отделяющий «запредельную» конфликтность от «нормативной». Под первой понимается та, что неминуемо повлечет за собой общерегиональную войну, под второй — та, при которой мир в регионе в целом может сохраниться. Политики и общественность предпочитают не касаться этого существующего на практике различия, ибо как факт международной жизни оно аморально. В анализе же — от этой реальности трудно абстрагироваться. Тем более

когда важно констатировать: в отличие от Европы 1945–1991 гг., где любой конфликт мог считаться потенциально «запредельным», в Восточной Азии наличие нескольких «нормативных» конфликтов оказалось совместимым с сохранением мира на общерегиональном уровне.

Большая конфликтность мировой периферии по сравнению с центром отчасти — побочный результат политики сверхдержав. Принятая администрацией Дж. Кеннеди в начале 1960-х концепция «гибкого реагирования» (*flexible response*) определила «правила игры» США и СССР таким образом, что потенциал конфликтности был вытеснен с глобального уровня на региональный, из сферы советско-американских отношений — на периферию. При конфронтационной стабильности сохранить общий мир по-иному было и нельзя: движение системы не могло прекратиться по воле политиков, следовательно, противоречия развития должны были возникать, а их потенциал — неизбежно тяготеть к саморазрешению. И перенапряжения сбрасывались через региональные конфликты. Стабильность, по сути дела, распространялась избирательно — только на глобальный уровень и на Европу.

В других частях мира конфликты не были исключены. Или даже молча подразумевались. По-видимому, к цинизму великодержавного согласия, лежащего в основе такой стабильности, следует отнести замечание Р. Купера, в числе слабостей системы времен холодной войны назвавшего отсутствие в ней морали даже по сравнению с XIX в., когда все же существовали рационалистические основания равновесия и правительства большинства стран их признавали⁵.

Но дело не только в морали. Мировая периферия была поставлена сверхдержавами в положение, при котором странам условно второстепенных по сравнению с Европой регионов в обеспечении стабильности приходилось больше ориентироваться на собственные усилия, чем на вовлеченность обоих глобальных полюсов силы, каждый из которых (США — после окончания вьетнамской войны в 1973 г., а СССР — после начала афганской в 1979 г.) настороженно воспринимал перспективы расширения сферы своей прямой военной ответственности за рубежом.

Оказавшись в какой-то мере предоставленным самому себе, периферийный мир должен был дать свой иммунный ответ на ослабление сверхдержавной активности. Должны были сработать какие-то защитные механизмы региональной подсистемы, которая в противном случае могла погибнуть. В той же мере, как очевидно, что этого не произошло, уместна и постановка вопроса о формировании в Восточной Азии собственной модели стабильности на основе сочетания малых конфликтов с общей для местных стран заинтересованностью в региональном мире, несмотря на них.

Для возникновения в Восточной Азии особой модели стабильности имелись основания — структурные, геополитические и политико-психологические. Отношения в Восточной Азии тяготели, если следовать терминологии современного русского исследователя Валерия Алтухова, к «кольцевой» структуре развития⁶, тогда как в Европе — к лучевой. Европейские интересы и страхи «пронизывали», как лучи, всю толщу европейских дел, придавая большинству вопросов безопасности отдельных стран общеевропейское значение. В этом сказывались геополитические условия Европы (малое пространство, высокая коммуникационная проницаемость). Не удивительно, что в Европе оказались сильными традиция централизации и стремление к ней в форме почти непрерывной борьбы за гегемонию.

В Азии в силу многих причин «сквозные» проблемы безопасности отсутствовали по крайней мере до перехода в активную фазу японской экспансии в 30-х годах XX в. В АТР своего регионального «центра», за исключением относительно короткого периода доминирования Японии в 1930-х — начале 1940-х годов, не сложилось. Регион не знал традиции чередования периодов гегемонии то одной, то другой наиболее мощной страны, как это было типично для Европы. Военно-политическая централизация, сопоставимая с той, что возникла в Европе на протяжении большей части XIX и XX вв., в Тихоокеанской Азии не состоялась. В этой части мира преобладали горизонтальные отношения — здесь существовали замкнутые и относительно взаимно изолированные «кружки» или очаги интересов безопасности, из которых ни один не был общерегиональным — слишком пространственным был регион, и слишком специфичными были военные угрозы в его отдельных частях.

В психологическом смысле все европейские страны были настолько сильно вовлечены в общеевропейские же проблемы, что, в известном смысле, в Европе вообще не было «периферии» («низа») — по контрасту с «центром» («верхом»); так сильно был структурирован этот «низ», и так глубоко он был «вертикально» интегрирован в общеевропейские дела.

В Азии о вертикальной структурированности подсистемы можно было говорить лишь постольку, поскольку колониальные державы пытались манипулировать колониями. Национальные интересы местных элит были сугубо «горизонтальными», местническими, региональными. И в той мере, как национализм отвергал политику колониальных держав, идея вертикальной интегрированности, самовключения в дела европейских государств оставалась для местных элит чуждой. Понятия централизации и иерархичности, привычные и считавшиеся полезными в Европе, в Азии казались чужеродными, непонятными и — более того — опасными. Между тем идея многосторонних блоков для обеспе-

чения безопасности как раз эти идеи централизации и иерархии и воплощала. Отчасти поэтому, органически совмещаясь с европейской психологией, она не сопрягалась с восточноазиатскими реалиями.

Когда в Европе после Второй мировой войны появились новые претенденты на верховенство/гегемонию — СССР на востоке и США на западе, — «центролучевая» традиция межгосударственных отношений не противодействовала и даже способствовала быстрому оформлению региональных центров-блоков. В Восточной Азии на фоне отсутствия явных для большинства местных стран очертаний потенциального центра-гегемона попытки перенести европейский опыт многосторонних союзов наталкивались на непонимание как не соответствующие туземной традиции «круговых» (горизонтальных) отношений.

Разумеется, после 1945 г. в Восточной Азии за место регионального центра-гегемона боролись по крайней мере две державы — Советский Союз и Соединенные Штаты. Однако подобный центр в АТР так и не возник — не столько из-за ошибок «верха» (лидеров), сколько в силу объективного отсутствия «низа» — более или менее многочисленной группы слабых стран, которые были бы способны и согласны стать опорой общерегиональной иерархической структуры, построенной по типу европейских⁷.

Стоит указать на многозначительное противоречие. Европейская политико-интеллектуальная традиция располагает огромным преимуществом в теоретических разработках проблем стабильности. Но ее построения скованы открытиями эпохи конфронтационной стабильности. На Западе только начинается поворот к выявлению подлинной роли динамики в международных отношениях. Исторически более передовая, гибкая и в этом смысле обладающая более обширными возможностями форма динамической стабильности стала складываться в условиях отставания Восточноазиатской подсистемы отношений от Европейской по уровню ее структурной организации. Напрашивается допущение, что сам по себе высокий уровень организации системы не является ключевым условием стабильности и в этом смысле не обязательно должен рассматриваться как приоритет рациональной политики государств.

Структурно неоформленные связи в принципе способны обеспечивать (и, как об этом еще будет говориться, действительно обеспечивают) подчас не меньший амортизирующий эффект, чем тот, который дают отношения, формализованные в блоках типа НАТО, Манильского пакта (СЕАТО) и т.п. Кроме того, они могут быть более гибкими и адекватными региональной обстановке в условиях, как, например, это сложилось в Восточной Азии, когда отсутствует ясно выраженное

и общепризнаваемое представление о потенциальной угрозе. Данное наблюдение подвигает к постановке вопроса о том, что сама структурная неоформленность в действительности может быть просто иным способом самоорганизации — самоорганизации, в которой ключевую роль играют не страны-лидеры, а малые и средние государства, не способные к роли самостоятельных несущих элементов региональной структуры и поэтому обычно воспринимаемые в качестве регионального «фона» или элементов пространства.

Субъектные («лидерские») и объектный («пространственный») типы структур

Анализ литературы показывает, что большинство теоретиков ограничивается рассмотрением субъектной стороны обеспечения стабильности: усилия авторов сконцентрированы на исследовании наиболее мощных субъектов мировой политики. Подразумевается, что эти импульсы и определяют содержание межполюсных отношений. Такой подход представляется оправданным — в той мере, как ясна невозможность прийти к серьезным обобщениям, не отрешившись от малозначимых деталей — например, от учета роли каждого из множества малых и слабых государств. Но сказанное не снимает вопроса о недостаточности субъектного подхода на нынешнем этапе развития мирополитической системы. Этот подход может быть непродуктивным для понимания ситуаций в отдельных регионах, которые (подобно Западной Европе и Восточной Азии) далее других продвинулись по пути пространственной самоорганизации или организации регионального пространства.

Разумеется, противопоставление лидеров пространству во многом условно. Потому что под региональным пространством понимается совокупность всех — основных и второстепенных — участников межгосударственных отношений в рамках того или иного фрагмента мировой системы в их взаимодействии. В системной роли и лидеров, и малых стран имеются как чисто «пространственный» элемент (функция которого — олицетворять политически некую географическую протяженность; быть частью ресурсно-сырьевого ландшафта, культурно-цивилизационным компонентом или фактором регионального общественно-политического мнения), так и активная составляющая.

Разница между лидером и аутсайдером определяется соотношением «фонового» и «творческого» начал во внешней политике каждого из них. И в той мере, как у одних преобладает второе, их условно можно имено-

вать лидерами. Множество же разрозненных аутсайдеров по той же логике образует окружение, которое предпочтительнее (с уже поясненной долей условности) называть пространством, «фоном» или «средой».

Под «типичным» лидером здесь понимается государство, обнаруживающее объективную способность и выраженную волю, во-первых, навязывать свое видение перспективы международного развития, оптимальных способов обеспечения мира и стабильности другим странам, сообществу государств в целом или какой-то его части; во-вторых, противостоять аналогичным устремлениям других лидеров или игнорировать их, не подрывая при этом основы собственной выживаемости в политическом и страновом качестве. Сообразно тому, тип отношений, построенных на преобладании лидеров при почти ничтожном значении остальных, «фоновых» стран, именуется «лидерским».

В отличие от него в «пространственной» структуре отношений отдельные полюсы-лидеры почему-либо бывают не в состоянии оказывать определяющее влияние на положение дел, а степень организованности «фоновых» стран, составляющих региональное пространство, приближается к уровню, когда сопротивление этого пространства может нейтрализовать импульсы со стороны одного, наиболее мощного полюса или всех полюсов в отдельности. *Иными словами, под «пространственной» понимается структура отношений, для которой характерна относительно высокая «плотность» регионального пространства, проявляющаяся в способности малых и средних стран выступать в роли «коллективного лидера» и более или менее эффективно влиять на состояние региональной ситуации, как непосредственно, так и через воздействие на отношения между самими лидерами.*

Далее для целей конкретного анализа стоит ввести и понятие «типичное лидерское поведение», основными характеристиками которого, очевидно, являются: тяготение к принятию односторонних решений при минимальном их согласовании с партнерами и союзниками [1]; инициативный, «опережающий», преимущественно наступательный курс в области военно-политической стратегии и дипломатии [2]; стремление расширить участие и повысить свое влияние в мирополитических процессах, убедить или заставить международное сообщество «считаться с собой» [3]; склонность к мессианству (политическому, культурному, экономическому) [4].

Конечно, лидеры и пространство неодинаково могут влиять на ситуацию. Всегда существовал разрыв в функциях, которые выполняли в межгосударственных системах лидеры и все остальные государства. Первые фактически направляли или пытались направлять развитие систем, а вторые оставались более или менее безликой массой, как пра-

вило, заполнявшей географические и/или политические ниши между основными игроками. В той же мере, как практически все описанные до сих пор системы отношений строились на бесспорном преобладании разного, но всегда жестко ограниченного круга наиболее сильных государств, они и могут именоваться лидерскими.

Лидерскими были все системы международных отношений, которые возникали и разрушались со времени возникновения Вестфальского порядка в 1648 г.⁸ до разрушения Ялтинско-Потсдамского в 1991 г.⁹ Не удивительно, что и аналитики истории и теории международных отношений склонны абсолютизировать субъектный подход. Тем не менее приходится констатировать, что субъектный подход к изучению стабильности выводит из круга научных интересов проблему пространства — среды, в которой реализуются исходные межполюсные импульсы, которую они «пронизывают» — пронизывают, заметим, претерпевая изменения, искажаясь, теряя часть исходного заряда или, напротив, приобретая дополнительную энергию.

Эволюция мировой системы подвигает к тому, чтобы выйти за рамки оперирования категориями только лидерских систем. Обращение к регионоведению в этом смысле может быть продуктивным. Вряд ли можно считать оправданным сохраняющееся в течение десятилетий положение, при котором результаты исследований общего профиля механистически проецируются на регионы, тогда как приложение данных анализа региональных ситуаций к общим процессам остается единичным явлением. Поворот к пониманию недостаточности прежних аналитических схем только оттеняет необходимость обращения «лицом к регионам», опыт которых способен послужить основой обновления общей теории. Как отмечается в одной из западных работ, «понятие “регионализм” целиком захватило американских аналитиков стратегии, когда они впервые осознали, что холодная война закончилась». Стивен Метц резковато, но откровенно назвал этот сдвиг отходом от «грубого и косного» глобализма¹⁰.

Как отмечалось, для анализа региональных ситуаций, в частности, в Восточной Азии целесообразно выделять наряду с системами лидерскими системы пространственные¹¹. Стоит остановиться подробнее на том, что понимается под различиями структур обоих типов. Можно сказать, что полюсные системы преимущественно воплощают тип организации лидерства, тогда как пространственные, опять-таки преимущественно, — тип организации среды. В полюсных — основную стабилизирующую нагрузку выносят жесткие иерархические связи по вертикали; предельно строгоя процедура принятия решений в чрезвычайных ситуациях в НАТО и Варшавском блоке — тому пример¹².

В пространственной — они могут вообще отсутствовать или во всяком случае уступают развитости отношений по горизонтали. В Восточной Азии говорить об иерархизации политических отношений вообще нельзя. Неуместна такая постановка вопроса в отношении Манильского пакта¹³. Об автоматическом подчинении союзнической дисциплине нельзя говорить даже применительно к союзам США с Южной Кореей¹⁴ и Японией¹⁵.

В той мере, как для лидерских структур типично подчинение сильному, в них укоренены традиции поисков союзников. За спутников конкурируют, поскольку мобилизационный контроль над спутником (т.е. возможность мобилизовать в своих интересах принадлежащие ему ресурсы, в том числе геополитические) считается важнейшим условием прочности позиций лидера-полюса.

Разнятся и преобладающие в лидерских и пространственной структурах типы взаимоотношений. В первых преобладает линейный: мощные полюса как бы заранее запрограммированы на излучение прямых адресных сигналов — в первую очередь, другим полюсам-соперниками. Отсыл косвенного сигнала, конечно, возможен и практикуется. Но он не становится для полюса преобладающей формой общения, так как систематическое воздержание от прямых линейных связей может быть воспринято как признак слабости полюса и может привести к нежелательным результатам. Чаще наоборот, полюсы «блефуют», злоупотребляя линейностью в стремлении подчеркнуть свою высокую самооценку (СССР и США в отношениях друг с другом — систематически, особенно с 1946 по 1962 г.).

В пространственной структуре преобладающим выступает не линейный, а *опоясывающий* тип связей. Не ощущая твердой (договорно-правовой, структурно зафиксированной) опоры, государства предпочитают или вынуждены больше полагаться на косвенное взаимодействие с более сильными партнерами, на учет неопределенного числа потенциальных противодействующих сил и возможных партнеров — при этом тоже колеблющихся, настороженных и стремящихся избежать четко определенных обязательств. Так, вплоть до начала 1980-х годов пыталась продвинуться к решению Курильской проблемы Япония. Похожим путем страны АСЕАН в 1970–1980-х годах стремились решить проблему Кампучии, а в начале 1990-х годов стали искать путь к опосредованному воздействию на пугающий их Китай. Да и сегодня подготовка диалога по безопасности в Восточной Азии ведется не напрямую, между наиболее сильными державами, а «окаинно», косвенно — через обсуждение проблем безопасности прежде всего с малыми странами и через переговоры малых стран между собой.

Разнятся и типы формулирования внешнеполитических задач. Для лидерских, как уже отмечалось, важен контроль, прежде всего прямой, мобилизационный. Так, Россия не изжила стремления сохранить в его пределах такие отделенные и, по-видимому, все равно бесперспективные территории, как Таджикистан. Германия, из опасений упустить шанс легкого проникновения в республики севера бывшей СФРЮ, форсировала ее разрушение. Греция, Албания, Болгария, Сербия и собственно Македония, претендуя с равно сомнительными основаниями на целый ряд спорных территорий, приближаются к предельной черте, за которой может оказаться неизбежным новый конфликт.

В пространственной структуре преобладает борьба за влияние. Через влияние на США и повышение своей роли в японо-американском союзе за 50 лет Япония продвинулась к статусу «почти великой» державы, при этом не посягая на прямой контроль над какими-либо территориями, кроме крошечных четырех островов у побережья Хоккайдо, обладание которыми для Токио носит символический характер. Вдоль этой же оси сориентированы усилия стран АСЕАН, которые добивались и добились расширения своих возможностей регулировать политико-военную обстановку в своем регионе не собственными усилиями, а через воздействие на Вашингтон, Токио, Канберру, а в последнее время — и Москву.

Лидерские системы составляют по-прежнему костяк мировой структуры и опоры международной стабильности. Было бы неразумно принижать их значение. Но они перестают быть универсальной моделью отношений для всех регионов мира. В каком-то смысле они начинают устаревать морально, обнаруживая свои слабости и приближаясь к пределам заложенных в них колоссальных (как мы видим на примере России), но не безграничных запасов прочности.

Возникновение «пространственной» структуры в Восточной Азии вряд ли можно объяснить только типичным для западной и советско-российской литературы указанием на ослабление традиционных мировых лидеров¹⁶. Не кажется исчерпывающим и более развернутое объяснение взаимосвязей между ослаблением одних лидеров и возвышением других, предложенное Полом Кеннеди в его эпическом труде на тему великодержавия¹⁷. Материалы самого П. Кеннеди иллюстрируют не столько процесс упадка могущества мировых полюсов, сколько его относительный характер¹⁸. Речь ведется фактически о подтягивании более слабых лидеров к более сильным.

Ч. Доран, специально занимавшийся сопоставительным аспектом понятия «могущество», на большом фактическом материале и математически обработанной статистике привел в своем исследовании достаточно убедительных аргументов в пользу относительного характе-

ра ослабления позиций лидеров при сохранении ими преобладающих абсолютных позиций¹⁹. «Упадок США — это относительный феномен, более связанный с тем, что другие государства оказались способными достигнуть, особенно в Азии, чем с экстенсивным (и постоянным) разрушением экономической или военной мощи США», — пишет он²⁰.

По-видимому, в ключе такой интерпретации и следует рассматривать интересующий нас феномен возникновения наряду с лидерскими структурами отношений пространственных: в его основе не столько ослабление лидеров, сколько консолидация пространства и, как следствие, *неспособность лидеров сохранять традиционный тип мобилизационного контроля над ним*. Интерес к выявлению роли пространства, строго говоря, подразумевается и в многочисленных в литературе и публицистике построениях на тему демократизации международных отношений. В задачи этой работы не входит их разбор. Важнее предложить структурное обоснование необходимости выйти за рамки анализа лидерства.

Имеется в виду, что при всей основополагающей значимости полюсов и исходящих от них импульсов ситуация в том или ином регионе зависит не только от самих этих импульсов (их силы и направленности), но и от того, как эти импульсы преломляются региональной средой, через которую они должны пройти, чтобы достигнуть адресата. Местная международно-политическая среда выступает в качестве передаточного звена или канала информации. Эта среда может быть разреженной, проницаемой, или, наоборот, плотной, концентрированной. В первом случае межполюсные импульсы пронизывают среду, почти не меняясь или меняясь незначительно, и классический субъектный подход оказывается более корректным. Во втором — пространство может играть существенную корректирующую роль, само по себе приобретая черты субъектности.

В ряде случаев «помехами в канале» межполюсного обмена можно пренебречь. В других — игнорирование роли пространства способно привести к ошибочным интерпретациям. Основная сложность здесь в том, чтобы уловить момент, когда региональная среда из разреженной начинает превращаться в плотную, чтобы со временем претендовать на роль большую, чем та, которую выполняет обычная проницаемая мембрана. Иными словами, задача — в определении момента возможного (но не обязательного) перерастания отдельных элементов пространства или пространства в целом из объектного состояния в субъектное.

Так, Китайская Народная Республика, и в США, и в СССР воспринимавшаяся в 1940-х и 1950-х годах как элемент проницаемой (для СССР) политико-стратегической среды²¹, с начала 1960-х годов резко поменяла свою структурную роль. Подобным же образом страны, объединившиеся впоследствии в АСЕАН, в первые послевоенные де-

сятилетия не могли оказывать даже слабое «преобразующее» влияние на междержавные импульсы, а к началу 1990-х сделали заявку на роль регионального пространства такой плотности, что его сопротивление может блокировать общерегиональные стратегические начинания — что на практике и происходило неоднократно на протяжении 1970-х и 1980-х годов, когда государства АСЕАН заблокировали создание военно-политического «тихоокеанского сообщества».

Обозначив различия между лидерскими и пространственными системами, важно оговорить их соотношение с ключевыми для этой работы понятиями динамической и статической стабильности. Заметим, что такие характеристики, как «лидерская» или «пространственная», применительно к системам межгосударственных отношений указывают на тип генерирования движущих импульсов, моментов движения системы. В отличие от них определения «статический» и «динамический» в приложении к типу обеспечения стабильности выражают не столько исходный момент, сколько способ самоадаптации системы к противоречиям, возникающим в процессе ее развития. Иначе говоря, «лидерство» и «пространственность» характеризуют источник направляющих или корректирующих толчков, а «динамичность» и «статичность» — процесс их самопреобразования в конкретные отношения.

На первый взгляд опыт дает основания думать, что лидерские системы отношений тяготеют к статическим формам стабильности. Вероятно, это в реальности так и было — однако только на уровне многосторонних отношений. На двустороннем — сегодня мы видим, как минимум, два случая (отношения США с Японией и России с Украиной), в которых сочетается лидерский тип отношений с их пребыванием в динамической стабильности. Следовательно, корректнее было бы постулировать, что лидерский тип самоорганизации систем может сочетаться как со статическими, так и с динамическими видами стабильности.

Меньше ясности в вопросе о пространственных структурах — возможно, в силу незавершенности процесса их складывания и связанной с этим ограниченностью эмпирического материала. По-видимому, можно считать фактом, что Восточноазиатская подсистема, тяготеющая к самоорганизации по пространственному типу, реально развивается по модели динамической стабильности. Но значит ли это, что пространственный тип системы несовместим со стабильностью статической? Для однозначного ответа на этот вопрос оснований пока нет.

Можно только предположить, что динамическая стабильность способна более органично сочетаться с пространственными системами. Типологически они кажутся более сходными между собой, поскольку та и другие акцентируют роль системных регуляторов и принижают

роль волевых. Имеется в виду, что состояние динамической стабильности возникает как результат не просто взаимодействия двух политических волей — скажем, страха одного лидера перед более сильным соперником, — но их общего признания отсутствия рациональной возможности пожертвовать объединяющими обе стороны интересами. Аналогично в пространственном типе системы движущие импульсы исходят не столько непосредственно от отдельных центров, сколько от их формальных и неформальных взаимодействий. Роль «индивидуальных волей», как видно, в этом случае, условно говоря, принижается.

Сказанное, однако, пока остается теоретическим допущением. В реальности имеется возможность наблюдать пока одну «живую» и «работающую» систему — восточноазиатскую, которая тяготеет к самотрансформации в пространственную, развиваясь при этом по принципу динамической стабильности.

Помимо пространственной структуры, которая вырисовывается в Восточной Азии, таковой можно было бы считать, строго говоря, подсистему трансатлантических американо-западноевропейских отношений, не будь ее выделение из общего комплекса внутриазиатских отношений слишком искусственным. Возможно, в отдаленной перспективе предпосылки для пространственной организации региональной структуры возникнут на Арабском Востоке.

В чем теоретический и практический смысл предлагаемых классификаций? В том, что вырисовывающаяся в Восточной Азии структура отношений не укладывается в понятия многополярности или биполярности, поскольку для региональной стабильности и безопасности сегодня ключевыми являются не столько отношения между лидерами-полюсами (США, Россией, Китаем и Японией), сколько отношения между одной крупной державой — КНР — и рядом более мелких государств, ни одно из которых не в состоянии претендовать на роль полюса в одиночку и которые все вместе тоже не могут рассматриваться даже как рудиментарный региональный полюс. Та структура, которая складывается в Восточной Азии, построена вокруг контролируемого противостояния ревизионистского лидера, Китая, и неперсонифицированного регионального пространства в целом, основное структурообразующее звено которого — малые и средние страны.

Постановка проблемы в плоскость отношений «лидер — пространство» позволяет задаться далеко не академическим вопросом о мере структурной заданности стабильности в Восточной Азии. Иными словами, насколько отсутствие или наличие споров и конфликтов в регионе и, что особенно важно, характер их протекания были об-

условлены более или менее случайным набором обстоятельств, а насколько это зависело от особенностей региональной структуры.

В лидерских структурах основным фактором, придающим отношениям устойчивость, являются, как правило, формализованные межгосударственные обязательства в форме союзов, коалиций и блоков. Отношения между ними и в их рамках представляют собой строго заданные каналы диалога по вопросам стабильности. Как показывает опыт, такой механизм стабилизации эффективен в условиях поляризации сил в мире или регионе, когда роль «фоновых» государств остается очень малой (Ялтинско-Потсдамский порядок).

В случае становления пространственной структуры, с типичной для нее ослабленной формализованностью связей, роль нормативных каналов диалога существенно ниже, а сам диалог менее эффективен. Центр тяжести стабилизирующих усилий смещается в область «точечных» урегулирований конкретных, субрегионально- или даже локально-специфических проблем. В результате складывается не новая региональная структура сдерживания возникающих или устранения старых нестабильностей (как диалог НАТО — ОВД в Европе), а, скорее, негласно признаваемые и более или менее строго соблюдаемые правила международного поведения в интересах «кодификации» конфликтов. Последние при этом встраиваются в такие рамки, при которых, с одной стороны, несогласные стороны продолжают сохранять возможность взаимного выяснения отношений на основе «традиционного», т.е. доступного их уровню политико-культурной организации, инструментария внешнеполитической борьбы; с другой — конфликт спорящих не имеет возможности излиться в окружающее (и в этом случае «уплотняющееся» против него) международно-политическое пространство в такой мере, чтобы представлять угрозу для существования региональной структуры в целом.

В рамках политической рефлексии, воспитанной на Ялтинско-Потсдамском стандарте, такой тип стабилизации может казаться недостаточно гуманным и не радикальным. Но представляется, что он воплощает иную (культурно-цивилизационно и геополитически мотивированную) тактику продвижения к предупреждению «большой войны», не через попытки устранить неустранимое — множественные территориальные, этнические и иные конфликты и противоречия в условиях «запаздывающего» социально-культурного развития азиатских регионов, — а через постепенное наращивание потенциала позитивных, прагматических, взаимоперекрещивающихся интересов, в том числе и интересов конфликтующих сторон в отношении окружающей среды и друг друга. В долгосрочной перспективе (и, возможно, не только в Азии) такой тип стабилизации может быть не менее результативным, чем он оказался в АТР.

Наконец, постановка проблемы «уплотняющегося» пространства как равноценного элемента структуры стабильности позволяет внести больше ясности в вопрос о рациональных параметрах самоидентификации восточноазиатских государств. Опыт показывает, что «исторические комплексы неполноценности» молодых государств давно уже стали большой проблемой, затрудняющей выработку решений по упрочению стабильности. В Восточной Азии претензии на «восстановление утраченного» присущи малым государствам (от Кореи и Вьетнама до Таиланда и Индонезии) ничуть не меньше, чем Китаю. Между тем, за исключением КНР, Японии и России, ни одно из государств Тихоокеанской Азии не способно играть роль чего-то иного, кроме элемента «пространства». Для региональной подсистемы не безразлично, к какой функции будут тяготеть эти страны и как они будут формулировать свои задачи — исходя из ориентации на амбициозную и сомнительную цель превращения в мини-центр силы или выбирая менее броскую, но не менее эффективную роль передающего звена, активного и влиятельного настолько, чтобы корректировать с учетом своих интересов те мощные межполюсные импульсы, подобных которым само оно производить не в состоянии.

Тем важнее — теоретически и практически — осмыслить предпосылки, историю и особенности *становления восточноазиатской структуры стабильности как структуры преимущественно пространственной*, а значит, способной обладать еще не вполне понятыми функциональными возможностями; проанализировать международные отношения в Восточной Азии не как сумму внешних политик больших и малых государств, а как пространственную структуру, в рамках которой четко различимо стремление к некоей не поддающейся пока точному определению коллективной субъектности.

Примечания

¹ Типичны в этом смысле заслуживающие в целом безусловно положительной оценки работы видного российского японоведа Д. В. Петрова или его американского коллеги Д. Загории (*Петров Д. В.* Япония в мировой политике. М.: Международные отношения, 1973; *Zagoria D.* (ed.). *Soviet Policy in East Asia*. New Haven; L.: Yale University Press, 1992) и др.

² Этот упрек автор адресует и себе. См. также работы С. В. Солодовника, одного из серьезных авторов «ревизионистского» направления, тяготеющего, однако, к малым аналитическим формам.

³ *World View*. The 1994 Strategic Assessment from the Strategic Studies Institute. Special Report / Ed. by Steven K. Metz, Earl H. Tilford, Jr. // Carlisle Barrack. 1994. April 15. P. 11–13. Вероятно, закономерно, что среди авторов этой работы — уже упоминавшийся Т. Уилборн, один из немногих носителей концепции ди-

намической стабильности и, кажется, пока единственный таковой среди американских экспертов по Восточной Азии.

⁴ *Wilborn T.* Stability, Security Structures and US Policy in East Asia and the Pacific. [б/м]: Strategic studies Institute. Army War College. 1993. 24 March. P. 6.

⁵ *Cooper R.* Op. cit. P. 9–10.

⁶ *Алтухов В.* О смене порядков в мировом общественном развитии // Мировая экономика и международные отношения. 1995. № 4. С. 6.

⁷ В этой связи чрезвычайно любопытным кажется психологический контраст между европейским и ориентальным мышлением, на который указал блестящий американский востоковед Густав фон Грюнебаум, заметивший, что европейцев в философско-концептуальных построениях, как правило, тревожит незавершенность, бессистемность, а жителей Востока — напротив, удивляет упорядоченность и регулярность. Для ортодоксального представителя восточной традиции в принципе неприемлем порядок, так как сама идея рукотворного порядка может предполагать, что порядок может ограничивать и волю Всевышнего, что почти инстинктивно отвергается традиционным восточным сознанием. См.: *Грюнебаум Г. Э.*, фон. О понятии и значении классицизма в культуре // Основные черты арабо-мусульманской культуры. Статьи разных лет. М.: Наука, 1981. С. 215–216.

⁸ Л. Миллер, как представляется, расширительно интерпретируя принципиальное содержание Вестфальского порядка как *«laissez-faire»* вообще, полагает, что в основных своих параметрах он сохранился до Второй мировой войны. Он ставит вопрос о существовании «Вестфальского порядка как глобальной системы». См.: *Miller L. H.* Global Order. Values and Power in International Politics. Boulder; San Francisco; Oxford: Westview Press, 1994. P. 29, 43, 62.

⁹ Распаду Ялтинско-Потсдамского порядка посвящена наша работа. См.: *Богатуров А. Д.* Кризис миротворческого регулирования // Международная жизнь. 1993. № 7.

¹⁰ *Metz S. K.* Transregional Security Concerns // World View: the 1994 Strategic Assessment from Strategic Studies Institute / Ed. by S. K. Metz and E. Tilford, Jr. Strategic Studies Institute Special Report. April 15, 1994. P. 3.

¹¹ Западноевропейская подсистема может казаться лидерской, скорее, на первый взгляд: в том, что костяк ее составляют страны, которые привычно называть лидерами, совпадения больше, чем чего-то другого.

¹² См. текст Североатлантического договора, по которому участники признают, что «вооруженное нападение на одного или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них на всех» («an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all») [ст. 5] // Documents on American Foreign Relations. 1949. Vol. XI. January 1 — December 31. Princeton: Princeton University Press, 1950. P. 613.

При такой формулировке договор мог вступать в силу без дублирующих согласований или дополнительных санкций законодательных органов стран-участниц, например сената США. В случае же конфликтов, не затрагивающих национальную территорию государств, такие согласования, как правило, были совершенно необходимым предварительным условием направления войск за

рубеж для начала боевых действий. Для сравнения: в тексте Варшавского договора положений, аналогичных формулировкам ст. 5 договора НАТО, не было. Но с учетом монополизации политических решений в политбюро правящих коммунистических партий в социалистических странах ее и не требовалось.

¹³ В тексте Манильского пакта содержится существенно более мягкая формулировка, не сравнимая с имеющейся в договоре НАТО.

¹⁴ Текст американо-южнокорейского договора см.: *Dynamics of World Power. Documental History of the US Foreign Policy. 1945–1973. Vol. 4. The Far East.* N.Y.: Chelsea House, 1973. P. 425–426.

¹⁵ Тексты американо-японских договоров 1951 и 1960 гг. см.: *Вербицкий С. И. Японо-американский военно-политический союз (1951–1970).* М.: Наука, 1972. С. 271–275. Комментарии к его заключению содержатся в той же работе С. И. Вербицкого. Вопрос о перспективах «включения» этого договора в современных условиях обсуждается в одной из наших публикаций. См.: *Богатуров А. Д. Японо-американские отношения: противоречия в рамках консенсуса // Япония 1990. Ежегодник.* М.: Наука, 1991. С. 45–58.

¹⁶ *Кокошин А. А. О буржуазных прогнозах развития международных отношений.* М.: Международные отношения, 1978; *Лукин В. П. Центры силы. Концепции и реальность.* М.: Наука, 1983. Из этапных западных работ на эту тему, помимо уже упоминавшейся книги П. Кеннеди, см.: *Nye J. S. Bound to Lead; а также статью того же автора: What New World Order? // Foreign Affairs.* Spring, 1992. Vol. 71. No 2.

¹⁷ *Kennedy P.* Op. cit. Пожалуй, любопытно, что по прочтении этой в самом деле впечатляющей и, несомненно, блистательно написанной работы остается стойкое впечатление, что автор задумывал ее главным образом как эпическую попытку исторической систематизации пяти последних веков. Между тем рецензенты работы, выхватив из всей «эпопеи» Кеннеди всего один (заключительный) сюжет — возможно, наиболее доступный для журналистского понимания в силу своей приближенности к современности, — фактически осуществили своего рода «перекодировку» смысла всей книги, сведя его к, в сущности, банальному прогнозу междержавных соотношений в XXI в. Сегодня эта книга, к сожалению, в основном так и воспринимается читателями. Возможно, по-своему характерно и то, что сам автор этого труда, ставшего национальным бестселлером, так никогда и не высказался против столь очевидного, как представляется, обеднения смысла проделанной им работы.

¹⁸ См. подробнее гл. 8 книги П. Кеннеди (С. 438–536).

¹⁹ *Doran Ch.* Op. cit. P. 13–14, 18–21.

²⁰ *Ibid.* P. 10.

²¹ Несмотря на, казалось бы, достаточную изученность этого вопроса, продолжают выходить работы на эту тему. С точки зрения новейших американских оценок истории вопроса интересна работа патриарха американского китаеведения Р. Скалапино. См.: *Scalapino R. The China Policy of Russia and Asian Security in the 1990s // East Asian Security in the Post-Cold War Era / Ed. by Sheldon W. Simon. Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1993. P. 148–166.*

Глава 27

.....

Россия в глобальной политике*

Этап развития государственности России после распада СССР в декабре 1991 г. совпал с глубокими изменениями в системе международных отношений. *Во-первых*, произошли *принципиальные* сдвиги в характере отношений между государствами бывшего политического Востока и бывшего политического Запада — вектор противостояния, систематическая конфронтация прежних «социалистических» и «капиталистических» стран сменились на их ориентацию на взаимное сотрудничество. Характер и содержание этого сотрудничества отражали новое соотношение потенциалов и позиций между важнейшими участниками международных отношений, а его условия не всегда оптимально соответствовали российским интересам.

Во-вторых, произошли крупные изменения в состоянии международно-политической среды. Отношения между участниками международных отношений стали обретать новое качество, позволившее говорить о трансформации традиционных *международных отношений в мировую политику* (см. ниже).

В-третьих, в силу политических реформ в России изменился процесс формирования российской внешней политики, расширился круг субъектов, которые стали принимать в нем участие. Эти изменения наложились на вызванное распадом СССР сокращение внешнеполитических ресурсов Российской Федерации — совокупного потенциала средств, которыми она могла распоряжаться в интересах проведения международно-политической линии. Внутри Федерации по принципиальным вопросам внешней политики разворачивалась напряженная идейно-политическая борьба.

Российской дипломатии приходилось работать в сложной международной обстановке, неблагоприятной для России. Ослабление ее международных позиций по сравнению с бывшим Советским Союзом, «несущей конструкцией» которого она являлась, осложнило отстаивание национального интереса. Наиболее трудным и драматичным периодом были для России 1990-е годы (руководство президента Б. Н. Ельцина, 1991–1999 гг.). Это было время деградации международно-политических позиций и статуса страны в международных от-

* Ранее не публиковалось. Рукопись.

ношениях. В последующие годы начался период стабилизации места Российской Федерации в мировых процессах, системы ее внешних связей, выравнивания роли в ключевых органах международного регулирования (президентство В. В. Путина, 2000–2008 гг. и 2012 г. — по настоящее время; президентство Д. А. Медведева, 2008–2012 гг.).

Распад биполярной структуры

Под *биполярной* структурой международных отношений, сложившихся в мире после Второй мировой войны (1939–1945), понимается тип международных отношений, для которого был характерен *резкий отрыв всего двух держав мира (Советского Союза и США) от остальных стран по совокупности своих геополитических, военных, экономических и прочих возможностей, а также потенциалам идеологического воздействия*. Наличие этого отрыва было очевидно после мировой войны, и он был закреплен в последующие десятилетия. Биполярность означала появление «сверхдержав», вокруг которых сформировались два военно-политических блока — НАТО под руководством США и Организация Варшавского договора, в которой лидировал Советский Союз.

Появление биполярности не означало симметричного равенства двух блоков. В военно-политической области между СССР и США ко второй половине 1970-х годов сложилось приблизительное равенство возможностей. Но в экономическом отношении блок западных стран превосходил СССР и социалистические страны. Между двумя блоками в 1940–1950-х годах сложились конкурентные, периодически крайне враждебные отношения. Пиком противостояния СССР и США был Карибский кризис 1962 г., едва не вылившийся в ядерный конфликт между Советским Союзом и Соединенными Штатами.

На фоне биполярности в 1945–1991 гг. в международных отношениях существовал Ялтинско-Потсдамский порядок. Он получил наименование по двум конференциям руководителей трех держав антигитлеровской коалиции (СССР, США и Великобритании) в 1945 г. в Ялте (СССР) и Потсдаме (оккупированная Германия), на которых были согласованы подходы союзных стран к послевоенному урегулированию. Ялтинско-Потсдамский порядок обладал рядом особенностей. *Во-первых*, он был биполярным и конфронтационным. *Во-вторых*, он складывался на фоне распространения ядерного оружия в узком кругу наиболее мощных держав. Взаимно опасаясь ядерного нападения, пять ядерных держав мира (США приобрели ядерное оружие в 1945 г., СССР — в 1949 г., Великобритания — в 1952 г., Франция — в 1960 г.,

Китай — в 1964 г.) за несколько десятилетий научились проявлять в отношениях друг с другом осторожность благодаря которой между ними не было ни одного крупного вооруженного конфликта.

В-третьих, Ялтинско-Потсдамский порядок был построен на идеологической конфронтации. СССР и США приписывали друг другу злое намерение, подозревая соперника в стремлении развязать войну ради установления мирового господства. Идеологизация мешала процессам международного сотрудничества.

В-четвертых, Ялтинско-Потсдамский порядок не имел надежной юридической базы. Он не был основан на общем мирном договоре. Договоренности США, СССР и Британии в Ялте и Потсдаме носили характер предварительных. Они не были оформлены в виде официальных документов, подлежащих ратификации. Международные отношения в рамках порядка регулировались не столько общепризнанными правовыми установлениями, сколько соображениями целесообразности мировых держав и соотношением их потенциалов.

Биполярная конфронтация СССР и США завершилась гибелью Советского Союза. Экономически он был слабее западных стран, а его системы препятствовали внедрению экономических и научно-технических инноваций в хозяйство. Западные государства смогли вовлечь СССР в гонку вооружений, в ходе которой к середине 1980-х годов ресурсы СССР были подорваны. На этом фоне СССР оказался в состоянии внутреннего кризиса и осенью 1991 г. распался.

Российская Федерация стала независимым государством наряду с 14 другими бывшими союзными республиками СССР. В декабре 1991 г. 11 из них, в том числе Россия, образовали новое межгосударственное объединение — Содружество Независимых Государств. Латвия, Литва, Эстония и Грузия в него не вошли. Позже, в 1993–2009 гг., Грузия была членом СНГ. Украина подписала договор, но не ратифицировала его документы. Туркмения не ратифицировала устав СНГ.

С распадом СССР перестала существовать биполярная структура международных отношений. Самоуничтожение Советского Союза ликвидировало идеологическую альтернативу, которой на протяжении большей части XX в. являлся «социалистический мир».

От международных отношений к мировой политике

Распад биполярности лишил смысла противостояние Москвы и Вашингтона, а самороспуск ОВД летом 1991 г. ликвидировал основы конфронтации блоков. В международных отношениях исчезло

политико-идеологическое разделение на Восток и Запад. Основными идеями новой эпохи стали сотрудничество, сближение и интеграция. В 1993 г. администрация У. Клинтона в США провозгласила концепцию «расширения демократии», в соответствии с которой Вашингтон принял на себя задачу содействовать бывшим социалистическим странам, включая Россию, в деле проведения внутренних либеральных и демократических реформ. Хотя концепция «расширения демократии» относилась и к России, она была ориентирована на малые и средние страны бывшего ОВД. Проведение реформ должно было подготовить восточноевропейские страны к сотрудничеству с западными странами.

Переход от конфронтации к сотрудничеству в отношениях между Востоком и Западом способствовал распространению западных стандартов, гражданских и личных свобод, потребления, быта, идеалов и ценностей на бывшие социалистические страны. Принятие странами бывшего политического Востока, в том числе Россией, западных стандартов создало предпосылки для активизации процессов унификации норм поведения государств и правительств в сфере международных отношений, внутренней политики и экономики. США, государства Западной Европы и международные объединения стали вмешиваться в вопросы политического управления и хозяйственной жизни бывших социалистических стран с согласия их правительств. Эта практика становилась устойчивой, превращаясь в норму жизни. *Стала разрушаться остававшаяся непроницаемой грань между международными отношениями и внутренней политикой.*

Тенденция наложилась на процесс, развивавшийся в международных отношениях с середины 70-х годов XX в. и состоявший в размывании монополии государств на роль единственного субъекта международных отношений. Наряду с государствами участниками международных отношений стали выступать транснациональные корпорации (ТНК). Поколеблен был принцип суверенности государства.

На роль участников международных отношений претендовали международные организации, политические, экологические, правозащитные, культурные, национальные и прочие движения, межстрановые группы по интересам. Субъектами международных отношений провозглашали себя отдельные граждане, ряд которых мог играть такую роль (положительную, как М. С. Горбачев, А. Д. Сахаров, или отрицательную, как Усама бен Ладен).

В начале XXI в. о себе заявили транснациональные организованные преступные группы, занимающиеся производством и сбытом

наркотиков, а также международным терроризмом. Новый тип влиятельных субъектов международных отношений составили субъекты *дисперсного типа*, т.е. «рассредоточенные субъекты», сферу, страну принадлежности или точку базирования которых невозможно определить ввиду ее рассеянного характера. Такими субъектами к середине первого десятилетия XX в. стали транснациональные финансовые сети и международные отношения в целом, а также структуры международного терроризма и наркобизнеса. Организация этого типа субъектов имеет сетевую структуру и представляет собой совокупность взаимосвязанных «ячеек». Обнаружить «руководящее звено» субъектов такого типа крайне трудно, так как оно способно мигрировать по сети. Такая сеть может оказывать воздействие на государства извне и изнутри.

Совокупность факторов определила *трансформацию международных отношений как отношений между государствами по поводу их действий в отношении друг друга в мировую политику — сферу политических взаимодействий между «старыми» и «новыми» субъектами взаимодействия по поводу их поведения в отношении друг друга и действий в отношении собственных народов и граждан.*

В начале XXI в. в международном сообществе стали сосуществовать две разные концепции поведения и порядка. Одна из них, *либеральная*, исходила из устаревания государственного суверенитета стран и права сообщества свободно вмешиваться во внутренние дела суверенных государств в случае нарушения ими «общепризнанных норм» поведения (неуважения к правам человека или оказания поддержки международному терроризму). Инструментом регулирования политики либеральная школа признала *гуманитарные интервенции*.

Реалистическая школа политологии продолжала признавать суверенитет государств незыблемым, основополагающим принципом международного общения, который не может нарушаться иначе как в чрезвычайном порядке и с санкции верховного органа международного урегулирования, каковым признается ООН. В понимании этой школы посягательство на суверенитет рассматривается как *агрессия*.

В 1990-х годах Российская Федерация тяготела к признанию либеральной версии. В целом она соглашалась с практикой проведения гуманитарных интервенций — на территории бывшей Югославии в 1995–1996 гг. и 1999 г. В 2003 г. во время войны США и Британии против Ирака руководство России стало высказываться в духе реалистической школы, отстаивая принцип незыблемости государственного суверенитета.

Внешнеполитический процесс и внешнеполитический ресурс России

С одной стороны, распад Союза объективно ослабил основания для конфронтации между Россией и Западом. С другой — он лишил ее возможности говорить с западными странами с позиций сопоставимости возможностей.

Руководство Российской Федерации заявило о поддержке выбора в пользу развития страны по демократическому пути. Цель построения соответствующего общества зафиксирована в российской Конституции. В сфере внешней политики появление новых ориентиров предопределило переход к более плюралистичной модели государственного устройства. В стране была создана обычная бюрократическая вертикаль развития внешней политики, замкнутая на президента, который, согласно Конституции, формирует внешнюю политику Российской Федерации. Хотя министр иностранных дел РФ входит в состав кабинета министров России, Министерство иностранных дел подчиняется президенту и Администрации президента, а не главе российского правительства.

Помимо президентских структур, влияние на принятие внешнеполитических решений оказывают палаты Федерального собрания РФ и их комитеты и комиссии (по международным делам, обороне и безопасности, связям с соотечественниками, бюджетным вопросам). При формировании кабинета Собрание утверждает кандидатуру министра иностранных дел, которую предлагает президент. Комиссии Федерального собрания обсуждают и утверждают кандидатуры послов РФ, назначаемых в другие государства.

Межведомственная координация внешнеполитических решений производится в рамках Совета безопасности — совещательного органа при президенте России. В Совет, который возглавляется президентом, наряду с главой правительства и министром иностранных дел по должности входят руководители силовых структур, палат Федерального собрания и ряда важнейших министерств и государственных комитетов. Совет безопасности играет роль трибуны для заявления в сфере внешней политики интересов военно-силовых структур, полномочия которых уменьшились после 1991 г. в результате мер по демократизации силовых структур и укрепления гражданского контроля над вооруженными силами и военными.

Помимо официальных механизмов влияния на внешнеполитический процесс, в России сложилась система неформального воздействия на принятие конкретных решений по внешнеполитическим вопросам. Наиболее мощными субъектами лоббистской деятельности являются

деловые круги — крупнейшая газодобывающая корпорация «Газпром», финансово-банковские структуры, нефтяные и металлургические компании, Министерство атомной промышленности. Заметным лоббирующим субъектом стал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — объединение крупнейших представителей российского бизнеса.

В России не принят закон о лоббизме. Отчасти поэтому лоббистская деятельность, практика которой к тому же фактически не имеет под собой законных оснований, не во всех случаях соответствует национальным интересам страны.

По вопросам региональной политики влияние на принятие решений оказывают губернаторы приграничных областей и главы приграничных республик (Приморья, Краснодарского края, Псковской области, северокавказских республик, Карелии и многих других), а также президенты непограничных республик, занимающих ведущие позиции в экспорте природных ресурсов, — Татарии, Башкирии и Якутии. При этом число пограничных областей и краев в России увеличилось в результате превращения бывших союзных республик в независимые государства. Новыми пограничными территориями стали (помимо Краснодарского края и Псковской области) Смоленская, Брянская, Воронежская, Курская, Белгородская, Ростовская, Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Оренбургская, Челябинская, Омская, Новосибирская области и Алтайский край.

Происходило сращивание государственной бюрократии с деловым миром через механизмы личной унии и скрытого участия тех или иных государственных служащих или членов их семей в доходах бизнеса. На внешнюю политику в значительной степени воздействовали руководители семи крупнейших новообразованных банков и корпораций России, оказывавших финансовую поддержку избранию президента и сохранившие доступ к главным центрам принятия политических решений. Крупнейшими лоббистами внешнеполитической сферы были бизнесмены Б. А. Березовский (нефтяное и алюминиевое производства, СМИ), В. А. Гусинский (СМИ), А. Б. Чубайс (электроэнергетика), В. О. Потанин (цветные металлы, никель, СМИ), Р. А. Абрамович (нефть, драгметаллы), О. В. Дерипаска (цветные металлы, алюминий) и М. Б. Ходорковский (нефть). В первой половине 2000-х годов А. Чубайс и В. Потанин вступили в переговоры с правительством и переменяли свою деятельность. Среди лоббистов преобладали представители энергосырьевых отраслей хозяйства, продукция которых составляла в середине 2000-х годов основу экспорта Российской Феде-

рации. Доходы энергосырьевого экспорта играли в определенный момент роль в формировании государственного бюджета. Роль «личного лоббизма» наносила ущерб интересам страны.

На политическую линию оказывали влияние негосударственные средства массовой информации (СМИ); некоторые корпорации сферы телекомпаний превратились в лоббирующие структуры. Российские СМИ находились под влиянием западного общественного мнения. Ввиду изменения структуры саморегулирований и регулирования сферы СМИ большинство телепрограмм, информационных каналов и печатных изданий политического профиля лишились возможности содержать собственные независимые системы обеспечения информацией. В 2000-х годах произошло усиление государственного контроля в сфере СМИ, в результате самостоятельная роль этого субъекта влияния уменьшилась.

Современная внешнеполитическая стратегия Российской Федерации

Эта стратегия формируется под воздействием импульсов, исходящих со стороны официальных и неофициальных источников влияния. Она складывается из четырех элементов:

- 1) официально устанавливаемой очередности и соподчиненности внешнеполитических целей;
- 2) избранного образа действия в сфере внешней политики (силового, несилового, конфронтационного, кооперационного, активного, реактивного);
- 3) совокупности соответствующих тому или иному типу приемов, методов и путей продвижения к целям;
- 4) наличного ресурса для реализации задач, вытекающих из целей.

Официальными документами, определяющими цели России, были: Концепция внешней политики РФ, Концепция национальной безопасности РФ, Военная доктрина РФ и Доктрина информационной безопасности РФ. Принятие этих документов характеризовало изменения в системе внешнеполитических приоритетов России на протяжении первых десяти лет после распада СССР и смены этапов внешней политики страны.

С точки зрения официальных постулатов внешняя политика РФ в 1991–2003 гг. может быть подразделена на два этапа: 1991–1996 и 1976–2003 гг. Для первого этапа был характерен акцент на внутренних пробле-

мах России, проведении демократических преобразований. Ключевой идеей этого этапа было обеспечение благоприятной международной обстановки для успешного проведения внутри России рыночных преобразований и создания демократических институтов. Лучшим средством обеспечения этой обстановки было сочтено сближение подходов России к международным делам с позициями США и стран Западной Европы. Это сближение было осуществлено министром иностранных дел РФ А. В. Козыревым под лозунгом сотрудничества и солидарности России с западными странами в интересах содействия демократизации всех стран мира и вхождения РФ «в цивилизованное сообщество».

В документах отсутствовало упоминание о внешних угрозах безопасности РФ, источником которых считалась незавершенность демократических преобразований в России. Курс «демократической солидарности» вызвал критику внутри России — в стенах Федерального собрания. В 1996 г. А. Козырева на посту министра иностранных дел сменил Е. М. Примаков. Первый этап российской внешней политики закончился.

Для второго этапа был характерен отказ от концепции «демократической солидарности» России с Западом и переход на платформу реалистической концепции национального интереса. Российская внешняя политика исключала конфронтацию с западными странами. Но в период пребывания Е. Примакова на посту министра иностранных дел восточные направления внешних связей России — китайское, индийское, арабо-ближневосточное — приобрели большее значение, чем в период 1991–1995 гг. Заметным стало повышение уровня российско-китайских контактов, их интенсивности и содержательной наполненности. Этот курс не перерос в антизападный крен в российской внешней политике, но стало заметно стремление российских руководителей соотносить сближение с западными странами с соразмерным расширением связей с незападными государствами. В кругах государственников, которые были близки Е. Примакову, циркулировал тезис о «равноприближенности» России и к США, и к Китаю. В 1998 г. ввиду назначения Е. М. Примакова премьер-министром, на посту министра иностранных дел его сменил И. С. Иванов (1998–2004 гг.), в основном сохранивший политическую линию предшественника. В 2004 г. И. Иванова сменил С. В. Лавров, который остается министром и сегодня. С того времени курс на сотрудничество с Западом сосуществует в системе внешнеполитических ориентаций России наряду со стремлением сохранять высокий уровень политического сотрудничества с Китаем. Значение западного направления российской внешней политики остается преобладающим, хотя после 2014 г. подходы российской дипломатии в международных

отношениях стали выдерживаться в национально-государственном патриотическом ключе и включать критику США и ЕС.

Внешнеполитическая линия России строилась на концепции структуры *многополюсного мира (многополярности)*. Эта идея фигурирует в качестве одной из концепций политики РФ 2000 г. При этом представители российского руководства формулируют трактовки этой концепции ограничительно, поясняя, что *многополюсность характеризует перспективу, будущее, тенденцию* развития современных международных отношений.

Ограничителем политики России является сокращение ресурсов для ее проведения. *Во-первых*, новая конфигурация внешних границ страны сделала их неудобными. Россия лишилась преобладающей части Балтийского побережья, завоеванного при правлении Петра Великого, сохранив на Балтике области Санкт-Петербурга и Калининграда. Балтийская Россия утратила территориальное единство, распавшись на северную (Санкт-Петербург) и южную (Калининград) части. При этом Калининградская область оказалась эксклавом, окруженным с трех сторон территориями Литвы и Польши. На юге Россия сохранила небольшой участок северо-восточной части Черноморского побережья от Сочи до Анапы. Его северная часть отошла Украине, а юго-восточная — Грузии.

Во-вторых, ограниченность ассигнований привела к ослаблению позиций в поясе новых границ России с государствами Закавказья и Центральной Азии. Границы с ними не были обустроены, и защищать их от вооруженных террористов и наркоторговцев трудно. Россия оказалась вовлеченной в региональные конфликты на пространстве бывшего СССР (в Приднестровье, Таджикистане, армяно-азербайджанская война из-за Карабаха, конфликты на территории Грузии в Абхазии и Южной Осетии).

В-третьих, РФ потеряла возможность воздействовать на зарубежные государства методами предоставления экономической и военно-экономической помощи.

В-четвертых, глубокий экономический кризис определил зависимость России от внешних заимствований, что позволяло финансовым институтам осуществлять нажим на Москву по вопросам международной политики.

В-пятых, Россия приложила усилия для проведения самостоятельной информационной политики, информационной поддержки внешнеполитических усилий государства и информационно-психологического воздействия на зарубежные страны.

Участие России в органах глобального регулирования

Результатом деятельности России было расширение участия в механизмах политического регулирования. Она сохранила привилегии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН, обладающего правом вето на его решения наряду с США, КНР, Францией и Великобританией.

Поскольку ООН остается единственным органом миросистемного регулирования, в котором влияние России сопоставимо с влиянием других ведущих держав мира, она стремится добиться расширения полномочий ООН, признавая ее право принимать решения о применении силовых санкций против государств.

Определенную пользу принесло участие России в «Группе семи» — регулярных неформальных по форме встречах высших руководителей США, Японии, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Канады. Президент России был впервые приглашен на встречу «семерки» в Неаполе в 1993 г., и с тех пор российские лидеры участвовали в совещаниях «семерки» регулярно. После 2014 г. эта традиция нарушилась.

В 1992 г. Россия вступила одновременно в Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития, входящий в группу Всемирного банка.

Процессы на пространстве влияния России

Российская Федерация стремилась закрепить за собой ведущую роль. Три страны Прибалтики вступили в НАТО и Европейский союз.

Проблемой в отношениях между Россией и двумя прибалтийскими странами — Латвией и Эстонией — стал вопрос о дискриминации русского населения, т.е. советских граждан, переселившихся на территорию обеих стран в годы их пребывания в составе СССР после 1940 г. Эти граждане делились на четыре основные категории: лица, переселившиеся в Прибалтику в ходе осуществления проектов строительства промышленных объектов на территории Латвии и Эстонии из России, Украины и Белоруссии; военнослужащие частей и подразделений ВС СССР, дислоцированных на территории прибалтийских республик СССР, и члены их семей, а также сотрудники других силовых структур и спецслужб, работавшие в Прибалтике в момент распада СССР или осевшие там после выхода в отставку; лица, переезжавшие в республики Прибалтики в ходе естественной миграции и браков с представителями коренного прибалтийского населения; дети, родившиеся

от всех трех вышеперечисленных категорий населения на территории прибалтийских республик. В Эстонии и Латвии численность эстонцев и латышей к моменту распада СССР составляла соответственно 61 и 52%. В Литве ситуация была иной — литовцы составляли около $\frac{4}{5}$ населения.

Существовало опасение, что русские и русскоязычные группы населения в ходе возможных общенациональных голосований получат серьезное представительство в государственных органах. Избранные станут оказывать влияние на политику соответствующих государств. Реагируя на это, националистические партии и движения латышей и эстонцев, под влиянием которых оказались законодательные органы обеих стран, при политической поддержке США и стран Западной Европы приняли дискриминационные законы о гражданстве, в соответствии с которыми подавляющее большинство лиц некоренных национальностей в Латвии и Эстонии были лишены гражданских прав. Право на получение латвийского и эстонского гражданства получили лица, проживавшие в соответствующих странах до их включения в состав СССР в 1940 г., и их потомки.

В отношении остальных категорий жителей обеих стран вопрос гражданства решался индивидуально на основании заявлений и решений специальных комиссий. Комиссии определяли обоснованность или необоснованность прошений о предоставлении гражданства на основе перечня критериев, результатов теста на знание государственного языка (латышского и эстонского) и проверки на лояльность. При этом были установлены весьма ограниченные ежегодные численные квоты предоставления гражданства лицам некоренной национальности. Это означало, что русские и русскоязычные жители Латвии и Эстонии даже при благоприятном ходе событий получают гражданство по прошествии 10 лет. Проблему для русских общин представляло требование о знании государственного языка, поскольку среднее и старшее поколения некоренных жителей не владели им и имели ограниченные возможности скоро овладеть им. Лица, не сдавшие экзамен на владение государственным языком, лишались права работать в государственных учреждениях и в социальной сфере, включая просвещение и здравоохранение.

Отдельным решением властей Латвии и Эстонии права на получение гражданства были безоговорочно лишены военнослужащие СССР и сотрудники бывших советских спецслужб. В обеих прибалтийских странах образовались группы населения, лишенные политических прав и дискриминируемые по этническому признаку.

В отличие от Латвии и Эстонии сейм Литвы принял более либеральный закон о гражданстве, позволивший получить его большинству некоренного населения.

Эффективными были усилия России по привлечению к вопросу о правах неграждан в Прибалтике внимания международных организаций — Комиссии ООН по правам человека, СБСЕ, Совета Европы, Совета государств Балтийского моря. Россия в 1992 г. поддержала предложение о создании в рамках СБСЕ института верховного комиссара по делам национальных меньшинств. Международные эксперты официально признали дискриминационный характер отдельных положений законодательства двух прибалтийских стран о гражданстве и государственных языках. Латвия и Эстония были вынуждены согласиться принять к рассмотрению заключения СБСЕ, понимая, что их игнорирование осложнит проведение политики сближения стран Прибалтики с Евросоюзом и НАТО. К концу 1990-х годов некоторые положения законов Латвии и Эстонии были смягчены (расширены квоты натурализации в Латвии, разрешено предоставление гражданства детям неграждан, родившимся на ее территории после 21 августа 1991 г.). Острота проблемы уменьшилась.

Отношения с другими странами бывшего СССР складывались у России непросто. 8 декабря 1991 г. руководители РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР на секретном совещании в местечке Вискули в Беловежской Пуше подписали соглашение о создании СНГ. Это означало отказ трех союзных республик от учредительного договора об образовании СССР в 1922 г.

21 декабря 1991 г. в Алма-Ате протоколом к соглашению о создании СНГ присоединились 8 других республик бывшего СССР, провозгласивших себя независимыми государствами (Молдова, Казахстан, Армения, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан). Национальное собрание Азербайджана в 1992 г. отказалось ратифицировать протокол о присоединении к СНГ, и до 1993 г. Азербайджан участвовал в работе органов Содружества в качестве наблюдателя, вступив в него в качестве полноправного члена осенью 1993 г. после прихода к власти президента Г. Алиева. Вслед за тем в СНГ вступила Грузия вскоре после прихода к власти президента Э. Шеварднадзе.

22 января 1993 г. на саммите 10 стран СНГ в Минске удалось согласовать Устав Содружества. Решение о его принятии было подписано главами семи государств (России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении). Азербайджан в этом совещании не участвовал. Украина, Молдова и Туркменистан его не подписали. В 1994 г. Устав вступил в силу. Полноправными членами Со-

дружества стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 1993 г. к ним присоединились Азербайджан, подписавший Устав осенью 1993 г. одновременно с протоколом о вступлении в силу его решения о вступлении в СНГ, и Грузия.

В апреле 1994 г. Устав подписала Молдова, сделав оговорки относительно недействительности для нее положений Устава, касающихся коллективной обороны и военно-политического сотрудничества стран СНГ. Решение о присоединении к Уставу не было ратифицировано молдавским парламентом. Туркменистан и Украина не присоединились к Уставу. Противоречия попробовали урегулировать в процессе пересмотра отдельных положений Устава, работа над чем началась в 2003 г. в связи с десятилетием со дня его подписания ввиду необходимости учета новых международно-политических реалий. Украина, Молдова и Туркменистан полноправными членами СНГ не являются, хотя принимают участие в его деятельности.

15 мая 1992 г. в Ташкенте Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали сроком на пять лет (с возможностью последующего автоматического продления) Договор о коллективной безопасности (вступил в силу в апреле 1994 г.). Азербайджан и Грузия присоединились к договору в 1993 г. Молдова и Туркменистан его не подписали — Молдова из-за противоречий с Украиной и Россией из-за Приднестровья (см. ниже), а Туркменистан — ввиду провозглашения им статуса нейтрального государства. Украина не подписала договор, но получила в его рамках статус наблюдателя.

В 1999 г. Ташкентский договор был продлен, однако три страны из него вышли — Азербайджан, Грузия и Узбекистан. В 2003 г. участниками договора оставались только шесть государств — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 29 апреля 2003 г. в Душанбе на саммите шести государств СНГ, участвующих в Ташкентском договоре о коллективной безопасности, было принято решение о создании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Текст предусматривал создание секретариата, бюджета и штата сотрудников. Решениями было предусмотрено создание объединенного штаба и коллективных сил быстрого развертывания, в состав которых каждая страна обязалась выделить по одному батальону своих воинских контингентов. Основную базу коллективных сил было решено создать в Центрально-Азиатском регионе, на авиабазе Кант в Киргизии.

В 1992 г. Российская Федерация встала на путь форсированных экономических реформ и фактически вышла из общего экономического пространства СНГ. Это лишило страны СНГ стимула к сотрудничеству

с Россией, хотя Москва с этого времени выдвинулась на позицию экономического лидера Содружества. Развитие интеграции на универсальной основе, которое включало бы все страны СНГ, оказалось невозможным. На пространстве СНГ стали формироваться различные группировки.

21 февраля 1995 г. в Минске был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Этот документ заменил договор между РСФСР и БССР от 18 декабря 1990 г. 2 апреля 1996 г. в Москве президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. Стороны форсировали взаимодействие и через год, 2 апреля 1997 г., в Москве подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Наиболее важной частью договора стал Устав Союза, который был определен в качестве «неотъемлемой части» договора о Союзе и подлежал ратификации. Принципиально новым положением Устава было провозглашение международной правосубъектности Союза при сохранении государственного суверенитета его участников. Кроме того, был учрежден институт гражданства Союза. Договор и Устав вступили в силу в июне 1997 г. 19 декабря 1997 г. в Минске были подписаны российско-белорусские Договор о военном сотрудничестве и Соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Вслед за тем, в октябре 1999 г., были вынесены на обсуждение проекты Договора о создании Союзного государства. 8 декабря 1999 г. в Москве президенты А. Г. Лукашенко и Б. Н. Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства. Договор был ратифицирован парламентами и вступил в силу 26 января 2000 г. 30 ноября 2000 г. в Минске было подписано соглашение о введении единой денежной единицы и формировании единого эмиссионного центра Союзного государства.

10 октября 2000 г. в Астане был подписан договор об образовании *Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС)* в составе Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Целью новой организации было создание единого экономического пространства пяти стран-участниц. В мае 2002 г. к ЕврАзЭС в качестве наблюдателей присоединились Украина и Молдова.

В 1997 г. в Страсбурге, куда для участия в очередном совещании стран Евросоюза были приглашены делегации ряда стран СНГ, представители Украины, Грузии, Азербайджана и Молдовы подписали соглашение об образовании союза, названного ГУАМ по первым буквам названия вошедших в него стран. В документах ГУАМ было подчеркнуто, что участвующие в нем страны будут развивать между собой сотрудничество не в рамках СНГ, а в рамках Совета Евроатлантичес-

кого партнерства (в области экономики и политики) и Партнерства ради мира (в сфере военного сотрудничества). В апреле 1999 г. в состав ГУАМ вступил Узбекистан, после чего название организации стало выглядеть как ГУУАМ. В июне 2002 г. Узбекистан вышел из состава этого блока, и тот вернул себе старое название.

Сотрудничество на пространстве СНГ было затруднено *конфликтами, в которые оказались вовлечены его члены, включая Россию*. Главными из таковых были армяно-азербайджанская война из-за Карабаха (1990–1994), конфликты в Абхазии (1991–1994) и Южной Осетии (1991–1992), Приднестровье (1992–1997), гражданская война в Таджикистане (1992–1997).

Помимо многостороннего договора о коллективной безопасности, Россия имеет военно-политические договоры с Казахстаном, Беларусью и Арменией. Военное присутствие России сохраняется в Абхазии и Южной Осетии в форме пребывания сил российских миротворцев и военных баз, которые должны быть эвакуированы.

Военное присутствие сохраняется также в Приднестровье, хотя оно должно было быть полностью свернуто еще в 2001 г. Из-за сопротивления руководства Приднестровья соглашение о пребывании вооруженных сил России в этом регионе было продлено до 2003 г.

Военное присутствие России на абхазской территории сохраняется. Россия признала правительства Абхазии и Южной Осетии в качестве законных в 2008 г.

Отношения со странами Запада

В политико-географическом смысле отношения России с западными странами в принципе демонстрируют два главных направления — европейское и североамериканское. *Экономические отношения* России с европейскими странами и США представляют собой два разных по объему и содержанию комплекса. Европейские страны — важные торгово-экономические партнеры РФ, а роль США как экономического партнера России меньше. На долю европейских стран (за вычетом доли европейских стран СНГ) приходится более 30% экспорта и более 31% импорта Российской Федерации, а на долю США соответственно 4,2 и 7,7%.

В силу географической и культурной близости европейские страны и Евросоюз служили для Москвы важными партнерами в сфере торговли (энергосырьем), инвестиций и туризма.

Вместе с тем в *политической области* отношения с европейскими странами и США были для Москвы неразделимы.

Двусторонние политические отношения России с Германией, Францией, Великобританией, Италией и другими западноевропейскими государствами обладали своей спецификой. Ключевые вопросы отношений Москвы с ее партнерами в Европе (обеспечение безопасности, политика в отношении региональных конфликтов, защиты прав человека, вопросы кредитования, макроэкономического сотрудничества, формирования торговых режимов) регулировались в формате более широкого диалога России с европейскими государствами и Соединенными Штатами Америки.

Во-первых, западноевропейские государства остаются связанными с США в вопросах безопасности и конфликтов. *Во-вторых*, развитие процессов глобализации способствует «стягиванию» европейцев и североамериканцев, несмотря на наличие между ними экономической конкуренции и разногласий. *В-третьих*, между США и Западной Европой сохраняются отношения блоковой солидарности внутри руководящих органов экономических организаций. *В-четвертых*, США сохраняют способность оказывать влияние на западноевропейские страны в регулировании споров в области прав человека.

Отношения России с Европейским союзом как интегрированным общеевропейским субъектом стали развиваться после того, как в 1992 г. вступил в силу Маастрихтский договор о создании Евросоюза. В 1994 г. было подписано первое официальное соглашение сроком на 10 лет о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Россией (вступило в силу в декабре 1997 г.), которое было дополнено серией частных соглашений о регулировании отдельных аспектов отношений между Россией и ЕС. В основном соглашения носили характер протоколов о намерениях.

Отношения Москвы с Евросоюзом развиваются в режиме диалога. Взаимодействие России с отдельными европейскими странами заслуживают связи с Евросоюзом. Но диалог с ним может стать одним из направлений ее политики на западном направлении.

Запад был озабочен судьбой ядерного наследия Советского Союза. Опасения вызвали факт появления новых ядерных держав в лице Украины, Беларуси и Казахстана, на территориях которых было дислоцировано ядерное оружие бывшего СССР. В феврале 1992 г. президент России Б. Н. Ельцин совершил первый официальный визит в Вашингтон. Была подписана Декларация о новых отношениях между РФ и США, в которой обе страны заявили, что не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников. В документе, *во-первых*, впервые говорилось о готовности России и США сотрудничать в деле утверждения

«общих демократических ценностей». *Во-вторых*, в тексте было сказано о стремлении США и России к созданию «нового союза партнеров».

В июне 1992 г. Ельцин отправился в Вашингтон вторично. В Хартии российско-американского партнерства и дружбы, подписанной во время встречи, ничего не говорилось о российско-американском «новом союзе партнеров». В американской и российской элитах шли дебаты по поводу допустимых пределов российско-американского сближения. В Хартии содержалось положение о «неделимости» безопасности Северной Америки и Европы. В нем было сказано: «безопасность неразделима от Ванкувера [тихоокеанский порт в Канаде на канадско-американской границе. — А. Б.] до Владивостока». Из смысла текста следовало, что Россия впервые официально связала свою национальную безопасность с безопасностью стран НАТО.

Основными положениями обязательств, взятых на себя Россией, провозглашались принципы демократии, свободы, защиты прав человека, уважение прав меньшинств, в том числе национальных. Это был первый случай в российской истории, когда в документе, заключенном с иностранным государством, регламентировались ключевые положения, касавшиеся внутреннего устройства России.

Улучшение наметилось в сфере торгово-экономических отношений России и США. В июне 1992 г. вступила в силу договоренность о предоставлении сторонами друг другу режима наибольшего благоприятствования. США отменили поправку Джексона—Вэника 1974 г. только в 2012 г.

3 января 1993 г. уходящий президент США Дж. Буш-старший посетил Москву для подписания российско-американского договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2, START II). При подписании стороны исходили из того, что договор вступит в силу после того, как Украина, Беларусь и Казахстан ратифицируют Договор СНВ-1 от 1991 г. и присоединятся к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств. Договор предусматривал к январю 2003 г. сокращение числа ядерных боеголовок у России и США до 3500 единиц. Договор был ратифицирован Конгрессом США в январе 1996 г. В июне 1995 г. он был внесен на ратификацию в Федеральное собрание России, но затанут до 1997 г.

21 сентября 1993 г. помощник президента США по национальной безопасности Энтони Лейк выступил в Школе перспективных международных исследований Университета Джонса Гопкинса (г. Вашингтон) с речью, в которой он огласил концепцию «расширения демократии». Смысл речи состоял в провозглашении задачи содействия демократизации быв-

ших социалистических режимов приоритетом. Концепция предполагала включение стран, прошедших через «демократические транзиты», в круг «демократического сообщества» — в том числе через принятие некоторых из них в состав Запада. «Расширение демократии» должно было означать включение восточноевропейских стран в состав НАТО.

Страны НАТО не захотели распускать военную организацию Альянса и преобразовывать его в политическую структуру. Они придавали новый импульс к сотрудничеству в рамках блока — через расширение его функций, но без свертывания тех военно-стратегических полномочий, которыми он обладал.

Россия первоначально не выступала против расширения НАТО, но с осени 1993 г. она стала критиковать идею расширения. Демарш Москвы замедлил принятие решений. 10 декабря 1996 г. сессия Совета НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе санкционировала начало расширения. Международные финансовые институты оказывали России помощь. Возникла экономическая привязка Москвы к Западу.

Экономический кризис и спад производства, продолжавшийся до начала 2000-х годов, сковывали российское правительство. В августе 1998 г. в стране произошел финансовый дефолт, вызвавший падение курса рубля, массовое разорение мелких предпринимателей и обнищание работников бюджетной сферы.

27 мая 1997 г. в Париже состоялось подписание основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО. В документе подчеркивалось, что страны НАТО и Россия не рассматривают друг друга в качестве противников, и говорилось о намерении сторон сотрудничать в преодолении пережитков конфронтации и укреплении взаимного доверия и сотрудничества. В Брюсселе при Совете НАТО в марте 1988 г. было открыто российское представительство.

В июле 1997 г. на сессии Совета НАТО в Мадриде Польша, Венгрия и Чехия были приглашены в Альянс, и в марте 1999 г. они стали его членами. На юбилейной сессии Совета НАТО в Вашингтоне в апреле 1999 г. было заявлено, что Албания, Болгария, Латвия, Литва, Македония, Румыния, Словакия, Словения и Эстония являются новыми кандидатами на вступление в Альянс.

В ноябре 2000 г. новым президентом США был избран республиканец Джордж Буш-младший. 11 сентября 2001 г. Соединенные Штаты Америки подверглись нападению группы террористов на собственной территории. По сведениям американских спецслужб, роль в организации нападения играл саудовский миллиардер Усама бен Ладен, объявленный в США преступником и проживавший в Афганистане под

покровительством афганского режима, а также руководимая им террористическая организация «Аль-Каида».

Президент РФ В. В. Путин оказался первым руководителем иностранной державы, позвонившим Дж. Бушу после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне с выражением солидарности. Россия предоставила США сведения, допуск на время подготовки и проведения операции право воздушного коридора для американских самолетов над российской территорией и оказала дипломатическое содействие Соединенным Штатам в получении разрешения от правительств Узбекистана и Кыргызстана на использование баз на их территории силами США.

Сохранялись противоречия США и России в стратегической области. С приходом Дж. Буша американская администрация стала выступать за развертывание системы ПРО США. Российская сторона настаивала на сохранении договора, считая его основой глобальной стабильности. Американская сторона осенью 2001 г. уведомила Россию о намерении выйти из Договора ПРО. Одновременно она согласилась пойти на заключение нового договора о контроле над вооружениями.

24 мая 2002 г. во время визита в Россию (Москву и Санкт-Петербург) президента Дж. Буша был подписан Договор об ограничении стратегических наступательных потенциалов (СНП), предусматривавший сокращение до 31 декабря 2012 г. количества стратегических ядерных боезарядов до 1700–2200 единиц. В договоре не было оговорено, что выводимые из строя ракеты должны уничтожаться.

В ст. 2 договора Россия подтвердила, что ранее подписанный и ратифицированный в апреле 2000 г. Договор СНВ-2 будет действовать согласно его установлениям. Федеральное собрание России ратифицировало Договор СНП в мае 2003 г.

28–29 мая 2002 г. Россия была приглашена на саммит стран НАТО в Рим (встреча проходила на авиабазе Пратика-ди-Маре). В ходе встречи была подписана Декларация, согласно которой государства НАТО и Россия договорились об учреждении органа — «Большая двадцатка» (официально он стал называться «Совет Россия—НАТО»). В рамках этого органа стороны договорились рассматривать вопросы, касающиеся их общих интересов. Россия не вступила в НАТО. Но это походило на предоставление ей статуса ассоциированного партнера.

Российское правительство подтверждало негативное отношение к расширению НАТО. Осенью 2002 г. о намерении вступить в Североатлантический союз заявила Украина, а за ней — Грузия. Вопросы еще обсуждаются. 21–22 ноября 2002 г. в Праге состоялся саммит НАТО, на котором было принято решение направить приглашение о вступлении

в Альянс семи странам — Болгарии, Латвии, Литве, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии. Все страны были приняты.

Россия и конфликты на Балканах

Несколько особняком стояли отношения Москвы с балканскими государствами, которые возникли после распада Югославии. В 1991—1992 гг. на ее территории провозгласили независимость Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония. В составе Югославии остались только Сербия и Черногория. В 2002 г. они заявили о намерении отказаться от старого названия своей страны «Югославия» и пришли к решению называться «Союзная Республика Сербия и Черногория». В 2006 г. этот двусторонний альянс распался — Сербия стала независимой, как и Черногория.

Словения и Хорватия поставили вопрос об их дипломатическом признании. США занимали в нем выжидательную позицию. Франция и Великобритания тоже. Только Германия активно настаивала на признании независимости двух новых государств. В начале 1992 г. Россия поддержала Германию и установила дипотношения со Словенией и Хорватией. Москва лавировала между оказанием ограниченной поддержки Сербии и сотрудничеством со странами НАТО, которые поддерживали противников Сербии на Балканах, добиваясь отстранения от руководства лидера сербских социалистов президента С. Милошевича.

В 1985—1986 гг. обострился конфликт между сербами, хорватами и мусульманами в Боснии и Герцеговине. Боснийских сербов поддерживала Сербия. Хорватия поддерживала боснийских хорватов. Страны НАТО — мусульман. В ходе вооруженной борьбы между общинами хорваты и мусульмане объединились в мусульmano-хорватскую федерацию, которая стала вести боевые действия против боснийских сербов. Во второй половине 1995 г., ссылаясь на резолюцию № 836 Совета Безопасности ООН, принятую еще 4 июня 1993 г., страны НАТО стали применять против боснийских сербов силу посредством массированных бомбардировок их позиций. В 1996 г. страны НАТО смогли навязать сторонам конфликта в Боснии и Герцеговине Дейтонские соглашения, узаконившие массовые перемещения лиц и образование федерации из двух частей — сербской и мусульmano-хорватской.

В 1998—1999 гг. конфликт на Балканах приобрел новые очертания в связи с сепаратизмом албанцев в сербском крае Косово. Между сербским и албанским населением в Косово начались кровопролитные столкновения. Силы федеральной армии Сербии применяли насилие

против местного гражданского албанского населения, помогавшего боевикам, в результате чего сербские власти были обвинены в нарушении прав человека.

Страны НАТО настаивали на принятии более сильной резолюции, но Россия выступила против этих предложений. 13 октября 1998 г. Совет НАТО принял решение начать бомбардировки Сербии в случае ее отказа принять требования стран Альянса по косовскому вопросу. Страны НАТО настаивали на введении в Косово многонационального миротворческого контингента, в задачи которого входило бы обеспечение гуманитарных прав всего населения края. Западные страны предложили созвать в Рамбуйе (Франция) конференцию. Переговоры начались, и к 18 марта 1999 г. был выработан текст мирного соглашения, который делегация Сербии отказалась подписать. 24 марта 1999 г. страны НАТО начали бомбардировки сербской территории.

Белград был вынужден согласиться вывести армию и полицию из Косово. При посредничестве России («миссия В. С. Черномырдина») 9 июня 1999 г. сербские представители подписали с силами НАТО соглашение о прекращении огня и выводе правительственных войск из Косово, взамен которых в край 3 июня 1999 г. был введен 50-тысячный контингент сил НАТО.

Россия и страны Восточной Азии

В начале 1996 г. А. Козырева на посту министра иностранных дел сменил Е. Примаков. Курс на компромисс с Западом не был изменен, но линия России стала изощреннее. Е. Примаков предпринимал действия, призванные подчеркнуть внимание к странам Азии — Китаю и Индии, перспектива сближения с которыми была альтернативой ориентации на США.

Китай стал придавать отношениям с Россией подчеркнуто большое значение, как и Россия, желая продемонстрировать Соединенным Штатам, что китайско-российское сближение может быть противовесом американским попыткам удержать за собой положение мирового лидера. Отношения Москвы и Пекина развивались устойчиво. С 1991 г. проводились российско-китайские встречи на высшем уровне поочередно в Москве и Пекине. КНР стала вторым по значению торговым партнером России, покупая российское сырье, военную технику и технологии.

В мае 1991 г. было подписано соглашение России с КНР о восточном участке российско-китайской границы. Соответственно этому принципу была проведена российско-китайская граница по погранич-

ным участкам рек Амур, Уссури, Туманная и др. К КНР отошел ряд речных островов, ранее принадлежавших России. Нерешенным остался вопрос о нескольких островах на Амуре близ Хабаровска и Благовещенска. В 1992 г. договор о восточном участке был ратифицирован Думой. В 1994 г. были урегулированы вопросы относительно западного участка границы. Соответствующий договор прошел ратификацию в июле 1995 г. К 1997 г. российско-китайская граница была согласована на 97 % линии ее прохождения.

В апреле 1996 г. в Шанхае было подписано российско-китайское соглашение о мерах доверия в зоне границы. Оно было дополнено в 1997 г. подписанием в том же формате в Москве во время российско-китайского саммита многостороннего соглашения России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. На встрече в Шанхае образовался так называемый Шанхайский форум — проводимая встреча руководителей пяти стран.

Цель российско-китайских отношений была сформулирована в Декларации о многополярном мире и формировании нового международного порядка (апрель 1997 г.) в Москве как установление отношений «равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке».

15 июня 2001 г. в Шанхае состоялась первая встреча пяти стран Шанхайского форума на высшем уровне. Узбекистан сначала не принимал участие в форуме, а затем стал принимать — сначала в качестве наблюдателя, затем в качестве члена. По итогам встречи была принята декларация, провозгласившая преобразование форума в организацию — Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

16 июля 2001 г. в Москве был подписан сроком на 20 лет российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Договоренности можно было подразделить на три группы. Первая (ст. 2–7) касалась основ сотрудничества. Они провозгласили приверженность принципам мирного сосуществования и взаимного уважения права каждой стороны на выбор собственного пути развития. Было сказано о взаимной поддержке позиций каждой из сторон в вопросах обеспечения государственного единства и территориальной целостности обеих стран. Это означало признание Российской Федерацией позиции КНР в вопросе о Тайване (правительство КНР — единственный законный представитель Китая, а Тайвань — часть Китая), а руководством Китая — позиции России в чеченском вопросе.

Вторая группа (ст. 8–10) договоренностей касалась проведения между КНР и РФ регулярных консультаций. Стороны согласились

в случае возникновения угрозы миру вступать в контакт друг с другом в целях устранения возникшей угрозы. Третью группу составляли ст. 11 и 12, в которых говорилось, что КНР и Россия выступают за соблюдение норм международного права и против попыток силового давления и вмешательства во внутренние дела государств.

Летом 2002 г. и весной 2003 г. в Санкт-Петербурге состоялись саммиты ШОС, на которых были приняты Устав этой организации и решение о создании Международного антитеррористического центра в Бишкеке (Кыргызстан). Штаб-квартиру ШОС было решено разместить в Пекине.

Партнером России в Восточной Азии является Южная Корея — второй после Японии стратегический союзник США в АТР и единственный американский союзник, с которым Россию связывает политический договор. 17 сентября 1991 г. Южная Корея одновременно с Северной была принята в ООН. В декабре 1991 г. КНДР и РК подписали межправительственное Соглашение о примирении, ненападении и сотрудничестве, а в феврале 1992 г. — Совместную декларацию о создании безъядерной зоны на Корейском полуострове.

С начала 1990-х годов зарубежные эксперты стали высказывать мнение о том, что КНДР приблизилась к порогу самостоятельного производства ядерных взрывных устройств. Северокорейский ядерный реактор на АЭС в г. Йонбон считался главным объектом военного профиля, где, как предполагалось, вырабатывались материалы для ядерной бомбы. Северная Корея много внимания уделяет наращиванию военного потенциала.

Отношения России с КНДР в 1990-х годах оставались натянутыми из-за решения Москвы установить дипломатические отношения с Южной Кореей. Кроме того, Россия перестала считать себя связанной с КНДР союзным договором 1961 г., в соответствии с которым она должна была бы как правопреемница СССР оказывать помощь Северной Корее в случае войны на Корейском полуострове.

В 1995 г. Москва уведомила КНДР об отказе в продлении договора о взаимопомощи на очередной пятилетний срок. Россия предложила КНДР начать подготовку нового договора, но это предложение не нашло поддержки у северокорейской стороны. 9 февраля 2000 г. в Пхеньяне министры иностранных дел РФ и КНДР подписали новый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Он был сокращенным вариантом прежнего, однако из него были изъяты положения, предусматривавшие оказание российской стороной военной помощи Северной Корее.

Японская сторона более 60 лет настаивает на урегулировании вопроса о передаче ей четырех островов южной части Курильской гряды (Ха-

бомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп). В 1945 г. они были заняты советскими войсками в ходе боевых действий на заключительном этапе Второй мировой войны, итогом которых была оккупация советскими силами всех Курильских островов. Японская сторона настаивает, что четыре упомянутых острова были заняты советскими войсками после 2 сентября 1945 г., дня подписания Японией акта безоговорочной капитуляции.

Советский Союз сохранил за собой Курильские острова в соответствии с советско-американо-британскими договоренностями, зафиксированными в Ялтинских соглашениях в феврале 1945 г. В тот момент США и Британия были заинтересованы во вступлении СССР в войну против Японии, с которой он был связан пактом о нейтралитете от 1941 г., срок действия которого истекал весной 1946 г. По настоянию западных держав в апреле 1945 г. СССР заявил японской стороне о намерении денонсировать пакт. Но согласно условиям пакта он должен был продолжать действовать в течение еще одного года. В августе 1945 г. СССР тем не менее вступил в войну против Японии. Советские войска высадились на Курильских островах с согласия США и Британии, как то и было согласовано в Ялте.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору 1951 г. Япония отказалась от прав и правооснований на Курильские острова. Но в тексте договора не было сказано, кому передаются острова, от суверенитета на которые отказалась Япония. Советский Союз не подписал мирный договор в Сан-Франциско, поскольку счел его не соответствующим своим интересам.

Япония настаивает, что четыре острова, на которые она претендует, не входят в состав Курильских островов, ссылаясь на тексты договоров между Японией и Российской империей, заключенных в XIX в. В этих договорах в перечне Курильских островов названия четырех островов, относительно которых существуют разногласия, отсутствуют.

В 1956 г. в момент восстановления советско-японских дипломатических отношений, разорванных в 1945 г., была подписана Совместная советско-японская декларация, в которой было сказано (ст. 9): «...Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу Японии и учитывая интересы Японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет произведена после заключения мирного договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Японией».

Советское руководство надеялось, что Токио может подвинуться к позиции нейтралитета после истечения срока действия японо-американско-

го договора о безопасности, подписанного в 1951 г. сроком на 10 лет. Однако 19 января 1960 г. японское правительство заключило с США новый договор о безопасности, который продлил японо-американский союз еще на два десятилетия. В такой ситуации, с точки зрения советского руководства, обесмысливалась обещанная в 1956 г. Советским Союзом Японии уступка в виде передачи ей двух островов южной части Курильской гряды после заключения советско-японского мирного договора.

17 января 1960 г. советское правительство направило правительству Японии памятную записку. В ней оно извещало о своем отказе от обещания передать Японии острова Хабомаи и острова Шикотан в связи с тем, что новый японо-американский «договор безопасности» «фактически лишает Японию независимости, и иностранные базы, находящиеся в Японии в результате ее капитуляции, продолжают свое пребывание на японской территории...». С тех пор до конца 1980-х годов СССР отказывался признавать наличие территориальной проблемы в отношениях с Японией.

В 1990-х годах выработалась формула косвенного признания российской стороной действительности обязательств 1956 г. для России. В декларации о визите президента Б. Ельцина в Японию в 1993 г. (Токийская декларация) было сказано: Россия и Япония «подтверждают, что Российская Федерация является государством-продолжателем СССР и что все договоры и другие международные договоренности между Советским Союзом и Японией продолжают применяться в отношениях между Российской Федерацией и Японией». Эта позиция остается основополагающей.

Отношения со странами Южной Азии

Государства этой части мира представляли для России интерес с точки зрения региональных стратегических соображений. В 1998 г. Индия и Пакистан одновременно произвели испытания ядерного оружия и стали де-факто ядерными державами.

Россия стремится поддерживать равные отношения и с Индией, и с Пакистаном, но отношения с Дели оказываются, как правило, более близкими, несмотря на стремление Индии сблизиться с США.

Средний и Ближний Восток

После свержения промосковского правительства Афганистана в 1992 г. российско-афганские отношения были напряженными вви-

ду гражданской войны. Отношения Москвы и Кабула были особенно напряженными, когда власть в Афганистане захватили талибы, которые установили исламистский режим и стали поддерживать на территории России чеченских террористов. Вот почему Россия с готовностью солидаризировалась с США осенью 2001 г. в войне за свержение талибов. Однако успех в Афганистане утвердил администрацию США в возможности устранять недружественные для Соединенных Штатов правительства.

29 января 2002 г. в ежегодном послании Конгрессу президент США Дж. Буш впервые употребил термин «ось зла», к которой он отнес страны, по сведениям американских разведывательных структур, занимающиеся производством химического оружия, поддержкой терроризма, связанных с «Аль-Каидой» и стремящихся «шантажировать международное сообщество».

1 июня 2002 г., выступая в Военной академии США в Вест-Пойнте, Дж. Буш сформулировал положение о возможности осуществления «оборонительной интервенции и упреждающего удара». Накануне второй афганской войны высокопоставленные представители американской администрации огласили список «неблагонадежных государств» (*rogue states*). В число неблагонадежных были включены Ирак, Иран, Северная Корея и Судан. В начале 2002 г. помощник президента США по национальной безопасности Кандолиза Райс в серии выступлений изложила «стратегию смены режимов». Суть стратегии состояла в том, чтобы путем комплекса мер давления, включая силовые, на ту или иную страну добиваться отстранения от власти ее правительства под тем предлогом, что его политика угрожает международной безопасности. Объектом применения стратегии смены режимов стал Ирак. Правивший в нем режим Саддама Хусейна был диктаторским. Обвинением против Багдада было наличие в Ираке химического и бактериологического оружия и ракет, способных его доставлять.

Американская дипломатия попыталась сослаться на резолюцию Совета Безопасности ООН № 1441 от 8 ноября 2002 г. Но эта резолюция, констатируя нарушения Ираком решений ООН о проведении инспекций на его территории и предупреждая его о возможности применения против Ирака серьезных мер, не предусматривала возможности автоматического применения силы против Багдада. Попытка американской администрации получить санкцию на применение силы против Ирака не в ООН, а в НАТО натолкнулась на серьезные трудности. Три страны Альянса — Франция, Германия и Бельгия выступили против американских предложений.

Российская Федерация выступала против начала войны против Ирака, одновременно соглашаясь с необходимостью разоружить иракский режим. Против войны с Ираком выступил Китай. Стало ясно, что Совет Безопасности не поддержит применение силы против Ирака.

США решили действовать независимо от ООН. 18 марта 2003 г. США предъявили Ираку ультиматум, требованием которого был отказ С. Хусейна от власти. Американские представители заявили, что они будут бойкотировать новые заседания Совета Безопасности ООН, на которых по требованию Франции и России предполагалось рассмотреть ситуацию в связи с американским ультиматумом. Позицию США поддержали Британия, а также Испания и Болгария, которые в тот момент являлись непостоянными членами Совета Безопасности. 19 марта началось вторжение сил США и Британии в Ирак, завершившееся в мае того же года военным поражением Ирака.

Разногласия по иракскому вопросу и попытки блокирования России с Францией и Германией против США в этом вопросе привели к охлаждению российско-американских отношений.

В отношении арабо-израильского конфликта позиция России остается взвешенной. Россия в 1990-х годах добилась улучшения отношений с Израилем, отказавшись от поддержки арабских стран. Улучшению российско-израильских отношений способствовало движение Израиля к примирению с арабскими странами. Стабилизировались отношения еврейского государства с Египтом и Иорданией. Ключевым моментом нормализации ситуации вокруг Израиля является разрешение проблемы самоопределения арабского народа Палестины и создание одного или двух независимых арабо-палестинских государств.

В апреле 2003 г. Россия, США, страны Евросоюза и ООН разработали план израильско-палестинского урегулирования «Дорожная карта», который предусматривал условия реализации ранних договоренностей (1993 и 1995 гг. в Осло) о создании независимого государства палестинских арабов и его отграничении от Израиля при условии прекращения арабо-палестинского действия против Израиля. В июне 2003 г. этот план был принят представителями Израиля и Организации освобождения Палестины (ООП).

Страны Ближнего Востока имеют значение для России как покупатели вооружений. Кроме того, обладая влиянием и средствами для идеологического воздействия на исламские народы России, страны Ближнего Востока требуют внимания Москвы в интересах сохранения с ними дружелюбных отношений.

Латиноамериканское направление российской политики

Латиноамериканское направление российской политики остается одним из приоритетных для России в этой части мира. Важным аспектом отношений являются закупки Россией сельскохозяйственной продукции латиноамериканских стран. Латинская Америка динамично развивается и может стать международным игроком, особенно если осуществляются планы латиноамериканской и панамериканской экономической интеграции. Союзнические отношения, которые СССР поддерживал с Кубой в 1990-е годы, пережили кризис. После ухода Ф. Кастро из политики в 2008 г. Рауль Кастро, его брат, выдвинулся на положение лидера Кубы.

Относительно малозначительным для Москвы оказались после распада СССР и отношения с государствами Африки к югу от Сахары. Система квазисоюзнических отношений, которые у Советского Союза сложились с левыми режимами этого континента (Ангола, Мозамбик, Эфиопия), после 1991 г. деградировала. Из новых партнеров в Африке можно назвать ЮАР, с которой отношения развиваются устойчиво, несмотря на их охлаждение в период смены политической системы (отмена апартеида), которую эта страна пережила в 1990-х годах.

Правозащитные вопросы в международных отношениях России

Проблемы прав человека стали определять направление деятельности России. Вопросы этой группы практически остаются в повестке дня переговоров Москвы с западными партнерами. Российская Федерация признает приоритет международного права по отношению к внутреннему законодательству. Законотворчество внутри страны и внутриполитические мероприятия российского правительства осуществляются с учетом международных норм.

Происходило обострение отношений России с европейскими правозащитными институтами — Советом Европы и его Парламентской ассамблеей — по случаям нарушения прав человека в Чеченской Республике. Проблема возникла после того, как в ноябре 1994 г. президент России Б. Н. Ельцин отдал приказ о подавлении вооруженного мятежа в Чечне. 31 августа 1996 г. в Хасавюрте были подписаны соглашения между представителями федеральной власти и чеченского правительства об урегулировании ситуации и заключении будущего политического соглашения между Москвой и Грозным.

В мае 1997 г. между президентом Чечни Асланом Масхадовым и Борисом Ельциным в Москве был подписан Договор о мире и принципах взаимоотношений. Договор не содержал упоминания Хасавюртских соглашений и представлял собой рабочий документ — протокол о намерениях двух ветвей власти. Ратификации он не подлежал. Урегулирование не состоялось.

Федеральные войска с территории республики были выведены, но вести переговоры о независимости Чечни в Москве отказывались. Весной 1995 г. в Москве, а затем и в разных городах России начались волны террористических актов (подрывы жилых домов, взрывы в общественном транспорте, местах скопления людей, захваты заложников, автобусов, больниц), организованных чеченскими террористическими организациями. В Чечне сформировался центр террористической активности, который при поддержке из-за рубежа стремился к расширению зоны своего влияния на Северном Кавказе. Весной 1999 г. формирования террористов попытались включить в нее сопредельные с Чечней территории Дагестана, но получили отпор и были оттеснены в горные районы Чечни. Осенью 1999 г. российское правительство начало антитеррористическую операцию в Чечне.

Россия присоединилась к Совету Европы только в 1996 г., после подписания Хасавюртских соглашений. Три года Совет отказывался рассматривать заявку России на вступление в Совет из-за ситуации в Чечне. Вступление в Совет Европы предусматривало принятие Россией обязательства подписать Европейскую конвенцию по правам человека 1953 г. и принять совокупность ее контрольных механизмов.

Миссия Совета Европы имела возможность посещать Чечню и на основании собранных материалов представлять Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) свои заключения, оценки и рекомендации, многие из которых содержали критику в адрес силовых ведомств и правительства Российской Федерации.

Российская Федерация стремилась к мирному политическому урегулированию в Чечне на основе предоставления республике широкой автономии при сохранении ее в составе России.

* * *

Борьба за обеспечение национальных интересов России в сфере международных отношений была задачей ее внешней политики. Это являлось позитивным результатом болезненной эволюции, которую пережила линия Российской Федерации после 1991 г. Современный этап

международной политики России можно охарактеризовать как этап стабилизации, возвращения к позиции ведущей мировой державы.

Российская Федерация смогла сделать шаг к формированию сотрудничества с западными странами. Но не во всех отношениях сложившаяся система сотрудничества является выгодной для России и ее партнеров. В ряде случаев российская дипломатия не смогла добиться равноправных условий взаимодействия с Западом.

В США стало утверждаться мнение об уменьшении роли НАТО в американской стратегии. Уроком является овладение Россией тактикой сбалансированного развития отношений с Западом и не-Западом. Москва освоила технику «компенсирующей дипломатии». Шаги к замораживанию отношений с США российская дипломатия уравнивает мерами по углублению сотрудничества с Китаем.

В Содружестве заморожены вооруженные конфликты. Россия закрепила за собой роль военного лидера шестерки стран ОДКБ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан), которая, в отличие от участников Ташкентского договора (1992–1999), имеет шанс стать эффективной структурой военного сотрудничества.

Произошло сжатие международно-политической активности России. В результате этого в фокус ее политики попали страны Латинской Америки, Африки и южной части Тихого океана.

Отношения с Китаем являются для Москвы альтернативой ее связям с Западом. Это отражает столкновение мировоззренческих проектов западников и евразийцев, встречаемое в трудах по истории и политологии. Важной задачей выживания России остается сохранение национальной идентичности. Она в равной степени принадлежит Западу и Востоку и несводима ни к одному из них.

Литература

¹ Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918–2003 / Отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Московский рабочий, 2000. Т. 1, 2; М.: НОФМО, 2003. Т. 3, 4.

² Современные международные отношения / Отв. ред. А. В. Торкунов. М.: РОССПЭН, 2000.

³ Внешняя политика и безопасность современной России в четырех томах: Хрестоматия / Сост. Т. А. Шаклеина. М.: РОССПЭН, 2002.

Глава 28

.....

«Украинский вызов» и альтернативы внешнеполитической стратегии России*

Стратегическая ситуация сформировала внешнюю политику России самым непредвиденным образом. 22 февраля 2014 г. на Украине произошел государственный переворот, который привел к власти новых людей и вскрыл проблемы, определившие повестку дня российско-украинской, постсоветско-евразийской, европейской и всей мировой политики.

Еще в ноябре 2013 г. киевским руководством было принято решение отложить вопрос об ассоциации с Европейским союзом. На это не согласился парламент, в поддержку которого выступил вооружившийся народ. Под огнем критики — с разных сторон — оказался президент В. Янукович. Оставшись без реальной власти, хоть и с конституционными полномочиями, он в феврале 2014 г. вынужденно бежал из Киева. Власть на какое-то время перешла в руки премьер-министра Н. Азарова, однако в считанные дни Верховная Рада, не растерявшись, образовала новое правительство во главе с А. Яценюком. Последний фактически провозгласил новый государственный режим и новый внутри- и внешнеполитический курс.

Каким был ключевой интерес России в киевских событиях? Он, очевидно, состоял в недопущении крушения отношений взаимозависимости Москвы с США, Западной Европой и Китаем, базирующихся на поддержании хрупкого глобального баланса сил. Именно «Средняя Европа» в постбиполярной конфигурации порядка оказалась основным ареалом столкновения геостратегических интересов: бывшие союзники буквально «вбежали» в интеграционное пространство Запада в 1990-х — начале 2000-х годов, а «братские» страны из числа вчерашних советских республик — неторопливым шагом с ускорением — неуклонно «вползают» в его военно-политическую и ценностную орбиту. Один из выводов, вытекающих из такой асинхронности, — ряд государств в силу исторической близости своих бед с Россией требуют дополнительного времени и более размеренного темпа для переориентации и интеграции с Западом.

* Опубликовано в: Международные процессы. 2014. № 4. С. 6–16.

1

Украине всегда принадлежало в российско-западном раскладе особое место. В силу близости России и отдаленности от практических проблем мировой политики вопрос международного позиционирования она решала по-своему. Но самостоятельность в качестве принципа внешнеполитической доктрины была возведена в абсолют В. Януковичем и в конце концов оказалась несовместимой с требованиями момента. Будучи не в состоянии понять, откуда исходит прямая угроза, бывший президент пропустил ее остроту.

А. Яценюк, принявший на себя инициативу в период отсутствия легитимной власти, с недюжинным напором взялся решать старые, наболевшие проблемы. Главный вопрос для него в начале весны 2014 г. — по какому сценарию произойдет присоединение Украины к европейскому интеграционному маршруту. Цена за избрание «западного пути» представлялась второстепенной. Между тем ситуация показала, что дела обстояли не вполне благополучно — Восток и Юго-Восток Украины (Донбасс и Крым) и без того были начинены минами замедленного действия. Не все оказались готовы голосовать за новую власть. Обстановка была на грани взрыва и в условиях установления нового режима взорвалась.

Однако не события на самой Украине диктовали повестку дня развития кризиса — первостепенной была позиция США. В этом смысле визит А. Яценюка в Белый дом 12 марта 2014 г. был безусловной удачей украинской дипломатии. Президент США Барак Обама напористо и откровенно заявил о поддержке нового украинского руководства¹. На этот же путь форсированного сближения с коллективным Западом стал П. Порошенко, с победой прошедший через президентские выборы в мае 2014 г. 17 сентября он совершил визит в Вашингтон, где его вновь заверили в поддержке². П. Порошенко постепенно стал забирать у А. Яценюка часть присвоенных тем полномочий. В 2016 г. он обвинил его в превышении полномочий и заменил на В. Гройсмана.

Россия, с раздражением наблюдавшая за событиями, тем временем делала свои выводы. Первым для нее вопросом был крымский. Он решился раскладом избирателей, в котором доминировал русский этнический элемент: 58,5 % населения (украинцев — 24,3%, а крымских татар — 12,1%)³. Проблема разговорного или рабочего языка в Крыму даже не возникала.

Второй вопрос — о статусе Юго-Востока Украины — решался иначе. Начиная выступление против властей 6 апреля 2014 г. часть украинцев с Донбасса говорила на русском языке, считала его вто-

рым (а то и первым) родным. Вспыхнувшее в Донецке восстание со временем охватило Луганск. Позднее обе области образовали Донецкую и Луганскую народные республики. Непосредственные причины, спровоцировавшие восстание, содержали субъективный элемент — фактор изгнания В. Януковича, политическое становление которого происходило на Донбассе. Вместе с тем весомая роль в развертывании событий, разумеется, принадлежала истории российского и украинского государств, обстоятельствам их возникновения и перипетиям трансформации, опыту сосуществования двух стран, раздвоенности культурно-духовного начала и языковому вопросу, особенностям строительства новой Украины после распада монархической России и двусмысленной роли Польши в ее становлении.

Присоединение к Украине «двуязычных» Луганской и Донбасской областей стало наиболее острой культурно-исторической проблемой в контексте формирования ее национальной государственности в XX в. Центральная Украина (не столько в территориальном смысле, сколько в политическом) приняла компромиссное разделение разговорного русского и официального украинского языков, «украинско-польские» земли неустанно будоражили ситуацию. Произошедшее в XX в. «воссоединение» Украины, т.е. объединение «Западной» и «Восточной» частей страны, не было полностью органичным с точки зрения существующих на территории Украины идентичностей: культурологическая трактовка и «Запада», и «Востока» страны не совпадает с географической и подразумевает исключение из них ряда территорий, относящихся к ним с административно-территориальной точки зрения. Собственно «Западная Украина» в этом смысле определяется за вычетом двух отличных от нее в смысле преобладающей там идентичности областей (Закарпатской и Северо-Буковинской).

Двуязычность не является сегодня проблемой для понимаемой таким образом Западной Украины. Не является она существенной проблемой в контексте национальной идентификации и для центральных областей страны — об этом свидетельствовали фигуры А. Яценюка и П. Порошенко (оба произошли из Кривого Рога). Ни тот, ни другой не принадлежат к выходцам из «чистой — западной — Украины», а происходят из земли центральной.

Между тем Донецк и Луганск говорят на двух языках — русском и украинском, и выступают за поэтапный подход, за предоставление времени, необходимого Донбассу для преодоления своей двуязычности. Положение русского языка во внутриукраинском кризисе стало ключевым вопросом сохранения единства страны. На каком языке говорить

родившемуся сегодня в Донбассе, если завтра предстоит защищать свои интересы в Киеве, объясняясь на украинском? Решение вопроса языкового приоритета происходило открытой пробой сил добровольцев двух областей, с одной стороны, и регулярной украинской армии — с другой. В итоге мы имеем конфликт, тянувшийся уже более года.

Идея «идти в народ» сегодня овладела умами не только молодежи «чистой» Западной и Центральной Украины, но и значительной части молодых людей Восточной ее части. Они хотят поехать и попробовать адаптироваться к жизни, как она есть. Возникает главная, «встроенная» проблема украинского общества, которую высветило нынешнее противостояние. «Идти в народ» во Франции, Германии или Британии и общаться с провинциальным французом, немцем или британцем на «их» языке не то же самое, что на Украине, где ты всегда можешь оказаться «немного украинцем», а «немного и не вполне украинцем». Понять эту ситуацию сможет далеко не каждый западноевропеец.

Объединенная Европа начинает осознавать сущность обозначенной проблемы — более или менее. Германия и Франция пытаются в этом вопросе задавать тон. Более года А. Меркель и Ф. Олланд пробовали убедить русских и украинцев договориться между собой.

7 февраля 2015 г. конфликт был в целом приостановлен. При содействии канцлера Германии Ангелы Меркель в Минск 11–12 февраля 2015 г. на чрезвычайное совещание собрался «нормандский формат» — Франция (Ф. Олланд), Россия (В. Путин), Украина (П. Порошенко). Хозяин встречи, президент Беларуси А. Лукашенко, все эти месяцы поддерживавший с Украиной нормальные отношения, обеспечил общение четырех заинтересованных лидеров. Стороны согласовали условия разоружения в зоне конфликта и обязались выполнять их содержание⁴.

2

Вопрос первостепенной значимости для России — о статусе Крыма — занял сегодня относительно периферийное положение в российско-украинских отношениях, хотя с точки зрения большей части Европы и США эта проблема по-прежнему называется в числе наиболее важных. Принадлежность полуострова России или Украине в советской, а до этого — имперской истории никогда не формулировалась в качестве политической дилеммы, это казалось неактуальным. Почему сформировался нынешний этнический ландшафт полуострова и русских на крымских холмах оказалось больше, чем территориаль-

но более близких украинцев? Ответ понятен — русских было больше в России и в российской царской армии.

У нынешней проблемы Крыма относительно неглубокие исторические корни. Политически вопрос границ Украинской ССР (а следовательно, и независимой Украины после 1991 г.) был урегулирован только в 1954 г. Под контролем Киева (столица с 1934 г., в 1919–1934 гг. — г. Харьков) в период 1917–1939 гг. не было западных территорий. На западных рубежах граница с Польшей проходила гораздо восточнее нынешней — в районе Житомира и Винницы.

Конец 1939 г. и начало Второй мировой войны — этапный момент для становления современной Украины. Польша в ее «раздутых», поглотивших после Брест-Литовского мира украинские территории границах прекратила существование. Земли Западной Украины были включены в Украинскую ССР. К ней же отошли города Львов, Луцк, Ивано-Франковск (Станислав), Тернополь, Хмельницкий (Проскуров), Ровно. Порой их характеризовали как часть «Южной Польши».

После войны в 1945 г. граница Украины на западе вновь изменилась. К ней были присоединены отрезанные у Румынии Северная Буковина (г. Черновцы) и у «бывшей» Словакии Закарпатская Русь (г. Ужгород). Тогда же борьба за новые территории подвела украинское руководство к мысли о Крыме как логичном элементе приращения черноморского ресурса.

Трудно сказать, как именно решались в тот период вопросы о принадлежности приобретенных территорий, особенно в бытность Н. С. Хрущева первым секретарем ЦК КПСС. Крым тогда относился к России, но управлялся этот район неважно.

Земля, обезлюдевшая в результате выселения крымских татар (18–20 мая 1944 г.), нуждалась в политическом укреплении. Осознание этой идеи дало основания для разноречивых суждений. Одни говорили о необходимости укрепления связей с Россией. Другие считали, что экономика нуждалась в непосредственной и постоянной поддержке, рассчитывая на помощь Киева. В 1954 г. возобладала точка зрения о содействии Украины — Акт о передаче Крыма был подписан 19 февраля 1954 г. и предполагал решать проблемы, доставшиеся от прежнего, монархического режима и унаследованные послереволюционной Россией, украинскими силами. Такой вариант решения проблемы не встретил заметного сопротивления со стороны Москвы, хотя отдельные возмущенные россияне выражали недовольство по этому поводу — бумаги до сих пор лежат в архивах. Продолжение истории имело под собой 60 лет «крымско-украинской дружбы».

Кризис единства подкрадывался все то время, что Украина существовала в новом, едином формате. В период постсоветского развития перед жителями Крыма замаячила мощная фигура более зажиточной России. Измученные двадцатью тремя годами неустроенной экономики (1991–2014) крымчане желали перемен. В сердце Крыма, городе Симферополе, раздался сигнал, послуживший призывом к восстанию. Начали готовить акт об изменении статуса республики. Немногочисленные представители Киева тщетно пытались на местах удержать несогласных.

16 марта 2014 г. жители Автономной республики Крым проголосовали за отделение от Украины и за принятие в Россию. Среди изъявляющих волю 96,5% подали голоса за выход из-под власти Киева и вступление в Россию. В Севастополе, городе федерального значения, аналогично высказались 95,6% пришедших на избирательные участки⁵.

В референдуме приняло участие 84,57% зарегистрированных избирателей — что бы ни говорилось, игнорирование мнения неголосовавшего меньшинства не нарушает общую расстановку сил и распределение предпочтений на полуострове. Этнический состав избирателей (приблизительно) отразил пропорции русских, украинцев, татар [Илларионов 2014]. Имеющаяся на этот счет статистика не точна, но и она в принципе отражает доминирующие в Крыму тенденции.

18 марта 2014 г. был подписан Договор о принятии Крыма и г. Севастополя в состав России⁶, а 21 марта 2014 г. в Москве соответствующий закон был скреплен высокой государственной печатью⁷. Поспешное принятие территорий в состав России завершилось. По новой Конституции, верховный законодательный орган стал называться Государственный Совет Республики Крым, и первые выборы в него прошли 14 сентября 2014 г. (избрано 70 депутатов от партии «Единая Россия» и 5 — от ЛДПР)⁸. Началась перестройка старой украинской жизни на российскую.

Первостепенной проблемой для Крыма остается связь с основной частью России. В этом плане новой автомобильной «дорогой жизни» станет мост, соединяющий его через Керченский пролив с полуостровом на материке в Краснодарском крае. Работы по строительству подходов к сооружению моста начались, но они сулят трудности. Одной из неожиданностей для строителей стало обнаружение остатков минных заграждений прибрежных вод, создававшихся в годы Второй мировой войны⁹. Это только часть «сюрприза».

Еще хуже обстоит дело с прямой железнодорожной веткой сообщения по линии Керчь — пункты в Краснодаре или Анапе. Считается, что дороги хоть и есть, но наладить по ним доставку людей не представляется возможным. В настоящее время организована бесплатная пере-

возка пассажиров автобусами — от конечных пунктов железной дороги на кавказском побережье, откуда они доставляются до мест назначения в Крыму. Судя по существующей сети дорог, устремленных к крымскому побережью со стороны Краснодара, нет оснований надеяться на эффективное разрешение транспортной проблемы, во всяком случае в обозримой перспективе.

3

Предвидеть и предотвратить радикализацию позиций сторон в текущем конфликте вряд ли возможно. Более реальная альтернатива — смягчить последствия действий различных участников в отношении друг друга. Взаимные дипломатические и экономические меры и контрмеры — вот о чем нужно задуматься.

Представления о солидарности и союзниках в контексте нынешнего кризиса круто изменились. С точки зрения США приоритет — деятельная, самостоятельная Украина, активно вовлеченная в международную политику. Благодаря воплощению в жизнь этой линии у Вашингтона возникают дополнительные ресурсы ослабления курса, проводимого Россией, — одним из главных конкурентов американской державы на мировой сцене.

В этой связи каждый протест российских деятелей по поводу политики Украины воспринимается как покушение на независимость украинцев. В странах Запада немедленно поднимается шум. Между тем решающий вопрос настоящего момента в том, в какой мере Украина останется для Москвы «резервом на крайний случай» в ее глобальной стратегии. Всякий раз, когда России хочется поступить вопреки Киеву, она медлит, надеясь в крайнем случае уговорить, использовать взятки, сыграть на противоречиях, имеющихся в украинской политике. Важная составляющая отношений — экономическая — по-прежнему сохраняет значение для обеих сторон, благодаря чему система отношений асимметричной взаимозависимости между двумя государствами разрушена не полностью.

Не спеша в сложившейся ситуации приучились оперировать и европейцы, действующие *в общем контексте интересов США и объединенной Европы*. С точки зрения Соединенных Штатов, такой подход дает возможность действовать более сфокусированно, употребляя в интересах общей западной политики ресурсы дипломатии наиболее уважаемых и влиятельных европейских игроков — Германии, Франции и Италии. Берлин, например, рассматривая российский вопрос, совершенно оче-

видно начинает выступать как «общеевропейский» агент обеспечения единых интересов, причем не только в случае с Москвой, но сейчас преимущественно с ней. Похожую роль он пытается играть и в трансатлантических отношениях, преследуя, правда, другие задачи: защиту экономических интересов стран Евросоюза от чрезмерно резкого разрыва торговых и хозяйственных связей с Россией. Американцам легче призывать к радикализму и замораживать контакты с Россией, заокеанским компаниям нечего от этого терять. Для стран зарубежной Европы — это, напротив, вопрос весьма болезненный.

Между тем складывающаяся мозаика индивидуальных устремлений отдельных игроков пока не формирует единого сюжета. Стабильность в европейском ареале, контуры нового статус-кво будут зависеть от ответа на ряд принципиальных вопросов. Как реконструировать общие интересы единой Европы, отделяя их от интересов американо-европейских? Возможно ли интегрировать с западного побережья Атлантического океана позицию США и Канады; с восточной Атлантики — материковых западноевропейских стран; из глубины Уральских гор — интересы «оставшейся Европы»? В какую сторону в нынешних условиях устремиться Москве?

В какой степени России действительно содействовало, скажем, сближение с Китаем, начавшееся в 2014 г.? Оно могло бы принести выгодное взаимодействие двух держав, в конкретных делах помочь каждому из заинтересованных государств. В то же время «неожиданно» выясняется, что поиск новых предпочтений ведет к пересмотру старых связей и тяготений, что неизбежно будет сопровождаться ломкой оправдавших себя отношений. Переориентация уже сформировавшихся векторов взаимодействия повлечет за собой деконструкцию сложившихся систем связей в глобальном масштабе и выстраданных представлений о государственно-индивидуальных приоритетах.

Новые предпочтения отражаются во внешнеполитических стратегиях всех ведущих стран. Вместе с тем ключевой момент — переворот и кризис в отношениях Киева и Москвы. Именно во внешней политике Украины рождены изменения, давшие импульс острому конфликту непонимания с северным соседом и непредвиденное реагирование с его стороны.

В плане более широкой стратегии для Москвы главное — выявить вопросы, по которым среди стран Запада нет единства, по которым им не удается проводить согласованную политику. Разница видна в позиции, с одной стороны, Германии и Франции, а с другой — Великобритании. Первые две «умиротворяют» России, последняя придержи-

ается линии на проамериканское «выжидание». Расхождения между этими двумя центрами силы серьезно сказываются на политической ситуации в рядах объединенной Европы.

Недовольство Россией сначала было «размазано» между всеми основными партнерами, но постепенно оно делалось все более гибким и нюансированным и сегодня варьируется от страны к стране. Германия и Франция довольно скоро стали лидерами среди европейцев. Берлин более других зависел от поставок сибирского газа, и обойти этот вопрос в своих расчетах для него невозможно.

Киев постоянно акцентировал, что в случае нарушения обязательств перед Россией ему придется пойти на бойкот поставок через украинские руки западным потребителям российского газа. Германия понимала, что просто диктовать Украине уступки по ценам не получится, но стимулировать договоренность в этом вопросе можно и косвенно. Как бы ни рвался А. Яценюк «выкрутить руки» председателю Газпрома А. Миллеру, он не мог забыть, чью фишку может «выбить» слишком упорная украинская позиция.

Переговоры строятся как торг между заинтересованными российскими и украинскими компаниями, но западные потребители незримо присутствуют на них. Последние редко высказываются публично, но, судя по косвенным свидетельствам, постоянно обсуждают и уточняют свою позицию. Представители немецкого делового мира открыто не участвуют в украинской драме, но комментаторы при надобности ссылаются на мнение топ-менеджмента германских компаний.

Еще в 2014 г. в ход двусторонних переговоров России и Украины о газовом контракте официально добавился третий действующий субъект — в качестве равно заинтересованной стороны выступил представитель Европейского союза. Переговоры почти целый год шли в Брюсселе. В марте 2015 г. они были возобновлены. Задачей их будет согласование контракта на поставки российского газа в новом году через Украину.

Такова экономическая канва событий. Вспомним теперь, как обуждала А. Меркель политические отношения между Москвой и Киевом, когда не удавалось выйти из тупика, в котором стороны оказались в разгар кризиса 2014 г. Тогда она пробовала разговаривать со всеми главными игроками — не только с Францией, но и с «трудными» партнерами (Британией, США, Канадой). Потом наступил момент, когда Меркель сказала о своем содержательном несогласии с В. Путиным, заняв при этом позицию, несколько отличавшуюся от американской. А. Меркель в принципе согласна с позицией Киева, но кое в чем нада-

вить на него считала нужным. Позиция Германии в подходе к кризису постепенно становилась все более активной.

Проводить дипломатию по линии «нормандского формата» Германии было удобно: она нашла в этом союзника в лице Франции. Вдвоем А. Меркель и Ф. Олланд сладили с В. Путиным и втроем выработали программу урегулирования конфликта. Это к их договоренностям прикнудил П. Порошенко. В промежутке между двумя турами переговоров в Минске в феврале 2015 г. на согласование проекта Минских соглашений в Вашингтон полетела А. Меркель. После визита канцлера американская дипломатия сдержанно позитивно оценила ее миссию в украинском деле¹⁰. В начале 2015 г. Берлин пожинал лавры от победы над Киевом, обобщив условия компромисса.

Другое дело Франция, президент которой показал, что практика маневрирования ему знакома — он готов сидеть за столом переговоров. Парижу было важно показать, что диктат администрации Б. Обамы — не новость. Тем правильнее оказаться в тоге борца за мир. Для Ф. Олланда это достойная одежда, и он готов выступить в ней вместе с А. Меркель. Объединенная Европа надеялась на успех, поскольку в ином случае ей грозил самобойкот работы с Россией. В Брюсселе ждали конца кризиса — откладывание вопроса о продлении санкций на июнь 2015 г. — яркое тому свидетельство.

Франция до конца затягивает решение главного вопроса военно-экономических отношений с Россией — она откладывает вопрос о передаче первого из двух высокотехнологичных кораблей типа «Мистраль». В марте 2015 г. в очередной раз Париж дал понять, что вопрос обсуждается и, по-видимому, будет решен в положительном смысле. Вопрос о корабле не снят с повестки дня¹¹.

В США реагировали на развитие событий в Киеве и Минске обдуманно. Руководство выступало с заявлениями, которые трудно считать конструктивными. Но в них была позиция — поддержать Киев в его намерениях идти навстречу объединенной Европе. США и Канада видели в Украине новорожденную дружественную державу. Оба украинских лидера, побывавшие в Вашингтоне в 2014 г., говорили по-английски свободно и представлялись понятными американскому президенту и общественности.

Никогда прежде из уст лидера США не доводилось слышать столь лестных слов в адрес украинского народа. Американские вожди забыли вопрос цены собственной риторики. Возможно, произошла синхронизация настроений президента Б. Обамы и государственного секретаря Дж. Керри: оба на протяжении своей карьеры в качестве местных граж-

данских активистов или в высшем законодательном органе формировались под влиянием идеологической нагрузки речей, которые они слышат. Психологически они оба воспринимали молодых украинцев, без перевода говорящих на их языке, более внимательно и доброжелательно, чем пристало профессиональным политикам.

О В. Путине такое не скажешь. Он отдал государственной карьере 25 лет. Как руководитель старшего поколения он не понимает нынешних украинцев, «опускает» их до уровня уходящих фигур, атакует их. Ни П. Порошенко, ни А. Яценюк не воспринимались в Москве как «серьезные лидеры».

А. Меркель и Ф. Олланд также выполняют миссию своего поколения и ищут компромисс. В этих условиях есть о чем поразмыслить британскому премьеру Дэвиду Камерону. Куда идти и с кем?

4

Б. Обама наговорил столько, что трудно не сделать вывода о начале «войны слов». В этих условиях вероятным стал сценарий согласия Москвы на предложенную Пекином смену внешнеполитической ориентации. Впрочем, она предполагает, что Россия пойдет на глубокие перемены и внутри страны — на отказ от всего, что подразумевает признание универсальности западных ценностей и идеалов, европейских норм суверенитета и свободы. «Путь на Восток» требует перехода на антизападные позиции не только и не столько во внешней политике. Необходимость столь крутого разворота так долго заставляла медлить с ответом на «китайскую альтернативу».

В этой связи неожиданной стала реакция В. Путина на давно озвученные предложения КНР по энергетической составляющей сотрудничества. Она проявилась в позитивном изменении позиции Москвы к планам газовых поставок в Китай. Судя по всему, эти договоренности стали практическим воплощением российской переориентации. Представители Москвы и Пекина в мае 2014 г. зафиксировали общее видение долгосрочных планов сотрудничества — обеспечение поставок газа в течение 30 лет объемом до 38 млрд куб. м в год. Первую очередь строительства трубопровода решено начать с наступлением летнего сезона, чтобы закончить сооружение в 2018 г.¹²

Линия расширения участия России в мероприятиях в Азии была продолжена. 23–29 августа 2014 г. Москва направила 7 тыс. военнослужащих для участия в учениях «Мирной миссии 2014». В маневрах приняли участие представители пяти стран—участниц ШОС — России, Китая,

Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. Спустя две недели, 11 сентября 2014 г., прошла сессия Шанхайской организации сотрудничества — на сей раз на территории Таджикистана. В Душанбе В. Путин опять встретился с Си Цзиньпином, с которым обсуждал общие проблемы. Потом отдельно состоялись беседы В. Путина с лидерами Узбекистана и Монголии. Активная роль России в ШОС была призвана продемонстрировать, что Западу не удастся добиться ее изоляции. Москва стремилась подчеркнуть свою востребованность на международной арене.

В этих условиях дальневосточное направление заняло центральное место в неевропейских планах Москвы. Когда и к какой нагрузке на восток Сибири приведет подобная политика? Что можно продать и что получить взамен от малых, средних и больших тихоокеанских государств? В качестве основных потенциальных партнеров в Москве рассматриваются два корейских государства, Япония, страны АСЕАН, наконец, Китай и Тайвань.

При планировании политики Москвы встает вопрос — кого и как можно оторвать от «американской империи в Азии». Несмотря на периодическое сигнализирование взаимных симпатий, наименее вероятным претендентом на эту роль остается Токио. Политическая мысль США сжилась со своеобразием Японии — какой бы она ни была, эта страна надолго интегрировалась в американскую экономическую систему. Заметим, что и русская мысль смирилась с этим «проамериканским» статусом островного государства.

В Тихоокеанском бассейне находятся два корейских государства и широкий круг малых стран АСЕАН. Объединить по крайней мере часть из них в неформальную «империю» под своим руководством составляет суть региональной стратегии Вашингтона. США стремились со всеми из них, кроме Северной Кореи, говорить с позиций сотрудничества. Потенциал привлекательности Соединенных Штатов в этом кругу государств велик, но остается вопрос сдерживания конкурентоспособности азиатской промышленности, которая может превратиться в опасного соперника американского бизнеса. США и Японии удалось интегрировать ее в свой хозяйственный комплекс, но лишь частично.

В этой связи развитие получают попытки сколачивания регионального экономического блока, получившего название Транстихоокеанского партнерства. Президент Б. Обама в своей речи в ходе сессии лидеров стран АТЭС в Пекине 10–11 ноября 2014 г. в очередной раз подчеркнул его приоритетность для американской политики¹³. В рамках этого американоцентричного объединения ни Китаю, ни России места нет. Неудивительно, что президент В. Путин, который также

принимал участие в пекинском саммите, явственно высказался против американской инициативы¹⁴.

Для него стремление концептуально оформить приоритизацию восточного вектора означало необходимость придать китайскому рывку универсальное значение. Переход к осмыслению внешней политики в терминах укрепления единства всемирной торговли, как это сделал В. Путин в ходе саммита АТЭС, позволяет сделать еще один шаг в Азию. Подобный подход означает также, что даже ограниченный успех КНР в построении альтернативного американскому экономического сообщества в регионе будет означать победу России как ее успеху помогавшей. При этом присутствует желание перенимать китайский опыт в области развития. Международным ответом на современные экономические вызовы становится укрепление Дальнего Востока и КНР за счет освоения российских запасов газа. Видна перспектива: выигрывать у Запада за счет развития торговли в Азии. Сотрудничество с Китаем представляется ключом к долгосрочной перспективе укрепления позиций в Азии.

* * *

Ресурсы стабилизации всех стран медленно истощаются, и Россия находится в особенно уязвимом положении. Если «завтра» (в перспективе полутора—двух лет) не начнется подъем, то может стать хуже — многолетняя стагнация с темпами роста, стремящимися к нулевым. Российское правительство ссылается на показатели роста, но показатели уровня жизни не очень убеждают в благоприятном исходе. Сократились сбережения граждан, национальная банковская система находится под серьезным давлением. Наряду с экономикой правительство говорит об этническом мире, а имеет в виду мир социальный. Главная задача межэтнического мира — избегать насилия, обеспечивая условия для развития.

Кризисы автоматически не ведут к войне, но они могут давать толчок движения к конфликту по нескольким причинам. Кризис: а) истощает *запас прочности*; б) востребует перераспределение ресурсов и проверяет *готовность политической системы эффективно осуществлять такое перераспределение*; в) *обостряет проблему оценки цены преодоления*; г) стимулирует страхи и *желание действовать по формуле «каждый за себя»*. Исходом нынешнего кризиса в любом случае будет нормализация отношений между государствами-участниками, изменившимися под его воздействием. Более практический вопрос кратко- и среднесрочной перспективы: когда будет возможно взаимодействие, свободное от внеэкономических влияний.

Украинский кризис стал мощнейшим шоком для российской политики. Парадигма «Единой Европы», в логике и в рамках которой Россия с начала 1990-х годов осуществляла политику взаимной адаптации с бывшими оппонентами, «союзниками и братскими странами», дала сбой. Какова цена реакции Москвы на эти изменения? Важны позиции ключевых мировых игроков: США, застывшие между вчерашними союзниками, Украиной и Россией, с акцентом на поддержку первой. Германия и Франция, показавшие себя наиболее деятельными партнерами Москвы в непростой ситуации, и Китай, непознанный игрок мировой политики. Время убывает, что дальше?

Литература

Илларионов А. Этнический состав населения Крыма за три века. 11.02.2014 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://aillarionov.livejournal.com/607335.html>.

Богатуров А. Пять синдромов Ельцина и пять образов Путина // Pro et Contra. 2001. Зима–весна. № 1. С. 122–136.

Примечания

¹ Remarks by President Obama and Ukraine Prime Minister Yatsenyuk after Bilateral Meeting. March 12, 2014. URL: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/03/12/remarks-president-obama-and-ukraine-prime-minister-yatsenyuk-after-bilat>.

² Remarks by President Obama and President Poroshenko of Ukraine After Bilateral Meeting. September 18, 2014. URL: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/18/remarks-president-obama-and-president-poroshenko-ukraine-after-bilateral>.

³ Численность и состав населения Автономной Республики Крым по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 г. Государственный комитет статистики Украины. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/crimea>.

⁴ Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://kremlin.ru/supplement/4803>.

⁵ Крым выбрал Россию. Газета.Ру. 16.03.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.gazeta.ru/politics/2014/03/15_a_5951217.shtml.

⁶ Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/20605>.

Раздел 3. РОССИЯ В ОБЩЕЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

⁷ Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ.

⁸ *Гусакова Е.* Избиркомы Крыма и Севастополя утвердили результаты выборов // Российская газета. 16.09.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.rg.ru/2014/09/16/reg-kfo/itogi-anons.html>.

⁹ Место строительства Керченского моста оказалось заминированным. 04.04.2015. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://kerch.biz/main/16913-mesto-stroitelstva-kerchenskogo-mosta-okazalos-zaminirovannym.html>.

¹⁰ Remarks by President Obama and Chancellor Merkel in Joint Press Conference. February 9, 2015. URL: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/02/09/remarks-president-obama-and-chancellor-merkel-joint-press-conference>.

¹¹ *Николаева А.* Устали ждать // Интерфакс. 27.03.2015. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=595680&p=6>.

¹² *Серов М., Ходякова Е.* Россия ждет аванса // Ведомости. 22.05.2014. № 3594. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2014/05/22/rossiya-zhdet-avansa>.

¹³ Remarks by President Obama at APEC CEO Summit. November 10, 2014. URL: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/11/10/remarks-president-obama-apec-ceo-summit>.

¹⁴ Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на заседании лидеров экономик форума АТЭС. 11.11.2014. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/46997>.

Научное издание

Богатуров Алексей Демосфенович
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Формат 60×90/16. Усл. печ. л. 30,0. Заказ №
ООО Издательство «Аспект Пресс».
111141, Москва, Зеленый проспект, д. 3/10, стр. 15.
E-mail: info@aspectpress.ru; www.aspectpress.ru.
Тел.: (495)306-78-01, 306-83-71

Отпечатано способом ролевой струйной печати
в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел.: 8(499)270-73-59